

М
О
С
К
В
А

817-к
с/172

Москва

7
1966

1966 7

Москва

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Василий Росляков. ОТ ВЕСНЫ ДО ВЕСНЫ. Роман	6
Эдуард Шим. ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ. Рассказы	51
Збигнев Сафьян. ДНЕВНИК ИНЖЕНЕРА ГЕИНЫ. Роман. Перевод с польского Л. Войтоловской. (Продолжение)	66
Анатолий Рубинов. ДВА РАССКАЗА	112
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. Марина Цветаева. ДОМ У СТАРОГО ПИМЕНА	121

СТИХИ

Николай Браун. О САМОМ БЛИЗКОМ	3
Диомид Костюрин. ПРИДЕТ ВЕСНА, СНЕГА СМИНАЯ...— ОКРАИНЫ.— БЫЛО ПРОСТО, ОЧЕНЬ ПРОСТО...	50
Лариса Васильева. ЧИСТОЕ ДЫХАНЬЕ [Симон Чиковани.] ИЗ ЦИКЛА «ВОСПОМИНАНИЕ О ВОЙНЕ».— В МОЕЙ ДУШЕ КОЛОВАЩЕНЬЕ ЛИСТЬЕВ... Переводы с грузинского.	119
Виктор Кисляков. ЭЛЕКТРОСВАРКА.— НОВЫЙ ДОМ.— ДИКИЕ ЛЕБЕДИ.— СТАРАЯ ДОРОГА	146
Ник. Ушаков. КОМСОМОЛЬСК.— ВОТ ВЫ И ВСТРЕТИЛИСЬ ПОД ИВОЙ...— ПОХВАЛА КРАТКОСТИ	148

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Василий Селюнин. РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ	149
-------------------------------------------	-----

НАШИ СОВРЕМЕННОКИ

Ольга Гуссаковская. МОЯ ЗОЛОТАЯ ТАЙГА. Очерк	158
Виктор Ильин. ЗАПАС ПРОЧНОСТИ.	168

7
1966

●
СТРАНЫ И ЛЮДИ

Татьяна Тэсс. АМЕРИКАНКИ 176

●
ИСКУССТВО

Валерий Тур. ПРОБУЖДЕННЫЕ МОЛНИИ 183
О. Бескин. ХУДОЖНИК-ВОИН 189

●
ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ

Лев Василевский. В НЕБЕ ИСПАНИИ . 192

●
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. Гринберг. РАССКАЗЫ И РАССКАЗЧИКИ 198
Григорий Соловьев. ПОКА ПОЭТ ВЛА-
ДЕЕТ СЛОВОМ... 209
Д. Ортенберг. ЛЕГЕНДА О ФАКТАХ . . 213

●
НАД СТРАНИЦАМИ КНИГИ. Ал. Михайлов.
ЧЕМ ЖИЗНЬ КРАСНА (215).— Григорий
Бровман. ИСКАТЕЛИ, ТВОРЦЫ (217).—
А. Макаров. О СВОЕМ ПОЭТЕ... (219).—
Е. Ветрова. ПРОГУЛКИ ПОД ДОЖДЕМ (220).

●
ЮМОР-66

Александр Рейжевский. СПАСЕННЫЕ
ГЕРОИ. Дружеские шаржи И. Игина.—
Г. Рыклин. МИЛЫЙ АНГЕЛОЧЕК.— МЕЖДУ
ПРОЧИМ 221

●
ГАЛЕРЕЯ „МОСКВЫ“

ВОСЬМАЯ ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ СССР
РАБОТЫ ХУДОЖНИКА А. ЛИВАНОВА

Адрес редакции:
Москва, Г-2, Арбат, 20
Телефоны: Г 1-78-01,
Г 1-06-86

Рукописи объемом меньше
печатного листа не возвра-
щаются.

Подписка на журнал прини-
мается во всех учреждениях
Министерства связи. Редак-
ция вопросами подписки не
занимается.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Е. Е. ПОПОВКИН (главный редактор),
А. Д. АНДРЕЕВ (заместитель главного редактора),
В. М. АНДРЕЕВ, А. Н. ВАСИЛЬЕВ, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ,
Л. В. ИВАНОВА, Е. В. ЛЕВАКОВСКАЯ,
Л. В. НИКУЛИН, В. П. РОСЛЯКОВ,
С. А. САВЕЛЬЕВ (ответственный секретарь),
Г. А. СЕМЕНИХИН, Ю. С. СЕМЕНОВ,
С. В. СМИРНОВ,
А. А. ЦЫГУЛЕВ (заместитель главного редактора),
В. Д. ШАПОШНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ

Художественный редактор Н. И. БОБКОВА



О САМОМ БЛИЗКОМ

Русская земля

Я о ней узнал не понаслышке,
Мне она явилась не из книжки,
Не из сказки погостить пришла.
Что́ я с детства знал о ней, великой?
Мне она стелилась повиликой,
Васильками на́ поле цвела,

Радуги на небе воздвигала,
Жаворонком падала к ногам,
Молниями тучи обжигала,
Рассыпала росы по лугам.

И когда ступни мои босые
Шли, уже вступая с ней в родство,
Разве знал я, что земля России
Станет болью сердца моего,

Что уже огнем ее судьбины
И меня навеки обожгло?
Разве знал, что взлет ее орлиный
Мне поднимет слово на крыло?

Нет, я просто вслушивался в голос
Матери и все в себя вбирал
И едва созревший первый колос
На своих ладонях растирал.

• • •

Я вскормлен русским языком,
Как материнским молоком.
Мне капля каждая его —
Как животворное спасенье
От немоты,
Как знак веселья
Тех сил, где духа торжество.

И не как гость его случайный,
Что ищет ключ к его дверям,
Я изучал его звучанье
Не по оглохшим словарям.

Я изучал его глубины
Не по затерянным ручьям,
Его алмазы и рубины
Я с колыбели примечал.

Они сверкали мне и в песне,
И в сказке бабкиной цвели.
Живой глагол их был как вестник
Моей глаголящей земли.

Он открывался мне глаголом
Души народа моего —
Суровым, яростным, веселым,
И с ним слилось мое родство.

А в нем —
И ответ гроз вчерашних,
И дней грядущих говорок,
Снега,
Ручьи,
Грачи
И пашни
И дома отчего порог.

• • •

Безгласным — да,
Но безголосым — нет,
Я никогда не стану,
Я, чей голос —
Раскрыть сил,
Несущих только свет,
Раскрыть недр,
Во тьме таящих колос,
Раскрыть сердца,
Видимого всем,
Со всею болью,
Всей, как на ладони.
Я стану мертв,
Но я не буду нем, —
Пока я жив,
Он бьет ключом,
Он стонет,
Зовет и властвует
И на удар
Ответно бьет
Ударом полновесным.

• • •

Пора, поэты, расширять дыханье,
Короткие дистанции бросать.
На что вам воробьишек трепыханье! —
Их крылышками неба не достать.

Пора домашний глазомер отбросить,
Взор широко открыв, как телескоп,
Узреть не только прозелень и просинь,
Свернуть, рвануться с проторенных троп.

Пора бы, распахнув, как крылья, руки,
Вобрат в объятья мир, а не мирок,
Не только ручейки, но рек излуки,
Больших страстей большой переполох,
А не страстишек мусор.

И пора бы
Не только жить событий днем одним,
Одной прямой, но дуги всех парабол
Схватив, к ладоням приручить своим,

Чтоб видеть весь разбег времен грядущих,
Всю лестницу бегущих ступеней,
Чтоб век, твой век, воюющий, поющий,
Жил в зеркалах поэзии твоей.

●

ОТ ВЕСНЫ ДО ВЕСНЫ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Люди думали, что весна наступила. Но до весны было еще далеко. К ночи вдруг подморозило и разыгралась метель. А утром небо уже блестело, холодное, зимнее. И Москва под этим небом стояла как сказка, выбеленная вся молодым снегом...

Лобачев сидел за письменным столом и через окно с одиннадцатого этажа смотрел на эту холодную белую Москву. Смотрел и слушал, как на кухне тикает тяжелый маятник.

Через час Лобачеву на занятия. Он просмотрел студенческие работы, все, что надо продумать, продумал, но в запасе оставался еще час. Чем заполнить этот час, Алексей Петрович не знал и поэтому продолжал сидеть и смотреть на белую Москву. Восточного склада лицо его казалось бесстрастным и безучастным ко всему на свете, и только глаза с тигриной рыжиной как бы жили отдельной, несогласной жизнью.

Уныло топтался на одном месте тяжелый маятник. Тик-так, тик-так. Целый час еще! Эти маятники всегда топчутся на одном месте, а уже оттопали всех русских царей, великую революцию и вот эту войну, которая окончилась, кажется, вчера. Они оттопали Лешку, когда Лобачев был еще Лешкой. А теперь уже над Алексеем Петровичем — тик-так, тик-так...

Лобачев встал, быстренько оделся и, отказавшись от обеда, резво притрухнул с одиннадцатого этажа по лестнице. На улице вскочил в троллейбус и через сорок минут был уже на месте. Лучше уж пошабашить на кафедре, чем слушать, как тикают эти маятники.

В разгороженной на три отсека комнате накурено и шумно. По двум телефонам разговаривают лаборанты — старый лаборант, уже совсем лысый, и молодой, еще только начинающий лысеть. Они стараются перекричать друг друга. В среднем отсеке, где стоит гигантский стол Иннокентия Семеновича Кологрива, перекрывает все голоса веселый, очень быстрый, но не очень внятный голос этого Иннокентия Семеновича. Слышно, как он смеется. Посмеяться он любит.

Лобачев, поздоровавшись, бросает на гигантский стол свой желтый портфель и вступает в общий разговор.

Потом звенит звонок, и доценты расходятся. Идет и Лобачев в маленькую аудиторию к своей группе. Группа гремит стульями, поднимается и разногласно приветствует: «Здравствуйте, Алексей Петрович!»

2

В коридорах пусто и тихо. Идут занятия. Все на своих местах. На своем месте и Федор Иванович Пирогов — декан факультета.

В тесном закутке, перед рыжей дерматиновой дверью, за однотумбовым столиком сидит секретарша Шурочка. На столе у нее два телефона, в углу несгораемый шкаф, а над ним — звонок для вызова Шурочки. Кнопка этого звонка находится там, за рыжей дверью, хитро вмонтированная с испода в крышку Федора Ивановичева письменного стола.

С лестничной площадки вы попадаете в темный тамбур перед кабинетом заместителя декана, а потом уже останавливаетесь на пороге Шурочкиного закутка. Остановитесь, посмотрите вопросительно, как бы спрашивая: «У себя?» — и Шурочка улыбнется краешком губ и покажет глазами на дерматиновую дверь. Уже здесь, по Шурочкиной улыбке, можно понять, что Федор Иванович — человек простой, доступный и вполне современный, то есть демократичный. И действительно, только вы приотворите дверь, вас тут же встретит чуть сыроватый, но очень добродушный голос.

— А! — воскликнет этот голос. — Проходи, рассказывай.

Федор Иванович выйдет из-за своего стола и протянет вам левую руку. Правой у него нет. Вместо правой у него протез.

— Садись, — скажет он, — рассказывай. — Потом попросит: — Одну минуту! — Возьмет левой рукой свой протез с негнушимися кожаными пальцами, поставит эти пальцы на уголок какой-то деловой бумажки и левой рукой эту бумажку подпишет — ловко, размашисто, наискосок: «Ф. Пирогов». Потом незаметно нажмет вмонтированную с испода стола кнопку, и войдет Шурочка. Она примет бумажку к исполнению, и вот тогда уже Федор Иванович весь ваш.

Да, еще он снимет пластмассовые очки, положит их оглоблями кверху и мягкой ладонью пройдет по своему рыхлому, усталому и серому лицу. Начнет с головы — совсем голой, — и так по всему лицу, сверху вниз. Мимоходом, когда будет протаскивать ладонь, заметит крупный мясистый нос, потом отпустит его и со свистом втянет через него воздух. Так Федор Иванович снимает со своего бескровного лица усталость. Снимет усталость, наденет снова очки, и глаза его обратятся к вам.

— Ну, — скажет он, — рассказывай!

Если вам нечего рассказывать и вы зашли просто так — к Федору Ивановичу можно зайти и просто так, — лучше всего спросить:

— А как ваши дела, Федор Иванович?

И Федор Иванович тотчас начнет отвечать на ваш вопрос. Если же вам самому есть что сказать, то Федор Иванович все равно перебьет вас незаметно и начнет говорить сам.

— Да, — скажет он, спохватившись, — хорошо, что напомнил. — Он достанет пухлую записную книжку, сноровисто и ловко найдет там нужную страницу и скажет: — Так и есть! В пять — редколлегия. Чуть не забыл. — И для большего контакта с вами выругается: — Черт его знает! — скажет он. — Просто дохнуть некогда! И так каждый день. Завтра четверг? — Федор Иванович открывает страничку на четверг и начнет читать: — «В двенадцать — ректорат, в четыре — похороны профессора-химика, в почетном карауле стоять, вечером — тоже ведь придумают! — дома принимать французов». — Перевернет еще одну страничку,



Василий Петрович Росляков пришел в литературу как критик. В 1956 году в издательстве «Советский писатель» вышла его книга «Советский послевоенный очерк». Позднее, в журнале «Новый мир», была опубликована повесть «Один из нас», получившая широкое признание читателей и послужившая основой для кинофильма «Первый снег».

В журнале «Октябрь» был опубликован цикл рассказов «Недавние встречи».

В журнале «Москва» в 1962 году (№ 9) была напечатана повесть «Обыкновенная история».

на пятницу.— Так... «К одиннадцати в ЦК, в три — актив», значит, сидеть в президиуме...— Федор Иванович спрячет книжку и вздохнет: — Вот так каждый день.

— Да-а-а...— начнете сочувствовать вы декану, но он не дослушает вас и перебьет:

— Вот сегодня прямо от проректора — по поводу учебной типографии был,— прямо от него на лекцию, первому курсу вводную читал.

Вам уже приходилось слушать вводные лекции Федора Ивановича, и поэтому вы сразу же вспомните отдельные места из этих лекций.

«Нашей партийно-советской печати,— говорит Федор Иванович в одном месте,— нужны люди смелые. Трусам в нашей печати делать нечего. Если,— говорит Федор Иванович,— журналист заметил безобразия, злоупотребления, а тем более — преступные факты, он не имеет права проходить мимо. Он должен бить в колокола!»

И когда Федор Иванович скажет после этого: «Борьба со злом — дело всей нашей общественности»,— иной студент-первокурсник улыбнется про себя над этим словечком: «всёй». Оно чуть-чуть приоткрывает далекое деревенское детство Федора Ивановича, и студент-первокурсник улыбнется без всякого ехидства, напротив — сочувственно и доброжелательно, потому что с первой же минуты готов ринуться вслед за Федором Ивановичем бить в колокола.

Все это вы вспомните и спросите:

— Ну, и как прошла лекция?

Федор Иванович не будет хвастать, он ответит уклончиво:

— Нет, набор в этом году неплохой, толковые ребята.

Если у Федора Ивановича останется время, он пожалуется еще на свои болезни, пожалуется на врачей, которые так и норовят запрятать его в больницу или прописать постельный режим. А главное, конечно,— ни того нельзя, ни этого...

— Ей-богу,— скажет он бранчливо,— вчера заехал брат, физик, в общем — засекреченный весь, бывает раз в году. И то, понимаешь, нельзя. Ну, стопку можно, правда. Так это же... черт знает что! Даже с братом нельзя.— Он снимет очки и еще раз проутюжит усталое свое лицо. Вздохнет после этого и, убавив голос, признается: — Конечно, говорю тебе честно, хватили вчера крепко — брат все-таки... А сегодня — опять поджигает, будь оно неладно.

— Да не ходите вы на эту редколлегию,— посоветуете вы, зная, что Федор Иванович действительно сердечник, гипертоник и вообще больной человек.

— Что ты! — скажет он почти с ужасом.— Неудобно!

Он уже одевается, а вы думаете о нем почти с нежностью, думаете о том, что Федор Иванович потому и жалуется, потому и ворчит на перегрузку, на свою болезнь и на своих докторов, что любит и эту свою перегрузку, и, может быть, даже свою болезнь, и уж во всяком случае своих докторов.

Он любит четверг — день ректора, любит сидеть в президиуме, любит, когда вызывают в ЦК и на заседания редколлегий, он любит и вас, если вы, конечно, хороший человек и не собираетесь подсиживать декана и тем более поднимать скандал по любому поводу.

Федор Иванович любит, чтобы все было тихо и по-деловому.

3

Пока так оно и было. Тихо. Идут занятия. Потом отдребезжит последний звонок, коридоры, набитые гулом студенческих голосов и топотом студенческих ног, оглохнут и опустеют.

В запасном зальчике факультетской читальни начнет недружно собираться кафедра.

У окна, за председательским столиком, сидит Иннокентий Семенович Кологрив. За его спиной, в университетском дворе, вьюжит февральская вьюга. Иннокентий Семенович нетерпеливо перебирает деловые бумажки, близоруко обнюхивает их, ставит, где это необходимо, галочки, знаки вопроса и еще какие-то знаки. Потом вскидывает седые кустистые брови, оглядывает полупустой зальчик, ждет кворума. А кворум, как всегда, собирается медленно, вразвалку. Это раздражает.

Иннокентий Семенович, недавно уволенный в запас, еще носит форму морского офицера, еще полностью сохраняет деловитость и собранность военного политработника, и поэтому всякая «развалка» его раздражает. Вот он опять вскинул белые кустистые брови, распрямил тяжелый, но подвижный свой корпус и сказал энергично:

— Борис Яковлевич!

Борис Яковлевич пожимает плечами и идет обеспечивать кворум.

Белая голова Кологрива браво держится над полковничьими погонами. И вообще Иннокентий Семенович выглядит орлом — сильно огрузневшим, но все же орлом.

Вряд ли кто другой на его месте смог бы так быстро войти в свою не совсем естественную роль. Дело в том, что юридически кафедрой заведовал декан Федор Иванович Пирогов. Но, как уже известно, охватить все и поспеть всюду Федор Иванович не мог. И сегодня, в этот самый час, когда надо вести заседание, Федор Иванович находился где-то в другом, более важном месте.

На первых порах Иннокентий Семенович перезванивался с Федором Ивановичем перед кафедрой, согласовывал повестку, а заседание открывал с оговорками: «Федор Иванович просил... Федор Иванович поручил... Федор Иванович...» и так далее. Позже во всем этом необходимость отпала сама собой, и все постепенно привыкли считать Иннокентия Семеновича хозяином на кафедре. Это двусмысленное положение смущало его недолго. Благодаря своей собранности и исполнительности Иннокентий Семенович быстро вошел в эту новую для него роль.

— На флоте,— сказал он бойко,— есть такой термин — скатить, пропесочить!.. Мне что, больше всех надо?! Я возмущен поведением отдельных членов кафедры. Придется кое-кого пропесочить.

— Правильно,— отозвался Иван Иванович Таковой, тоже полковник и тоже ходивший в офицерской форме с погонами.

Сегодня кафедра должна обсуждать его докторскую диссертацию, и в том, что заседание начиналось так вяло и недружно, Таковой усматривал неуважение к своей многолетней работе, а может быть, и к самому себе.

— На сходку собираются, что ли? — протянул он и розовым полным щеком обиженно отвернулся к окну, за которым бушевала февральская вьюга.

— Да бросьте вы эту канитель, полковники! — взмолился доцент

Шулецкий. Он был со всеми на «ты», со всеми на дружеской ноге и не понимал споров попусту.

— Хорошенькое дело — канитель! — уже добродушно отозвался Иннокентий Семенович.

— Ну, объяви мне выговор, и дело с концом. И открывая заседание, — сказал Шулецкий.

Иннокентий Семенович хохотнул, засмеялся, потому что по природе своей был тоже не злым, а веселым человеком. Засмеялся, повертел головой и открыл заседание.

Первым стоял вопрос о производственной практике студентов. Иннокентий Семенович предоставил слово Шулецкому, Сергею Васильевичу.

— Ну что ж, — миролюбиво сказал Сергей Васильевич: можно, мол, и с меня начать. — В моих группах обсуждение практики прошло нормально. Есть, конечно, и хорошие ребята, толковые, есть и так себе, ни то ни се. — Улыбка, не сходящая с лица Шулецкого, как бы свидетельствовала об устойчивом благоденствии на кафедре. — В этом году, — продолжал Сергей Васильевич, — я отказался обсуждать работу каждого студента. Почему? Подумайте сами: первый, второй, третий, ну четвертый — все идет хорошо. А что дальше? Дальше начинаются повторения, одни и те же достоинства, одни и те же недостатки. Начинается скука. Об остальных я решил говорить обобщенно, в целом. Право же, перед нами не журналисты, перед нами еще мальчики и девочки. Никакой индивидуальности... — Шулецкий развел руками, словно говоря: не я же виноват в этом. Но окинув членов кафедры своим веселым взглядом, Сергей Васильевич как бы споткнулся на рыжих глазах Лобачева. И хотя Лобачев ничего еще не успел сказать, Шулецкий зачем-то стал оправдываться.

— Разумеется, Алексей Петрович, — зашепшил Шулецкий, — разумеется, мне можно возразить, но вы поймите...

— Не пойму, Сергей Васильевич, — сказал Лобачев. — Не пойму. Может, в нем Лев Толстой сидит, а мы о нем «в целом». Не пойму.

Шулецкий растерянно пожал плечами и сел: как хотите, я свое сказал.

Иван Иванович Таковой, говоривший сидя, не поднимаясь со стула, пожурил Лобачева.

— Они у нас, — сказал Иван Иванович, — и так мнят о себе черт знает что. Сколько гениев развелось! А мы давайте масла подливать в огонь — в тебе, дескать, Толстой сидит. Да от этих Толстых, товарищи, деться будет некуда. Зазнаек воспитываем, Толстых? Или работников партийно-советской печати? — Таковой, с усилием повернув голову так, что краской налилась его крупная шея, укоризненно посмотрел на Лобачева, как бы предоставляя ему право ответить самому: кого мы должны воспитывать — зазнаек или работников печати.

Лобачев притушил глаза, опустил голову, и восточное его лицо снова сделалось вялым и безучастным.

А кафедра уже разбилась на два лагеря, мнения разошлись, и разгорелся крупный спор. Были минуты, когда спор достигал такой точки, что требовалось вмешательство Иннокентия Семеновича. С помощью морской терминологии ему удавалось на какое-то время сбить накал, но через минуту научные страсти снова достигали верхней отметки.

В конце концов все поняли, что вопрос этот теоретически разрешить невозможно, и было решено оставить все как есть и предложить разобрататься во всем этом методической комиссии.

Второй вопрос — обсуждение докторской диссертации Такового — проходил уже спокойно, даже несколько вяло. Люди все же устали.

Диссертацию одобрили, замечания касались частных и никак не снижали научной ценности работы в целом.

Иннокентий Семенович Кологрив недолюбливал Такового за его удачливость. Иван Иванович много печатался в сборниках, выпускал одну за другой монографии, и вот уже готова докторская.

Все это тайне раздражало Кологрива, потому что и в книгах, и в диссертации своей Таковой не шел дальше переложения краткого курса истории партии да щедрого комментирования работ классиков марксизма. Однако высказать все это открыто, при всех, он не решался. Слишком уж деликатен был предмет, который сам по себе как бы охранял исследователя от критики.

Нет, Иван Иванович Таковой сидел за своей темой, как за крепостью.

И Кологрив, хотя и знал истинную цену Таковому как исследователю, чувствовал себя перед ним бессильным. С не очень естественным оживлением он подвел итоги, отметил внесенный Иваном Ивановичем «серьезный вклад в науку» и совсем уже бодро и с достоинством выразил свое удовлетворение работой кафедры, которая не боится споров, дискуссий, ибо в спорах и дискуссиях только и рождается истина.

Возбужденный чувством хорошо исполненного долга, Иннокентий Семенович закрыл заседание, и все с шумом стали покидать запасной залчик факультетской читальни, закуривая на ходу и обмениваясь между собой разными соображениями.

4

Виль Гвоздев и его товарищи свято посещали лекции. Даже Шулецкого, который читал почти в пустой аудитории, слушали добросовестно. Им нельзя было пропускать лекций, они были жожаками курса. Сидели жожаки не вместе, не одной группкой, а вразброс среди своих однокурсников. Изредка переглядывались, и этого им было достаточно, они понимали друг друга с полувзгляда. Сидел Виль Гвоздев, сидели Игорь Менакян и Тамара Голубкова, сидел голубоглазый очкарик Володя Саватеев. Володя поглядывал в сторону Тамары, а Тамара украдкой смотрела на Гвоздева. Даже здесь, среди жожаков предвыпускного, четвертого, курса, свил свое гнездо извечный треугольник: он — она — он.

С кафедры очень уверенно, с хорошей свободной жестикующей говорил Сергей Васильевич Шулецкий. В его голосе, жестах и мягко закругленных фразах, как всегда, чувствовались покой и благоденствие. Он говорил об освещении вопросов культуры и быта в газете. Предмет Сергею Васильевичу был хорошо знаком с давних времен, и он держался перед слушателями как рыба в воде. Полупустая аудитория не смущала Сергея Васильевича. Он знал, что на всех не угодишь, что среди студентов в последние годы развелось множество скептиков и просто зазнаек, думающих о себе слишком высоко и делающих вид, что им все давно известно. Не им, а добросовестным студентам передавал свой опыт и свои знания Сергей Васильевич.

Он говорил о сложности предмета, о важности и актуальности освещения вопросов культуры и быта в газете. На одно только ознакомление с объектами освещения у Шулецкого ушел первый академический час. Тут были школы и клубы, вузы и техникумы, детские сады и библиотеки, очаги культурного отдыха и летние пионерские лагеря. Тут были и бани, и прачечные, художественные выставки и спортивные состязания, а также больницы и аптеки. Одним словом, тут была вся культура и весь быт советского народа.

— А водопровод входит? — спросил голос из аудитории.

Сергей Васильевич глазами нашел паренька, задавшего вопрос, задумался немного, потом сказал:

— Водопровод, товарищи, входит. Я не в состоянии, в силу сжатости программы, перечислить все, что находится в поле зрения культуры и быта в газете. Но водопровод входит.

Вожаки курса посмотрели на Виля Гвоздева. Тот ответил им сдержанной улыбкой.

Будущие журналисты, кроме главных и специальных дисциплин, изучали стенографию, машинопись, фотодело, а также полиграфию. Весь факультет, и в первую голову его декан Федор Иванович Пирогов, коллективно мечтали о своей собственной печатной газете. Жизнь была совсем не скучной, а скорее даже увлекательной и напряженной.

Особенно остро чувствовалось биение жизни в выступлениях Федора Ивановича Пирогова на собраниях. Говорил Федор Иванович горячо, убежденно, а главное — умел нарисовать широкую картину, раскрыть перспективу. Касаясь недостатков и отвечая на критику, Федор Иванович умел отделить существенное от несущественного, увидеть за повседневными неурядицами главное. А главным была та жизнь, которая все-таки была ключом.

Федор Иванович умело использует факты для своих выводов и обобщений.

— На прошлой неделе, — рассказывает Федор Иванович, — приходит ко мне группа активистов. Ходатайствуют они за своего товарища, студентку, которая представлена к отчислению. Завалила две сессии, но товарищи просят оставить ее, поверить ей. Человек она дисциплинированный, честный, активно участвует в общественной работе. Хорошо. Вызываю эту студентку. Беседую. И что же вы думаете? «Кто, спрашиваю, ваши родители, где работает отец?» — «В ЦК», — отвечает студентка. «В каком, спрашиваю, ЦК?» — «Что значит — в каком? — удивляется студентка. — ЦК, говорит, есть ЦК». Тогда я задаю наводящий вопрос. «Где, спрашиваю, живет отец?» — «Отец, говорит, живет в Башкирии, а я с братом — в Москве». И тут, вы поймите меня правильно, — говорит Федор Иванович, — тут я задаю вопрос на всякий, думаю, случай: «А где, говорю, находится Башкирия?» — «Как где? — обижается студентка, — там, где и всегда, в Казахстане». Вы представляете себе? — сурово спрашивает Федор Иванович, когда собрание отсмеялось и успокоилось. — Вы себе представляете, о ком ходатайствуют комсомольские активисты? Поймите меня правильно, я ничего плохого сказать не хочу об этих товарищах, товарищи хорошие. Но кого они защищают?

Конечно, после таких примеров комсомольцам становится стыдно, их мучает совесть. И если были какие-то претензии к руководству и лично к декану, а может быть, и желание подвергнуть руководство критике, — все эти претензии и желания выступить с критикой улетучиваются. Стыдно.

После таких выступлений обычно ничего не меняется, все остается как было, и невысказанные претензии, неутоленная жажда критики снова начинает накапливаться в сознании многих людей до нового выступления Федора Ивановича. А после нового выступления какой-нибудь циник Сережка Чумаков скажет: «Опять Фельдка речугу толкнул». Да постарается сказать так, чтобы его мог случайно услышать кто-нибудь из преподавателей. И все бы ничего, если бы не было типов похлеще Чумакова. Такой тип не стесняясь скажет: «Пирогов, — скажет он, — демагог». Как печать поставит: демагог. Это уже не Сережкины циничные шуточки. Тут дело посерьезней. Это уже приклеивание ярлыков.

Так бы и шла жизнь от одного выступления Федора Ивановича до другого его выступления. Но случилось серьезное событие.

В последние дни февраля, когда город был полон снега и солнца, состоялся XX съезд партии.

А через несколько дней, уже в марте, наэлектризованные разными слухами, в главной аудитории факультета коммунисты собрались на закрытое партийное собрание. Ни на одном собрании не были так похожи выражения лиц у членов президиума, сидевших на кафедральных подмостках за красным столом, и у коммунистов, сидевших в аудитории.

В минуты выжидательной тишины секретарь партийного бюро передал лучшему лектору, Греку-Яксаеву, тоненькую книжку в красной обложке.

Федор Иванович Пирогов проутюжил левой рукой рыхлое и серое свое лицо, откашлялся в кулак Олег Валерьянович Грек-Яксаев и начал читать. Он начал без обычной разминки, когда голос постепенно набирает силу и уже потом начинает звучать во всю свою мощь. Он начал сразу и потому в первую же минуту поразил всех неожиданностью.

Кто бы мог передать то, что происходило сейчас в душе каждого, кто сидел в этой аудитории? Как передать эту бурю в сплошной тишине?

Федор Иванович сидел неподвижно, рукой захватив мясистую челюсть и упершись локтем в красный стол. Глаза его были спрятаны за толстыми стеклами очков.

Привычно, как у старого орла, держалась белая голова Иннокентия Семеновича Кологрива над его черным морским кителем. Иван Иванович Таковой, повернувшись одним ухом к президиуму, как бы не слушал, а подслушивал читавшего.

У каждого была своя, по-особому сложившаяся жизнь. Но каждый, слушая Грека-Яксаева, не раз вспоминал одного и того же человека. Одни видели его близко — такие, как Пирогов и Иннокентий Семенович; другие видели издали, на гранитном Мавзолее, в дни всенародных торжеств. Вспоминали, перебирали в памяти свои жизни.

Алексей Петрович видел то одно, то другое, то третье. И столпотворение, начавшееся с той ночи, когда улицы стекались к Колонному залу, где лежал он; и заветную площадь с плывущим в века Мавзолеем, а на граните Мавзолея среди иных — он, единственный, с коротко поднятой рукой. То вставала в памяти газетная полоса и письмо американского рабочего: «Товарищи, умер Сталин. Берегите наше первое рабочее государство». Алексей Петрович ничего не видел из того, о чем читал сейчас Олег Валерьянович.

Грек-Яксаев был натурой артистической. Артист, который жил в этом ученом, без труда подчинял себе студентов. И Олег Валерьянович давно уже не помнит своих лекций, которые не заканчивались бы овацией слушателей.

Читая доклад секретаря ЦК, он дал волю страстям, которые вызвал в нем этот доклад. Он дал волю артисту, который жил в нем всегда и порой доводил самого Олега Валерьяновича до экстаза.

Один человек только, Иван Иванович Таковой, посмел нарушить оцепенение и прервать чтеца. Розовое лицо Такового покраснело, он устало поднялся и сказал, обращаясь к президиуму и собранию:

— Товарищи, нельзя устраивать из этого балаган. Я предлагаю передать чтение другому.

Только теперь стало слышно дыхание людей.

— В чем дело? — спросил опешивший секретарь.

Но ответил не Иван Иванович, а Олег Валерьянович.

— А в том, — ответил Олег Валерьянович, — что товарищу Таковому

не нравится мое чтение. Ему жалко товарища Сталина. А мне, дорогой Иван Иванович, не жалко, да, не жалко.— Он осторожно положил на стол, перед секретарем партбюро, красную книжицу и молча сошел с подмостков и по ступенькам прохода поднялся в глубину аудитории.

Доклад был дочитан секретарем партийного бюро. Он же прочитал и постановление, принятое съездом по докладу.

Во время перерыва не было обычного шума. Люди как-то сновали друг мимо друга, останавливались, заглядывали друг другу в глаза: «Вот какое дело»,— и снова расходились. Иные разговаривали, обменивались мыслями. Только Иннокентий Семенович был оживлен, взбудоражен, он даже шипел, то есть смеялся.

Таковой выглядел немного растерянным, глаза его останавливались на каком-нибудь предмете, потом прятались за припухшими веками. Обычно он был уравновешенным, чуть притомленным от излишней полноты и от чувства собственного достоинства. Он всегда знал свое место, никогда не суетился. А тут на какое-то время утратил свою степенность, стал немного растерян и суетлив. В его докторской диссертации было много ссылок на Сталина. Прежде всего он подумал об этом, когда слушал Олега Валерьяновича. Олег Валерьянович своим чтением терзал его без всякой жалости, бил по самому больному месту.

Алексей Петрович ни с того ни с сего вспомнил студентку казашку, с которой учился на одном курсе. Звали ее Мэлсу. Подружку звали Райсэ, а ее — Мэлсу. «Что такое Райсэ? Это переводится?» — спросил он как-то Райсэ. «Просто — Рая»,— ответила Райсэ. «А Мэлсу?» — «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Уразалы,— ответила Мэлсу.— Уразалы — мой отец, пятый классик марксизма-ленинизма»,— и Мэлсу захотела над чудачеством своего отца.

В голову приходила всякая чепуха, а ведь было над чем подумать серьезно. Но Алексей Петрович был уверен, что подумать над всем этим еще будет время, потому что собрание — это только начало; думать он будет еще долго, очень долго.

Выступлений было много. Достоинно и хорошо выступили Федор Иванович Пирогов, Иннокентий Семенович Кологрив, секретарь партбюро, несколько студентов. Алексей Петрович не выступал, он решил, что, поскольку все правильно, выступать ему не обязательно. Таковой говорил не так уверенно, как всегда, но не выступить он не мог. Он только позволил себе сделать замечание по поводу чтения Олега Валерьяновича. «Так читать исторические документы непозволительно,— сказал он.— Это не спектакль».

Олег Валерьянович говорил с присущей ему горячностью, с едва уловимыми загибами.

— Правильно говорили здесь,— начал Грек-Яксаев.— Двадцатый съезд партии восстановил ленинские нормы партийной жизни. Это все правильно. Но я скажу больше. Двадцатый съезд, да, восстановил не только нормы партийной жизни, он восстановил нормы всей нашей общественной жизни. И больше того, он восстановил в нас человеческое достоинство.— И набрав высоты, закончил: — Если хотите, Двадцатый съезд восстановил в нас Человека. Да, Человека! Может быть, это кому-то и не нравится, а вам этс не нравится, дорогой Иван Иванович,— он протянул руку в сторону Такового,— но это ваше личное дело.

6

В три часа ночи Лобачева разбудил телефон. Алексей Петрович вскинулся на своей оттоманке, прислушался тревожно. Звонок повторился — требовательно, с возмутительной настойчивостью. Телефон был почти

невидим, почти неразличим в темном углу на письменном столе, но продолжал повторять свои звонки требовательно и с возмутительной настойчивостью.

Лобачев снял трубку.

— Петрович, спишь? — спросил кто-то дневным голосом.

Лобачев почти сразу узнал Олега Валерьяновича. В крохотном кабинете, где спал Лобачев, была глубокая ночь, но ему показалось, что там, откуда шел голос Грек-Яксаева, был день в самом разгаре.

— Сплю, а что?

— Ты спрашиваешь — что? Ничего. Извини, пожалуйста. — И Олег Валерьянович положил трубку.

Лобачев сел на оттоманку. Сначала он увидел как бы снаружи, со двора, единственное освещенное окно на их огромном четырнадцатизэтажном доме. Потом как бы заглянул через это окно. Дверь в спальню задернута шторой, в комнате горит люстра, под ней нервными шагами вышагивает Олег Валерьянович. Лобачев увидел крупное волевое лицо с выдвинутой нижней челюстью, с белесыми, немного косящими глазами, которые всегда смотрят мимо тебя, мимо всех предметов, на которые они смотрят. И крепкий череп с просторной, чуть прикрытой белесым пушком лысиной. Олег Валерьянович нервно вышагивает по освещенной комнате и мешает спать жене и шестилетнему Вакулю. Это Олег Валерьянович перекроил будничного Вову на Вакуля. «Вакуль, мошенство! — грозно говорит Олег Валерьянович. — Почитай дяде любимые стихи». Вакуль поднимает на дядю зеленые глазки и, поощренный грозной нежностью отца, начинает свирепо, под папу, шепелявить свои любимые стихи: «Я волком бы выгрыз бю-ра-кра-тизм, к мандатам почтения нету! К любимым чертям с матер-рями катись!» — «Молодец, Вакуль!» — говорит Олег Валерьянович и гладит Вакуля по голове.

В троллейбусе Олег Валерьянович грузно садится рядом с Лобачевым, не узнавая его, даже не взглянув на него. Садится и с треском расщелкивает туго набитый портфель. Он извлекает из недр портфеля скрепкой очередную статью свою, направленную против очередных вульгаризаторов науки. Он листает страницы. «Так, так... Че-пуха-а!» — спорит с самим собой Олег Валерьянович...

Лобачев сидит на оттоманке и видит этого Олега Валерьяновича. Видит, как он ходит по освещенной комнате и бубнит что-то в нос и нянчит в сердце своем некую боль, может быть, боль века.

— Петрович, спишь?

— Сплю, а что?

— Ты спрашиваешь — что? Извини, пожалуйста.

Он еще спрашивает: «А что?» Толстокожий кретин. Лобачев быстро включает свет и набирает номер.

— Олег?.. Слушай, старик, может, подышим?

— Петрович? Хочешь подышать?

— Да.

— Я жду тебя внизу.

7

Федор Иванович Пирогов заболел. К частым его заболеваниям на факультете уже немного привыкли, потому что через неделю — другую Федор Иванович поправлялся и начинал функционировать с прежней силой. На этот раз лаборантка Сима сообщила, что Федора Ивановича собираются положить в больницу, на операцию. К больному сердцу прибавилось еще воспаление желчного пузыря, и в связи с этим

желчным пузырем декана собирались положить в больницу и оперировать.

Федор Иванович заболел не вовремя, потому что не успел закончить работу по подготовке к изданию своей книги — курса лекций по теории и практике советской печати. Этот курс, куда входила и его знаменитая вводная лекция, в которой он призывал молодых специалистов «бить в колокола» и «делать газету чистыми руками», он все же успел отдиктовать стенографистке. Но работа над стенограммами, которую Федор Иванович поручил Симе, была только начата, и поэтому перед тем, как лечь в больницу, Федор Иванович вызвал лаборантку домой и высказал ей свои пожелания и рекомендации. Пожелания и рекомендации сводились к тому, чтобы Сима оснастила стенограмму научным аппаратом, полезными ссылками и цитатами. Разумеется, Федор Иванович предупредил, чтобы ссылок и цитат, относящихся к работам, а также и к самому имени Сталина, не было. Если, сказал еще Федор Иванович, по ходу дела у нее возникнут какие-то мысли, а то и факты, углубляющие курс лекций, пусть Симу это не смущает. Ее старания не пропадут даром, накопленный ею опыт может сослужить Симе хорошую службу при подготовке и защите собственной диссертации.

Ответственное задание, полученное лаборанткой от декана, не то чтобы смущало ее, но все же... Говорить об этом каждом встречному не хотелось. Об этом своем задании и о разговоре по поводу этого задания Сима никому из членов кафедры не стала говорить. Она только рассказала о состоянии здоровья декана, о том, как он выглядит, а также передала от Федора Ивановича привет коллективу и отдельным товарищам.

— Не везет же старику! — сочувственно сказал Иннокентий Семенович и немного пошипел, посмеялся. Когда ему было по-настоящему весело, он смеялся громко, как все люди. А это шипение вырывалось у него в самых неожиданных случаях и обозначало самые неожиданные вещи, чаще всего совсем невеселые.

Однако Кологрив ошибался, когда сказал: «Не везет же старику!» На этот раз «старику» повезло, потому что заболел он как нельзя вовремя.

Примерно в тот самый час, когда Иннокентий Семенович, выслушав Симу, сказал: «Не везет же старику!», — в другом месте, в маленькой аудитории, Виль Гвоздев излагал своим товарищам по комсомольскому бюро выношенную им после съезда партии идею. Осуществление ее, по мнению Вилия, должно было всколыхнуть жизнь факультета.

Виль Гвоздев и его товарищи решили подготовить комсомольское собрание. Обозначалась и тема: «Место журналиста в общественной жизни».

— Я уже начал готовить доклад, — сказал Виль. — Я даже нашел эпитафию к докладу. — И Виль невыразительно прочитал на память эпитафию: «Великие мира кажутся нам великими только потому, что мы сами стоим на коленях. Подыдемся!» (Газета Лустало времен Великой французской революции 1789 г.).

Тамара Голубкова с обожанием смотрела на Вилия. Она ничего не знала ни о газете Лустало, ни о тех словах из этой газеты, которые знал на память Виль Гвоздев. Она ничего этого не знала и с тем большим обожанием смотрела на своего Вилия.

Деревенский очкарик Саватеев говорит тягуче, медленно, как бы вразвалку, а голос его всегда дрожит от волнения.

Володя написал правду о деревенской жизни, о судьбе одной семьи. Ничего в этой трудной судьбе не смазал, ничего не обошел. Раньше, при Сталине, не всегда можно было говорить всю правду. Володя написал

теперь все, что видел, все, о чем думал. Он еще молод, очень молод, деревенский очкарик Володя Саватеев, а говорит как взрослый, и большая жизнь его занимает как взрослого. От этого счастья у него перебои в дыхании, когда он читал свой очерк, написанную им правду. Он читал этот первый свой очерк на занятии у Лобачева. Когда прозвенел звонок, к Володе подошел Гвоздев и молча пожал ему руку. Они стали друзьями.

Он тоже знал, что была такая газета — «Парижские революции», редактировал которую некий Лустало, помнил, хотя и не дословно, эпиграф из этой газеты, и оттого, что все это знал его друг Виль, ему было и радостно и немножечко грустно. Он не совсем еще разобрался, то ли ему грустно было из-за ревности к эрудиции друга, то ли из-за того, что Тамара все время смотрела на Виля. Чтобы подавить в себе эту непонятную ревность, он спокойно сказал:

— Правильно, Виль. Эпиграф подходящий.

— Правильно! — повторили вслед за ним остальные члены бюро.

А через несколько дней состоялось задуманное Вилем комсомольское собрание на четвертом, предвыпускном, курсе.

В тот вечер все партийное руководство и многие члены партии находились в актовом зале университета, где проходил партактив.

На комсомольском собрании присутствовал только секретарь факультетского бюро комсомола Григорий Нашев. Он сидел в президиуме и улыбался. Он улыбался потому, что перед ним была сотня хороших ребят и девчонок с комсомольскими билетами, со значками на платьицах, кофточках, на отворотах пиджаков и курток. Он был их руководителем, и ему хотелось, чтобы они видели его улыбку, видели, что ему приятно быть с ними. У него было хорошее настроение.

У Виля Гвоздева, когда он вышел на трибуну, лицо было бледное. Он положил перед собой стопку исписанной бумаги, выждал, пока улеглись разговорчики, и прочитал эпиграф из газеты Лустало. Стало тише, и Виль начал доклад.

— С тех пор, как смерть Сталина положила начало критике... — начал Виль тихим голосом.

— Громче! — выкрикнул кто-то из зала.

Виль взглянул в этот зал неопределенным взглядом и прочитал снова и еще тише.

— С тех пор, как смерть Сталина положила начало критике, жизнь все с большей настойчивостью требует объяснений. — В зале последние шорохи словно опустились в воду, в самую глубину, а Виль немного прибавил голосу. — Как это ни странно, — продолжал Виль, — как это ни противоречит нашим теориям, с судьбой одного человека связываются коренные изменения не только в истории страны, но и в жизни, в сознании массы людей. — Нашев перестал улыбаться и внимательно прислушался к докладчику. — Кончилось время непогрешимости авторитетов, время слепой веры вообще.

Нашеву только что казалось, что тише уже не может быть, но стало еще тише. А голос Виля уже звенел. Виль был еще бледен, но нервная напряженность сошла с его лица.

— Эта вера, доведенная к пятидесятым годам до крайности, в короткое время сменилась противоположной тенденцией. Оружие критики, — быстро читал Гвоздев, — которое взял на вооружение Президиум ЦК, оказалось и на вооружении массы...

Сославшись на высказывание Герцена — «мы пережевываем беспрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся с нами и с другими, — ищем оправданий, объяснений, доискиваемся мысли, истины», — сославшись на это высказывание Герцена, Виль Гвоздев патетически закончил вводную часть своего доклада:

— Какая высокая честь жить в такую эпоху, в такое время, когда критическим огнем пылает человеческий разум!

Мирабо! Дантон! Друг народа Жан Поль Марат! Кто-то резко ударил ладонью в ладонь, и зал захлебнулся в аплодисментах.

Нашев, у которого лицо было теперь растерянным и беспомощным, не то аплодировал вместе со всеми, не то просто так, не отдавая себе отчета, сводил и отводил пальцы лежавших на столе рук. Одно только можно было прочесть у него на лице: Григорий Нашев срочно хотел что-то решить для себя, а решить не мог. Ему мешала и быстрая речь Гвоздева, речь, сразу видно, крамольная, и реакция комсомольцев на эту крамольную речь.

Виль говорил не совсем на тему. О месте журналиста в общественной жизни он сказал всего лишь несколько слов. Зато поднимал, ставил одну за другой такие проблемы, как личность и государство, народ и партия, свобода и необходимость и так далее. Он ставил эти проблемы и тут же, не сходя с места, решал их с удивительной смелостью. Никто не замечал отступления от темы, потому что сегодня любая тема сводилась к тому, о чем говорил Гвоздев.

— Из уст в уста,— продолжал Виль,— передается по секрету и выдается за единственную правду и то, что было, и то, чего не было. Маленькие людишки плюют на память того, кому еще вчера поклонялись, пели хвалу и кричали ура. Пусть так. Не это должно интересовать нас. Честные, думающие люди — а мы должны быть именно такими людьми — по-иную воспринимают события этих дней. Не великие разоблачения их интересуют прежде всего. Их волнует судьба народа, судьба отдельного человека и его место в нашей жизни...

Теперь уже Вилю Гвоздеву аплодировали чуть ли не после каждой фразы. Страсти накалялись, и каждый, даже самый скромный мальчик или девочка, в эти минуты чувствовал себя революционером, наследником Маркса и Ленина.

— «Закон, карающий за образ мыслей, не есть закон, изданный государством для его граждан, это закон одной партии против другой. Преследующий за тенденцию закон уничтожает равенство граждан перед законом. Это закон не единения, а разъединения, а все законы разъединения реакционны». Так писал молодой Маркс,— особенно подчеркнул Виль Гвоздев.

— В социалистическом государстве,— говорил Гвоздев, а в это время партийное руководство факультета заседало на активе, в актовом зале университета, а Федор Иванович Пирогов лежал под ножом хирурга,— большинство народа прониклось социалистическими идеями, мы не знаем иных идеалов кроме коммунизма, кто же посмеет выступить против большинства! Врагу говорить не дадут. Народ — лучший цензор речей и дел. Так будем верить в благонамеренность соотечественников и единомышленников!

Виль зашел в такие философские дебри, что нельзя было проследить за мыслью, да и сама мысль пропадала в этих дебрях. Но собрание слушало тем не менее, а в тех местах, где что-то было понятно, принималось еще и еще раз аплодировать.

Нашев, измучившись нерешительностью, терзаниями совести, не зная в точности, как же ему ко всему этому отнестись, наконец сделал выбор. Человек еще молодой, вчерашний студент, к тому же вплоть до аспирантуры писавший стихи, Нашев сначала робко, а потом все уверенней стал утверждаться в мысли: да, наступает новое время. И ничего ужасного в том, что говорит Виль Гвоздев, решительно нет. Ужасно с точки зрения вчерашнего дня. А ведь после вчерашнего дня уже был сентябрьский Пленум ЦК с его беспощадной правдой и критикой, прошел ошестительный шум вокруг очерков Овечкина и, наконец, на съезде выска-

зана тяжкая правда о Сталине, о трагических последствиях культа личности. Конечно, наступает новое время. Это даже хорошо, что так выступает Виль Гвоздев. Повеяло свежим ветром! И Нашев, не очень вслушиваясь в доклад, вернее, не улавливая смысла философских рассуждений докладчика, снова улыбнулся аудитории, горевшей многими десятками молодых глаз. Но улыбнулся он и окончательно определил свое отношение, когда Виль Гвоздев заканчивал свой доклад. Он заканчивал его монологом, обращенным к благополучному обывателю.

— Вы трусите, вы боитесь моих слов. Но самолюбие мешает вам признаться.

Душа Нашева в этом месте сморщилась и вздрогнула, и тут он решил окончательно: «Нет, я не обыватель, я тоже смелый человек, я с вами». И уже дальше слова Вили стали бить как бы мимо него, мимо Нашева, лишь временами, когда он забывался, неожиданно попадали опять в самое сердце. Но он делал вид, что не в его сердце попадали эти слова, потому что они направлены были совсем в другого человека.

— Вы еще молоды, но уже «умудрены»,— говорил Виль Гвоздев.— «Мальчишество!»— вот ваша отповедь. И это отповедь вашей молодости. Что вы скажете через пятнадцать лет? Вы побоитесь разинуть рот и в страхе заткнете уши. Вы выгоните друга молодости из своего уютного домашнего уюта. На много ли ошибается мое воображение? Вы умны, но настолько, чтобы обеспечить семью, чтобы по вечерам в кругу добрых, милых знакомых предаваться «невинному» занятию: перемывать косточки ближних. Вы будете по-умному, по-взрослому честить всех ваших начальников, хихикать над бесцеремонностью и гадким цинизмом анекдотов. Вы будете наслаждаться вашей комнатной смелостью, своим мещанским свободомыслием. Мне жалко вас, мой друг! Да, я тоже умру когда-нибудь. Меня тоже ждет такое удовольствие, но я презираю вас, потому что равенство в могиле безразлично для жизни. А в жизни я все-таки утру вам нос! Красиво жить, легко и красиво умереть — вот мой идеал! Вы морщитесь. Я забыл, что вы не любите поэзии («А я писал стихи»,— подумал в этом месте Нашев) и не верите в идеалы. Но что поделаешь, от вашего неверия даже мухи не дохнут! Поэты и идеалисты — тем более. В целом — вы столп или столб — что одно и то же, — столб любой власти, любой эпохи. Так вот я,— Виль прикоснулся к впалой своей груди,— и поэт, и идеалист (от слова «идеал» — для справки). Послушайте меня, может, и у мальчишества есть своя правда... Человек — это звучит гордо! Так цените человека, его мысли, его силу, его чувства. Человек творит историю. Так пусть он творит ее действительно. Этого хотят миллионы — безразлично, сознательно или инстинктивно. Этого хочу я. Это желание свободолюбивых. Так пусть оно восторжествует!

Аудитория редела от восторга. Не так страстно, как все, но аплодировал и Нашев. Виль Гвоздев нервными пальцами собрал бумажки, сел за стол президиума и стал откашливаться в кулачок, стал поправлять неудобно стоявший стул, потом с кем-то из аудитории переглянулся по-свойски и постепенно сделался самим собой. Не Мирабо, не Дантоном и не Маратом — другом народа, а худеньким Вилькой Гвоздевым.

Виль достиг своей цели. Никто не зевал от скуки на этом собрании. Никого не приходилось тянуть за язык. Наоборот, охотников выступить было столько, что они не вмещались в регламент одного собрания.

Сначала стоял гвалт, беспорядочные выкрики, мешавшие говорить ораторам. Каждое удачное слово сопровождалось дробью, выбиваемой

десятками ног. Вынужден был встать Виль. Председательствовавший Володя Саватеев не мог сдержать аудиторию. Виль поднялся и в абсолютной тишине попросил товарищей соблюдать дисциплину. «Теперь,— сказал он,— мы должны быть особенно дисциплинированными и собранными. Дух наших выступлений обязывает нас к этому, делает нас взрослыми».

Аудитория подтянулась и стала серьезной. Каждый из выступавших начинал с восторгов по поводу доклада и сразу же переходил к проблемам местного значения, к своим кровным делам. Все эти проблемы и все эти кровные дела ораторов сводились к тому, чтобы освободиться от Пирогова (студенты еще не знали, что Федор Иванович тяжело заболел);

от бездарных преподавателей типа Шулецкого;
от демагогии, лицемерия и фальши.

Нашев тоже выступил. И тоже высоко оценил доклад Виля, хотя не со всеми положениями он согласен, да и сам Виль, подумавши хорошенько, не станет отстаивать все свои положения.

— Но,— сказал Нашев,— мне нравится это собрание. Наконец-то подул свежим ветром.

Эти слова комсомольцы встретили гулом одобрения и вполне искренними аплодисментами. Нашев хотел еще сказать, что ребята допустили огульное охаивание преподавателей, допустили загиб, но, подумав немного, не сказал этого, а повторил свои слова насчет свежего ветра.

8

На следующий день, когда коммунисты-преподаватели должны были еще переживать события вчерашнего партактива, осмысливать и между собой обсуждать отдельные детали, отдельные выступления на этом активе, по всем кафедрам проползли слухи. Слухи были тревожные, неприятные, не очень определенные, но тем не менее захватившие всех.

— Слышал?

— На четвертом?

— Какое собрание?

— О?

Иннокентий Семенович, отрываясь от бумаг, в которых близоруко возился каждый раз, когда сидел в своем отсеке, за своим гигантским столом, отрываясь от бумаг и вскидывая крупную седую годову, шипел в ответ на каждую новую реплику своих коллег.

— Ну, что ты хочешь? Форменные мальчишки! — бросал свои реплики Сергей Васильевич Шулецкий. Он уже знал, что его фамилия не раз упоминалась на злополучном собрании, и ему, конечно, было обидно. Но Сергей Васильевич старался держаться в седле, пренебрежительно бросал свои реплики и делал вид, что взрослого человека это не должно особенно волновать. Кологрив тоже знал все — его дочь училась на этом курсе,— он знал, что его имя никак не упоминалось на собрании, и потому с легкой душой сочувствовал Шулецкому.

— Ты прав, Сергей Васильевич,— сказал Иннокентий Семенович.— Мальчиш-и-шки!

Иван Иванович Таковой был серьезнее других. Он сидел неподвижно, с набрякшей в целлулоидном подворотничке шеи.

— Толстых воспитываем,— сказал он с вялым презрением и голубыми глазками посмотрел в сторону Лобачева. А когда Кологрив в знак согласия прошипел своим смехом, устало и мудро прибавил: — Мало тут смешного. Очень мало, Иннокентий Семенович.

— Да вы знаете, что он говорил в докладе?

— О!

— Не помню, что он из себя представляет?

— Так, ничего особенного.

— Круглый отличник!

— Круглый отличник?

— У вас же дочка там.

— С дочкой разговор будет особый.

На кафедре появился Нашев. Это внесло еще большее оживление.

— Слушай, что там произошло?

— По-моему, ничего особенного.— Нашев улыбался.

— По-твоему, ничего особенного?

Так как доподлинно, текстуально, никто, кроме Нашева, не знал ни доклада, ни выступлений, то все эти разговоры велись в неопределенной форме, в форме догадок, предположений, вопросов, реплик и так далее.

А в партийном бюро уже кипела работа. Здесь изучались внимательнейшим образом и доклад, доставленный сюда Гвоздевым по просьбе партбюро, и протокольная запись выступлений.

Вечером состоялось внеочередное заседание партийного бюро, на которое был приглашен Нашев.

Лысый, с родинками на щеке, секретарь очень спокойно, без каких бы то ни было признаков паники, спросил:

— Товарищ Нашев,— спросил секретарь,— расскажите бюро, каким это ветром подуло вчера с четвертого курса? Одним словом, о собрании.

Нашев по этому спокойному тону сразу понял: персональное дело. Это было так неожиданно, что до этой минуты не думавший о персональном деле, он ответил не вдруг. Понадобилось время, чтобы в душе произошла перестройка. И когда эта перестройка произошла, Нашев сказал:

— Товарищи, я допустил ошибку.— И замолчал.

Старый партийный зубр, много переживший на своем веку доцент Ямщиков недобро посмотрел на Нашева.

— Скажите,— спросил он,— в чем же состоит ваша ошибка?

— Я допустил политическую беспринципность,— сказал Нашев. Он все время смотрел на красную скатерть длинного стола, упирившегося в стол секретаря, смотрел на эту скатерть и вертел в руках жестяную инвентаризационную бирочку, свисавшую с угла скатерти. Потом он горестно взглянул на молчавших членов партбюро и добавил: — Политическую беспринципность и близорукость.

Павлу Степановичу Ямщикову тоже приходилось в свое время принаиваться в политической близорукости — даже ему, старому партийному зубру,— но он верил, что близорукость излечима. Беспринципности же он не понимал, он не допускал беспринципности и не мог прощать эту болезнь другим.

Ямщиков заведовал кафедрой истории русской литературы и журналистики, на которой работал и секретарь партбюро — ученик и воспитанник Павла Степановича. Почти все члены бюро тоже были учениками Ямщикова. Учеником и воспитанником Павла Степановича был и Нашев. Все они, ученики, каждый по-своему любили этого человека с крестьянским лицом, побитым оспой. Нелегкие годы гражданской войны, полуголодного учения, партийной работы на износ и любимой работы с молодыми людьми, со студентами,— все оставило свой след на этом лице. Павел Степанович помнит не один случай, когда эта любовь из скрытой становилась явной. Это были минуты, ради которых стоит жить.

После войны, когда нынешние молодые преподаватели были еще студентами, на одном из партийных собраний обсуждалось как бы персональное дело Ямщикова. Был арестован в качестве врага народа некий доцент, которого за год до ареста Павел Степанович рекомендовал в партию. А в момент ареста Ямщиков оставался еще секретарем партийного бюро. Был секретарем и проглядел в своих рядах врага народа. Мало — проглядел, но и рекомендовал в партию. Все это показалось подозрительным. И само собой на собрании возникло как бы персональное дело Павла Степановича, секретаря парторганизации попросили рассказать биографию.

До революции, как уже было известно из его анкеты, отец Павла Степановича имел небольшую мельницу. После Октября мельница была передана обществу, сельисполкому, а отец вместе с несовершеннолетним сыном — нынешним доцентом Павлом Степановичем Ямщиковым — добровольцами ушли в Красную гвардию. И хотя мельница была передана государству, а владелец ее погиб в боях за Советы, а сын — Павел Степанович Ямщиков — с 1919 года состоит в партии, эта мельница все же была. И за нее кое-кто ухватился. Образовалась едва уловимая связь между мельницей и нынешней виной Павла Степановича. По этой связи и рубанул тогда совсем еще молодой Грек-Яксаев. Он врезался в неловкую тишину собрания со своей страстной речью о сверхбдительности.

— Давайте, товарищи, не будем! — воскликнул Олег Валерьянович. — У каждого из нас, — сказал он, — есть своя мельница. И давайте не будем лить на эти мельницы!

После Олега Валерьяновича один за другим стали выступать ученики и воспитанники Ямщикова.

— Мы не позволим чернить нашего Степаныча — старого большевика!

Ямщиков, сидевший в президиуме и мужественно принимавший на себя удары, не выдержал, когда один за другим стали говорить коммунисты о своем доверии к Павлу Степановичу. В какую-то минуту он уронил голову на руки, лежавшие на столе, и долго сидел так, не поднимая головы. Он плакал.

Павел Степанович вспомнил все это и не так холодно спросил:

— Скажите, Нашев, в чем же вы видите свою беспринципность?

— Я вижу ее в том, — жалостно ответил Нашев, — что не только не препятствовал демагогии Гвоздева, но и поощрял ее... Сказал, что свежим ветром подуло. А надо бы не допускать этого доклада. И собрание закрыть.

Членам бюро было неловко. Изучив документы собрания, они подготавливались разъяснить Нашеву его ошибки, разъяснить ему вредный характер собрания, беспринципность поведения самого Нашева. И вдруг оказалось, что во всем этом нет нужды. Нашев с первых слов все признал сам, без разъяснений. Предварительный запал, боевая готовность членов бюро теперь были ни к чему. Сам все признал. От этого возникла неловкость. Неизвестно даже, что и говорить, когда человек сразу все понял и признал. Павел Степанович покряхтел немного, ища выход из неловкого положения, потом сказал:

— Мне кажется, — начал он, — что Нашев перепугался сейчас и допускает ненужную крайность. Зачем же закрывать собрание? Надо было вести его. Мы не можем приказать молодежи молчать, не думать. Мы можем и должны сделать так, чтобы молодежь и думала и говорила правильно.

Одним словом, ничего такого на бюро не произошло. Драться было не с кем. Очень мирно и по-деловому, без разногласий, бюро проголосовало за выговор Нашеву — секретарю факультетского бюро комсомола,

И он не только на словах, но и в душе был согласен: выговор заслужен. Теперь Нашеву оставалось восстановить свою принципиальность, занять правильную позицию в дальнейшем ходе событий. В этом состояло напутствие партийного бюро. В этом и сам Нашев видел свой долг.

9

Никто ни с кем не сговаривался, но все, как по уговору, скрывали от Пирогова события последних дней. Ни лаборантка Сима, навещавшая Федора Ивановича, ни Колосгрив, посылавший декану записки, никто другой ни словом, ни намеком не обмолвился о происшествии на вверенном Федору Ивановичу Пирогову факультете. В этом негласном уговоре проявились уважение к больному декану и простой человеческий такт.

Вся власть на факультете была теперь в руках заместителя декана Дмитрия Еремеевича Небыкова. Он сидел теперь в кабинете Пирогова и пользовался потайным звонком и услугами Шурочки как настоящий декан.

— Честное слово,— сказал он как-то Лобачеву,— мне даже легче стало.— Небыков перешел на доверительный шепот и, глазами показывая на стол Пирогова, прибавил: — Ты знаешь, Алеша, он же ни черта не делал.

Конечно, Небыкову видней. Но Лобачев эти слова оставил на совести Дмитрия Еремеевича. Тот любил иногда пустить пыль в глаза. Иной раз он мог такую пыль пустить, что люди, много лет знавшие Небыкова, вынуждены были как бы заново открывать его. На последних перевыборах партийного бюро, когда Небыков уже защитил диссертацию и сделался заместителем декана, он первый раз в жизни выступил с самоотводом.

— Товарищи коммунисты,— с глубочайшим уважением к коммунистам сказал Дмитрий Еремеевич,— пять лет я был секретарем, бесшумно. Не жаловался. Приотстал в научной работе... И потом, учтите, товарищи, я хожу, можно сказать, с пулей в легком.

С пулей в легком! Никто бы и не подумал, что этот крепкий, с синими цыганскими белками человек, Димка Небыков, Дмитрий Еремеевич Небыков, ходит с пулей в легком. «Можно сказать, с пулей...» А почему «можно сказать»? А можно сказать — и без пули? А может быть, с двумя пулями?.. Надо уважить. И его уважили. Так что Алексей Петрович знает, когда у Димы слова, а когда пули. Но что бы там ни было, Дмитрий Еремеевич любил и умел работать. Не откладывая в долгий ящик, он вызвал к себе Вилья Гвоздева для беседы. Виль Гвоздев был тем главным звеном, ухватившись за которое, можно было предотвратить дальнейшие никому не нужные эксцессы.

Виль прикрыл за собой дверь, скомкал в руках черный беретик и покорно остановился, не дойдя даже до середины кабинета.

— Ну, что ты остановился? — дружелюбно сказал Дмитрий Еремеевич.— Проходи, присаживайся... Да ты не на диван, а вот в кресло.

Виль сел в мягкое глубокое кресло.

— Куришь? — спросил Дмитрий Еремеевич, открывая пачку «Казбека».

Виль улыбнулся.

— Нет, не курю.

— А ты не стесняйся. Может, ты стесняешься?

Виль еще раз улыбнулся:

— Спасибо, я не курю.

— Ты не думай, Виль, что я тебя на допрос вызвал.— Дмитрий Ере-

меевич размял папиросу, постучал мундштучной стороной о крышку «Казбека» и закурил. «А что! — подумал он. — Мог бы и на допрос». Ему было приятно, что он может многое, может и на допрос, но он это отменяет, никому это не нужно.

Когда закончились все эти приятные мысли о себе и когда был выпущен первый дым, Дмитрий Еремеевич доверительно склонил к правому плечу голову, крупную, смоляную, с проседью.

— Ты вот что скажи, — обратился он к Вилю. А Виль тихонечко сидел в глубоком кресле и изредка, пока Дмитрий Еремеевич был занят папиросой и мыслями о себе, изредка вздыхал и откашливался в кулачок. — Ты вот что, Виль... Только давай так, без дураков, положи руку на сердце... Скажи, как ты дошел до такой жизни?

У Виля еще не было опыта в подобных разговорах со старшими, и поэтому вопрос Дмитрия Еремеевича поставил его в тупик. Он переспросил:

— До какой жизни?

— Ну как же? — удивился Дмитрий Еремеевич. — Вот ты комсорг курса. Так? Так. Отличник, персональный стипендиат. Так? Так. — Дмитрий Еремеевич оседлал любимого своего конька — железную логику. — Правильно, да? Правильно. К своему докладу ты берешь эпиграф из газеты Лустало.

— Лустало, — поправил Виль.

— Хорошо, Лустало. Не в этом дело. — Дмитрий Еремеевич читает выписанный им эпиграф: — «Великие мира кажутся нам великими только потому, что мы сами стоим на коленях. Подыдемся!» Теперь ты мне скажи, что это такое?

— Эпиграф из газеты Лустало, — ответил Виль.

— А ты зря, Виль, разыгрываешь чеховского мужичка. Ты должен знать, что это субъективный идеализм в чистом виде.

— Как?

— А вот так. Ты считаешь, что объективно великие люди не существуют? Может, назвать имена?

— Не надо.

— Значит, великие нам не кажутся, а существуют объективно?

— Существуют, — признался Виль.

— Будем разбирать вторую часть эпиграфа?

— А зачем разбирать?

— Ну вот видишь? — Дмитрий Еремеевич совсем подобрел. — Оказывается, не так уж трудно разъяснить тебе твои ошибки и заблуждения. Нужно только работать. А мы плохо работали с молодежью, не вникали. — Все эти соображения Дмитрий Еремеевич высказал Вилю, и Виль согласился с ними. — Значит, — пошел дальше Дмитрий Еремеевич, — с эпиграфом мы покончили. Эпиграф неправильный.

— Почему? — сказал Виль. — Правильный.

— ?

— Правильный, — повторил Виль.

— Ты чудака какой-то. Ведь он правильный с точки зрения субъективного идеализма?!

— Почему? С точки зрения исторического материализма. Под «великими мира» в эпиграфе подразумеваются не настоящие великие люди, а только те, которых власть делает великими. «Великие мира» — это ирония.

— Ну это ты брось, — сказал Дмитрий Еремеевич. — Хороша ирония. — Он начал старательно давить в пепельнице окурочек. Окурочек все дымил и дымил. — И вообще, — сказал Дмитрий Еремеевич, — в твоём докладе много... ну, как тебе сказать... мутного, даже наносного, чужого.

— Я писал его в одну ночь,— сказал Виль,— там могут быть неточные формулировки. Но я писал его честно.

— Честно — не всегда правильно,— заключил Дмитрий Еремеевич. Он посмотрел в бумажку, хотел было еще что-то сказать Гвоздеву, но в дверь заглянул Лобачев.

— Заходи, Алексей, заходи,— почти обрадовался Небыков.

Лобачев подошел к черному кожаному дивану, присел, положив желтый портфель свой на колени.

— Вот путаник,— почему-то весело сказал Небыков, обращаясь к Лобачеву.— Может, ты поговоришь с ним, Алексей Петрович?

Лобачев молча взглянул на Виля и сказал:

— Да, мне хотелось бы задать ему один вопрос: какие именно взгляды хочется ему пропагандировать и каких единомышленников, как он заявил в своем докладе, хочется ему искать?

Виль не отозвался. Он мял руками черный беретик.

— Ну, что молчишь, давай, друг, говори,— с веселым торжеством сказал Небыков.

Но заговорил опять Лобачев. Он отбросил портфель, поднялся и, поднявшись, сказал:

— Если твои взгляды, Виль, твои идеи не расходятся с идеями нашего общества, с идеями партии, тогда не совсем понятен твой пыл, твое, как бы сказать, ломление в открытую дверь. Тогда,— Лобачев приблизился к Гвоздеву,— тогда мы твои единомышленники — вот моя рука. Но если ты требуешь свободы выражать иные идеи и взгляды — тогда, брат, общество вынуждено поставить перед твоей свободой свою свободу. Свободу избавить себя от чуждых нам идей и взглядов.

Виль поднял на Лобачева невинные глаза и тихо сказал:

— Все, что происходит, Алексей Петрович, мне кажется сложное того, о чем говорите вы, Алексей Петрович. Мне действительно хотелось бы поговорить с вами, Алексей Петрович, серьезно.

Лобачев коснулся пальцами плеча Гвоздева, но обратился к Небыкову.

— Если ты не возражаешь, мы уйдем с Вилем, уйдем в город, к солнышку, к шуму.— Рыжие глаза Лобачева горели азартом. Улыбаясь про себя, поднялся и Гвоздев.

— Валяйте,— облегченно согласился Небыков.

И после того, как закрылась за Лобачевым и Гвоздевым дверь, мысленно сказал самому себе: «Тихонький. Надо посмотреть, что это за фрукт». Он нажал потайную кнопку и попросил Шурочку принести личное дело Виля Гвоздева.

10

Алексей Петрович Лобачев, в отличие от своего друга Дмитрия Еремеевича Небыкова, был человеком неорганизованным и небрежным. Не вовремя поел, не вовремя поспал, а в результате подрывается жизнедеятельность человека и вообще его здоровье. Однако Алексей Петрович необыкновенно здоров, с отличным гемоглобином, замечательным сердцем и такими же легкими. И ничего с ним не происходит. Почему? Потому что он неорганизован и небрежен. Парадокс? Но так это есть на самом деле. Организм Алексея Петровича, не надеясь на своего хозяина, со временем сам взял на себя все заботы о себе. Например, идет длинное и утомительное собрание или заседание, люди, что называется, толкут воду в ступе или переливают из пустого в порожнее. Мозг Алексея Петровича дает сигнал, и Алексей Петрович, помимо своей воли, мгновенно засыпает. Он знает много способов прикорнуть так, чтобы окружающие этого не заметили. И не только на многолюдном собрании, но даже в деловом разговоре, в котором участвуют по крайней мере три

человека. Двое обсуждают деловой вопрос, а третий, Лобачев, как только уяснил себе, что деловой разговор имеет только видимость делового разговора, незаметно выключается.

— Слушай,— скажет озабоченный товарищ или озабоченная особа, настроенные на деловой лад.— Слушай,— скажут они,— мы ведь обсуждаем твой вопрос, а ты, понимаешь, спишь.

— Пожалуйста,— отзовется Алексей Петрович и незаметно откроет глаза.— Пожалуйста, я же не мешаю.

— Странный человек,— обидчиво скажет он или она.

До такой тонкости доведены самозащитные рефлексy в организме Алексея Петровича. Эти рефлексy были выработаны им давно, когда переливание из пустого в порожнее кое-где имело место, когда очень часто слова значили одно, а дела значили совсем другое. И против этих слов постепенно выработывался в Алексее Петровиче самозащитный рефлекс. Однако сон — лишь крайнее выражение этого рефлекса. Наиболее привычным состоянием Алексея Петровича была вялость, функциональная приглушенность, что также экономило силы и необязательный расход энергии. Эта вялость стала как бы характером, отличительной чертой Алексея Петровича. Ходит с таким полуприкрытым взглядом, с ленивым жестом: ничего, мол, работаю, и так далее. К чему вступать в драку, в споры, в диспуты, одним словом — лезть на рожон? Ни к чему. По изначальной же натуре своей, по сознанию своему Алексей Петрович считал себя человеком пылким, темпераментным. Это изначальное порой одерживало верх над хитрым организмом, и тогда люди, знавшие Алексея Петровича, удивлялись: гляди ты, какой!

Вследствие этих внутренних противоречий, вследствие того, что Алексей Петрович находился как раз в состоянии борьбы с собственным организмом, вернее с его рефлексом, он сочувственно отнесся к рассказам о событии, которое все связывали с именем Вилья Гвоздева. Разумеется, он не мог разделить всего, что говорил Гвоздев, и в этом смысле скорее был согласен с Дмитрием Еремеевичем. К тому же Лобачеву было обидно за Федора Ивановича Пирогова («Долой Пирогова!»), за Сергея Васильевича Шулецкого («Долой преподавателей типа Шулецкого!»), хотя Алексей Петрович и сам знал истинную цену и Пирогову и Шулецкому. Но если говорить в целом, то собрание и доклад Гвоздева были ему все же близки. Чем-то они были созвучны его душе, в которой что-то такое происходило.

Для Алексея Петровича XX съезд был полной неожиданностью. Он был ударом, потрясшим в Лобачеве основы привычных для него понятий. Однако же ударом он был в конечном счете здоровым, точнее — оздоровляющим, разбудившим в Лобачеве не то чтобы человека вообще, а человека общественного. После этого удара Алексей Петрович почувствовал себя как бы выше, как бы значительнее, чем он был раньше. И это ему пришлось по душе. И этого было вполне, как ему казалось, достаточно, чтобы начать жить как-то по-другому, по-новому. Но вот прошел слух о событиях на четвертом курсе, и Алексей Петрович подумал, что XX съезд есть только начало чего-то большого и длительного, чем будут долгое время жить люди — каждый сам по себе и все общество в целом.

После разговора с Лобачевым Вилья Гвоздев в своих выступлениях не касался ни одного из тех политических и общественных вопросов, которые занимали его в докладе.

Студенты — эти мальчишки и девчонки, — неожиданно опьяненные тем, что «бога больше нет», посходили с ума. Весенняя сессия была уже на носу, но они «митинговали» чуть ли не каждый день.

Какой-нибудь сморчок еще вчера, заикаясь, оправдывался перед

преподавателем в том, что не подготовился к семинару, а сегодня с недостижимых высот обличал того же преподавателя, своих учителей и наставников.

— Кого готовят из нас? — потрясал он худенькой ручкой. — Талмудистов и начетчиков! Кто готовит нас к жизни? Люди, не знающие жизни! Кто учит нас писать? Люди, не написавшие ни строчки!

Какая-нибудь пигалица, еще вчера робко дожидавшаяся приема у Дмитрия Еремеевича, сегодня, раскрасневшись от вдохновения, с пылающим взором прекрасных глаз, грозно обрушивалась на того же Дмитрия Еремеевича.

— Культ личности, — звенел ее прекрасный голос, — насаждал бюрократизм и бездушие, фарисейство и ложь. Если вы хотите посмотреть, — продолжала она, — как выглядит живой бюрократ, взгляните на него. Вот он сидит, товарищ Небыков.

И пигалица бесстрашным жестом обращала внимание зала на сидевшего в первом ряду Дмитрия Еремеевича Небыкова.

Плохо было преподавателям сидеть в первых рядах и молча слушать этот праздник безумства. Были среди них, конечно, и такие, не знавшие жизни, не написавшие ни строчки, но были и знавшие жизнь и кое-что написавшие. Плохо было и тем и другим. Потому что бесстрашные юнцы обрушивались на всех, не называя фамилий. Но хуже было тем, кого называли. Алексей Петрович, боясь шевельнуться, так жалко было ему Димку Небыкова, искоса посматривал на своего друга, непривычно онемевшего, окаменевшего, гипнотически глядевшего туда, куда меньше всего ему хотелось глядеть: на оратора, на победоносные лица сморчков и пигалиц, восседавших за столом президиума. Он глядел на них и как обреченный не мог отвести глаз, не мог переменить позу, — а как хотелось переменить позу и отвести глаза! Он собрал последние силы своей души, возле которой еще ходила где-то фронтовая пуля, собрал свое мужество, чтобы сделать вид вспомнившего о каком-то неотложном деле и вынужденного покинуть собрание. Он сделал такой вид, поднялся и трудно давшимся ему твердым шагом вышел из аудитории.

На трибуну поднялся Нашев. Нашев с выговором по партийной линии. Он не улыбался. Маленький, строгий, подобранный.

— Товарищи комсомольцы! — говорит он с подчеркнутой строгостью, и аудитория ждет. — Я много думал, — говорит он, — думал над тем, что произошло, что происходит на нашем факультете, да и на других факультетах. — Аудитория ждет напряженно, еще не зная, куда шахрахнется она, чем ответит своему вожаку в самую ближайшую секунду. — Я думал, — говорит Нашев, — и пришел к выводу: возмутительно, безответственно поступаете вы, товарищи комсомольцы...

Аудитория взорвалась, затопала ногами. Топали не только те, кто сидел, но и те, кто стоял в проходах, вдоль стен. Не топали только преподаватели, занимавшие первый ряд.

Нашев вынужден был замолчать.

Он пригнул голову и поднял маленькую руку ладонью к аудитории, как бы защищая лицо от ударов.

— Возмутительно и безответственно, — с ходу повторил он, и сотни ног — ноги мальчишек и ноги девчонок — опять перекрыли голос Нашева. В дальнем углу тоненько улыбался Гвоздев. — Имейте мужество выслушать! — воскликнул Нашев.

Председатель собрания с белым пушком на губе бил пробкой по графину, жестами призывал товарищей своих соблюдать порядок и был счастлив, что не мог водворить этот порядок, ему самому хотелось топтать ногами.

— Имейте мужество! — повторил Нашев. — Это безнравственно — слушать только то, что вам хочется, и не слушать того, с чем вы не со-

гласны. Я хочу объяснить, почему вы, товарищи комсомольцы, ведете себя безнравственно и возмутительно...— Топот. Теперь уже непрерывающийся топот ног. И крики: «Долой!!!»

Нашев не дождался тишины. Он вынужден был покинуть трибуну. Он взошел на нее еще вожакон, хотя и с выговором, а покинул ее под крики: «Долой!» Полководцем без армии.

— Черт знает что такое! — возмутился Иннокентий Семенович Кологрив.— Не дают говорить.

Сидевший рядом с Кологривом Таковой протянул пухлую руку в сторону Лобачева.

— Пускай теперь он говорит со своими Толстыми.

Ни присутствие преподавателей, ни демонстративный уход Дмитрия Еремеевича Небыкова не производили на студентов никакого впечатления.

Больше того, в своих выступлениях они продолжали требовать: «Долой Пирогова! Долой Шулецкого! Долой Небыкова! Долой Такового!» И так далее.

Жестокие дети пятидесятых годов..

Чистенько одетый паренек, при галстучке, начал свое выступление с места. Он торопливо продвигался к трибуне и на ходу выкрикивал безумные слова:

— Хватит, довольно с нас! Довольно с нас заботы отцов!

Лобачев, весь напружинившийся, сидел на краешке скамьи и каждую минуту порывался встать. Он и не подозревал раньше, что в нем может вспыхнуть такая ярость против тех, кого он любил. Когда страсти накалились до предела, Алексей Петрович резко встал и, не спрашивая разрешения, поднялся на трибуну. Председатель с белым пушком на губе постучал стеклянной пробкой о графин.

— Всех и вся,— сказал Лобачев,— вы подвергаете жесточайшей критике. Всех долой! Но взгляните на себя. Кто вы? Ангелы? Дети ангелов?

И снова гул и топот ног. Глаза Лобачева под черными бровями потемнели. В дальнем углу поднялся Гвоздев. Он стоял молча, и все, кто был рядом с ним, перестали колотить ногами. И как по цепной реакции, оттуда, где стоял Гвоздев, стала сползать тишина. Через минуту она заполнила весь зал. Гвоздев сел. Тогда, не повышая голоса, снова заговорил Лобачев.

— Вот что,— сказал он тихо.— Я предлагаю спеть «Цыпленок жареный».

Зал отозвался коротким взрывом смеха и смолк.

— Не хотите? Тогда,— почти выкрикнул Лобачев,— все на улицу! Будем громить винные склады «Арагви»!

Аудитория мрачно молчала. Но Алексей Петрович заметил на отдельных лицах улыбки — выжидательные, настороженные. Тоненько улыбался Гвоздев. Лобачеву стало ясно — зал сдался. И тогда Алексей Петрович спокойно продолжал свою речь.

— Мне стыдно за вас,— сказал он,— потому что я люблю вас.— Помолчал немного и прибавил: — Не всех, конечно.— Пробежал легкий смешок.— Да, это верно: наступило новое время, подул свежий ветер. Но ветер не анархии, а все той же Революции, великой Революции семнадцатого года. Все тот же ветер, который наполняет наши паруса вот уже скоро сорок лет. Сорок лет! Несмотря ни на какие культы, ни на какие его последствия. И как во всяком ветре, в ветре Революции есть свои порывы. Новым порывом обдало нас с XX съезда. Кое-кому он вскружил голову, кое-что спутал в голове. Всех вас поднял этот ветер, и у меня к вам одна просьба! Не забывайте, откуда берет начало этот

ветер. Вам хочется быть лучше, чем вы были вчера. Но сегодня того же хотят и ваши отцы, и ваши старшие товарищи.

Лобачев говорил долго, нарушая регламент. Его не останавливали, но и не аплодировали, когда он закончил.

11

«Тик-так, тик-так», — топтался на месте тяжелый маятник. А на молодых топольках Юго-Запада, на липах возле старого Университета уже вылупились и набухают почки, а клены показали свои красные коготки, по-хищному цепкие, напряженные. Скоро они убедятся, что жизнь отвоєвана, что где-то уже лопнула тополевая почка, расслабнут, подобреют, тихонько, почти неслышно выпустят клейкие листочки. И хотя ничего этого еще не случилось, над асфальтом уже устоялся горьковатый и молодящийся запах весны. Значит, наступило трудное время весенних экзаменов. Митинговый угар пропал, исчез из университетских коридоров и аудиторий.

Погасив страсти, студенты ушли в себя, в свои заботы. Так же, как раньше, они просиживали до поздней ночи в читальных залах, готовясь к экзаменам, так же, как раньше, поубавив темперамент, деловито толпились у дверей аудиторий, где шли экзамены. И все же на их лицах, в их глазах, даже в походке появилось что-то новое. Подчеркнутая строгость, что ли, преувеличенная озабоченность, а может, и тревога — не отомстят ли им на экзаменах эти шулецкие, эти таковые...

Преподаватели догадывались об опасениях студентов, и от этого в преподавательских душах, возмущенных, отравленных горечью и обидами, становилось еще горше.

Все вроде стихло, а взаимную отчужденность, молчаливую и устойчивую, казалось, уже невозможно было рассеять никогда.

— Слушай, — с неестественной живостью сказал Шулецкий. — Как же работать дальше? В аудиторию неприятно входить!..

Иннокентий Семенович, думавший о том же самом, сначала ответил своим смешком-шипеньем, а потом, нахмурив седые брови, сказал:

— Ты прав, Сергей Васильевич. Черт знает что такое!

— Перемельется, — успокоил кто-то из доцентов. — Пошумели и перестанут. Сейчас все шумят.

Павел Степанович Ямщиков мудро усмехнулся и как бы самому себе сказал:

— Пошумели... Посмотрим, что осенью будет.

— А что осенью? — храбро спросил Шулецкий.

— Я говорю, посмотрим, — спокойно ответил Ямщиков. И этот спокойный голос как-то не понравился всем. Все вдруг вспомнили, что Павел Степанович, этот старый человек с усталым рябоватым лицом, за все время ни в чем не изменил своего поведения. Он не возмущался, не жаловался, не клял «мальчишек» огулом, как это делали другие. Его постоянные общения со студентами — то он консультировал кого-то в уголке профессорской, то просто беседовал где-нибудь на подоконнике в коридоре, — все эти общения со своими воспитанниками несколько не изменились. И если раньше никто этого не замечал, теперь, в дни взаимной отчужденности, привычные встречи Ямщикова стали заметны, стали казаться чем-то вызывающим, бестактным по отношению к другим преподавателям. Кто-то уже поговаривал: подлаживается старик, заискивает, ищет дешевой популярности. Поэтому, когда Павел Степанович сказал: «Посмотрим, что осенью будет», Иван Иванович Таковой с ленивой неприязнью отозвался:

— Вам видней, Павел Степанович. Вы ведь с ними, кажется, заодно. — Иван Иванович сидел затылком к Ямщикову, ему трудно было

поворачиваться в силу своей грузности. Ямщиков не сразу ответил, он был немножечко тугодум. Он сначала посмотрел на целлулоидный подворотничок кителя, врезавшийся в красную шею Такового, и уже потом ответил.

— Предположим,— ответил Ямщиков.— Я с ними заодно. А с кем же заодно вы, Иван Иванович?

— С партией,— резко сказал Иван Иванович, не нарушив своего каменного спокойствия.

— Здесь нет посторонних,— сказал тогда чуть покрасневший Павел Степанович,— и вы не обижайтесь за откровенность, Иван Иванович. Вы просто титулованный дурак, а партия, к счастью, тут ни при чем.

— Вот я и говорю,— не поворачиваясь, но сильно повышая голос, сказал Таковой.— Я и говорю... А завкафедрой молчит.

Кологрив смутился.

— Во-первых, я — и. о. завкафедрой, а во-вторых, чего это ради вы завелись, товарищи краснофлотцы?

— Вот, вот,— сказал Иван Иванович.— Ты пошути, пошути, а он и тебя дураком назовет... И не только тебя... Пор-рядки.— Стул под Ивановым Ивановичем тоскливо скрипнул.

— Этого еще не хватало,— сказал Шулецкий, страшно не любивший скандалов.

Сергей Васильевич не любил скандалов потому, что у него, как и у Федора Ивановича Пирогова, было больное сердце. Но в отличие от Федора Ивановича Шулецкий внешне всегда выглядел бодрым и очень благополучным. Посмотришь на розовые подушечки его щек, на молодые волосы — у него были не по возрасту молодые волосы,— послушаешь его играющий, округлый говорок, и все вокруг покажется тебе таким безмятежным, благополучным и даже гармоничным. На самом же деле и во всем вокруг, и в самом Сергее Васильевиче далеко не все было безмятежно и благополучно. Вокруг ни на минуту не стихала борьба. Боролось настоящее с прошлым, доброе со злым, новое со старым, отживающим, боролись честные люди, преданные нашему делу, с людьми дурными, безразличными ко всему, кроме самих себя, умные боролись с дураками, человеческая доброта с человеческой жестокостью. Новый мир боролся со старым миром. А у Сергея Васильевича болело сердце. Он плохо спал по ночам. Но в том, что болело сердце и он плохо спал по ночам, не был повинен борющийся мир. Виною всему был сам Сергей Васильевич.

Правда, по утрам он делал гимнастику. Отправляясь на работу, почти треть пути шел пешком, в летние месяцы отказывался от поездки на жаркий юг и всячески уклонялся от какого бы то ни было спора, от какой бы то ни было критики и самокритики. Он не любил серьезной работы, изнашивающей сердце. После войны Сергей Васильевич побывал на очень многих ответственных постах, в издательствах и культурно-просветительных учреждениях. Старался руководить легко, без нервов, с добродушной улыбкой и часто, поговорив о том о сем с подчиненными, покидал свое учреждение чуть ли не в начале трудового дня. «Тонечка (или Маргариточка, или Анечка),— спрашивал он свою секретаршу с доброй улыбкой,— я вам не понадобится сегодня?» — и покидал учреждение в самом начале трудового дня. Словом, Сергей Васильевич делал все, чтобы сберечь свое сердце. И все-таки оно болело.

— Хватит! — говорил он в минуты откровенности.— Эти пятилетки, понимаешь, эта война, все эти «давай, давай», и все на износ, на износ... К чертовой бабушке! Вся жизнь в трубу вылетела. Ей-богу,— разводил он руками,— лично у меня не было молодости. Все в трубу.

Такие вспышки были исключительно редкими, потому что Сергей Васильевич почти всегда был настроен положительно. Как человек обра-

зованный, он знал, что положительные эмоции сохраняют здоровье и продлевают жизнь. И все же, как он ни старался,— ничего из этого не получалось. Здоровье не сохранялось, а жизнь казалась уже почти прожитой. Как ни старался Сергей Васильевич быть мягким, интимным и общительным с окружающими людьми, со своими подчиненными и со своими начальниками, и подчиненные, и начальники в конце концов начинали роптать на искусство Шулецкого делать свое дело с наименьшей затратой сил, а то и вовсе без всякой затраты. Сначала они роптали на Сергея Васильевича, потом, еще не теряя великодушия, называли его про себя халтурщиком, а когда кончалось терпение или обстоятельства не позволяли больше терпеть, начинали высказываться вслух при самом Шулецком. Шулецкий же делался еще простодушнее, еще общительнее, изо всех сил старался внушить окружающим, что ничего такого не происходит, что все остается по-прежнему. Тут-то и начинали мучить Сергея Васильевича бессонница и сердечные приступы, ибо он видел, что ничего и никому внушить он больше не в силах, что гроза надвигается неотвратимая. И Сергея Васильевича перемещали на другой пост, с повышением или с понижением. Это уже зависело от случая. Жизнь начинала двигаться по новому кругу, точь-в-точь похожему на только что завершённый, на старый круг. Во всяком случае, так было до того, как он попал на доцентскую должность к давнему приятелю своему Федору Ивановичу Пирогову.

Теперь-то, думал Сергей Васильевич, попав с невезучих руководящих должностей на доцентскую должность, теперь-то он обрел, наконец, настоящее место. В молодые свои годы он исследовал публицистику Горького и соискал на этом поприще ученую степень кандидата филологии. После того многое видел, многое слышал, накопил опыт, и теперь ему ничего не стоило после утренней гимнастики, семейного завтрака и пешего моциона почти в треть пути от дома до места службы,— ничего не стоило выйти на кафедру и, предварительно, разумеется, продумав тему, прочесть лекцию по любому вопросу из теории и практики печати. И прочесть не как-нибудь, а на современный лад — без записей и конспектов. Аудиторию это подкупает.

Так думалось Сергею Васильевичу. На самом же деле все было не так.

Не мог ожидать этого Сергей Васильевич. Снова приходится делать вид, что ничего такого не происходит. «Мальчишки! Зазнавшиеся недоучки!» — великодушно, с трудной улыбкой отмахивается Сергей Васильевич. А сердце болит, чувствует приближение новой грозы. Он не поддается этому предчувствию, он старается удержаться в седле и для большей естественности с неестественной живостью восклицает:

— Слушай! Как же работать дальше? В аудиторию неприятно входить!..

Вообще, если покопаться в Сергее Васильевиче, то можно увидеть, что весь он состоит как бы из теневых сторон. Однако же не каждый день мы копаемся в людях. Каждый день мы здороваемся с ними, обмениваемся новостями, милыми шутками, иногда хлопаем друг друга по плечу, иногда травим баланду, то есть разговариваем о том о сем, трогательно вспоминаем прошлое, молодость и детство свое, вспоминаем хороших, а иногда и дурных людей, порой даже выпиваем по рюмочке и говорим — о чем только мы не говорим! Порой вроде бы и дружим с ними, хотя и не дружим на самом деле, а если долго не видимся, то даже и радуемся при встрече: «О! Сколько зим! Какими ветрами?!» — и так далее. Словом, если не копать в Сергее Васильевиче, а просто жить рядом с ним, как живем рядом с другими, то Сергей Васильевич, как и многие другие,— неглупый собеседник, добрый, порядочный и вообще приятный человек.

Во всяком случае, когда они орут: «Долой Сергея Васильевича Шулецкого!» — все-таки надо сочувствовать не им, а Сергею Васильевичу. У него большое сердце.

12

В конце мая над Москвой начал кружиться легкий тополиный пух. Неслышно оседает он на подоконники больничной палаты, где окна растрворены, где, медленно поправляясь, все еще лежит Федор Иванович Пирогов. Тополиный пух плавает в теплом воздухе, застилает безветренные уголки в тихих московских двориках, в глухих тупичках, отчаянно носится над широкими проспектами и площадями, проникает в окна и форточки горожан, медленно опускается на письменный стол к Иннокентию Семеновичу Кологриву, и к Сергею Васильевичу Шулецкому, и к Ивану Ивановичу Таковому, и даже к тем, у кого под окнами вообще никогда не росли тополи. Пушинки щекают лицо, мелькают перед глазами, садятся на голову, на плечи и на ресницы. Летит тополиный пух.

Скоро, скоро все эти люди, о которых я пишу, разъедутся по разным местам — студенты на практику, их учителя и наставники на дачи, в санатории, дома отдыха, на юг, на север; на восток и на запад — земля паша вон как велика! Разъедутся и нарушат ровный ход моего рассказа, поломают сюжет и спутают запланированный порядок. И я, к сожалению, ничего не могу с этим поделать.

Алексей Петрович Лобачев и его друг Дмитрий Еремеевич Небыков мечтают о рыбалке. События вынудили их пропустить весенний жор, и теперь они с жадностью занимаются приготовлениями к летнему лову. Как бы ни были сильны для них переживания последних дней, эти переживания уже вытеснены новыми, а именно — предвкушением рыбной ловли.

Известно, что в наш атомный век рыбалка стала глобальным помещательством. Сдвиньте на минуту земные точки, и вы увидите с одной стороны земного шара на легком паруснике за ловлей океанской рыбы Эрнеста Хемингуэя, а на плесах степного Хопра — другого человека — Михаила Александровича Шолохова. Глаза его, знающие о человеке и о мире почти все, смотрят сейчас на эту малую малость, на пробковый поплавок, а сердце великого человека замерло в ожидании первой поклевки.

Окиньте мысленным взором водоемы нашей земли — реки и речушки, запруды и морские заливы, старицы и озера, искусственные моря и даже затопленные карьеры, — и вы увидите легионы этих фанатиков, бредущих по берегам в поисках счастья, сидящих и стоящих, замороженно глядящих на воду, укравшихся в зарослях тальника, лозняка, в камышовых чащобах, в заранее приготовленных сижках, на отмелях и откосах, на мостах и отвесных кручах, на кормах лодок, на баржах и пристанях и просто по колено в воде. Они затемно прибывают сюда на своих двоих, на электричках и автобусах, на казенных, персональных и собственных легковиках, на мотоциклах и велосипедах, на попутных грузовиках и в рабочих поездах.

Крупный военачальник, герой многих сражений, форсировавший в свое время и Днепр, и Одер, и другие великие реки, сидит где-нибудь перед тихим омутом Нерли или Прони и, отрешенный от своей славы, таскает ершей. И рад этим ершам до смерти.

Командированный из столицы в областной город фанатик рыболов остается верным себе до конца. Справив дела и отказавшись от приглашений и визитов, с тростью и портфельчиком своим тайно проникает за городскую черту, на пустынный берег Воронки, или Орлика, или другой какой речки. Трость, благодаря современному уровню техники, очень скоро превращается в многоколенное капроновое удилище, из портфельчика извлекается леска, в аптечных склянках — замешенное еще дома,

еще в Москве, тесто на растительном масле, а то и кашка из геркулеса, а то и просто мелко порезанная хлебная корочка. И нет уже командированного, он уже легионер бесчисленных легионов, осаждающих водоемы нашей бескрайней Родины.

И даже этот полковник, онемевший перед заброшенным прудиком. Как ни серьезен он и непроницаем в полковничьей тяжеловатой выправке — он тоже один из них. Личный шофер полковника, стоя на коленях, насаживает червя. Когда насадка готова, шофер поднимается с колен. «Можно бросать, товарищ полковник», — говорит он, обращаясь к застывшему монументу. Монумент коротким движением руки забрасывает снасть. «Клюет, товарищ полковник», — докладывает шофер. И монумент, не нарушая выправки, делает движение рукой. «Не подсекли, товарищ полковник!» — говорит шофер и снова насаживает червя. Через полчаса полковник устает, он выпускает из рук удочку, которую подхватывает шофер, чтобы смотать ее и убрать в машину.

Хотя рыбалка была и неудачной, полковник, довольный, отбывает в одному ему известном направлении. Он молча, со строгим и занятым лицом, сидит на мягком сидении. Но дома, сняв воинские доспехи, поделится с женой и детьми своими переживаниями, даже пошутит раз другой и улыбнется при этом в нужных местах своего рассказа.

Словом, в какую бы незнакомую обстановку ни забросила вас судьба, с каким бы случайным или неслучайным кругом людей она ни свела вас, вы всегда можете рассчитывать на то, что найдете родного человека, который обрадуется вам и поймет вас с полуслова. Пусть вы летите в самолете, или томитесь в приемной министра, или заседаете на важном ученом совете, даже если вы заседаете на каком-нибудь славянском конгрессе, или в одной из комиссий ООН, или с туристской группой стоите перед знаменитым акрополем или римским Колизеем, или находитесь в кругу монтажников Братской ГЭС или заводских рабочих, инженеров и служащих, одним словом, если вы томитесь одиночеством среди незнакомых вам людей, выберите такую минуту, киньте слово о рыбалке, и в тот же миг кто-нибудь из академиков или работников, из писателей или генералов, из дипломатов или такелажников и даже из секретарей обкомов по пропаганде отзовется на ваш голос, окажется вашим родным братом по этой великой страсти. Вашему одиночеству наступит конец, вас будут слушать и сочувствовать, вам будут рассказывать, перебивая вас, о редких случаях, о невероятных случаях на рыбалках, где у всех до единого почему-то срывается и уходит самая крупная рыба.

Пенсионеры и большая часть работающего человечества подвержена этой глобальной страсти. Почему? Потому что за окном — атомный век. Потому что ежечасно и даже ежеминутно растут города, и по земному шару расползается асфальт, и теплая материнская земля уходит из-под ног, земля, по которой еще в детстве вы ходили босиком. Машина, бетон, стекло и асфальт, и заботы, бесконечные заботы века отлучают горожанина от пыльного проселка, от лесной тропинки и луговой росы, от полевых горизонтов, заходов и восходов, от ночного костра у дремучей речушки, от того мира, из которого когда-то давным-давно выделился человек. И этот человек, не желая расставаться со своей колыбелью, тоскует и тянется к земле, к пыльному проселку, к лесной тропке и луговой росе, к полевым горизонтам, закатам и восходам, к ночному костру у дремучей речушки. Он тянется ко всему этому и становится рыболовом.

— Ешь твою мышь! — говорит Дмитрий Еремеевич и останавливает своего «москвичика». Засветло они успели проскочить шоссе и свернуть на полевою дорогу. И тут, на проселке, у Дмитрия Еремеевича из самых глубин души вырывается этот восторг. — Ешь твою мышь! — говорит он восторженно, останавливает «москвичика» и выходит из него вместе с Лобачевым.

Смркается. За полями и лесами, за горбатыми перекатами опадает закат — плавлено-красный, а повыше горячо-оранжевый, и желтый, и наивно-лазоревый. А над всем этим — подожженные снизу облака.

Дмитрий Еремеевич мочится на обочину и глядит цыгановатыми глазами на этот закат. Потом перетряхивает плечами и говорит:

— Ей-богу, человеком становишься... Ты гля сюда, Леш, гля...

— Да вижу я, вижу, Дима, — отзывается Алексей Петрович. — Гля сюда, гля... Доцент ты паршивый, зануда и бюрократ...

У Дмитрия Еремеевича два года назад умерла под Рязанью мать, одинокая старушка. Небыков похоронил ее на родном кладбище, продал домик и на вырученные капиталы купил «москвичик». Последняя нитка, связывавшая Небыкова с деревенским детством, оборвалась, и он навсегда стал круглым горожанином, столичным жителем.

И сейчас, сидя за рулем и испытывая острую тоску по далекому детству, говорит он с ученым глубокомыслием.

— Нет, Леш, — говорит он, — будущее человечества все-таки за деревней. Не такой, конечно, деревней, как сейчас. Но все же будущее человечества связано не с городом. — Он ковырнул носом вечереющие поля, мерцавшие за баранкой, за ветровым стеклом, и окончательно заключил: — Не может человек отказаться от всего этого.

Промелькнули крайние дворики выселков. «Москвичик» сворачивает с полевой дороги и вот уже катится под уклон по жесткой травянистой целине мимо темной дубравки, мимо овражка и, развернувшись, останавливается на высоком берегу Осетра. Внизу, сквозь сумерки, вкрадчиво поблескивает вода, темнеют кусты лозняка и прибрежной осоки.

Дмитрий Еремеевич открывает багажник, глухо и деловито отдает команды. Хотя Лобачев и сам соображает, что взять, что положить, как развернуть резиновую лодку, как приладить насос и так далее, Дмитрий Еремеевич руководит каждым его движением.

— Ты, Леш, — говорит он, — не так качаешь, ты зажми меха между колен. — Дмитрий Еремеевич берет между колен меха и делает несколько качков. — Видишь, — объясняет он, — и руки работают, и ноги, и не так устаешь.

Наконец спущена на воду лодка. С одной стороны ее сидит с веслами Алексей Петрович, с другой — Дмитрий Еремеевич, у его ног две сети — «царица» и «малютка». Небыков закуривает и отдает команду:

— Давай, Леш, к перекату. Сперва «малютку» поставим.

Лобачев гребет вдоль черной осоки к перекату. Тьма стоит над рекой, воровато всплескивает вода, и в ее глубокой черноте ломаются звезды.

— Стоп! — Дмитрий Еремеевич подтягивается к берегу, сноровисто привязывает конец «малютки» к собранной в пучок лозе.

— Теперь, — говорит он, — держи лодку торцом к сети. Держи торцом, и больше ничего от тебя не требуется.

Падают, булькая, железные кольца «малютки». Сопит Дмитрий Еремеевич.

— Ты можешь держать торцом? — вдруг вскидывается он. — Можешь или нет?

— Могу комелем, — отшучивается Лобачев и старается выравнять лодку, но наезжает на сеть.

Дмитрий Еремеевич ругается по-матерному:

— Какого ты... едрена вошь... — и так далее.

Отвратительная черта у этого человека — поучать и руководить. Был он еще аспирантом по первому году и секретарем партийного бюро, в которое входил тогда крупный ученый-лингвист Николай Николаевич Н. Николай Николаевич подготовил проект одного решения, и вечером в комнате партийного бюро они вдвоем стали просматривать этот проект.

— Не годится. Кто так пишет проекты! — ворчливо сказал аспирант Небыков профессору Н.— Ты вот что, Николай,— уже миролюбиво сказал аспирант профессору.— Вот тебе два рубля и двадцать копеек, сходи за «Беломором», а я подработаю проект.

И известный на всю страну ученый пошел за «Беломором».

— Дима,— говорит Лобачев, выравнив наконец лодку,— правда, ты посылал за «Беломором» Николая Николаевича?

— Врет он. Не было этого... Куда тебя опять заносит, едрена вошь! И веслом не плескай. Ты можешь не плескать веслом?

— А ты перестань материться, зануда.

— А ты держи торцом, интеллигенция. Гресть не умеет...

Лобачев только в крайних случаях давал отпор Дмитрию Еремеевичу. А вообще терпеливо переносил его грубость и занудство. И не только переносил, но как бы даже наслаждался этим. Потому что наслаждался этим сам Небыков. Особенно же, когда он выпадал из круга своей доцентской жизни. Вот как сейчас: ночь, вода, в резиновой лодке сидит он в драных штанах, в сапогах резиновых, в какой-то дурацкой кепчонке, ни тебе ученого совета, ни кафедры, а только дикая Вселенная и человек. И тут вылезает из Дмитрия Еремеевича Небыкова мужик или наоборот — Дмитрий Еремеевич влезает в шкуру мужика. И так свободно ему в этой шкуре, и так по-домашнему хорошо, что сам он начинает наслаждаться этим состоянием своим, начинает ворчать, как ворчал когда-то давно-давно его покойный батя, начинает по всякому поводу и без всякого повода материться, как матерились деревенские мужики.

Лобачев очень рано оставил деревню, не успел в отличие от Дмитрия Еремеевича вынести из нее крепких мужицких навыков, практической сметки и грубости, он сохранил только нежность к земле, к деревенскому солнцу — огромному, стоявшему по утрам под застрехой камышовой крыши. У Дмитрия Еремеевича крестьянская порода внешне выражается в грубости и практичности, у Лобачева — в чувствительности и в том, что называют — «себе на уме».

Это различие сказалось и на их рыбацких характерах. Дмитрий Еремеевич рыболов-добытчик, больше любит ловить сетями, хотя не отказывается от удочек, от кружков, от зимних мормыжек и так далее. Бралась бы только рыба. Если рыба не берет, Дмитрий Еремеевич зевает, скучно ходит по берегу и в конце концов уговаривает Лобачева сматывать снасти и возвращаться домой. Все, что индустрия наша придумала для любителя-рыболова, имеется у Дмитрия Еремеевича. Лобачев — простой удильщик. Кроме удочек у него нет ничего. Берет ли рыба, не берет ли, ветер ли гонит волну или дождь проливной хлещет весь день,— весь день до темноты Алексей Петрович будет торчать у воды, мокнуть, если дождь, и ждать, когда же наконец по-особенному дрогнет поплавок, и эта дрожь и нервное ныряние поплавка отдастся в самом сердце. Лобачев преданно любит воду. Но любит ее по-своему. Плесы и омуты, быстрые перекаты и подмоины у крутых берегов, реки, озера, а также моря имеют для него только один смысл, вернее, только одну красоту: как эта вода относится к поплавку.

И если Алексей Петрович старается сейчас держать лодку комлем к сети и вообще занимается этим браконьерством, то исключительно из чувства товарищества. Но даже и тогда, когда он гребет, помогая Небыкову сбрасывать или выбирать сетку, и в эти минуты каждое приглянувшееся место он мысленно примеривает к поплавку, примеривает так, что порой хоть плачь — так ноет душа, так хочется бросить все к чертовой бабушке и затаиться с тонкой и гибкой удочкой хотя бы вот за этой осочкой.

Пока ставили на глубине «царицу» — сетку с крупной ячеей,— в «ма-

лютку» уже набралось с полведра рыбы. Ведро уже висит на перекладине, под ведром горит костер, и Дмитрий Еремеевич открывает бутылку «московской».

— Я пить не буду,— неуверенно говорит Лобачев.

— Так,— мрачно отзывается Дмитрий Еремеевич,— значит, не уважаешь общество? Не уважай. Я ее сейчас выброшу к едреной матери.— И норовит уже выбросить распечатанную бутылку. Лобачев, зная, что Дмитрию Еремеевичу ничего не стоит выбросить и он действительно выбросит, обреченно соглашается.

— Ладно, наливай,— соглашается Алексей Петрович.— Наливай.

Горит костер, к черному небу с треском летят искры, над заречным курганом встает красная татарская луна, внизу чуть слышно хлопает в берег речка Осетр. Доцент Небыков и старший преподаватель Лобачев пьют водку. Они сидят друг против друга, с красными от костра лицами — смахивающий на азиата Алексей Петрович и седоволосый, с твердым подбородком Небыков.

— Ты мне аргументы давай,— говорит Дмитрий Еремеевич.— Я могу разбить любые аргументы.

— Ты, Дима, не прав,— возражает Лобачев.

— Это не аргумент,— отмахивается Небыков.— Нет аргументов — значит, нет спора.

— Хорошо,— говорит Алексей Петрович,— крестьяне вымирают, верней, становятся другим сословием. Сотрут последние грани, и не будет ни рабочих, ни крестьян, ни интеллигентов — будут люди, во всем равные друг перед другом.

— Сотрут,— повторяет Небыков.— А деревня уйдет навсегда... Понимаешь? Навсегда... Ну ладно, поехали.

Алексей Петрович стукнул стаканом о стакан Небыкова и ответил:

— Поехали.

— Дима,— говорит Лобачев,— а ты помнишь эту девчонку, которая тебя на собрании?..

— Помню. К отчислению ее представлял...

— Все же молодцы они,— говорит Алексей Петрович.

— Работать не хотят. Я бы их заставил работать.

— Дима, а если бы эту девчонку посадить вот сюда, рядом с тобой, и водки дать?

Дмитрий Еремеевич улыбнулся открытым ртом.

— Ты прав, Леш, контакта у нас нет с ними.— И еще раз улыбнулся.— А что,— Дмитрий Еремеевич хлопнул по коблю бревна, на котором сидел. Ему очень понравилась эта идея.— Ге-ге... А что! Посадить ее сюда и водки дать... А Виля Гвоздева я разбил в пух и прах. Родители у него порядочные, и сам парень неплохой, но путаник. Мозги надо чистить...

Сняли уху и поставили чайник. Татарская луна незаметно поднялась и выстелила через Осетр чешуйчатую дорогу. Дмитрий Еремеевич хлебнул немного ухи, ковырнул разваренную рыбу и как-то вмиг обмяк, уронил голову на грудь. Не поднимая головы, он с трудом выговорил:

— Ты, Леш, можешь спать. Я спать не буду.— И тут же захрапел.

А ночь уже начала размываться, зеленеть. Забрехали горбатые поля, зарозовело за темной дубравой. Щелкнула в прибрежных кустах невидимая пичуга.

— Ты мне друг? — неожиданно спросил сонный Небыков.— Тогда выпьем.

Лобачев налил в стаканы, протянул Дмитрию Еремеевичу. А тот поднял тяжелые веки и замер. И плохо повинующимися губами выговорил:

— Помолчи! — Небыков отстранил Лобачева, встал и обнял его свободной рукой.— Вот... за это... — Из-под тяжелых век посмотрел он от-

резвевшими глазами на занимающуюся зарю, на дубраву, на заречный курган, на русскую предрассветную землю.— Вот за это... выпьем...

— Ах ты сволочь,— тихо проговорил Лобачев.— Ах ты сволочь,— и приник щекой к небритой колючей щеке Дмитрия Еремеевича.

13

— Небыков — сволочь,— сказал Игорь Менакян.

— Нет, ребята,— возразила Тамара Голубкова,— он хам.

— Когда я разговаривал с ним,— сказал Виль Гвоздев,— мне все казалось: если встать и рывкнуть на него, ударить кулаком по столу, он растеряется и струсит.

— А ты бы встал и рывкнул,— посоветовал Менакян.

— Что вы, ребята,— застенчиво улыбнулся Виль.

Ребята сидели на крыше гостиницы «Москва» за большим ресторанным столом. Перед выездом на практику они устроили небольшой праздник.

— Ну, хватит! — Володя Саватеев поднял рюмку.— Обсудили Пирогова, Шулецкого, Небыкова и кого еще? И Иннокентия Семеновича, и Ивана Ивановича, и Нашева, и — хватит.— Он посмотрел на Тамару и еще выше поднял рюмку.— Хватит.

— Ребята,— сказала маленькая Таня Чулкова.— Закажите коньяку. От вина я пьянею.

— Танька, ты накладываешь пятно на советскую молодежь.

— Ну, правда же, ребята,— взмолилась Таня.

Чулковой налили коньяку, и все выпили. Девочки пили вино, ребята — водку. Ребята пили с отвращением, скрывая это отвращение друг от друга. Им очень хотелось быть мужчинами, а мужчиной был один только Игорь. В университет он пришел не из школы, а со стройки. Один только Игорь морщился от водки и нюхал хлебную корочку, остальные выпивали свои рюмки лихо и бесстрашно.

Было еще не так поздно, но ресторанный оркестр уже играл. И когда он играл, почти все столики пустели, а пятачок возле оркестра кишел танцующими парами.

Внизу роилась огнями и гудела телеграфным гудом вечерняя Москва.

Володя Саватеев выключился из разговора, слушал ресторанный гомон и сквозь этот гомон — приглушенный гул вечерней Москвы. Слушал и думал о Тамаре. Он думал о ней всегда — дома, на лекциях, на улице, когда она была рядом и когда ее не было рядом с ним. Сейчас Тамара сидела наискосок от Володи, следила за каждым, кто говорил, отвечала каждому, кто обращался к ней, и губы ее чуть-чуть улыбались, и мягкие ресницы бросали легкую тень на веселые глаза ее, которые все время ждали чего-то, ждали какого-то чуда. Но чуда не происходило, а глаза все равно ждали, и Тамаре все равно было весело, было очень хорошо. Ей было весело и хорошо, и глаза ее ждали чуда. потому что где-то, слева от нее, самым крайним, сидел Виль. Вилька Гвоздев. Она не смотрела на него, но все время слышала и видела его. И Виль не смотрел на Тамару, но так же, как она, видел и слышал ее. И Вилю так же, как и Тамаре, было хорошо. Плохо было только Володе. Перед ним, чуть наискосок, все время светились ждущие чего-то глаза и почти незаметно улыбающиеся губы. И эти глаза и губы, как никакие другие на свете, поднимали шум в висках, мучили и казнили Володю, преследовали его каждую минуту, хотя он сидел и как бы слушал ресторанный гомон и приглушенный гул вечерней Москвы. Чистое, порозовевшее лицо его, чуть расширенные глаза за стеклами очков, его светлая челочка над славным и умным лбом были так неизменчивы и привычны, что никто, кроме Тамары,— а она, жестокая женщина, знала,— никто,

кроме нее, не подозревал, что творится с их товарищем Володей Саватеевым. Володя думал о том, когда, наконец, все это кончится, когда они встанут и уйдут с этой крыши и там, в вечерней толпе, он останется вдвоем с Тамарой.

Он думал и мучился оттого, что никак не мог решить, каким же образом, что же надо сделать там, на улице, чтобы оказаться вдвоем с Тамарой.

А тут еще оркестр снова затянул свою волынку и сбил Володю с мысли. Труба пронзительно отделилась от чавкающих смычковых и начала изматывать Володину душу. И как только запела эта пронзительная труба, за дальним столиком поднялся бледный пижон со взбитым коком и галстуком-бабочкой, поднялся с ничего не говорящим лицом и направился к ребятам. Ловко лавируя между столиками, он подошел прямо к Тамаре, элегантно шаркнул ножкой и, слегка пригнувшись, обратился к соседу Тамары Саше Мальбахову.

— Разрешите,— сказал пижон,— пригласить вашу даму.

Саша от неожиданности растерялся, он поднял растерянные глаза на пижона и не знал, что сказать ему. Тамара переглянулась с Мальбаховым и тоже подняла ясные глаза свои на этого пижона, который стоял чуть пригнувшись и без всякого выражения на лице. За столом все притихли и с любопытством наблюдали за немой сценой. Володя даже думать перестал, он словно приготовился к удару, он как будто ждал, когда его ударят по голове.

Тамара улыбалась и как бы с интересом разглядывала бледного юношу с коком и галстуком-бабочкой. Тогда сказал Виль Гвоздев.

— А вы знаете, молодой человек,— сказал Виль,— что это князь Мальбахов?

Саша Мальбахов был зайкой, но перед тем, как весь стол взорвался смехом, он успел подтвердить.

— М-да,— подтвердил Саша,— я к-князь. П-повторите, что вам угодно?

Захотали так, что танцующие пары оглянулись на этот стол, а Володя Саватеев облегченно выдохнул из себя остановившийся воздух.

Пижон молча посмотрел на Виля, на «князя» Мальбахова, на Тамару, на хохочущих ребят, молча выпрямился и безо всякого выражения направился к своему столику. Десятки глаз провожали его до самого места. Пижон занял свой стул, чуть вскинул маленькую головку и молча, бездумно стал смотреть в одну точку, где-то чуть выше оркестрового барабанщика. За тем же столиком сидели еще два пижона с такими же, как у первого, взбитыми коками, но не с бабочками, а ядовито-пестрыми галстуками. И еще две девочки в тяжелых черных ресницах и с красными ртами. И девочки и их пижоны, так же как первый, сидели отстраненно друг от друга, и каждый молча и бездумно смотрел в какую-то свою точку. Девочки держали в красных пальчиках сигаретки, глубоко, не по-детски, затягивались и смотрели в свои точки.

Никто из них не обратил внимания на неудачный поход их юного собутельника, а собутельник, вернувшийся под смех всего стола, не обратил на это равнодушие также никакого внимания. Как на витрине, сидели они независимо друг от друга и как бы демонстрировали свою свободу, свое бездумье, свое молчание, свои лица, не занятые ни мыслями, ни переживаниями. Сидели, молчали, ничего не думали и не стеснялись, а как бы даже гордились этим.

— Светские люди середины двадцатого века,— сказал Виль, и ребята опять захотали.

— Как молчат! Как они молчат! — восторгался Игорь Менакян.— Потрясающие ребята.

Посмеялись и оставили светских людей в покое. А маленькая Таня Чулкова поднялась.

— А я бы,— сказала Таня,— пошла бы с этим чудачком. Почему мы не танцуем, почему?

— Тан-цевать! — скомандовал Игорь с армянским акцентом. Он отодвинул стул и протянул руки Танечке.

Застолье поломалось, стали разбираться по парам. И тогда Володя подошел к Тамаре. Она улыбнулась ему и спросила:

— А как же Вилька?

— Что Вилька? — одними губами переспросил Володя, сраженный внезапной догадкой.

— Мальчики! — воскликнула Тамара, поднявшись. Ребята и девочки остановились, повернулись к Тамаре и к Володе. — Мальчики! Смотрите, он не знает, что я люблю Вильку. — Ребята и девочки удивленно уставились на Тамару. — Ах, вы тоже не знаете?!

— Тамарка, — сказал насупившийся Виль. — Ты пьяна. — А у самого заколотилось сердце. И румянец пятнами выступил на лице.

— Значит, и ты не знаешь?! — сказала Тамара, и глаза ее влажно и воинственно засветились. — Так знайте, я люблю Вильку. Люблю, понятно? — Она упала на стул, закрыла лицо руками и расплакалась.

— Тамара! Ребята! — говорил Гвоздев и стучал тупым концом вилки по краю стола. — Ребята, она пьяна. Она ничего не понимает. — Гвоздев бросил вилку, подошел к Тамаре, поднял ее золотую голову и стал целовать зареванные ее глаза. — Тамара, — тихо говорил он и целовал ее глаза. — Сто лет, как я люблю тебя. А ты, дурочка, плачешь. Князь, поменяемся местами.

Саша Мальбахов с готовностью перешел на место Гвоздева, а Виль, обняв за плечи Тамару, уже сидел рядом с ней.

— Танцы отменяются! — объявил Игорь. — Нальем и выпьем за новобрачных!

Загремели стулья, тонкий звон стекла прошел над столом. Володе надо было куда-то деться, но он не знал, куда ему деть себя, что ему делать, что сказать и вообще — как жить ему после всего этого.

Тамара, не вытирая счастливых глаз, встала и повернулась к Володе. За ней поднялся и Виль.

— Володечка, — Тамара первый раз назвала так Володю, — прости нас с Вилькой. — Она подтянулась к Саватееву и поцеловала его в щеку.

Володя не ответил. Он обошел Тамару и Вилю и, путаясь между столами, почти побежал к выходу.

В неловком молчании Тамара сказала.

— Ребята, я же не виновата.

Игорь поднял рюмку.

— Выпьем сначала за любовь безответную.

Выпили за безответную. Потом стали пить за ответную, взаимную, за счастливую. И в самый разгар этих тостов на крыше появился Сережа Чумаков.

Сережа был второкурсником, но жил он вне групп, вне курсов и отделений. Он был общий, факультетский Сережа Чумаков, известный всем и каждому, всегда куда-то спешащий, всюду успевающий, все на свете познавший, быстрый, взъерошенный воробышек. Он появился на крыше, пошарил своими блуждающими глазами и сразу заметил ребят. Приложив большой палец к виску и шевеля остальными пальцами, Сережа устремился к столу. Суховатая фигурка его и перышки растрепанных волос тоже были устремлены вперед.

— Общий привет брюзжащим! — с ходу приветствовал Сережа Чумаков.

— О-о-о! — ответили ребята и девочки, но никто не предложил ему места, потому что все знали Сережу как человека вне этики, вне морали, вне политики и вообще вне всего и вели себя по отношению к нему также вне всяких правил и норм.

— О-о-о! — сказали ему ребята и девочки. — Какими судьбами?

— Заглянул на минутку, — ответил Сережа, блуждая глазами. — Кстати, не найдется ли у вас немного вина? Вот и отлично. — Сережа протиснулся к освободившемуся Володиному стулу. Уселся, оглядел всех и сказал: — Вы знаете, я устроился.

Ребята знали, что Сережа все равно не даст никому говорить, поэтому, к радости Вилья и Тамары, уже не возвращались больше к теме внезапного объяснения. Чумаков всегда носился с какими-нибудь новыми идеями, новыми открытиями, и его нельзя было застать за одним и тем же разговором дважды. То он открывал каждому встречному великого поэта нашего времени — никому не известного Вагинова: «Вы знаете, это даже не Блок и даже не Маяковский, а скорее современный Вийон», то носился с каким-нибудь никому не известным мировым режиссером номер один, то убеждал всех в справедливости непонятной ему самому теории ритма как главной субстанции прозы, то... одним словом, на каждый день у него было новое сногшибательное увлечение или открытие.

Со знанием дела Сережа опрокинул рюмку водки и с ходу приступил к изложению новых своих откровений.

— Вы обратили внимание, — спросил Сережа, — что я приветствовал вас как брызжащих? Так вот, — он отщипнул от ломтика хлеба крошку и как бы склевал ее с руки. — Так вот, исследуя общественную жизнь нашей страны... Простите, может быть, я преувеличиваю? Во всяком случае — жизнь нашего факультета, я обнаружил, что после известных событий, потрясших мировое сознание, в нашей общественной жизни четко определились три отряда.

— Во дает! — усмехнулся Виль.

— Что? — недослышал Сережа. — Так вот. Три отряда. Отряд брызжащих, возглавляемый на факультете Вилем Гвоздевым...

Ребята заржали. Сережа выждал, когда все отсмеялись.

— Отряд, — продолжал он, — веселящихся. Ну этим отрядом руководит подонок, вы его не знаете. И во главе третьего отряда, отряда острящих, стою я, ваш покорный слуга. — Сережа очень мило улыбнулся и спросил позволения выпить еще рюмку. После этого опять стал говорить: — Совсем не потому, что я угощаюсь сегодня за счет этого отряда, а справедливости ради должен сказать: за брызжащими идет большинство, они имеют колоссальное влияние на массы. Я имею в виду студенческие массы.

Виль и его товарищи были серьезными людьми, они не вступали в спор с Чумаковым, а только слушали его, поощряя Сережу своим вниманием. А Сережа отщипывал и склеывал с руки хлебные крошки и говорил.

— Веселящиеся, — говорил Сережа, — это наша так называемая плесень, ни к чему не пригодные красавицы и пригодные для этих красавиц уроды — уроды духовные, но часто и физические. Они развлекаются в пустых дачах состоятельных пап и мам, плохо учатся и тщательно следят за своими костюмами. В целом же — люди скучные и неинтересные. — Сережа сделал паузу, опять очень мило улыбнулся и сказал: — Ну, теперь острящие. Ребята в высшей степени замечательные, правда — циники. — Сережа снова улыбнулся и склонил голову: — Можете, так сказать, судить по мне.

— Сережа, — спросил кто-то, — а почему ты один сегодня, без отряда?

— Дело в том, товарищи,— ответил Сережа,— что, как я уже сказал, мальчики мои — циники. Правда, каждый из них, в том числе и я, нежно, так сказать, и преданно, так сказать, в кого-нибудь влюблен. Гм, гм... Но как циники все острящие имеют девочек — из молоденьких продавщиц, подавальщиц, библиотекарьш, воспитательниц детских яслей и учительниц начальных классов, из этих, так сказать, слоев общества. Сегодня мальчики находятся у девочек.

— Ребята,— сказал Виль,— если бы Чумаков не был циником, он был бы... подонком. Конечно, если это не одно и то же.

— Вполне возможно,— согласился Сережа.

— А мне нравится,— перебила Танечка Чулкова.

— Между прочим, Виль,— сказал Сережа,— почти то же самое, что и ты, сказал мне Дмитрий Еремеевич, когда я просил его восстановить мне стипендию.

— И что же? — спросил Гвоздев.

— Разумеется, восстановил,— ответил Сережа, как будто другого исхода и быть не могло.— Дмитрий Еремеевич вполне деловой мужик. В самом деле, я представил ему расчеты: в неделю у нас двенадцать лекционных часов, в месяц — сорок восемь. Я поделил стипендию на сорок восемь часов, приходится около шести целковых за час. Где,— сказал я Дмитрию Еремеевичу,— можно заработать молодому человеку шесть целковых за один час? Я,— сказал я,— не знаю. Поэтому отныне,— сказал я Дмитрию Еремеевичу,— все лекции буду посещать свято. Верните стипендию. «Подход,— сказал Дмитрий Еремеевич,— деловой, это меня устраивает. Хотя ты и нахал, Сережа,— сказал Дмитрий Еремеевич,— но человек еще не потерянный, мы тебя еще воспитаем, а стипендию восстановим». Люблю,— сказал я Дмитрию Еремеевичу на прощанье,— люблю деловых мужиков. «Ладно,— сказал Дмитрий Еремеевич,— иди». И я ушел. Пью за брюзжащих! — Он склевал хлебную крошку и от души прибавил: — Ей-богу, вы мне симпатичны. Общий привет! Благодарю за внимание.— И Сережа удалился. Проходя мимо столика, где молчали пижоны со своими чувихами, Сережка в знак приветствия пошевелил пальцами над ухом. Не меняя поз, пижоны ответили ему ленивыми полужестами.

Вскоре ушли и ребята.

Притихла полуночная Москва, пригасил огни свой огромный город.

Вот, взявшись за руки, Тамара и Виль перебежали полубезлюдную улицу. Потом остановились. Тамара взяла Вилю за плечи, повернула к себе и сказала:

— Вилька, дай я посмотрю на тебя. Первый раз посмотрю.

Вилька, освещенный сверху, стоял перед Тамарой счастливый, с лобастым, треугольником, прекрасным лицом. Тамара положила золотую голову свою на Вилькино плечо и тихонечко позвала его: — Вилька!..

Вот Игорь Менакян крупно шагает вверх по Неглинной. Рядом, почти повисая на его руке, прижимаясь к ней маленькой грудью, едва поспевает за ним Таня Чулкова.

— Менакян,— говорит Танечка,— ты можешь потише?

— Могу,— отвечает Игорь и сбавляет шаг.

— Менакян,— говорит Танечка,— я хочу отдаться тебе.

— Где же ты хочешь отдаться мне, дурочка?

— Где хочешь...

— Налакалась,— говорит Игорь и снова прибавляет шаг...

А вот Сережа Чумаков. Он идет притомленной походкой по глухому Колодезному переулку и в который раз думает про себя: «А ты неплохо, старик, провел сегодня вечерок. Бывало, старик, и хуже». Сережа не торопится домой, ему не хочется забираться в крохотную комнатенку

с обшарпанными обоями и урчащими по ночам канализационными трубами. Сережка живет один. Отца его арестовали за три года до смерти Сталина. Сережкина мать, вернувшись с юга и узнав об аресте отца, помешалась умом. Она жива и находится сейчас поблизости от Колодезного переулка, в больнице имени Ганнушкина,— худющая, остроженная, безумная. Когда Сережка приходит к ней, она не узнает его, единственного сына.

Не хочется Сережке домой, но он медленной, притомленной походкой все же идет домой по вымершему ночному переулку. «Нет, старик, вечерок ты провел неплохо»...

А Володя Саватеев мотается по ночной Москве в пустом грохочущем трамвае.

14

Бывший батальонный комиссар и начальник отдела печати Балтфлота Иннокентий Семенович Кологрив проснулся в середине ночи, полегал немного с открытыми глазами, потом, стараясь не скрипеть половицами, стал пробираться на веранду. Там он открыл кухонный стол, нашарил в хлорвиниловом мешочке колбасу, хлеб и стал жадно есть. Он хотел нашарить еще что-то и опрокинул чашку. От стука проснулась Елена Борисовна.

— Аня, что там на веранде?

— Папка ест,— ответила Аня.

— Ох ты, господи,— вздохнула Елена Борисовна, перевернулась на другой бок и тотчас же уснула.

Иннокентий Семенович, переживший ленинградскую блокаду, чуть было не погибший от дистрофии, до сих пор еще просыпается посреди ночи и начинает есть. До сих пор не может утолить голода. Приступы этого бедствия настигают его не только ночью, но и среди дня, после завтрака или обеда, в дороге и на службе и даже в разгар какого-нибудь заседания или собрания. Поэтому в карманах пальто, морского кителя, гражданского пиджака, в карманах брюк и в портфеле среди деловых бумаг у него всегда можно найти хлебную корку, огрызок копченой колбасы, завернутый в бумагу, сухарь, или печенье, или коробку с леденцами. Домашние Кологрива свыклись с этим наследием войны, а точнее — ленинградской блокады. Ведь в человеке все — и хорошее и дурное — появляется как наследие пережитого. Хотя домашние и свыклись и хотя недостатки Иннокентия Семеновича имеют свои причины, Елена Борисовна все же не оставляет их без внимания и как может борется с ними.

Утром Иннокентий Семенович в широкой полосатой пижаме принес из колонки свежей воды и начал беспокойно ходить по веранде, где Аня и Елена Борисовна готовили завтрак.

— Ну что ты, отец, мотаешься тут,— не выдержала Елена Борисовна,— погулял бы пока, прошелся немного.

— Правда, папа, может на станцию сходишь? — сказала Аня.

Кологривы ждали гостя — Алексея Петровича Лобачева. На последней кафедре Лобачев и Кологрив, впервые за время совместной работы, крупно схлестнулись. Но, как всегда бывает между хорошими людьми, этот конфликт впервые и сблизил их. Когда они немного отошли, успокоились, Алексей Петрович заговорил с Иннокентием Семеновичем. Состоялось объяснение. Во время объяснения Алексей Петрович сказал между прочим, что поколение двадцатых годов он считает для себя святым, и сослался при этом на книжку Тодорского «Год с винтовкой и плугом», читая которую, он плакал.

Признание Лобачева как бы перевернуло что-то в Кологриве. И хотя он говорил в ответ обычные слова: «Я очень рад, что ты так относишься

к нашему поколению, очень рад»,— хотя слова эти были обычными, Алексей Петрович заметил, насколько растроган был Иннокентий Семенович. Лобачев не знал, что Иннокентий Семенович не только считал себя, но и фактически был одним из тех святых бойцов революции. Когда Лобачев слушал рассказы или читал о таких людях, он становился растроганным.

Едва поспевая за бегущим днем, за потоком будничных забот и дел, два человека — белоголовый отставной полковник Кологрив и совсем еще молодой Лобачев — ничего по сути дела не знали друг о друге. И вот после крупной схватки эти люди прикоснулись друг к другу самыми заветными и, может быть, самыми больными уголками своих очень разных душ. И когда они прикоснулись этими уголками, в один миг поняли, что знают друг о друге все.

— Я очень рад,— сказал Иннокентий Семенович.— Очень рад. А то, что мы погорячились... Без этого не бывает...

Словом, сегодня Кологрив и его семья ждали Лобачева к завтраку.

— Может, сходишь на станцию? — повторила Аня.

— Но если он не придет,— сказал Иннокентий Семенович,— вы что, будете морить меня голодом?

— Господи, да не умрешь ты, сходи,— сказала Елена Борисовна.

А в это время Алексей Петрович уже открывал калитку из легкого штакетника и направлялся к домику, стоявшему в глубине двора. Лобачев был не один, рядом с ним, держась за руку, шел Саша, шестилетний сын Алексея Петровича. Когда они вошли на веранду, возник небольшой переполох: Кологривы на разные голоса стали выражать радость по поводу того, что Алексей Петрович вдвойне молодец, захватив с собой такого очаровательного сына, как две капли воды похожего на папу, хотя на самом деле Саша, как две капли воды был похож на маму. От радости люди всегда впадают в преувеличение. А Лобачев каким-то чутьем понимал, что Кологривы — Иннокентий Семенович, Елена Борисовна и Анечка — действительно были рады его приезду. «Значит,— подумал Лобачев,— у старика совсем нет друзей».

— Очень хорошо сделал, что приехал,— сказал Иннокентий Семенович, когда все уселись за стол.

— А ты, Сашок, не стесняйся, будь как дома,— сказала Елена Борисовна.— Анечка, поухаживай за Сашей.

Саша никого не стеснялся. Он был вполне современным молодым человеком — не шумным, не назойливым, но зато решительно не понимавшим, что значит стесняться. Ему было всего только шесть лет. У Саши пока еще не было никаких убеждений на этот счет, но у него было глубокое ощущение, что весь мир — это его родной дом. Поэтому, скажем, слово «нельзя» он понимал и принимал только в одном смысле: нельзя совать руку в кипящий чайник — можно обвариться, нельзя ложиться животом на подоконник, когда открыто окно, — можно вывалиться с одиннадцатого этажа и разбиться, — и так далее... Все остальные «нельзя», связанные с тем, что это неудобно, это нескромно, нетактично, а это вообще не положено, — такого рода «нельзя» он еще не понимал и не принимал.

Таня, жена Лобачева, часто говорила: «Сашенька, так нельзя, ты же воспитанный мальчик». Алексей Петрович в таких случаях молчал, потому что ему, человеку стеснительному, эта черта в сыне была симпатична. Лобачев к своему сыну относился с глубоким уважением. А Саша любил Алексея Петровича беззаветно и преданно.

— А он у нас не стесняется,— сказал Алексей Петрович в ответ на слова Елены Борисовны.

— Правда, Сашок? — спросила Елена Борисовна.

— Да,— просто и с достоинством ответил Саша.

Елена Борисовна улыбнулась и погладила Сашу по голове.

— Замечательный мальчишка! — сказал Иннокентий Семенович. — Ну, давайте за наше знакомство!

Все подняли рюмки, а Саша сказал:

— Папа, а мы вчера видели пьяного, он вот так качался и пел неправильную песню.

Все очень весело посмеялись и весело выпили за встречу и знакомство.

Иннокентий Семенович ел торопливо и жадно и уже не обращал ни на кого внимания. Крупная белая голова его низко перемещалась над столом, он близоруко набрасывался сразу и на холодную курицу, и на салат, и на бутерброды, запивал все это молоком и сорил вокруг себя. Иногда исподнизу скашивал на Алексея Петровича глаза, но при этом не переставал с хрустом разламывать курицу.

— Отец, — сдержанно сказала Елена Борисовна, — ну куда ты спешишь?! И не сори, пожалуйста...

Кологрив смахнул на пол крошки и поднял голову.

— Мать, — сказал он, разгоряченный действием, — налей-ка нам еще по маленькой.

Саша посмотрел на Иннокентия Семеновича, и ему стало смешно. Он счастливо, по-детски, рассмеялся.

— Тебе, брат, смешно, — сказал Кологрив, — а мне нет. Ты знаешь, — обратился он к Алексею Петровичу, — какое-то проклятье висит надо мной. Не могу насытиться.

— Да, — несмело пошутил Лобачев. — Трудно вас содержать...

— Поверите, Алексей Петрович, — поддержала Елена Борисовна, — вся зарплата уходит на еду.

Кологрив добродушно посмеялся над своим несчастьем.

Саша уже начал скучать, отказывался от всего, что предлагала ему вполголоса Анечка. Анечка говорила с Сашей вполголоса и немного краснела, потому что все время чувствовала, что за столом у них сидит Лобачев. Правда, Алексей Петрович был преподавателем, Сашиным отцом и вообще человеком семейным, но при всем этом молодым и довольно впечатляющим мужчиной. А молодые мужчины, даже и не очень впечатляющие, всегда почему-то беспокоят девушек своим присутствием. Видя все это, Алексей Петрович отпустил Сашу гулять. Тогда и Анечка ушла в свою комнату.

Разговор за столом шел о том о сем. Иннокентий Семенович ел уже спокойней, даже отвлекался от еды, чтобы вставить слово или замечание какое, или чтобы пошипеть немного, то есть посмеяться. Елена Борисовна рассказывала о своем житье-бытье. И, как бывает почти всегда в порядочных семьях, рассказывая гостю о своем житье-бытье, она слегка поругивала Кологрива, то поругивала, то как бы жаловалась на него. Когда Алексей Петрович несмело вступался за него, Елена Борисовна говорила еще настойчивей и решительней.

— Что вы, Алексей Петрович, — говорила Елена Борисовна, — вы просто не знаете его. Вы не глядите, что он с виду вроде солидный — ничего он не умеет, а главное — жить не умеет.

По словам Елены Борисовны выходило, что Иннокентий Семенович вовсе не умеет жить, ничего такого не добился, в то время как его товарищи сидят уже где-то высоко, имеют и то, и другое, и пятое, и десятое.

Иннокентий Семенович все отдает людям, взамен же ничего не получает, не умеет приспособиться, угодить начальству, показать себя с хорошей стороны там, где это нужно, и так далее.

— А в результате, Алексей Петрович, — развела руками Елена Борисовна, — ни квартиры у нас, ни положения.

Лобачев уловил, однако, во всех этих жалобах и обличениях Елены Борисовны как бы второй план, как бы подтекст, означавший совершенно противоположное тому, что говорилось. Согласно этому подтексту выходило, что Иннокентий Семенович — человек бескорыстный, порядочный, не рвач и не карьерист, и хотя мы не имеем ни квартиры, ни положения, слышалось в этом подтексте, — все же мы честные и порядочные люди.

В том, что этот подтекст был на самом деле, убеждало и то, как отвечал на все эти обличения сам Кологрив. Он вертел смущенно головой, часто шипел, как бы давясь смехом, иногда даже смеялся в голос. Словом, вел себя так, как ведут себя люди, когда их не порицают, а хвалят.

Но жизнь есть жизнь.

За текстом вы увидели подтекст и уже довольны своим умом и пронищательностью. А между тем это еще далеко не все. Вернитесь после этого снова к тексту и увидите, что и здесь есть своя правда, да еще какая правда.

Лобачев поглядывал на Елену Борисовну и невольно, понимая весь подтекст, снова и снова возвращался к прямому смыслу ее слов. Елена Борисовна сидела в ярком, хорошо отглаженном халате. Грудь ее держалась еще высоко, белая шея, и чистое лицо, и пышные волосы свидетельствовали о том, что ни отец Елены Борисовны, ни даже дед ее не пахали землю. Во всем облике Елены Борисовны, во всем екатерининском складе ее царственной фигуры угадывалась древняя белая кость. «Каким бы ни был подтекст, — думал про себя Лобачев, — а женщина эта имеет право на жалобы, ибо задумана была природой для другой жизни». Она задумана была по меньшей мере женой министра, ученого с мировым именем, видного дипломата, а может быть, и того больше. И поначалу так оно и складывалось, когда двадцатидевятилетний Иннокентий Кологрив, бывший чекист, взлетевший неожиданно и высоко по служебной лестнице, женился на блистательной красавице Леночке Жарковской. Поначалу все так и складывалось, как было задумано природой. Через два года Иннокентий Семенович был еще повышен в должности, а еще через два года в судьбе Кологрива, а следовательно и в судьбе Елены Борисовны, увы, произошли отклонения совсем в другую сторону. Слава богу, Иннокентий Семенович не был арестован, он был просто уволен с высокой службы и забыт там, наверху, навсегда. Пришлось начинать свой путь как бы сначала. Преподавал в одном из военно-морских училищ, работал в управлении Балтфлота и даже в Главпуре Военно-Морского флота. Но что-то, видно, не совпадало в характере Кологрива с тем, что требовали от него обстоятельства для успешного продвижения по служебной лестнице. Не додержав несколько месяцев до пенсии, Иннокентия Семеновича уволили в запас. И это было вторым ударом в судьбе Кологрива и его семьи. И то, что судьба эта сложилась именно так, а не как-либо иначе, вернее не так, как у бывших товарищей Иннокентия Семеновича, стоявших сейчас высоко над ним, — на всю жизнь и глубоко ранило Елену Борисовну. Та жизнь, к которой была предназначена Елена Борисовна, не состоялась и теперь уже — это стало абсолютно ясно — никогда не состоится. Вот почему не только подтекст, но и прямой текст речей Елены Борисовны содержал правду. И возможно, что прямой текст содержал этой правды больше, чем благородный подтекст.

Лобачев слушал Елену Борисовну, из вежливости соглашался с ней и, хотя шея ее была свежей, а вся она цветущей и внешне как бы счастливой женщиной, Алексею Петровичу было все же немножечко ее жалко.

После такого приятного и затянувшегося завтрака Иннокентий Семенович пригласил Лобачева пройтись по здешним местам, по излюблен-

ному своему маршруту к Москве-реке и обратно. Алексей Петрович хватился Саши, но сына поблизости не оказалось. Тогда он вышел за калитку, где сразу начинались сосны, и углубился в этот сосновый лес.

Он прошел по одной тропинке, потом свернул на другую и за каким-то поворотом и спуском услышал голоса. Саша встретил Алексея Петровича чем-то взволнованный. В руках у него был жидкий букетик лесных цветов, в которых он, благодаря маме-биологу, уже понимал кое-какой толк. Был он не один, за его спиной стоял мальчик с удочкой.

— Папа,— восторженно сказал Саша,— мы нашли вот такое озеро, и там бьются вот такие щуки! — Он схватил Алексея Петровича и потащил вниз по спуску.— А у Стасика есть удочка и хлебная корочка.

Лобачеву ничего не оставалось, как посмотреть и на это озеро, и на этих шук, к тому же втайне он надеялся раз-другой забросить удочку в это озеро и попытаться счастья. В этом Алексей Петрович не умел себе отказывать ни при каких обстоятельствах.

Тропинка привела их к забору из ржавых железных прутьев. Один прут был сдвинут и открывал в ограде проход, через который вела все та же лесная тропа. Они спустились по заросшему овражистому склону, и перед ними действительно открылось водное зеркало, опущенное густым лесом, и такое уютное, такое рыболовное, что у Лобачева сразу же забилось, заволновалось сердце. Только на мгновение он подумал об Иннокентии Семеновиче, но тут же забыл о нем, взял удочку, насадил хлебную крошку и, почти не дыша, забросил крючок в живую воду. Ребята насторожились, притихли. Поплавок качнулся, нырнул один раз, другой и пошел в сторону. Алексей Петрович подскочил и стал подтягивать к берегу что-то живое, сопротивляющееся. Рыба! Да, это был сытый, зеленовато-серый карпик.

— Я же говорил тебе! — воскликнул Саша и подал бидончик, наполненный водой.

Карпик стал плавать в бидоне, а ребята щупали его и взвизгивали. Потом Алексей Петрович выловил еще одного и еще одного. Карпикам было уже тесновато в бидоне, их было около десятка, когда Лобачев, уже освоившись с берегом, заметил в стороне, на небольшой плотинке, занятых каким-то своим делом рабочих. Они подавали Алексею Петровичу знаки, которых он не мог понять. Он их понял только тогда, когда за его спиной раздался тихий и очень благожелательный голос:

— Как успехи?

Лобачев оглянулся. Над ним стоял улыбающийся человек в сером плаще и в картузике.

— Здравствуйте,— сказал человек.

— Здравствуйте,— ответил Алексей Петрович.

— Клюет? — спросил человек.

— Вот посмотрите,— сказал Саша и поднял бидончик с карпами.

— Да,— сказал человек одобрительно.— Рыба тут есть.— И между прочим спросил: — Вы откуда?

— Да,— ответил Алексей Петрович.— Отсюда.— Но кивнул в ту сторону, откуда они пришли.

— Что-то не узнал я вас,— извинительно сказал человек.— Ваша какая фамилия?

Лобачев ответил.

— А-а-а,— сказал человек.— Ну, желаю удачи.

Он ушел. Карпики ловились дружно, ребята были довольны, а у Алексея Петровича как-то нехорошо стало на душе. Он и сам не мог понять — почему, но стало нехорошо. Человек, который разговаривал с ним, был одет так, что ни на кого не был похож, ни на отдыхающего, ни на рабочего, ни на служащего — серый прорезиненный плащик, картузик и ботиночки. И оттого, что Лобачев никак не мог определить этого

человека, ему стало как-то нехорошо. Пока он раздумывал над всем этим и подавлял в себе неприятное чувство, незаметно подошел опять тот же человек. Но уже не один, а вдвоем. Другой был немного поплотней первого, но во всем остальном ничем от первого не отличался.

— Ну, как успехи? — спросил уже знакомый человек.

— Да вот, — сказал Алексей Петрович, — еще поймал. — Он положил зачем-то удочку на берег, а Саша и Стасик стали наблюдать за поплавком.

— Это Лобачев, — сказал человек своему товарищу. — А проживаете вы здесь, значит? — спросил он Лобачева.

— Да, вот здесь, — кивнул в сторону Алексей Петрович.

— Это где же? — переспросил второй человек.

— Возле школы. Собственно, я в гости приехал к товарищу по службе, — ответил Лобачев.

— Папа, клюет! — сказал Саша.

Алексей Петрович взял удочку и вытащил еще одного карлика.

— Молодняк, — сказал первый, — не подросли еще. На большом пруду там крупней карп, а тут молодняк, в прошлом году запустили.

— А где большой пруд? — спросил Лобачев.

— За плотиной, — сказал человек. — Но там без разрешения нельзя.

— А тут? — спросил Лобачев.

— Тут тоже нельзя. Это санаторные пруды. Да и карпик молодой еще, для развода.

— А где можно получить разрешение? — спросил Лобачев.

Человек вроде обрадовался вопросу, с какой-то неожиданной готовностью отозвался.

— Разрешение? Это вот там. Мы сейчас пройдем туда, и вы попросите разрешение.

— Хорошо, — сказал Алексей Петрович. — Сашок, вы тут подождите, а я сейчас вернусь.

— Нет, ребят надо взять с собой. Знаете, то да се, еще заблудиться могут, малыши ведь.

— Я буду ловить, — запротестовал Саша. — Ты иди, папа, а я половлю.

— Нет, Сашок, пойдем вместе, — сказал Лобачев, а человек тут же поддержал его.

— Сашенька, — сказал он, — папу надо слушаться. Папа лучше знает, куда ему идти, а куда не идти.

— Может, карпиков выпустить? — догадался спросить Алексей Петрович.

— Да, — сказал человек, — лучше выпустить. Молодняк же.

Карпиков выпустили, и все вместе направились вдоль берега туда, куда вели идущие впереди два человека в серых плащах и картузиках. Когда они миновали плотину, показался большой каменный дом, рядом — ворота, а по другую сторону ворот — каменная будка, вроде заводского бюро пропусков. Лобачева пропустили в эту будку. Сашок вбежал первым и весело поздоровался с человеком, сидевшим здесь за канцелярским столом. Человек ласково ответил Саше, а потом обратился уже спокойное лицо в сторону Алексея Петровича.

— Сашенька, иди погуляй, — сказал Лобачев и присел на предложенное место, готовый отвечать на вопросы. Он сразу понял, что ни о каком разрешении не может быть речи.

— Надеюсь, Алексей Петрович, — сказал человек, — мы больше не встретимся на этих прудах?

— Думаю, что нет, — сказал Алексей Петрович и поднялся.

Лобачева вместе с ребятами выпустили через ворота. Пришлось возвращаться на дачу длинным окружным путем.

— Папа,— спросил Саша, как только они вышли за ворота,— получил разрешение?

— Нет, Сашок, не было человека, который дает разрешение,— соврал Алексей Петрович.

Шел он с ребятами по высокому крутояру, между бронзовых сосен, а внизу, в зеленом овраге, где бежала безымянная речушка, и дальше, за оврагом, земля была прекрасна, вся в зелени, в деревьях и в летних цветах. И над этой зеленью было высокое летнее небо в белой кипени облаков.

— Мы подумали: заблудились,— радостно встретил Иннокентий Семенович Лобачева с сыном и Стасиком.

— Так оно примерно и вышло,— ответил Алексей Петрович.

Лобачев оставил сына с его новым другом возле дома, попросил не заходить далеко в лес, а сам отправился с Кологривом по его излюбленному маршруту к Москве-реке и обратно.

Настроение у Алексея Петровича было восстановлено, и о своем происшествии он рассказывал уже весело, в лицах, и даже посмеиваясь над самим собой. Он рассказывал весело, в лицах, а Иннокентий Семенович, усмехнувшись, сказал: «Угораздило же вас...»

Лес кончился, а Лобачев и Кологрив по травянистой дороге пошли дальше через открытый луговой простор к ослепительно сверкавшей реке. Здесь уже не было никакой тени, и солнце припекало в спины, а в заречной стороне чуть заметно струилось марево.

Иннокентий Семенович рассказывал о себе, о своей жизни. Перед Лобачевым стремительно проносились в штурмах и митингах те далекие годы, новониколаевская, сибирская молодость идущего рядом с ним седого человека.

Алексей Петрович слушал Кологрива, как далекую, полузабытую, приснившуюся во сне шемящую музыку. Мальчишки в кожанках, с бомбами и маузерами, ночные облавы, операции по расчистке города от контрреволюции. А эти слова: «ЧОН», «РКСМ». А эта передовица из «Дела революции» — новониколаевской газеты «Внимание Южному фронту!». А эти слова из передовицы, написанной шестнадцатилетним Кешкой Кологривом: «...Разгромить полчища барона Врангеля, который угрожает России, и всей нашей боевой армией войти в светлые врата победного Третьего Коммунистического Интернационала». А этот двадцатитрехлетний председатель ЧК, гроза контрреволюции, эстонский паренек Махль. Ах, эти имена!..

В морозный декабрьский день девятнадцатого года по пятам разгромленных колчаковцев в Новониколаевск входят партизанские отряды Громова-Мамонова, а за ним регулярные красные части тридцать пятой дивизии под командованием Василия Блюхера и тридцать седьмой — под командованием Путна. Дивизии входили в состав Пятой армии молодого Тухачевского. Двадцатисемилетний командарм 5!

На морозной площади — митинг. Выступает представитель командарма 5. Объявляется запись в партию. В ленинскую партию РКП(б). И гимназист-подпольщик Кешка Кологрив на морозной, кипящей, митингующей площади родного города записывается в сочувствующие ленинской партии. А спустя полгода, в возрасте пятнадцати лет и трех месяцев, становится членом этой великой партии.

— Когда мне было двадцать пять,— разгоряченно сказал Иннокентий Семенович,— я чувствовал себя стариком. За плечами ЧК, комсомол, гражданская война...

А вот совещание при ЦКК-РКИ по проверке советского и партийного аппарата. Председатель Крымской областной комиссии Иннокентий Кологрив выступает с трибуны. В президиуме — Куйбышев, Петерс, Землячка...

— Мне двадцать пять лет,— повторил Кологрив,— но я чувствовал себя равным среди равных.

Лобачев вспомнил вдруг Елену Борисовну в ее свежем, хорошо отглаженном халате, ее пышную екатерининскую осанку, ее тайную горечь от несостоявшейся жизни, которую ей предназначила сама природа. Он вспомнил эту Елену Борисовну, ее жалобы с подтекстом и прямым смыслом и подумал, что за долгие годы тайная горечь Елены Борисовны, может быть, совсем незаметно просочилась в бойцовскую грудь Иннокентия Семеновича Кологрива. Сердце не камень, в него может просочиться и эта горечь...

Почему курильщику с большим стажем трудно, а порой и невозможно бросить курить, если он даже и решил на это? Сила привычки? Психология? Ничуть нет. Простая биология. Никотин, которым ежедневно травит себя курильщик, заставляет организм сопротивляться, вырабатывать для борьбы с ядом противоядие, антиникотин. Когда же организм научится хорошо и регулярно вырабатывать антиникотин, он, этот антиникотин, уже в свою очередь начинает требовать введения в организм никотина. Вы решили бросить курить, вы уже выбросили все запасы табака, выбросили на помойку свой «Беломор», но не тут-то было. Вырабатываемый в организме антиникотин требует своей порции никотина. Дайте яду! — вопит противоядие, вопит антиникотин, — иначе я сам стану ядом и разрушу вам организм. И вы сдаетесь. Постреляете раз-другой у товарищей, и вот уже в ваших карманах снова табак и спички, снова ваш любимый «Беломор», и вы начинаете подкармливать ваш антиникотин табаком.

Кологрив не курит. В бурной молодости, когда люди привыкают к табаку, Иннокентий Семенович как-то не нашел времени научиться этому пороку, он был занят революцией. Но его никотином стала тайная горечь Елены Борисовны, незаметно просочившаяся в сердце Иннокентия Семеновича. Начинало сосать под ложечкой, становилось как-то не по себе, появлялась раздражительность и даже неудовлетворенность жизнью. Горечь требовала себе какой-то непонятной пищи, и Кологрив, не отдавая себе в этом отчета, не сознавая этого до конца, начинал подкармливать просочившуюся от Елены Борисовны горечь созерцанием дачных заборов, за которыми жили известные писатели, художники, музыканты, где протекала неизвестная ему жизнь, предназначенная самой природой для Елены Борисовны.

Так думал Алексей Петрович, слушая Кологрива. Но, не осмеливаясь поделиться с ним своими путаными мыслями, он только спросил его:

— И зачем вам нужно снимать дачу в этих местах?

— Черт его знает! Сам не знаю,— развел руками Иннокентий Семенович.

А вот и река — в солнечных блестках, в изумрудной зелени берегов. И млеющие под белесым летним небом леса. Иннокентий Семенович остановился, набрал львиной грудью свежего речного воздуха.

— Все же хороша, черт возьми, эта штука, жизнь!

— Полностью с вами согласен,— немедленно отозвался Лобачев, потому что жизнь действительно была хороша — с ее легкими белыми облаками в высоком небе, с ее зеленой землей, с ее заботами и парадоксами, с ее вчерашними, сегодняшними и завтрашними буднями и торжествами.

(Окончание следует)



ДИОМИД КОСТЮРИН

• • •

Придет весна, снега сминая,
Люблю весну и потому,
Как долюбить — не понимаю;
Как надышаться — не пойму.

Я не для этого родился,
Чтобы считать с набитым ртом:
Раз — долюбил, два — набродился,
Три — надышался. А потом?

Наелся — значит, нужен отдых,
Ляг и усни и не проснись.
Предпочитаю быть голодным,
Голодным быть хочу всю жизнь.

Я парень с крепким аппетитом,
Хоть тыщу лет придется жить,
И все равно не стану сытым
И не успею долюбить.

Дышать полнее я стараюсь
И знаю, что ненадышусь,
Недопою, ненагуляюсь,
И в этом счастье, а не грусть.

Окраины

У деревень моих окраины,
У городов моих окраины.
В них вечерами зори впаяны,
Окраины мои, окраины.

Вы для меня лекарство крайнее;
Когда не помогают прочие,
В сплетенье переулков тайное
Иду порою предполночную.

Кварталы малоосвещенные,
Причудливо темнеют здания.
Шаги девчонок учащенные,
Как их дыханье при свидании.

Деревья осыпают шелестом,
Простенки меж теней колышутся.
Во что не верилось — поверится,
Что не услышалось — услышится.

Колесный перестук доносится,
И ночь от тишины оттаяна,
И песня на свободу просится:
Окраины мои, окраины.

• • •

Было просто, очень просто,
Было просто и обычно.
Осыпала листья осень
Около стены кирпичной.

На ресницы капли липли,
Морщились деревья в луже,
Ветер выл и кашлял хрипло,
Словно ветер был простужен.

Серый сумрак, ранний вечер,
Воздух влажный и проволглый.
Ты, в платок укутав плечи,
Говорила долго-долго.

И о том, что увлеченье
Было детскою причудой,
И о том, что без сомненья
Скоро я о нем забуду,

То, что верили мы в басни,
Что любовь навеки — слишком,
Но из слов твоих мне ясно
Стало видно: я — мальчишка.

И другим быть не сумею,
И тебя не позабуду,
И навряд ли повзрослею,
И жалеть о том не буду.

•

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ

РАССКАЗЫ

ВАНЯ ПЕСЕНКИ ПОЕТ

Гроыхает, подскакивает на булыжниках ржавая железная тачка, старинная тачка времен Днепрогэса, времен профессиональных грабарей, тачка о двойном чугунном колесе, с брезентовой лямкой-хомутом, тяжелая, крепкая, вечная... И толкает ее сутулый жилистый парень — наклонился, крепко ступает вывороченными рыжими сапогами, косая серая челка спустилась на лоб и мотается, как у лошади.

— Ваня пришел!..

И в деревне оживление, выходят из калиток бабы, мальчишки бегут, мужики высовываются, выглядывают через заборы.

— Здоров, Иван!

— Опять прикатил? У меня работенка имеется.

— И к нам, Ваня, зайди! Непременно зайди, слышь?

Мастер Иван, шабашник Иван, чернорабочий Иван катит свою тачку по деревне, улыбается, отвечает мужикам и бабам, видно — очень доволен, что его так встречают.

Через полчаса я вижу его на дереве, на сухой шелушащейся сосне. Переступая кривыми когтями-кошками, обвязавшись за пояс веревкой, он рубит ломкие, звонко стреляющие сучья, раскачивается вместе с макушкой дерева и там, в вышине, напевает что-то, слышен его стеклянный тенорок.

Ах, Ваня, Ваня, вернулся опять к нам... Тенькает в голубой выси топор, сучья стреляют, разлетаясь на куски, брызжет кофейной трухой сосновая кора, — Ваня песенки поет.

Обрублены сучья, скинута макушка, остался голый ствол — ржавая лохматая колонна метров двадцати вышиной. Ваня спускается вниз и прикидывает: куда положить эту колонну. Надо, чтоб она не задела крышу, не порвала электрические провода, не помяла грядки на огороде. Наконец место выбрано: Ваня подпиливает ствол у корней, подрубает, покачивает рукой!..

Не спеша, любовно трудится.

Вот уже покачнулся, уже сухо поскрипывает, хрустит в надрезе этот ствол, держащийся на последних волокнах.

Теперь — заключительный фокус. Ваня отмеряет шагами двадцать метров, втыкает в землю колышек. Еще раз примеряет. Прицеливается. И толкает дерево ладонью.

Ржавая колонна кренится, идет вниз, быстрее, быстрее, с гулом рассекает воздух, — вершиной своей попадая на колышек, мгновенно, одним хлопком, загоняя его в землю.

Дерево лежит между грядок и еще резонирует, гудит от удара. Счастливая, безудержная улыбка на лице Вани.

— Эт-та вот...— говорит он.— Вот как надо деревья валять.

— Ваня, ты, наверно, все на свете умеешь делать?

— Эт-та, понимаешь, никто не умеет — все на свете делать. А я чего? Я плотницкие работы могу, столярные там или чего по хозяйству надо.

По хозяйству в наших условиях многое надо. Пригородные деревни и поселки бедны, коммунальным обслуживанием не избалованы. Кривые заборы из горбыля, трухлявые колодцы, осевшие домики с заплатанными крышами, с самодельными террасками, обшитыми тарной досочкой. «Частный сектор», который сам строится, сам ремонтируется, даже сам флаги вывешивает на праздники... Много чего надо по хозяйству.

И Ваня это все умеет. Чистит колодцы, копает помойные ямы, подрубают нижние гнилые венцы, кроет крыши, заборы ставит, «валяет» аварийные сухие деревья, чинит крылечки...

У него клиентура по всему нашему району. Одинокие женщины, вдовы, старухи, мужики-инвалиды или просто неумейки, неспособные к ремеслам, зовут его, ждут не дождутся. Да и хозяйственные мужики приглашают: не каждый хозяин, к примеру, полезет в ледяную воду, чтоб углубить колодец (ревматизм схватишь, чирьи по телу пойдут), иные грязной работой брезгают.

Выручает Ваня.

— Эт-та, значит, я приду в четверг! — говорит Ваня, заноса для памяти адрес в записную книжечку. В этой книжечке — график работ, перспективные планы, все денежные расчеты: суммы, какие получены, авансы (не любит брать авансы, но иногда приходится), а также долги (совершенно не терпит работать в долг, но и это бывает).

Приходит точно в четверг, как обещано, вкатывает свою громыхающую тачку. В тачке инструмент: цепи, блоки, домкрат на пять тонн, спеццовка для грязных работ.

Дождь ли, метель, туман или мороз — все равно берется за дело. Дней, сактированных по причине погоды, — не бывает. Шутит: «Матч состоится при любой погоде!»

О ценах с ним не торгуются. У него свои, не подверженные колебаниям расценки, он лишнего не запросит, но и убытку не понесет.

— Эт-та, значит, работа стоит пять рублей, — говорит он и сразу объясняет, почему не шесть и не четыре: — Кубометр грунта вынуть, эт-та, два рубля. Теперь, значит, отвезти и на дороге раскидать — еще два. Грунт глинистый, тяжелый, значит, идет надбавка рубль.

Или так объясняет:

— Эт-та, значит, свалить дерево стоит четыре рубля. Почему? Оно, глянь сюда! — как неудобно валять, видишь? Все в проводах, а тут забор, а тут яблони. Я же отвечаю, если заденет. По частям буду валять, спускать на тресе. Оттого надбавка. И за высотные работы, когда, значит, я на высоте нахожусь и опасно — я, эт-та, рубль набавляю.

Обязательно договаривается:

— С обедом работаю или без? За твой обед, эт-та, скидываю рубль. Но — чтобы горячее первое и второе с мясом, сколько захочу.

Ест много, старательно, не стесняясь чавкать. Утирает со лба трудолюбивый пот. Добавки просит. В кармане всегда у него несколько крупных фиолетовых луковиц: обшелушивает и грызет их, как яблоки. «Полезно!»

После обеда заметно веселеет.

— Эт-та, берем союз-тачку. Кладем союз-мусор! (Шутит). Ну, поехали!..

У тачки гигантская подъемная сила, навали тонны две — не скрипнет даже. Ваня впрягается в хомут, от страшного напряжения чернеет лицо, костенеют жилистые руки... Пропахивая землю двойным колесом, катится груженая тачка, прет как танк.

— Вань, сколько можешь увезти?

— Эт-та, понимаешь, не могу сказать точно. Во, глянь сюда — ведь наклоняться надо, и у меня задние ноги оскальзываются. А то бы — много увез!

Не курит, не пьет, не ругается.

Однажды, на моих глазах, корчевал здоровенный пнище — подкопался, обрубил корни, поддел вагой. Пень медленно поднялся, как медведь на дыбы, но тут вага хрупнула, переломилась, и пень с тяжким вздохом пошел назад, всей тушей повалился Ване на спину. Я не успел подбежать. Ваня стал на четвереньки; обдирая спину, поднял на себе пень, отвалил в сторону. Сквозь разорванную рубаху темнели, наливаясь кровью, царапины на костлявой спине Вани.

И — хоть бы озлился, пустил выражение. Нет. Со смущенной ухмылкой осмотрел сломанную вагу.

— Эт-та, знаешь, не рассчитал... Во, союз-пень! Домкратом надо было.

Когда курят при нем, то норовит отвернуться, разгоняет дым ковшиком ладони. Мучительное выражение на лице: «Вредно ведь, гадость же... Как люди не понимают?»

Иногда после работы хозяйка подносит ему стаканчик

— Не. Спасибо, не пью.

— Да немножко, Ваня. Уж как полагается...

— Не.

— Да почему же?

— Эт-та, знаешь, невкусно, и голова потом болит, и вредно. Я лучше супу тарелку или, там, пироги на праздник. Полезней!

Очень беспокоится о своем здоровье. Не работает в домах, где кто-нибудь болен, даже в поликлинику не ходит (можно заразу подцепить).

Как-то взял у Забелкиных лестницу и вдруг узнал, что забелкинская дочка лежит в желтухе. Испугался. Притащил бидон керосина, вымыл керосином руки, облил всю лестницу и старательно протер тряпочкой — произвел дезинфекцию.

Но весной, когда приходится опрыскивать сады, спокойно ходит с желто-зелеными от яда руками, с заляпанным лицом. Рта не завязывает. Наглотается и детойля, и карболинеума, и прочей отравы.

— Ваньк, черт, осторожней!

— Не! — мигает желтыми ресницами. — Эт-та ничего... Наоборот, все микробы сдохнут.

После работы, вечером, с необыкновенной тщательностью отмывается. В холоде, раздевшись до трусов, босиком стоя на снегу, намыливается, плещет водой — только пар идет!

Вопит:

— С-с-союз-баня!..



Эдуард Юрьевич Шим родился в 1930 году в Ленинграде.

В войну был эвакуирован из осажденного города, жил в детском доме.

Шестнадцать лет поступил работать на завод. Служил в армии; переменял несколько профессий, много ездил по стране.

Выпустил книги: «Ночь в конце месяца» (1958), «Мартовский снег» (1962), «Пикет 200» (1963) и другие.

Публикуемые рассказы — из нового цикла «Прошлым летом».

Красил Забелкину дом, солидное строение, крытое шифером. (Краска синтетическая, тоже ядовитая, с чудовищным запахом; сам хозяин не решился красить). Над верхнею терраской, на коньке крыши, воздвигнут у Забелкина деревянный шпиль — граненая палка вроде флаштока над государственным учреждением.

— Эт-та, палку-то будем красить?

Хозяйственный Забелкин насутился, долго прикидывал: как решить? На крышу взбираться нельзя: шифер подавишь. Спереди не влезть: лестница коротка. Опять же стекла рискуешь побить.

— Нет,— сказал Забелкин.— Не будем. Хрен с ней, с этой палкой, она и так торжественно выглядит, без покраски.

Забелкин ушел в поселковый Совет, а когда вечером вернулся — недосягаемый шпиль сиял, как облизанный, зеленел свежей краской.

— Забрался?!

— Но.

— Дьявол, крышу попортил?! Я же приказал: не смей! За убытки высчитаю!

Однако и крыша, и стекла, и рамы оказались целехоньки; нигде ни царапины, ни следа гвоздей. Будто на ангельских крылах поднялся Ваня к недоступному шпилю.

— Как тебя туда занесло?!

— Эт-та, значит, секрет! — Ваня, перемазанный краской, глядел победно.— Думал я, думал — и придумал, как влезть. А то нехорошо. Люди посмотрят, скажут: не покрасил, не смог. Зачем про меня такое говорить? Я, эт-та, взял и покрасил.

У того же Забелкина углублял колодец на полтора метра. Дело жуткое: надо по горло в воде стоять, да еще поднимать наверх бадьи с мокрым песком.

— Один берешься?

— Но.

— Давай помогу! — сказал Забелкин расщедрясь.— Бесплатно помогу!

— Я, эт-та, лучше один.

— Сдурел?

— Лучше один. У меня способ свой... секретный.

Забелкин тарачился, потом сообразил:

— Дура! Боишься — я секрет подгляжу? Пойду колодцы чистить? Это я-то, депутат?!

— А что? — с полной серьезностью сказал Ваня.— Этим, значит, способом, ба-альшие деньги заколотить можно. Прямо бешеные деньги, если взяться.

Так и не позволил Забелкину подсмотреть, не начал работы, покуда все не ушли со двора.

Колодец углубил за два часа. Как в сказке.

Мечтает:

— Эт-та, в августе иль сентябре сделаю себе отпуск. На двадцать четыре дня. Надо мне в Рязанскую область съездить.

— Зачем, Ваня?

Жметя, молчит таинственно. А бледно-серые глаза в мечтательной дымке, в младенческой пелене.

— Родичи у тебя в Рязанской?

— Нет. Родичей нету.

Садится, неторопливо рассказывает, доверяясь:

— Куплю себе велосипед. Знаешь, хороший такой, дорожный. И поеду. Где захочу — там остановлюсь. Буду наблюдать, как люди живут.

Эт-та, пешком много не обойдешь, ног не хватит. А на машине, на автобусе, там — ведь не везде проедешь... Я-то хочу по тропиночкам, по всем деревенькам... Погляжу, как хлеб нынче. Как молоко там, или, знаешь, кукуруза. Я ведь, эт-та, не верю, чего говорят в газетах, по радио. Надо самому рассмотреть. Все увидеть надо!

— Да что увидеть-то, Ваня?

— Я ж говорю: как люди живут.

— А зачем тебе?

— Эт-та, надо знать. Непременно знать надо — к лучшему или худшему люди живут. Чтобы думать правильно.

В деревне гадают: отчего Ваня до сих пор не женат? Молодой еще, здоровый, собой не сказать, чтоб дурен, — а вот не ладится! Ухаживал за здешними, деревенскими: за Муськой Ширяевой, за Олимпиадой Высоцкой; бывало, принарядится, провожает вечером, вышагивает сбоку дамы своей и без умолку говорит, говорит...

Та и другая отказали.

Может потому, что странный какой-то Ваня, несовременный. Не курит, не пьет, в клуб на танцы не ходит... Что у него на уме?

Может потому, что не стесняется Ваня работы своей. Надо бы помалкивать о шабашках, скрывать конфузную профессию (нормальные люди так и поступают). А Ваня, святая простота, с улыбочкой выкладывает — у кого работал да что чистил.

Может, пугают невест Ванины странные мечты, непонятные поступки. Вот, например, когда валяет деревья, не заденет веточку яблони, не помнет огуречный листок на грядке. А цветы топчет не жалея. Как ни проси, все равно хладнокровно дробит сапожищами, перемешивает с землей.

— Зачем же ты, Ваня?!..

— Ну их! — И вдруг обернется, боль в потемневших глазах, отчаяние. — Эт-та, знаешь, кладбище напоминают.

«Вьется в те-еснай печурке а-агоны!.. На поленьях смола, как слеза-а!..» — над тихой полдневной деревней плывет тенорок. Бездумно тоскует, жалится... Ваня высоко на дереве — прилаживает Балушкиным телевизионную антенну. Работы немного, давно бы кончить пора, а он все копошится, не слезает вниз. «...Да тибя мне да-ай-ти нелегко, а до смерти... четыре-ре... шага!»

— Вань!

— Но?

— Давай тебя на магнитофон запишу.

Вдруг невероятно конфузится, пятнами краснеет лицо, какое-то странное, настороженно-злое и вместе с тем — беззащитное выражение в глазах.

— Вань, давай, а? Послушаешь себя.

Замкнулся, молчит; со злостью швыряет инструменты в тачку. От благожелательности, от привычной ухмылки следа не осталось.

— Ты чего, Вань? Обиделся? Вот чудак, я же не хотел обидеть. Мне правда нравится, как ты поешь.

Глядит испытующе: верить или не верить? Не поверил, ушел насупленный.

Вечером, когда уж забыт этот разговор, неожиданно приходит, садится на крылечко. Ленивая беседа, когда толковать, собственно, не о

чем: погода, жара, то, се... Наконец, отвернувши лицо, ковыряя ногтем подметку сапога, медленно говорит:

— Я, эт-та, при людях петь не могу. И по заказу не могу. Только для себя могу, когда работаю и, эт-та, знаешь, увлекусь очень...

В детстве, рассказывают, у него был замечательный голос. По большим праздникам приглашали, упрасивали поехать в Загорский монастырь (а там, в знаменитом хоре, особенные требования).

Выступал в школе, в Доме пионеров, на всех концертах самодеятельности. И все было недостаточно, хотелось еще петь. Собирался пойти в консерваторию.

В сорок первом попал под бомбежку и стал заикаться.

Вроде ничего страшного не случилось, жив-здоров, не ранен, не контужен, и голос остался прежним, и слух. Но по какой-то непостижимой причине начал как будто спотыкаться в разговоре, перехватывало горло, и даже не горло, а где-то в мозгу вдруг темная вспышка, мгновенное беспомыслие. Скажешь слово, а дальше — провал, тьма. При людях совсем трудно говорить. Внезапно исчезает первое слово, надо мучительно вспоминать, а потом выталкивать с раскачкой, будто с разбегу... Ваня каждую фразу начинал с механического присловья «это», — пока произносил его, пока проталкивал сквозь непослушные губы: «эт-та»... «эт-та»... — ломался внутри барьер, появлялось нужное слово.

О пении — думать нечего. Мать повезла было к врачам, мотались от одного специалиста к другому. Первый врач выписал порошки и уколы, второй советовал принимать солнечные ванны и кушать витаминную пищу, третий обучил словесным упражнениям, попробовал гипнотический сеанс. Затем сказали: может, в дальнейшем, на каком-то этапе, пройдет само...

Жить не хотелось. Бросил школу, старался не видеть людей. Когда удалось паспорт получить — ушел из колхоза, нанялся сторожем на гранитный завод. Тут еще можно было существовать: сиди ночами в пустой вахтерке, топи печку; люди утром на завод, ты — с завода.

А потом в семье несчастье — отец инвалидом стал. На зарплату сторожа не прокормишься, Ваня подрабатывать начал. Чем грязнее работенка, тем лучше. Никто с разговорами не пристанет, близко не подойдет. И главное — ты сам себе голова. Если неведомо что делается, чересчур тошно, плюнул, и был таков.

Исподволь наловчился плотничать, столярничать, завел инструмент. Клиентура появилась, и уже привык, и уже нравилось взбираться на какую-нибудь елку, превозмогая собственный страх, нравилось поглядывать на приплюснутые домики внизу, на игрушечных, как оловянные солдатики, людей; нравилось хитро рассчитать, с аттракционной точностью положить дерево... И однажды качался на самой макушке, в потоке ветра, среди полошущихся веток; глядел, как навозно-рыжая весенняя земля кренится и будто летит под ним; потюкивал, играл топором в счастливом азарте, — и вдруг понял, что поет. Песню поет!

Оцепенел от неожиданности, умолк, бросил работу. Проверить побоялся. Даже отчетливо подумать не разрешил себе — страшно... По деревенской улице дачники шли, спросили о чем-то. Он хотел ответить — но провал, тьма, только механически бьется на губах: «эт-та»... «эт-та»...

Лишь потом, перемучавшись, множество раз испытал себя, он догадался, что происходит. Он может петь, но только в одиночестве, в том полузабытьи, какое дает азартная работа. Может бездумно, безотчетно распевать — вот так же, как птицы, как дети поют для самих себя; но стоит очнуться, осознать — слова пропадают, рвется песня.

Нынче прислали за Ваней машину, черную «Волгу» с занавесочками. Главный инженер завода требовал Ваню к себе: аварийное дерево нависло над коттеджем.

Главный был дома и самолично наблюдал весь технологический процесс «валяния». Дерево прочертило в воздухе сложную кривую, оно увертывалось от препятствий — и точно хлопнуло по колышку.

— Всегда так получается? — спросил главный.

— Но! — сказал Ваня с достоинством.

— Мне монтажники нужны. Пойдешь на хороший оклад?

— Эт-та — я?!

— Ты, ты. Анкета чистая?

Ваня размышлял несколько дней. Конечно, предложение лестное. «Дурило! — кричал Забелкин. — Двумя руками хватайся! Это выигрыш! В лотерею! Оклад в двести рублей, отпуска, путевка в санаторий! По бюллетеню будут платить! Беги живой ногой!»

И Ваня решил. Продав Забелкину тачку, продал домкрат; исчез, больше не появлялся в деревне.

Проезжая мимо завода, я частенько вспоминал его. Завод современный, богатый, за бетонной оградой меж сосен красуются новые корпуса. Светлая облицовочная плитка, современные козырьки над подъездами. В сплошных окнах по вечерам — нежно-лиловое трепетное сияние люминесцентных ламп. Где-то в этих корпусах, в электронном царстве, трудится теперь Ваня.

Он вернулся месяца через два. Пришел, как на шашку, — в тех же кирзах, в заштопанной ковбойке, под мышкою — грязная своя спецовка, завернутая в газету. Чуть смущен, обрадован; с такою физиономией возвращаются домой, отсидев пятнадцать суток.

— Уволили?!

— Не... Я сам.

— Сам ушел?

— Но. Эт-та, понимаешь, там приятно... Платили, как обещано, столовая — первый сорт. И работа ничего, чистая, везде кафель, как в бане. Аппараты стоят, приборы, все — дорогие... А я, эт-та, наверху сижу, под крышей. Там конструкции собирают, фермы такие, и вот надо вниз спустать. Чтобы точно! Промахнись, тогда убытку на миллион... А я что? Я могу. Взял, опустил... Практика у меня. Все хвалят.

— Ну так почему же ушел-то?

— А, эт-та, работы мало. Людей, понимаешь, много, работы мало. Вот и говорю начальнику цеха: я, мол, уйду лучше... — Подумал, повспоминал. — И-и, народу! Толкутся!.. Плюнуть нельзя, на голову попадешь. — Еще подумал, наморщась. — Может, вернусь когда... Не знаю. А пока здесь буду.

В тот же день пошел выкупать у Забелкина тачку и все инструменты. Забелкин, осердясь на человеческую дурость, на безалаберность, не хотел отдавать. Даже за двойную цену.

Еле Ваня выпросил.

А совсем недавно снова зафорсил Ваня. Надел габардиновый костюм со смятыми от долгого лежания лацканами, надел трикотажную сорочку, ботинки на коже. Через руку переброшен югославский плащ, весь переливающийся из синего в зеленое, как нефтяная пленка на луже.

Не работает, идет по деревне гладко выбритый, причесанный, скрипит кожаными подошвами. Оказалось — сватается.

Понравилась Катя Лапшина, судомойка из стационарного буфета, и,

бидать, сильно понравилась: днями торчит Ваня в дощатой «тошниловке», в непроглядном табачном дымище, среди пьяненьких посетителей. Терпит ругань, терпит насмешки. Провожает Катю домой и что-то все говорит, говорит, пока идут на платформу, пока ждут поезда...

Катя уже вдова. У нее рыхлые, распаренные руки и такое же рыхлое, пористое, одутловатое лицо с подтекающими крашеными ресницами. Она громко смеется, закидывая голову: «Хо-хо-хо!..» С Ваней совсем не церемонится: в буфете, неся батарею пивных кружек, отпикивает локтем — не стой на дороге! А когда ждут на платформе поезда, Катя все отодвигается, отступает на шаг, делает вид, что незнакома.

Ухаживанье кончилось неожиданно.

Депутат Забелкин несколько лет воевал с «тошниловкой», писал в газеты, требовал закрыть этот рассадник алкоголизма. И уже отчаялся, плюнул, как внезапно рухнула твердь. В каком-то управлении или торге приняли меры. Моментально снесена жалкая «тошниловка», на двух грузовиках привезли трубы, за день свинтили каркас, покрыли парусиной с фестончиками, вздернули вывеску — возникло на поляне воздушно-прекрасное сооружение — кафе «Лето»... Спиртным больше не торгуют, одни бутерброды и чай. Но напротив, только дорогу перейти, — сельмаг, на полках злодейская жидкость светло и маняще поблескивает в бутылках... И прежние разговоры в кафе, за пластмассовыми столиками, прежние компании, все прежнее. Только вот Катя исчезла.

— Куда ж она подевалась?

— Я, эт-та, не могу точно сказать. Не знаю.

— Да как же, Вань?! Ты домой-то к ней заходил?

— Не. Она не позволяла. Ну, эт-та, стеснялась, что ли. Сойдет в Меньшеве, а я, значит, обратно еду. И не знаю теперь, где живет.

— Ну, Ваня, что ты! Порасспрашивай!

— Не.

— Почему?

— Я ведь, эт-та, как сказать... Сам больше не хочу. Я к ней, если подумать, неподходящий. Тогда зачем?

Осень, осень. Лиственницы в желтом пуху, рябина оголяется, сыплет вниз и сморщенные листья и сморщенные ягоды. Туманы дымят по утрам.

Ваня высоко на березе, почти не видна его фигурка в тумане; кляцнет со звоном топор, упадет вниз сучок, сбивая непрочную подсохшую листву. Тук-тук... Тук-тук. «Вьется в те-есной печурке а-агонь!.. На поленьях смола-а, как слеза...»

СТУЧИТ СЧЕТЧИК

Уезжает из нашей деревни Женя Высоцкий.

Суматоха, суматоха, еще не успели собраться, еще укладывают Женькины вещи в мягкий клетчатый чемодан на молниях, еще связывают ремнями Женькину постель, еще трясут в саду яблоню — «штрифель», собирая твердые кособокие яблоки на дорожку, а у отворенных ворот стоит «Волга», невозмутимо, равнодушно сидит в ней таксист в фуражке с кокардой, и отчетливо тикает, выбивает копейки неумолимый счетчик...

— Уже три рубля десять копеек! — объявляет Шурка Легошин, заглядывая в кабину. — Три рубля одиннадцать... Три двенадцать!..

Шурка объявляет торжественно, многозначительно, как тот мифический голос, что отсчитывает секунды перед запуском ракеты. Вот доберется до четырех или пяти рублей, крикнет: «Пуск!!» — и, рывкнув, сорвется с места дымчато-голубая новенькая «Волга», скользнет по шоссе, исчезнет, и только грохот раскатится окрест да вспухнет двумя бороздами пыль...

Все торопятся, кроме Жени Высоцкого. Он моется у колодца, снял нейлоновую мутно-прозрачную рубашечку, расставил ноги в сандалетах, аккуратно поплескивает воду на грудь себе, на шею, в подмышки. Все видят, что не торопится Женя. Что ему теперь эта домашняя суета, жалкие хлопоты, что ему дымчато-голубая «Волга» у ворот, что ему копейки на счетчике? Ерунда.

Ведь никто из деревенских не знает, что Женя сам попросил Шурку Легошина выкликать рубли и копейки на счетчике: «...Будь другом, Шурка! Иначе полдня будут копать!» Не знают об этом деревенские и только любят невозмутимостью Жени.

То и дело подбегает к нему растрепанная, взмокшая, с растерянно остановившимся взглядом мать, спрашивает: «Женечка, там носки шерстяные... я их заштопала... положить?», «Женечка, а школьные тетрадки свои не возьмешь?» Он смотрит на нее с жалостью, как старший, отвечает: «Мать, плюнь ты, ей-богу, ничего мне больше не надо!» Мать улыбается виновато, стыдливо, но затем вновь прибегает и вновь о чем-то спрашивает.

— Четыре двадцать две! — кричит от машины Шурка Легошин. И мальчишки, сбежавшиеся к воротам, шумно переживают это сообщение.

Посмеиваясь, Женя Высоцкий идет к дому. Поднимается на крыльцо, оборачивается, смотрит на двор. Маленький двор чисто прибран, только везде чувствуется женская рука: колодец вместо крышки завешен старой клеенкой, заборчик подперт неошкуренным березовым колышком, оторванная ставня привязана цветной тесемкой. Собачья конура тоже обвязана веревками и укрыта сверху гофрированными картонками из-под яиц.

Женя смотрит на все это, а я вспоминаю, как он говорил мне умудренно, со снисходительной откровенностью: «Ребенку, знаете, и колыбель кажется просторной, но когда вырастешь — мир становится тесен...»

Тесна сделалась Жене деревня Куркино. Пока был мальчишкой, неисследованной страной казался этот маленький дворик; таинственны и чудесны были сады, рощицы, тихая речка Воря; необъятны были окрестности... Все кончилось. Вырос мальчик, целый мир у него под ногами.

Никто не осудит Женю. Он уходит, как многие ушли из деревни Куркино. Кто — на учебу, кто — на работу, кто — в более веселые места. И Жене повезло: поступил в ансамбль песни и пляски, стал артистом, за границу поедет. Теперь в Москве комнату получил...

— Четыре пятьдесят! — кричит от машины Шурка Легошин. И суматоха в доме еще усиливается.

Повезло Жене. Многие хотели бы переселиться, да не могут. Существуют безо всякой перспективы; живут — и не знают, что будет завтра.

Завтра, может быть, исчезнет деревня Куркино с лица земли. Все ближе подвигается к ней громадный машиностроительный завод; когда-то был он далеким, из-за роши труба не выглядывала и чуть слышен был, едва доносился по утрам гудок. Теперь неудержимо расширяется завод, перешагнул через шоссе, захватил колхозное поле, где на памяти Жени капуста росла, где мальчишки драли горох; над рощей встали бетонные корпуса, подъемные краны; теперь слышны в Куркине и грохот железа, и рев двигателей; пелена дыма зависает над деревней, и уже совсем близко, почти вплотную, строят поселок для заводских ра-

бочих... Вполне возможно, что лет через десять будет тут современный небольшой город — с магазинами, стеклянными кубиками парикмахерских, с неоновой рекламой, с модными девочками, гуляющими по асфальтированной набережной. И назовут это культурное поселение Звездоградом — юный город Звездоград...

— Четыре шестьдесят пять! — кричит Шурка Легошин.

Мать Жени Высоцкого тоже уедет. На Украину переберется, к старшей дочери. Дом хотели продать; все лето на телеграфных столбах выцветали от солнца объявления, написанные карандашом. Желающих купить почти не было. А кто приходил, так оставался недоволен. С виду еще крепкий дом, а тронь его — начнет сыпаться; вон на чердаке будто мучной пылью запорошено, шашель, жучок-древоточец... Нет, нельзя трогать дом с места.

— Четыре семьдесят пять! — кричит Шурка Легошин.

Женя уходит в дом и через несколько минут возвращается совершенно одетый, в пиджаке с разрезами по бокам, при галстукке. Сзади торопится мать, несет клетчатый разбухший чемодан; сестра Олимпиада тащит корзинку с яблоками и трехлитровую банку огурцов; соседки, помогавшие укладывать вещи, тоже поспешают сзади, несут увязанную постель.

Таксист с равнодушным, непроницаемым лицом открывает багажник. «Тут у вас чисто? Не испачкаем?..» — суетливо спрашивает мать, а таксист, не отвечая, привычно кидает вещи в багажник, уплотняет, приминает, с маху захлопывает крышку.

— Ну... — говорит мать, снизу вверх глядя на Женю. — Попрошайся. Все-таки родной дом... Сколько прожили... — У матери дрожит подбородок, она утирает губы. Мать растеряна, подавлена — наверно, ей кажется, что проводы неудачны, что-то вышло не так, самое главное забыто, упущено... Но уже поздно поправлять. Стучит в машине счетчик, ждут провожающие, соседи стоят у калиток, смотрят. И мать, конфузясь, сердясь, еле удерживаясь от слез, повторяет: «Ну, прощайся же!.. Прощайся!..»

Теперь я вижу, что и Женя торопится. Ах, как хочется мне, чтоб он сейчас опомнился, хоть на минуту опомнился, чтобы взяли верх естественные, добрые человеческие чувства! Нет. Женя раздражен, слишком затянулись сборы, почти пять рублей на счетчике (не очень-то выручил Шурка Легошин). Жене поскорей надо отделаться от родных и соседей, поскорей кончить слезную процедуру, это прощанье с родным гнездом.

— Хорошо, мать, хорошо, — говорит он быстро, успокаивающе и обнимает за плечи мать и сестру.

— Да обойди дом-то... Последний раз...

— Ладно, мать. Не стоит. Может, еще заеду на днях.

— Хоть с Дозором-то попросайся! Слышишь, он лает?

— Ладно, мать. Будьте здоровы!

Мать смотрит на него, не решаясь обнять при людях, а затем принимает к нему вся, повиснув на его плечах, трется мокрой щекой о пиджак, всхлипывает, хочет сказать что-то — и не может... Он тихонько снимает с себя ее руки, отодвигается. «Ну, мама... ну, ей-богу...» И откровенное нетерпение в голосе.

Таксист разворачивает машину. Пригибая бампером траву, стреляя колечками дыма, «Волга» вылезает на дорогу, медленно идет по ней. Таксист ерзает на сиденье, садясь половчее.

— Ну, прощайте!

Женя догоняет машину, открывает дверку, ныряет внутрь; вот дверка захлопнулась, мягкий рывок, «Волга» берет разгон...

— Женя!.. Женя, подожди!.. Я забыла, Женечка! Ольга, беги, удержи его! — Мать кидается к дочери, протягивает руку за машиной.

— Стой!! — радостно вопит Шурка Легошин.— Забыли чегой-то!..

Мать суетливо бежит в дом; видно, как она задыхается, как прихрамывает от спешки; платок сбился на затылок, растрепались волосы. Она взбегаёт на крыльцо, помогая себе руками, подтягиваясь за перила; соседки бегут следом — на всякий случай.

«Волга» затормозила. Женя, беззвучно ругаясь, выскакивает на дорогу и шагает назад, к воротам. Вот, наконец, появилась из дому мать. Я вижу что-то в ее зажатом кулачке: это деньги, несколько рублей, сложенных так, как дети складывают фантики.

Женя встречает ее на дороге, укоризненно качает головой, смеется, но потом все-таки берет деньги. И несколько секунд мать и сын стоят на белом песчаном шоссе, друг против друга,—невольная заминка, когда говорить больше нечего, а разойтись неудобно. Мать оборачивается к дому, Женя тоже оборачивается, машет рукой...

Догоняет машину, и «Волга» скрывается за поворотом.

...Вот соседи разошлись по своим дворам, убежали мальчишки, мать вернулась в дом. Пуста улица. Мы с Шуркой Легошиным бредем по дороге, загребая ногами горячую пыль.

— Везет людям! — говорит Шурка.— Мне бы так...

А я представляю себе, как радуется сейчас Женя Высоцкий, как он облегченно спокоен, благодушен; закуривает сигарету с фильтром, открывает в машине ветровичок; смотрит на последние проносящиеся мимо домишки, на текущие назад кривые заборы, белье на провисших веревках, глинистый пруд за околицей, где лежат разошедшиеся бочки и берега пестры от гусяного пуха,— и уже счастливо, свободно повторяет самому себе: прощай, прощай...

А счетчик бьет, все, все подсчитывает.

ДЕМКА И МАРУСЬКА

Нынче в нашей деревне появилась очень смешная корова. Ее зовут Маруська, она комолая, вислопузая, на кривоватых ногах и похожа на большую таксу. И цвет у нее какой-то необыкновенный, почти лиловый. Маруська ходит в ошейнике с блестящей колодезной цепочкой и на этой цепочке таскает за собой восьмилетнего Демку Зуева.

В дождь и ведро, все летние месяцы можно видеть около нашей деревни мальчишка с коровой. Каждый день совершают они свой привычный, неизменный круг — медленно бредут по канаве вдоль шоссе, выходят к железнодорожной станции, потом к березовой роще, мимо глухого зеленого забора санатория, спускаются к речке, огибают Журкину гору и опять возвращаются в деревню, только с другой стороны.

Корова привыкла к этому кругу, не боится деревенских собак, не боится грузовиков на шоссе, гремящих поездов. Лишь иногда ей не понравится какой-нибудь прохожий человек — она ставит хвост палкой, нагибает свою комолую лопухую башку и норовит боднуть. Демка Зуев, ухватив цепочку обеими руками, откидывается назад, упирается, бороздит пятками пыль на дороге.

— Мар-руська, стой!! — кричит он.— Стой, кукла! Кому говорю?!

Зуевы долго не решались покупать корову. Хоть теперь и сенокосы отводят, и с концентратами полегче, но Зуевы не торопились, приглядывались. Корова — она больших денег стоит... Последние годы отец Демки, Константин Зуев, разводил белых мышей. Помню, как от зуевского сарая несло диким звериным духом, будто в зоологическом саду. Дважды в неделю Зуев-старший, взгромоздя на велосипед фанерный

ящик с мышами, отправлялся в город: сдавать приплод какому-то медицинскому учреждению. Невелик доход с мышей, но — все ж таки...

А нынче не вытерпел Константин Зуев, ликвидировал мышиное поголовье, собрал все наличные деньги и откуда-то издалека, из-под Переславля-Залесского, привел себе лиловую Маруську.

Неказисто выглядела корова, да это не беда. Не картины с нее писать. Гораздо хуже, что Маруська оказалась с придурью; в первый же день прибежал к Зуевым пастух, закричал, что Маруська гоняется за другими коровами, как гончая собака, все стадо разогнала, справиться невозможно, пусть хозяева забирают ее обратно и делают, что хотят...

— Кого ж ты купил?! — сокрушалась Демкина мать. — Это разве корова? Не мог смирную выбрать?

— Поди, — отвечал отец, — выбери смирную! За наши купилки!

Наверно, и впрямь — не было у отца другого выбора. Демка отца пожалел и согласился пасти буйную Маруську.

Первое время побаивался Демка, но скоро привык, и ему даже понравилось. Сосредоточенный, важный, шагал он за Маруськой, дергал цепочку, покрикивал: «Давай налево! Ну?.. Стой, кукла, кому говорят?!» И было видно, что командует он просто так, из одного удовольствия; точно таким манером, таким голосом покрикивают мальчишки на толстопалых щенят, попавшихся им в руки. Но тут был не щенок, даже не взрослая собака, — громадная лиловая туша с клеенчатыми сопящими ноздрями, с голубыми глазами по яблоку величиной, с раздвоенными копытами, с необъятным пузом, на котором проглядывали ветвистые жилы, словно реки на школьном глобусе, — вся эта махина подчинялась Демке. И сладко было, прекрасно было командовать, проявлять над нею всемогущую власть.

Горделиво шел Демка по деревне, нарочно задерживался у клуба, у станционных ларьков — чтобы народ поглядел. Ни у кого в деревне больше нет такой злющей коровы, только у Зуевых есть, и командует этой коровой он, Демка, как хочет командует — может завести ее хоть в промтоварный магазин.

Веселился Демка (в душе, конечно), когда Маруська торчком задирала хвост и лезла бодаться. «Стой!.. — грозно кричал Демка. — Я тебе!!» — и спасал от увечья баб с ребятишками.

А когда шел вдоль железной дороги и проносились над ним электрички и дальние поезда, обдавая ветром, крутя под колесами бумажный мусор, — Демке казалось, что пассажиры тоже на него смотрят, выглядывают из каждого промелькнувшего окна. И жалеют, что нельзя как следует разглядеть храброго мальчика с коровой.

Только удовольствие было недолгим. Деревенские наши ребята стали над Демкой посмеиваться, чем дальше — тем ехидней, называли «пастухом на цепочке», «маруськоносителем». «А вон идет корова с тельником! — орал Шурка Легошин. — Теля, теля, теля! Му-у-у!»

Демка напускал на себя равнодушный вид, но все-таки становилось обидно. К тому же он понял теперь, что все мальчишеские летние радости для него кончились. Уже не покатаешься на чем-нибудь велосипеде, не сбегаете на плотину искупаться, не пойдешь с мальчишками класть пистоны под колеса поезда (после пистонных выстрелов надо моментально удирать, а куда удерешь с коровой-то?). Даже в клуб на детское кино, на дневной сеанс, — и то Демка не может попасть. Что это за жизнь?!

Демка пожаловался отцу. «Ты эти мысли брось! — недовольно сказал Зуев-старший.— Я в твои годы землю пахал! Понимать надо, какое у нас материальное положение!»

Первые дни со вкусом Демка пил пузырчатое сладкое молоко. Вкусно было. А спустя месяц глаза б его не глядели на это молоко, противны сделались и мокрый домашний творог, и разные сметанки. «Обтрескался!» — удовлетворенно сказал Зуев-старший.

Маруську выгоняли со двора на восходе солнца. До семи часов за нею ходил отец, а затем наступала очередь Демки. Сердитый, невыспавшийся, выходил он на улицу, и уже отвратительной казалась ему лопухая коровья башка, с ненавистью глядел он на коровье брюхо, эту ненасытную утробу, которую никак не набьешь... «Теля, теля! Му-у-у...» — орали по деревне мальчишки.

— Но, кукла безрогая! — шипел Демка, волочась на цепи.

Маруська оглядывалась на него и шумно сопела блестящими клеенчатыми ноздрями.

Они совершали свой дневной круг, брели по канаве вдоль шоссе. В это время на переезде опустился шлагбаум, и длинная вереница машин — легковушек, грузовиков, автобусов — скопилась на дороге. Рычали, дымились перегретые моторы, квакали гудки, шоферы выскакивали из кабин — поглядеть, отчего пробка.

Демке надо было перейти шоссе, и он погнал Маруську в узенькую щель между машинами. И тут, на горе-злосчастье, встретился ему диковинный заграничный автомобиль: весь белый, низкий, почти лежащий на асфальте, раскрывший никелированную пасть с четырьмя выпуклыми фарами... И не хочешь, да зазеваешься!

За красной баранкой (мокро лоснящейся, будто ее облизали) сидела молодая женщина в мужской рубаше. Волосы у нее были распущены, как после бани. Рядом дремал морщинистый загорелый старик, остриженный под нулевку, с косыночкой на голой груди. А сзади них сидели дети. Уйма детей разместилась в глубоком просторном багажнике — во все стороны торчали локти, колени, косички с бантами, затылки, поблескивали очки...

Демка уставился на автомобиль, а все детские головы повернулись и, сверкая очками, уставились на корову.

— О!.. Коу! Коу! — закричали дети восторженно.

Старик вздрогнул, проснулся, что-то сказал на иностранном языке, — видимо, умирал детей. Но их трудно было усмирить. Они уже сыпались из машины, с обеих сторон, и через минуту прыгали под самой мордой Маруськи. Они вырывали друг у друга какую-то белую палку, вроде тех, какими играют в лапту. Вдруг палка согнулась, и Демка сообразил, что это белый пшеничный батон. Дети, оказывается, хотели угостить корову.

— Не надо! — сказал Демка.— Она этого не ест!

Но Маруська уже закусила конец булки, а за другой конец держался самый отчаянный из детей (не то парень, не то девчонка в цветных брюках до колен) и постанывал от восхищенного ужаса.

— Фу!.. — закричал Демка.— Маруська, пошли!

Из автомобиля доносилось торопливое стрекотанье: это старикашка навел киноаппарат и заснимал кормление коровы. Из ближних машин повылезали шоферы, пассажиры, собиралась толпа. Всем было крайне интересно. Шлагбаум на переезде открыли, дорога впереди очистилась. А тут по-прежнему была пробка, полный затор и толчея...

Маруська сжевала булку, а потом что-то ей не понравилось. В отчаянии Демка увидел, как она ставит торчком хвост и нацеливается на заграничных детей. Демка уперся что было мочи — но попробуй-ка за-

тормози на асфальте! Маруська поволокла его за собой, она ошалела от криков, от бензинного чада, от автомобильных гудков; она даже леглась. Демка видел, как дети попрыгали обратно в машину. «Но!.. но!..» — вскрикивал старик и отмахивался киноаппаратом.

В последний момент подоспел дружинник с поста ГАИ. Он перехватил цепь, потянул, приседая от натуги,— Маруська пустила пар из ноздрей и сдалась.

— Ты что вытворяешь? — шепотом сказал дружинник.— Рехнулся?!

Дружинник был из нашей же деревни, шофер Николай Киреев, человек тихий и незлобивый. Но ведь он стоял на посту. Нес ответственность за происшествие. И, конечно, не мог допустить безнаказанности.

Он ликвидировал пробку на шоссе, разогнал зрителей, а Маруську привязал около милищейской будки. До вечера она стояла у этой будки рядом с потерпевшим аварию фургоном и тремя побитыми мотороллерами. А Демка сидел в унылой компании водителей, у которых отобрали права.

Сдав дежурство, Киреев отвел Маруську в деревню и пожаловался Демкиному отцу. Зуев-старший не любил, чтобы в его жизнь вмешивались официальные лица. За последние годы немало навевывалось к нему разных инспекторов, контролеров, комиссий, которые обмеряли усадьбу, пересчитывали белых мышей, интересовались доходами. Нервы у Зуева-старшего поистрепались-таки.

И когда Киреев сообщил, что Демка устроил пробку на шоссе, что иностранцы кормили корову и засняли все это безобразие на кино (неизвестно с какой целью),— Зуев-старший снял с пояса ремень и сказал Демке:

— Поди сюда, тунеядец.

Трижды пытался Демка потерять Маруську. Но как потеряешь, если она лиловая, безрогая и на всех нормальных коров не похожа? Добрые люди приводили Маруську домой, а Демке доставалась очередная таска.

Демка пробовал заболеть, пробовал не ночевать дома; наконец, устроил откровенную забастовку... Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не приехали к Зуевым дачники.

Уже в середине лета вдруг появилась какая-то спокойная маленькая женщина (учительница пения, как выяснилось) и сняла пустовавшую терраску. У женщины было двое дочерей-близняшек.

За свою жизнь Демка всяческих девчонок видел, таких и эдаких. Но тут Демка удивлялся, как в хорошем кино. Девчонки совершенно не отличались друг от друга, будто нарисованные под копирку. Были озорные. И до невозможности тощие. Казалось, у них и силы-то нет никакой: ручки-палочки, ножки-щепочки, на бледных лицах одни живые глаза таращатся,— но девчонки круглый день с визгом носились по своей терраске и по двору. Даже забор сломали.

— А ведь большие небось! — недоуменно сказал Демка матери.

— Нет, ты не бойся,— ответила мать.— Они просто хиленькие, не окрепли еще.

— А отчего хиленькие?

— Ну, родились слабыми, хворали часто. И недавно, вон, хворали опять. А живут без отца, нелегко живут... С чего поправишься?

Трижды в день смолкали девчонки, утихомиривались — когда приходили на хозяйскую половину за молоком. Приносили с собой поллитровые стеклянные банки, молча ждали, пока им нальют. А потом, сидя на крыльце, медленно пили это молоко. Пили не с удовольствием, не с отвращением, а так, будто принимали безвкусное лекарство. И тогда серьезны были девчоночьи лица, деловито строги...

— Мамк, а они поправятся с молока? — спрашивал Демка.

— А чего ж,— говорила мать.— Молоко у нас хорошее, грех жаловаться. Отбою от дачников нет!

И вправду, все чаще к Зуевым навевывались женщины с ребятишками, спрашивали парного молока. Мать отказывала, сердясь и смущаясь: мол, своим детям едва хватает. А люди просили, уговаривали, как будто не могли без этого молока прожить... Странно это было, непонятно. Демка теперь задумывался, отчего так происходит. Вот ему, Демке, начхать на это молоко, а девчонки-близняшки пьют и глазами примеривают: сколько еще осталось в баночке?

Не сразу разберешься, как люди на свете живут.

Проходят своим чередом летние месяцы; незаметно проходят, вроде бы медленно. А глянь — уже осень близка.

Опять я каждый день встречаю Демку то у санатория, то на берегу речки, то возле железной дороги. Демкины белобрысые волосы совершенно выгорели и похожи на льняную паклю; он поздоровел, похудел, нос у него лупится. Он ходит босиком, и ни у кого в деревне я не видел таких черных, как печеные картошки, пяток,— пятки трескаются, и Демка мажет их еловой смолой.

Он больше не покрикивает на Маруську; не гордится ролью пастуха, но и не стесняется. Он просто спокоен, как человек, делающий привычную работу.

Маруська не меняется, все такая же лиловая, вислопузая; никак ей не отъестся в нынешнее засушливое лето.

А мальчишки Демку перестали дразнить.



ДНЕВНИК ИНЖЕНЕРА ГЕИНЫ

РОМАН

ПОНЕДЕЛЬНИК. ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

Раздался стук, и в дверях появилась Геновефа.

— Не помешала? — спросила она. И, обращаясь прямо ко мне, смущенно добавила: — Я хотела бы с вами... пару слов... только с вами...

Меня очень выручило это неожиданное вторжение. Ведь до разговора с Володко я не мог ответить ни на один вопрос Петы.

— Входите, прошу вас, — пригласил я старуху и бросил Пете: — Вероятно, мы еще вернемся к этому разговору.

Петя молча поклонился и вышел.

Геновефа уселась на краешке стула. Лицо ее, на котором вчера нельзя было заметить ни следа потрясения, застыло в какой-то болезненной гримасе.

— Я... ведь я... — начала она, но запнулась, вынула платок из кармана фартука, вытерла глаза.

— Говорите же, — поторопил я.

— Я вчера солгала, — начала она быстро, словно зазубренный урок, который нужно как можно скорее отбарабанить. — Я солгала, но я сделала это ради барышни, чтобы не причинить ей еще большего горя; она такая была несчастная, что я не могла, я должна была сказать неправду... у меня ведь дочка, и я все... все для дочки...

— Да в чем дело? Что общего имеет с этим ваша дочь?

— Нет, моя дочка — ничего, спаси господи, ничего, — ответила она, пряча платочек в карман. — Вчера, когда этот пан Володко все у меня выпытывал, я сказала, будто видела нашего хозяина и Здислава в саду. А по правде, так я видела, как они вставали со скамейки и вместе входили в кабинет...

Я молчал. Слова Геновефы не оставили никаких сомнений. Здислав не стоял у калитки — поэтому Петя и не видел его, не пошел по дорожке вокруг дома; он был в кабинете вместе с Геиной, а потом в ванной, мыл руки!..

Не было у меня желания задавать ей какие-либо вопросы — это куда лучше меня сделает Володко.

— Вы должны сегодня же объявить об этом, — сказал я тихо.

— Как? — испугалась она. — Ведь я же вам сказала?

— Я не веду следствие. Я только перескажу все капитану Володко. Но помните, больше никому вы не должны об этом рассказывать. Даже Иоанне.

— Да бог с вами! Конечно! — воскликнула Геновефа. Когда она подняла на меня глаза, я прочел в них нескрываемый страх...

Продолжение. Начало — в № 6.

...Я решил не ждать обеда и поесть где-нибудь в городе: до встречи с Володко оставалось еще полтора часа. В ресторане почти все столики были пусты: день был слишком хорош, чтобы ради обеда так рано уходить с пляжа.

Я заказал холодный борщ и телячьи зразы, но еда не лезла мне в горло. Над головой монотонно гудел вентилятор.

— Что это, Геня забастовала? — рядом с моим столиком стояла Ирена Качмарская. На ней было скромное темно-синее платье, в руках — кожаный портфель. — Не возражаете против того, чтобы одна из подозреваемых составила вам компанию? — спросила она и, не дожидаясь ответа, уселась за мой столик.

Кельнер появился тотчас же; низко склонившись, он терпеливо ждал заказа. Видимо, пани адвокат была в этом ресторанчике постоянным и уважаемым клиентом.

— Вы не откажетесь от рюмочки зубровки?

— В такую жару?

— Мой бог, эти мужчины! Я лично пью как раз в жару. Думаю, — обратилась она к кельнеру, — для меня найдется зубровка?

— О, безусловно, пани адвокат!..

Обхватив рюмку тонкими, длинными пальцами, она подняла ее, посмотрела на свет сквозь золотистую жидкость и вдруг далеко отставила рюмку.

— Мне сегодня трудно пить. Я выпью потом. Не смотрите на меня так, я не экземпляр из зоопарка. Неужели вы действительно склонны подозревать меня в убийстве Геины?

Я молчал. Никого я сейчас не подозревал; меня осаждали факты, которые я не мог связать, потому что невозможно признать неправдоподобное — действительным и нелогичное — допустимым.

На узких губах Ирены появилась легкая усмешка.

— Как в плохом романе: «И не ответил ничего», — процедила она сквозь зубы. Отодвинула нетронутый бифштекс. Осторожно, двумя пальцами, взялась за ножку рюмки.

— Нет, дорогой мой, — усмехнулась она опять, — я должна вас разочаровать. Я не убивала Эдварда. Ни с умыслом, ни без. Не подготавливала дьявольского плана, которого не может разгадать ваш Володко. Не вбивала своему любовнику штык под лопатку... Выпейте, я сейчас тоже выпью... Вы думаете, что я бесчувственное бревно и не приняла близко к сердцу смерть Эдварда?

Я выпил, наконец, свою рюмку. Водка была холодна, как лед, и освежала, словно прохладительный напиток.

— Вот видите. Это не так уж плохо, верно? Нет, дорогой мой, меня не хватило бы на убийство, хотя по утверждению западных статистиков каждый средний человек способен на убийство, задумывает убийство, предполагает и планирует убийство, только по тем или иным причинам не выполняет своих замыслов... Известно ли вам, участнику следствия, что Геина возбуждал сильные чувства? Он принадлежал к тем немногим...

— Возбуждал также и ненависть?

— Прежде всего — ненависть, дорогой редактор. Даже когда его любили. А я когда-то любила его. Он принадлежал к небезопасному и благородному типу. Редкому типу людей...

— Что это все значит?

Качмарская беззвучно рассмеялась.

— И вы считали себя другом Геины?! Ну, я знала его лучше! Он был Дон Кихотом, редактор. Он не знал компромиссов, не примирялся с обычной у нас манерой закрывать глаза на маленькие подлости, на маленькие, удобные обманы, на «липу»! Он был смертельно серьезным

человеком! Во всем. И в любви... И в делах. Я помню пятьдесят седьмой год. Как раз должен был приехать министр на торжественный выпуск первых образцов новой продукции. Геина устроил тщательную проверку и обнаружил, что процент брака недопустимо высок. Умоляли его чуть ли не на коленях: уедет министр, и мы все переделаем, но сейчас молчи, не компрометируй фабрику и ее руководство!.. Такое говорить Геине! Он — герой нашего времени, — произнесла она со злостью и сарказмом. — Он не пожалел ничего, не захотел, видите ли, согласиться с тем, что людей надо принимать такими, какие они есть, ведь такими они и останутся... О, он вообще никого не жалел. Даже собственной дочери! — Качмарская говорила с волнением и болью; я убедился — она любила Геину.

— Как раз тогда он и начал писать свой дневник, — продолжала Ирена. — Нет, это не были воспоминания человека, собравшегося на пенсию, еще одно «свидетельство тех лет». Геина выступал против тех обязательных компромиссов, без которых жизнь и общение с людьми невозможны. Понимаете ли, сколько страстей должен был вызвать такой дневник? Никто из тех, кто боялся быть описанным, не мог рассчитывать на снисхождение или умеренную объективность Геины. Он не щадил даже самого себя... — Она прервала свою взволнованную речь и снова рассмеялась сухо, иронически. — Нет, я не боялась. Вернее, не боялась за себя. Геина был слишком пуританином, чтобы писать о наших отношениях!

— Вы боялись за Дзюжинского? — догадался я.

— Неужели? Вы очень наблюдательны; не знаю, по наущению ли вашего друга Володко или просто по журналистской привычке. Я все время забываю, что разговор со мною для вас не простая товарищеская болтовня... О, великий психолог, неужели вы действительно считаете, что Дзюжинский мог возбудить во мне такую великую любовь, что она толкнула меня даже на убийство?! По-вашему, я боялась, что Геина напишет о нем что-нибудь ужасное?!

Слишком импульсивная вспышка Качмарской показалась мне не совсем искренней.

— Однако вас сильно интересовал дневник, — сказал я.

— Какое тонкое наблюдение! Вы просто поражаете меня, редактор, — сказала она жестко и недовольно. — Я надеялась, что поговорю с приезжим из столицы о психологических мотивах преступления, а он силится выудить у меня какие-то пустяковые признания. Интересовал! Когда воспоминания пишет человек, который всегда был небезразличен, заинтересованность совершенно понятна и объяснима... Вы еще выпьете со мной или торопитесь сдать Володко рапорт о нашем разговоре?

Как она старалась рассердить меня, эта женщина! Я поднял свою рюмку.

— Прощу вас... прошу вас, не молчите так упорно! Я вообще не думаю, что причины убийства Эдварда надо обязательно искать в его прошлом. Я стараюсь нарисовать перед вами только общий облик человека, который не выносил компромиссов ни в чем и никогда. А прошлое? — она подняла на меня холодный, внимательный взгляд и стала вдруг чем-то похожа на Еву. — Мы охотно бежим от нашего прошлого. Даже тогда, когда нам нечего себе прощать. Эдвард не хотел этого понять. Может быть, именно потому, — прибавила она тихо, — я и должна была с ним расстаться.

— Не понимаю.

— Надо уметь домысливать. Увидели меня на пляже с Дзюжинским и создали романтическую схему в лучших традициях криминальных книжонок! Во всяком случае — Дзюжинский ничем не похож на Эд-

варда! Те, прошлые дни, для Дзюжинского не существуют, он ничего не пережил... такого и живет только настоящим.

Я глянул на часы — мне пора уже было идти.

— Вы торопитесь? Жаль. Я рассказала вам о множестве вещей и ни слова не получила в ответ, ни мельчайшей информации.

— А что бы вы хотели узнать?

— Хотя бы, например: кого больше всех подозревают? Конечно, кроме меня.

Я промолчал.

— Вам что, запрещено говорить? Но я имею право получить от вас информацию, ну, скажем, в благодарность...

— В убийстве подозревается поручик Здислав Кенджинский,— сказал я неохотно.

— Что? — Ирена была явно поражена.— Здислав?!

Володко уже ждал меня. Я рассказал ему о Еве и о Пете; я пытался быть как можно объективнее и излагать только факты, полезные для следствия. Выбора у меня не было — я должен был все рассказать, ведь дневник все равно у Володко.

Он выслушал меня не прерывая.

— Для меня это очень трудное, болезненное дело,— наконец произнес он.— Я вынужден подозревать тех людей, которых мне меньше всего хочется подозревать. Я дам тебе для прочтения дневник Геины. Уже известно, кто заинтересован в исчезновении дневника. Ты тоже знаешь — кто. И знал это раньше, чем я...

Я заговорил как мог спокойнее:

— Мне кажется, ты делаешь поспешные выводы. Слишком просто объясняешь события прошлого и механически связываешь их с теперешними отношениями между людьми. Война сложное и тяжелое дело, люди часто попадали в труднейшие ситуации, от них требовалась беспримерная отвага; но не каждый, далеко не каждый был героем!

— Мне исполнилось пятнадцать лет, когда кончилась война,— прервал меня Володко.— Целый год я был связистом в партизанском отряде. Не считай меня, пожалуйста, таким уж молокососом!

— И не думаю! Хотел только сказать, что сейчас легко выносить приговоры.

— Приговоры выносит Геина.

— Он часто относился к людям излишне сурово.

— Может быть. Или скажем иначе: отбирал у людей то, что они незаконно присваивали. Он ценил только безкомпромиссное прошлое. Поэтому, наверное, его и ненавидели многие.

— Не существует совершенно безкомпромиссного прошлого,— сказал я.— Наше прошлое трудное и часто внутренне противоречивое. Ты принадлежишь к поколению, которому кажется, что оно добьется правды, только если развенчает мифических героев прошлого, дегероизирует и само это прошлое.

— Нет, ты не прав. Я не принадлежу к такому поколению, да его и не существует. Просто мы хотим называть вещи своими именами: трусость — трусостью, отвагу — отвагой. Именно это и делал Геина. Он говорил правду, не считаясь с версией, по которой Ева или Пета стряпали свою личную славу. А правда всегда возбуждает наивысшие страсти.

— Хотя и не всегда бывает полезна,— невольно повторил я слова Евы.

— Отговорки! — сухо заметил Володко.— Ты обвиняешь меня в том, что я не понимаю сложности тех дней. Понимаю! Только я не со-

гласен на фальшь! Я видел, как люди боролись и гибли. Видел разные ситуации... и такие, в которых не было и нет снисхождения для трусов...

— Ты думаешь так же, как Геина.

Володко долго молчал.

— Нет,— отозвался он наконец,— но это не имеет значения. Я просто понимаю его.

— Это тебе кажется.

— Понимаю, почему он не мог отступить и, если уж начал писать, должен был писать только правду и всю правду.

— Иногда труднее промолчать.

— Чтобы пощадить доброе имя Евы и Петы? А знаешь ли ты, кого защищаешь? За что заведомо прощаешь их? Ты же еще не знаешь, что написал Геина! Разве Ева рассказала тебе все?

Я молчал.

— Ты хочешь убедить меня, что прошлое Геины не имеет ничего общего с его убийством. И чистая случайность, что умер он как раз за день до выезда в Варшаву с дневником...

— Нет. Я хочу только, чтобы ты понял: те, кого ты подозреваешь или будешь подозревать,— старые товарищи Геины...— Я решил двинуться в наступление.— Конечно, мне ясно, что ты должен принимать во внимание и меня, и Еву, и Пету. Но однако же согласишься, вещественные доказательства, факты указывают следствию совершенно другой путь.

Он молчал.

— Если бы убийце нужен был дневник Геины, его не нашли бы в мотороллере у Кенджинского.

Володко пожал плечами.

— Тот, кто подкинул его Здиславу, не обязательно должен быть убийцей.

— Ты твердо уверен в невинности Кенджинского?

— А ты подозреваешь его?

Я осекся на мгновение.

— Не имею на это права. И все-таки принимаю во внимание и эту возможность.

— Я тоже,— сказал Володко.— И одновременно я знаю, что кто-то заведомо и довольно наивно толкает меня именно на этот путь. Как же так? Я должен верить, что убил паренек, которого я знаю с малых лет. Отец Здислава,— продолжал он тихо,— погиб во время войны. Его воспитала мать. Тянулась изо всех сил. Мать умерла, когда Здислав поступил в офицерскую школу. И с тех пор нет у него дома. Когда он познакомился с Геинами и обручился с Иоанной, мне казалось, что наконец он нашел свой дом. Он восхищался Геиной, восхищался всем, что делал инженер, чем жил...

— Зачем ты все это мне говоришь? Если так, разочарование было для него страшным ударом...

— И что? Здислав убийца? — голос Володко звучал иронически.— Да и не было никакого разочарования. Геина, которым восхищался Здислав, мог вести себя по отношению к молодому офицеру только так, как он и вел себя. Кенджинский признавал его правоту. Признавал. И свято верил, что отношение отца Иоанны к нему в конце концов изменится!

— Необыкновенно точное психологическое обоснование! Но ведь Геина в отношении Кенджинского вел себя как самый закоренелый мещанин, дрожавший над своей дочкой! Неужели же влюбленность в самого Геину не дала Здиславу увидеть свой идеал в совершенно ином свете?! Впрочем, ты не знаешь еще новых фактов.

И я рассказал ему о признаниях Геновефы. Он сильно разволновался, вскочил и принялся нервным шагом ходить по маленькой комнате от стола к окошку.

— Этого я не ожидал,— признался он наконец.— И не понимаю... Почти все здесь неясно. Знаешь,— он примолк на мгновение,— я выяснил сегодня, что из кабинета Геины исчез не только дневник...

— Но еще и деньги...

— И не только деньги.

— Что же еще?

— Следствием установлено,— сухо продолжал Володко,— что Геина держал дома записи и наброски, касающиеся его изобретения, которые были ему нужны для доклада в министерстве, в Варшаве. Он забрал их с фабрики в субботу.

— Они были в тайнике?

— Конечно. Это, однако, еще не означает, что вынул их оттуда убийца. Если принять мою концепцию, что ночью в кабинете орудовало двое и один только воспользовался фактом убийства Геины. Итак, мы должны будем считаться со многими предположениями. Первое: убийца не нашел ни дневника, ни чертежей. Хотя, судя по следу за полками, там лежали не только перчатки. Скажем, однако... кто-то другой нашел дневник и подкинул его Кенджинскому. Но как же это навивно выполнено: дневник и перчатки в багажнике! Только убийца знал, где можно найти перчатки. Но если так, то дневник не был нужен убийце. Послушай! — неожиданно прервал он свои рассуждения.— Не спрашивал ли тебя Пета о содержании дневника?

— Спрашивал.

Я вкратце рассказал суть нашего разговора с Петой.

— Так вот, скажи ему, что ты давно читал дневник. В конце концов ты не соврешь...

В дверях показался сержант и остановился на пороге, не решаясь докладывать при мне.

— Говорите! — приказал ему Володко.

— Вчера в киоске не было «Грюнвальдов», гражданин капитан,— отрапортовал сержант.

«Грюнвальды»? Кто это говорил, что курит только эти папиросы?

Володко написал пару слов на листке.

— Отнесите в милицию, скажите, что я хотел бы допросить нескольких человек.

Когда сержант вышел, Володко сказал:

— Ну, а теперь возьми,— он вытянул из-под бумаг серую папку.— Почитай дневник Эдварда Геины...

Я приведу здесь небольшой фрагмент из дневника Геины. Будет ли он когда-нибудь напечатан целиком? Это, конечно, зависит от Йоанны. Захочет ли она опубликовать воспоминания отца? Не знаю. Может быть, они покажутся ей слишком личными и она отложит их до того времени, когда прошлое станет только прошлым и ничем больше...

«...Я часто задумывался над тем, знаю ли я своих ребят. Вместе играли мы когда-то в прятки, вместе ходили в начальную школу, потом кое-кто из нас попал в гимназию; однако трудно залезть в их шкуру, понять и проверить, что каждый из них собою представляет, что у каждого на душе, о чем он думает, как будет вести себя во время операции или в гестапо, когда его будут истязать? Особенно трудно это для человека, который стал командиром так недавно, как я. Дали мне военное звание — сержант. Старый, с которым я связан, наверное умный мужик. «Доверяй людям,— говорил он.— Будь строг с ними, но доверяй им, так как они хотят того же, что мы; все в них устремлено на борьбу, и каждый из них пожертвует жизнью, если это будет нужно».

Верю. Но с самого начала я понял, что пожертвовать своей жизнью вовсе не так трудно. Иногда рискуешь просто так, для риска, потому что молод, потому что руки чешутся при виде немецкого мундира. Например, Дикая Кошка, мой заместитель. Он прикончил фельдфебеля на Келецкой улице. Темная, отвратительная улочка; живет там одна беднота, халупы такие, не дай бог — деревянные, вросшие в землю, окна над самым тротуаром. Вечером там немца не встретишь. А фельдфебель туда, наверное, случайно забрел и заблудился. Не было приказа, я не давал такого приказа, чтобы убивать его, но Дикая Кошка мечтал о пистолете; еще во время последней операции, когда мы «сработали» поезд под Вержбнем, он так смотрел на мой парабеллум, словно хотел сожрать его глазами. Напал он на фельдфебеля сзади, схватил за горло, немец только пискнул отвратительно, по-звериному, и уже его не стало. И Дикая Кошка получил пистолет, неслужебный «вальтер». Но это нападение стоило нам очень дорого. В тот вечер, когда Дикая Кошка ввалился в домик Марцина, чтобы похвастаться своим трофеем, никто из нас еще не знал, как дорого заплатим мы за него. Мои хлопцы... Я вспоминаю их теперь, после того, как прошло столько лет, вспоминаю каждого, их лица... Что же я в конечном счете о них знаю? Только им одним известно, как они принимали смерть, что пережил каждый, когда стрелял из своего пистолета в последний раз в жизни, зная, что это конец, дьявольское невезение, тупик, из которого нет выхода, и завтра уже другие будут шлепать по грязи Келецкой улочки, нагибаться к окнам, доходящим только до колен...

В этот вечер я кричал на Дикую Кошку как сумасшедший. Дисциплина была ахиллесовой пятой нашего отряда, а я хотел превратить сумасшедшую смелость, легкомыслие в солдатскую твердость, в умение ждать приказа. Однако Дикая Кошка во многом импонировал мне; он закладывал заряд под Вержбнем и поджигал фитиль, когда из-за поворота уже появились красные глаза паровоза. Я часто говорил Старому — он, кроме меня, никого из нас в глаза не видел: «Дикая Кошка — по мне!»

У Дикой Кошки была толстощекая, круглая физиономия, он немало заикался, и в школе мы часто подсмеивались над ним. Теперь я уже не помню, на каком это уроке он никак не мог вытянуть: «А-а-а-дам М-Миц-Мицкевич». Точно так же он ответил мне в тот вечер: «Но ка-какой же э-э-это за-заместитель ко-командира без пи-пистолета?!»

Хлопцы — в смех, а на меня этот смех подействовал, как на быка красная тряпка! Ну какие могут быть шутки, когда речь идет о дисциплине?! Правда — знали мы друг друга как облупленных, но теперь я был командиром, и я заставил их выстроиться и стоять смирно. Может быть, это и выглядело несколько нелепо в низенькой халупе у Марцина, однако я пробрал их как следует за все их шуточки и смешки. А Дикая Кошка, красный, как свекла, вытащил в конце концов из кармана тот свой трофейный «вальтер» и буркнул: «На. Отдаю в твое распоряжение». Нет, я не сразу отдал ему пистолет. Только через два дня, когда мы шли на задание. На наше последнее задание. Итак, мы шли — Дикая Кошка, я, Тадек Лучинский...»

Тут я прервал чтение дневника. Позвольте, позвольте, ведь я прекрасно помню: на вопрос Володка о псевдониме Пета четко ответил: «Дикая Кошка!»..

«...Таким остался он в моей памяти. А тело фельдфебеля лежало в грязи на Келецкой улице; мы оставили его там, недоделанные сморчки, щенята конспирации, позеры и хлюстики, которые только еще учились бороться, но возмнили о себе бог знает что из-за каких-то двух-трех удавшихся диверсий на железной дороге и нескольких на-

падений на вооруженных немцев, когда нам удавалось отобрать у них оружие и спрятать на тайном складе у Марцина! С самого начала я понимал, как трудно будет втянуть моих ребят в колею сухих солдатских будней, научить действовать только по плану, с определенной целью, рискуя ясно и точно, бороться только по приказу, не считаясь с собственными порывами и мимолетными желаниями. Ведь мои парни, прежде чем попали в отряд, жили в гнетущей нужде маленького местечка; прежде чем они собрались в лесу, перед повстанческим крестом, они крали из вагонов уголь, чтобы не замерзнуть зимою, торговали разной ерундой на ярмарках или, как маленький Торунь — смешной, светловолосый Болек, — играли на деревенских свадьбах; мать Торуня мыла полы в немецком рабочем доме, потом заболела чахоткой, и Болек стал шататься по деревням со своей гармошкой, с хулиганской кривой улыбкой на мальчишеской физиономии. А Стефан Долежал со смешным псевдонимом «Звезда»? Еще в начальной школе он мечтал стать астрономом; где-то выторговал театральный бинокль и смотрел в него по ночам на небо. Отец его, безработный, занимался скупкой краденого. Звезда принес мне как-то часики, он стянул их на станции у какой-то немки, — маленькая золотая луковка. Я швырнул эту луковку на землю и до сих пор помню слезы, появившиеся в глазах Стефана. Но я все-таки сурово предупредил его: «Еще раз такое — выгоню из отряда на все четыре стороны».

Тигрис — ах, эти псевдонимы! — Тигрис хромал на левую ногу и любил девушку из трактира «только для немцев». Я приказал ему — «брось». Он пытался доказать мне, что она порядочная девушка. Но я резко ответил: «Порядочные не работают в немецких трактирах», хотя уже и тогда знал, что бывает и так... Я думал — он пошлет меня ко всем чертям, бросится на меня с кулаками, ведь мы друг друга знаем с малых лет. Нет. Выдержал. Выплюнул мне в лицо: «Так точно», повернулся как полагается, по-солдатски, и пошел. Он первый из нас как бы заледенел. Я наблюдал за ним во время операции — когда охрана выскочила из поезда, он стрелял спокойно, холодно, точно...

Но самым хладнокровным из всех мне все-таки казался Вавер. Я совершил ошибку — не застрелил его тогда, той ночью...

Прошлое уходит в небытие, в забвение, но если уж я решился вернуться к нему сейчас, когда мы все привыкли вспоминать о пройденном с помпезной торжественностью, я буду писать обо всем, что пережил, до конца, потому что иначе воспоминания утратят для меня всякий смысл...

Именно Вавер говорил мне — мы с ним были достаточно близки, чтобы он решился сказать мне это: «Ты ведешь себя, как плохой капрал; ты перестал быть нашим товарищем, ни для кого у тебя не находится доброго слова!..»

Да, он был прав. Я продумал это свое капральство и решился на него заведомо. Чем я должен был их кормить? Красивыми словами, побасенками о прекрасном «завтра»? Я никогда не имел никаких ораторских способностей, не умел, как это говорится, зажигать людей. Кроме того — знал я чертовски мало, только то, что Старый сумел вбить в мою несчастную голову... Да и ни к чему было агитировать ребят, они сами прекрасно знали, на что идут. Я хотел, чтобы они были тверды. Да, прежде всего — тверды. Не какая-то там забава, игра в войну, а твердый, строгий режим, ежедневная муштра, беспрекословное выполнение приказов.

Вавер в общем вел себя хорошо; он работал в автомобильной мастерской. На задании держался вместе со всеми. Я не замечал, чтобы он особенно трусил, однако на самостоятельную работу я долгое время его не посылал. Это было в первый раз! Моя вина... Наказывать надо

командира, командир обязан знать! Он берет на себя ответственность и должен уметь предвидеть, даже если он такой несозревший щенок, каким был я...

Это случилось на следующее утро, на рассвете: жандармы пришли на Келецку и нашли фельдфебеля. Я помню крики, когда вытягивали из халуп мужчин, вытаскивали прямо из постелей, для острстки стреляли в потолок, а потом тащили их, полуодетых, перепуганных, ничего не понимавших. Я сидел в саду, расположенном на задах Келецкой. Утром на рынке и на здании жандармского поста появилось оповещение — маленькая, чернилами написанная бумажка: если убийцы фельдфебеля не явятся добровольно, будут расстреляны заложники. Срок — сорок восемь часов.

Тогда же у нас родился план. Он не был совсем нереальным, надо было только очень торопиться, прежде чем явится гестапо из района или пришлют подкрепление жандармам; в нашем участке было всего два военно-полевых и пять городских жандармов. Заложников держали в подвале маленького одноэтажного каменного дома на рынке, жил там когда-то богатый еврей, хозяин мастерской, производившей шнурки для ботинок. Итак, мы постановили — отбить заложников.

У ребят загорелись глаза, Дикая Кошка снова покраснел, на этот раз от радости; я не спрашивал их мнения, я только сообщил им свое решение.

Один только Вавер выразил сомнение: «С чем мы будем нападать? Два автомата, пистолеты и пара гранат? И как ты думаешь провести это дело? Что ты делаешь с людьми? Даже если это удастся, немцы сожгут город!»

Мне нужно было все-таки получить согласие Старого. Для этого я ранним утром выехал на велосипеде в район. Недалеко это было, километров пятнадцать. Старый обдумывал долго, что-то прикидывал, подсчитывал и, наконец, согласился. Возвращался я в полдень, при ярком солнце; я ехал по белому, прямому, как выглаженная лента, шоссе и в десятый раз обдумывал план операции, а потом неожиданно увидел темно-синюю стену леса, который отделял городок от района, и меня внезапно охватил страх, словно то, что случилось впоследствии, уже произошло и гнездилось где-то внутри меня. Не верю я ни в какие предчувствия, не верил и в гадание: когда мать наклонялась над моей ладонью и говорила: «У тебя длинная линия жизни», я смеялся ей в лицо. В ту минуту я, однако, вспомнил мать, а потом перед моими глазами возникла Ева. Одна только ночь отделяла меня от операции, я должен был подумать о Еве. Уж видно так устроен человек, когда смерть заглядывает ему в глаза, он начинает тосковать, становится сентиментальным — только бы успеть, только бы не пропустить момент. Я был щенком, молокососом; когда над кромкой леса я увидел шпиль колокольни костела, я изо всех сил нажал на педали, так я спешил. Не к моим хлопцам. К Еве. Потом я все-таки замедлил темп. Неужели я так легко откажусь от своего решения? Неужели близкая опасность заставит меня забыть все тайные страдания, боль преодоления, всю борьбу с собой? Нет, не мог я идти к Еве... Мне трудно и стыдно писать сегодня об этом. Однако иначе я не только смазал бы краски того времени, я вообще не мог бы рассказать всей правды. Я любил Еву. Мне было двадцать лет, и я ее любил с того самого дня, когда она появилась в нашем местечке. Они стояли с матерью возле станции, в маленьком чемоданчике помещалось все их имущество, они с удивлением уставились в даль широкой Вокзальной улицы, покрытой никогда не просыхающей грязью. Для нас это была уже обычная картина — женщины, выселенные с земли, которую немцы присоединили к Империи. Мы как раз пили пиво у киоска и смотрели на Еву. Я мечтал подойти к ней, пред-

ложить свою помощь, найти для них жилье и этим заслужить ее внимание и благодарность, но ноги мои словно вросли в землю — я не мог сдвинуться с места! Тогда Вавер со стуком поставил свою кружку на прилавок и хлопнул меня по плечу: «Пошли, поможем бабам. Девчонка дьявольски хорошенькая, черт ее возьми!»

Так все и началось.

Ходили мы с Евой по Келецкой улице до маленького леса, что у железной дороги. Оба беспомощные, смешные в своей нерешительности: усевшись на траве у опушки, мы робко брались за руки, младенцы, открывающие любовь, — и оба боялись пересечь ту границу неведомого, которую всегда боится переступить неопытная юность.

Из своего укрытия в лесу мы видели, как немецкие поезда шли на восток, видели, как евреев гоняли к речке, видели бесконечные потоки людей с узелками, погоняемых криками эсэсовцев, видели, как многие падали без сил, как их избивали, расстреливали. Десять мужчин расстреляли на рынке, и мы с Евой старались во время наших прогулок обходить это место как можно дальше. И снова из нашего лесного убежища мы смотрели, как стреляли по детям, женщинам, как падали убитые старики. И вот в один из таких дней мне вдруг показалась святотатством наша любовь. Я не мог, не мог уже больше держать ее руку в своей, не мог ходить с нею в лес и смотреть на дорогу. Я сказал ей об этом. Она ответила только: «Как хочешь»...

Вскоре после этого я узнал Старого. Он объяснил мне, что надо делать. И всего меня захватила работа. Вдвоем с Дикой Кошкой мы начали сколачивать отряд. Оба мы были одиноки — он своих родителей не помнил, мои же умерли в первый год оккупации. До полудня мы отработывали обязательную для всех «дневку» на лесопилке, потом собирались и обговаривали наши диверсии — нападения на одиноких немцев, — так мы раздобывали оружие для своей группы. А получив в руки первый пистолет, я почувствовал себя солдатом. Правда, я когда-то мечтал стать моряком, но теперь мечты мои изменились — я хотел уйти в лес и стать настоящим партизаном. Но Старый решил, что наша группа принесет больше пользы, оставаясь на месте, в городке. И верно, мы начали неплохо работать. Ева тоже вошла в наш отряд. Она стала связисткой. Однако я старался держать ее все-таки в некотором отдалении от основных дел отряда — мне казалось, что девушке не место в бою. Итак, я стал, как говорил Вавер, капралом. Чтобы быть строгим с ними, я стал беспощаден к себе. Ничего, кроме работы!

Сегодня, когда я пишу об этом, я улыбаюсь этой мальчишеской позе, но все равно понимаю себя того прежнего и мне близка та боль, которую я доставлял себе своей суровостью.

До войны, в гимназии, не помню, в каком классе, мы проработывали «Бездомных людей» Жеромского. Учительница, старушка в очках, втянула нас в дискуссию о Юдимае. (Немцы арестовали старуху в октябре 39-го. Она не пережила Освенцима). Итак, почему Юдим бросил Иоасю? Вавер, наш первый ученик, выражая взгляды всего класса, возмущался: «Нет, я не могу понять, зачем это было нужно? Почему надо было Юдиму отказываться от любви? Право, нам, современной молодежи, это кажется несколько смешным! Мы этого не принимаем!» А я понимал Юдима. И тогда во мне сидела эта чертова поза, я был пропитан ею. Я вижу себя, встающего из-за последней парты в классе: «Он не мог иначе... Он должен был бросить Иоасю!»... И смех моих соучеников... Некоторые из них стоят теперь передо мною в хате Марцина, когда я раздаю задания, глядя каждому в глаза и заставляя их повторять и еще раз повторять — словно плохо выученный урок по польскому языку...

Мать Евы умерла. Ева осталась одна и тотчас же повзрослела, сразу

стала женщиной, воспринимавшей меня как взрослого мужчину, на которого можно положиться. Я принял это как должное и сказал ей: «Можешь поселиться у меня».

...Керосиновая лампа на столе, фитиль, который надо то и дело подтягивать; едва вырисовываются во мраке предметы: комод, широкая кровать с нарисованным на спинке ярким пейзажем. Ева разливает чай. Я разрешил ребятам перед операцией выпить по сто граммов самогона. «За удачу», — возгласил Дикая Кошка. Он выпил одним глотком, вытер рот. «Завтра, братцы, не пойдем на лесопилку. Незачем!»

У меня все мышцы ломило — мы сегодня весь день грузили доски. Черт, сколько леса немцы вывозят, а я им в этом помогаю! Все! Надо поджечь лесопилку... А жаль. Ведь когда кончится война, как нужны нам будут доски! Ну, все равно спалим... если Старый разрешит...

— Выпьешь еще чаю? — прервала мои мысли Ева.

Она вела себя так спокойно и уверенно, словно все уже между нами было решено, словно мы давно уже... а ведь мы только раз и поцеловались до этого вечера! Ребята, наверное, уверены, что командир спит со связисткой! И торопится домой, к своей девчонке, старается уйти поскорее от опасности, уберечь голову — ведь девчонка ждет! Пусть все торопятся к своим девчонкам... Ведь иначе... как же я смогу смотреть им в глаза?!

Я все это сказал ей. Впрочем, я не помню, что именно говорил. Наверное, что сейчас нельзя, что я не могу, что нет во мне места для любви. Она не пошевелилась. Помешивала чай маленькой серебряной ложечкой.

Потом сказала.

— Иди уж. Можешь идти. Ты подлец. И трус. И глупец. Иди!

...Пейзаж на спинке кровати, обыкновенный пейзаж. Деревенская дорога, крест, лес на горизонте. Когда возвращаешься из района домой, есть как раз такое место: срисуй его точно и — на спинку моей старой кровати. Я задержался здесь, слез с велосипеда, прилег под крестом на траву и закурил. Синее небо. Поле созревающей ржи. Фурманка съезжает с песчаной дороги и грохочет по шоссе. Человек, не расклеивайся! «Дурак я был, — внезапно пришло мне в голову. — И зачем я разбил ту золотую луковку-часики? Начинается серьезная операция, и может быть всякое...»

План был готов. Старый утвердил его, хотя немного и удивился. Признал, однако, что освобождение заложников, если оно удастся, будет иметь большое и широкое значение для борьбы: «Нельзя сидеть в бездействии. Оружие должно стрелять!»...

Итак, начало в 23.00. Пять человек, группа Дикой Кошки, перережут телефонные провода и приблизятся к жандармскому посту. Дикая Кошка снимает часового, конечно без выстрела, это должна быть точная и тихая работа, он это умеет. Врывается внутрь. Трое с винтовками — вниз, где находится дежурка, двое — вверх, где спят жандармы. Напугать спящих и в чем есть вытолкать вниз. И в дежурке, и в спальне стрелять только в крайнем случае. Занять выходы с улиц 3 Мая и Пилсудского. Ровно в 23.05 я включаюсь с тремя оставшимися. Дикая Кошка вручает мне ключи от подвалов, которые он забирает в дежурке, и мы освобождаем заложников. 23 часа 10 минут; с улицы 3 Мая подъезжает грузовик, забирает всех и отвозит в лес, к месту под Вержбнем, назначенному Старым. Если не случится ничего неожиданного и в течение дня не прибудет в местечко гестапо или полиция из района — все должно удасться. Я распределил задания. На этот раз самое важное, от которого зависела удача всего дела, досталось Ваверу.

Не мог я иначе... впрочем, черт его знает, может быть, я и мог бы иначе распорядиться, если бы все пришлось продумывать заново. Ва-

вер, как я раньше уже писал, работал в автомобильной мастерской у немца Шнека; это небольшое предприятие, и работы в нем было немного, машин в местечке — кот наплакал. Ежедневно, в седьмом часу вечера, Шнек уходил домой, а ключи от гаража оставлял Ваверу, чтобы тот мог с утра пораньше открыть мастерскую. Она помещалась в небольшом гараже. Там же стоял собственный шнековский грузовик. Вавер получил приказ вывести его ровно в 23.00; я рассчитал, что Ваверу понадобится минут десять на дорогу до жандармского поста.

Повторить задания! Все стоят в хате Марцина. Нет только Евы. Я осматриваю их по очереди, заглядываю в лица — все готовы, все знают, что задание трудное. В 22.00 — снова сбор у Марцина. Тогда же я раздам оружие. Вавер получил оружие раньше других — «вис», о котором мечтал каждый из нас. По неписаному правилу «вис» я передавал всегда тому, кому предстояло выполнить самое трудное.

— Все ясно? — спрашиваю.

— Так точно! — слышу я голос Вавера.

Я поднимаю голову и смотрю на него. Он стоит сбоку. Я ничего не могу прочесть на его квадратном лице. Он не высказывал уже никаких сомнений, выслушал задание и выразил свою готовность. Почему бы я мог ему не верить?! Я не совершил ошибки; но если даже и совершил, как я мог тогда избежать ее? Вавер — ведь это мой приятель еще со школы, хороший товарищ; никто из них не может подвести, изменить — ни Дикая Кошка, ни Торунь, ни Звезда, ни Тигрис!

— Понял, Вавер?

— Ясно, понял.

— Все, ребята. Айда по домам. Сбор — точно в 22.00.

В запасе еще пара часов. Но это всегда самые трудные часы — последние перед операцией. Потом я привык и научился забираться в постель, если таковая была, засыпать и просыпаться ровно за полчаса до назначенного срока. Тогда это не пришло мне даже в голову. Я потащился в лес у железной дороги, на то самое место, где мы обычно сидели с Евой. Я видел дорогу, по которой недавно гнали евреев, излет Келецкой улицы, фурманку, подскакивающую на булыжной мостовой, на пригорке — строения лесопилки, к которой вела узкоколейка. Я знал каждую черточку этого пейзажа, я мог бы и сегодня пройти до леса с закрытыми глазами и описать каждый домик на Келецкой. Если вообще еще существует такая улица — Келецкая. По всей вероятности — не существует, и уж во всяком случае выглядит она совершенно иначе. Я не хотел после войны приезжать в этот маленький городок — ничего бы я там не нашел, и вообще не люблю я путешествовать в поисках прошлого.

...Прошел поезд. Я долго еще слышал стук колес. Подумал: осталось два часа, я успел бы попрощаться. И тотчас же вскочил с травы, побежал прямо к Марцину. Я проверил оружие, почистил парабеллум и автоматические пистолеты, сосчитал патроны. Еще раз перепроверил все возможности, продумал заново все варианты, нарисовал карту — план рынка и крестиками обозначил исходные позиции. Нет, существовал только единственно правильный, логичный вариант — тот, на котором мы остановились! Я беспокожно поглядывал в окно: тащились по улице прохожие — мужчины шли с работы на лесопилке, женщины возвращались из очередей за хлебом. Чего же, черт возьми, я ждал? Чего я ждал в этот час перед операцией, которая должна была вот-вот начаться — в 23.00?

...Может быть, она сказала бы:

— Ты должен уже идти...

Или сказала бы:

— Не ходи...

Надо выйти за порог, затворить за собою двери, потом, когда будешь подходить к углу, надо обернуться, чтобы еще раз... в окне... Ничего подобного я не пережил. Мне дарили это, но я сам, сам от этого отрекся... А может быть, я и вправду просто струсил? Нет! Отречение — не трусость! Отречение — необходимость!.. Вот теперь я мог спокойно ждать прихода своих парней!..

...Сто граммов самогона в чарке... Дикая Кошка первый выходит со своей группой; вдоль Келецкой, потом один прыжок — через рынок. Поглядываю на будильник. Время! Моя группа — Звезда, Тигрис, Кмичиц — в мирной жизни огородник, парень с огромными ручищами... Выходим. Звезда украдкой пододвигается ко мне, вытаскивает из кармана громадные часы-луковицу, величиною с доброе яблоко, шепчет:

— Никак тебе нельзя во время операции без часов... Ну честное слово...

Я уже не спрашиваю его ни о чем, сую часы в карман, парабеллум под пиджак, за пояс штанов, и... айда. Ночь светлая, слишком светлая, огромная морда месяца висит над городком, длинные тени лежат на тротуарах. Занимаю позицию в подворотне на углу улицы 3 Мая. Как на ладони вижу отсюда стражника, шагающего взад и вперед перед белым каменным домом жандармерии. Тихо. Пусто. Ровно 23.00. Стражник стоит спиной к зданию. Из соседней подворотни беззвучно появляется Дикая Кошка, короткий, сдавленный клекот: Дикая Кошка ударил немца в спину ножом. Через секунду появляются остальные четверо и исчезают в дверях жандармского поста. Поглядываю на часы, секунды уплывают медленно: я считаю — вот они стоят на пороге дежурки; сколько их там может быть? Два военно-полевых жандарма, два городских... Слышна очередь из автомата. Это, наверное, Дикая Кошка. Вторая очередь. Два pistolетных выстрела. Потом тишина. На рынке тоже царит тишина; луна над белым домиком, пустая площадь, посеребренная этим лунным сиянием. Снова вытаскиваю часы — 23.04. Жду тридцать секунд. Кмичиц покачивается на ногах, не может сдержать себя, остановиться. И вот мы уже бежим через площадь, врываемся... Жандармы как раз сходят сверху, руки вежливо держат на затылках, один в брюках, трое в исподнем, двое сзади — в полной амуниции. Городской жандарм тарачит на меня круглые глаза — мы знакомы не с сегодняшнего дня, я бегал от него еще школьником. Он плюет сквозь зубы. Сзади всех — двое из группы Дикой Кошки, у одного — две винтовки, у другого из кармана торчит рукоятка парабеллума. И наконец сам Дикая Кошка — красный, надутый, с оружием, приготовленным для стрельбы. У нас тоже пальцы на спусках. Ну кто мог подумать, что все так здорово и легко удастся?! Меня распирает гордость — это уже серьезное дело: мы разоружили целый жандармский пост!

— Один лежит там наверху, — докладывает Дикая Кошка, — другой внизу. А что делать с этими?

— Ключи! — кричу я.

— Нет этого сукиного сына, коменданта! — жалеет Дикая Кошка.

Я хватаю ключи и внезапно среди жандармов узнаю того, кто три месяца назад убил еврейку на Келецкой. Она бежала в одной рубашке по мостовой, бежала уже полумертвая, не зная куда. Я стоял возле дома и в кармане у меня был «вис». Жандарм выстрелил женщине в затылок и пошел дальше, даже не поглядев на тело.

— Этого прикончи. Остальных выпроводи на улицу. Двое — на охрану! — приказал я.

— Когда придет грузовик?

Я не ответил. Звезда уже прыгал сразу через несколько ступенек вниз; в подвале было влажно и темно, сапоги грохотали по каменному полу. Кмичиц минуту возился с замками, решетками. Вначале люди выходили молча, потом кто-то закричал, в соседней камере заплакала женщина, Кмичиц подбирал ключи.

— Скорее, скорее, — волновался я.

Освобожденные мешали Кмичицу работать — они наседали на него с бесконечными вопросами — что случилось, как все это произошло, как стало возможным освободить их?.. Они ничего не могли понять, не могли поверить в свое неожиданное счастье... Я вытолкал их из темного коридора. Перед участком уже, наверное, стоит грузовик, за каждую минуту промедления можно заплатить слишком дорогой ценой! Я выскочил на улицу. Рынок и площадь были пусты! Группа жандармов у белой стены и с ними наши двое с пальцами на спусках. Грузовика не было. Узники толкуются на тротуаре, слышится недоуменный шепот, они не верят нам, они хотели бы разойтись по домам, спастись каждый, как может. За минуту до этого они думали, что все уже кончилось, теперь понимают, что это только начало. Что их ждет? Горе? Освобождение? Расстрел?..

Снова вынул из кармана свои огромные часы — 23 часа 18 минут. Восемь минут опоздания! По нашему плану заставы с улиц должны быть уже сняты; мы стояли на рынке, облитые этим проклятым лунным светом, словно выставленные напоказ.

Мы устали, мы теряли надежду... Улица 3 Мая все еще пуста — Вавер не едет... Я проклинал его и проклинал себя: надо было дать ему в помощники кого-нибудь, хотя бы Туруня, а не поручать одному важнейшее задание! Я разработал план и не заметил в нем пробела, который углядел бы любой мальчишка! Уплывали минуты; освобожденные волновались все больше, жандармы торчали с руками, заложенными на затылки. И тут я потерял голову. Трудно это назвать иначе; нужно признаться: так было. Вместо того чтобы тотчас выпроводить их из местечка, погнать пешком в лес, на условленное место, я ждал. Загнипнотизированный собственным планом, ждал, ждал, потеряв уже всякую надежду... Но я не мог, не мог поверить в то, что Вавер не приедет! Ну, не удалось ему увезти машину, сам-то он должен был бы прийти, прибежать, давно быть здесь. По дороге нет никаких постов, никаких патрулей... Я обязан был догадаться, что нельзя больше ждать. Я понял это слишком поздно. С Варшавского шоссе долетел до нас шум моторов, машины неожиданно влетели на рынок, облив его ярким светом фар. Немцы соскочили на землю и начали стрелять.

— Ложись! — крикнул я.

Жандармы упали без приказа. А я, перекрикивая грохот выстрелов, теперь уже спокойно и холодно отдавал распоряжения: Кмичицу и Тигрису приказал вести освобожденных по улице 3 Мая и по Келецкой, задами, на назначенное место. Остальные должны были остаться со мной, прикрывать их отход.

Они побежали, пригнувшись, держась как можно ближе к заборам и стенам домов. Пули пощелкивали рядом с ними о мостовую. В короткие мгновения тишины до меня долетала хрипая немецкая команда. Потом случилось то, самое страшное. С 3 Мая тоже выскочили грузовики. Не сходя с машин, немцы расстреливали освобожденных. Я видел, как Кмичиц высоко подпрыгнул и упал на мостовую.

Мы лежали ничем не прикрытые и стреляли не целясь. С двух сторон к нам приближались немцы. Я видел, как пуля попала в Дикую Кошку; он упал лицом на тротуар. Потом Звезда. Потом Тигрис.

Я сперва даже не почувствовал, как что-то ударило меня в левое плечо; я стрелял, стрелял; потом я вспомнил о гранате. И понял, что

у нас есть еще один шанс: отскочить назад, в узкий проход между белым домиком и соседним строением, а там — нестись в поле. Охранять уж было некого.

— Хлопцы! — закричал я, перекрикивая грохот стрельбы. Я не знаю, кто мог еще меня услышать. Немцы приближались со стороны улицы 3 Мая; я немного подождал, потом швырнул гранату. Затем я рванулся в проход. Ошалело трещали за мною выстрелы, кто-то крикнул, но я был уже в поле; луна как раз скрылась за домами, ночь внезапно почернела. Сзади, с рынка, еще доносился редкий стук выстрелов... Я был один. Ждал. Не мог поверить, что остался один. Прислушался: немецкая речь доносилась, казалось мне, со всех сторон; левая рука становилась все тяжелее, словно к ней привязали колоду. Я не собирался ни прятаться, ни бежать, жизнь казалась мне никчемной, я должен был погибнуть; если я переживу день, в который я должен был погибнуть, я никогда уже не смогу быть таким, каким был до сих пор!

Я блуждал сперва по полю без цели, без мысли, потом повернул на Радомскую улицу, побрел мимо пустых, слепых окошек нищенских халуп. Один бог знает, каким чудом я миновал облаву. Все время до меня долетали голоса немцев, но я все шел вперед, не зная куда и зачем. Равномерно постукивали часы-луковица, отданные мне Звездой; я бессмысленно повторял одно и то же: «23.00, 23.05, 23.10». Так я дошел до дома Евы на Келецкой улице. Я толкнул калитку. Окно комнаты, в которой она жила, выходило в сад, за садом был луг, простиравшийся до вержбневских лесов. Подошел под самое окно и только тут опомнился.

Окошко было чуть притворено. Значит, надо было только тихонько позвать: «Ева».... Сквозь раму я видел тени предметов, белое пятно постели. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я услышал тихий шепот Евы и треск зажигаемой спички, а потом — одно короткое мгновение я видел их лица, вырванные из темноты. До конца своих дней не забуду я этой минуты; мне показалось, что вспыхнул пожар и пламя озарило дом и сад. С трудом, потому что я не владел левой рукой, поднял я свой пистолет и увидел, как мушка медленно опускается к белому пятну постели...

Я должен был его застрелить! Не в истерическом порыве ревности. Нет, холодно, спокойно, с полным сознанием того, что я делаю. Но я не застрелил его... Не знаю, почему он не выполнил приказа. Я не стал бы тогда выслушивать никаких оправданий. Я знал: он изменил. Я знал: он струсил. Но я узнал также что-то еще, что-то большее. Не о нем — о себе. Когда я отходил от окна, когда оставлял их в комнате Евы, я был совершенно холоден, словно во мне все сторело. Я шел на войну...»

Я отложил рукопись. Мне не надо было читать дальше — я узнал уже все, что хотел. Или почти все. Кружилась голова. Я сильно затыкнулся папиросой. Почувствовал на себе серьезный взгляд Володка.

— Он не должен был этого писать, — сказал я.

— Ты думаешь? — спросил он равнодушно.

Я молчал. Если Геина писал правду, как решился Пета приехать к нему? Смотреть в глаза? Ночевать в его доме? Неужели думал, что прошлое можно заглазить, замять, забыть?

— Хочешь знать, что было дальше? — спросил Володка, не глядя на меня. — Могу тебе изложить факты, они проверены...

«Когда он успел это сделать? — подумал я. — А Ева? Сможет ли она поглядеть мне в глаза, зная, что я читал дневник?»

— Геина, — сухо продолжал Володка, словно отдавал мне рапорт, —

в ту же ночь покинул Острину. Спрятался в деревушке под Вержбонем, болел там два месяца. Потерял связь со Старым. Позже вступил в другой отряд, в сорок третьем был переброшен на Люблинщину. Когда пришло освобождение, был уже капитаном. Все это он весьма подробно описывает в своем дневнике. Дальнейшие его дела ты знаешь сам, ведь вы служили в одном полку.

— Так,— кивнул я.— А Пета?

— Очевидно, он и есть Вавер. После неудачного нападения на жан-дармский пункт он остался в Острине. При содействии и полном одобрении Евы присвоил себе псевдоним «Дикая Кошка» и связался со Старым. В Острине действовал еще пару месяцев, потом перебрался на Краковщину. Освобождение застало его, как и Геину, в партизанском отряде. Его бывший командир с Краковщины жив и дал ему хорошую характеристику. Как будто он принимал участие в нескольких удачных операциях и заслужил высокие награды.

— Ну что ж,— сказал я,— если он один раз оказался трусом...

— То наверняка им и остался,— резко перебил меня Володко.

Я подумал, что вовсе это не так уж очевидно, но решил промолчать. Что мне в конце концов за дело до Петы? Он всегда возбуждал во мне неприязнь, а теперь...

— Дальнейший ход событий можно себе представить,— продолжал Володко.— Он и Ева долгое время были уверены, что Геина погиб. А года два назад они должны были узнать, что Геина жив — его имя стало широко известно. Потом они, наверное, пришли к выводу, что все это касается слишком отдаленного прошлого, которое проверить невозможно... Да и Геина, жалея Еву, не захочет возвращаться к драме в Острине. Но зимою этого года Пета и Геина случайно встретились; в это время Геина уже писал свои воспоминания. Каково было их свидание, что они говорили друг другу, что мог сказать Пета в свою защиту? И знал ли Геина, что впоследствии Пета действовал под псевдонимом «Дикая Кошка»? Что ж,— пожал плечами Володко,— мы не можем на все это ответить. Однако Пета боялся разоблачения. И Ева тоже боялась,— значительно глянул на меня Володко.— Когда они узнали, что Геина пишет воспоминания, они решили действовать. Я не могу только понять,— прибавил Володко задумчиво,— почему Пета приехал сюда сам? Он должен был знать, что Ева обратилась за помощью к тебе.

— Я вовсе не уверен, что он знал,— сказал я.— Может быть, догадывался...

...Да, следствие должно пойти по этому пути. Прочитав дневник Геины, я понял, как бессмысленны были все мои усилия защитить Еву. Но может быть, я должен защищать и Пету? Нет, Пету-то во всяком случае — нет! Но ведь его дело одновременно является и делом Евы? А может быть, и моим? И снова меня охватил страх. В конце концов не является ли мое участие в следствии, долгие разговоры со мной Володко попросту очень тонкой, умной и хитрой формой допроса?

Другие варианты! Все время я старался раскопать, придумать другие варианты!

— Позволь мне еще раз вернуться к событиям того вечера,— обратился я к Володко.

— Возвращайся,— буркнул он и сразу расшифровал мои намерения.— Хочешь найти что-то такое, что могло бы оправдать твою концепцию?

— Нет у меня никакой концепции,— упрямо продолжал я.— Посмотри, я еще раз записал очередность, с которой гости Геины покидали столовую.

Я подал ему страничку из блокнота, на которой было записано:

Кенджинский	— 18.40
Качмарская	— 19.05
Лобонский	— 19.15
Иоанна	— 19.30
Пета	— 19.35
Я	— 19.40
Дзюжинский	— 19.45.

Он внимательно просмотрел мои записи.

— Ну и что? Допиши сюда еще Геновефу и Еву, о которых мы ничего не знаем. И Дзюжинскую — она выходила позднее.

— А теперь,— я упрямо продолжал свои разъяснения,— установим, как долго была занята ванная. Конечно, тоже приблизительно, но все же... Туда входил Лобонский, хотел принести сверху коньяк. Это значит — около 19.15. Иоанна и Геновефа утверждают, что потом двери в ванную были закрыты. Также самое говорит Пета. Хотел, как он говорит, зайти в ванную, возвращаясь из киоска...

— В котором, по-видимому, не был,— буркнул Володко.

— Так. И только Дзюжинский признается, что был в ванной. Из этого следует, что кто-то сидел там примерно от 19.20 до 19.40.

— Если все они говорят правду.

— Да. Итак, либо Геина был убит до 19.20 и в ванной сидел убийца, либо — после 19.40, и тогда в ванной был сам Геина...

— Либо,— перебил меня Володко,— ты вернешься к пункту, с которого начал, и будешь вертеться по кругу. Если ты примешь за данность, что Геина был убит до 19.20, то это мог сделать Кенджинский и он же был в ванной, так как всех остальных Иоанна и Геновефа видели в столовой. Если же после 19.40 — убил Пета, только он мог встретить Геину, выходящего из ванной.

— Но может быть — Дзюжинский?

— Если бы это было так, то и Пета и Кенджинский говорили бы правду; но в таком случае они должны были бы встретиться у калитки. Они не могли быть ягиде в другом месте... Остаются,— прибавил он резко,— Ева, ты и еще кто-то неизвестный, который проник в кабинет через террасу, имел собственные перчатки, а потом украл перчатки у Здислава и занялся фабрикацией улики и следов. Но это не объясняет противоречивости показаний Кенджинского и Петы.

— Ты забываешь, что есть еще показания Геновефы.

— Которые еще добавочно отягощают улики против Здислава...

— Но если ты исключаешь его, если это кажется тебе психологически неправдоподобным, то остается один Пета. Скажи, возможно ли такое, чтобы... чтобы Качмарская убила? Спрятала дневник и перчатки. Вернулась в столовую. Потом вышел Пета и открыл двери кабинета. Увидел убитого Геину. Испугался. Однако у него хватило все же хладнокровия обыскать стол. Потом понял, что если он первый оповестит о смерти инженера, подозрение падет на него же. Вернулся, сел за карты, а потом утверждал, что бегал в киоск за папиросами...

— Кто же в таком случае был в ванной?

— В ванной сидел Кенджинский,— сказал я спокойно.— Он солгал во время первого допроса и потом уже не мог отказаться от своей лжи...

— Теперь ты не принимаешь во внимание показаний Геновефы,— перебил меня Володко.— Если оба они вошли из сада в кабинет, они должны были застасть там Качмарскую. И Кенджинский был бы в таком случае свидетелем убийства...

— Нет... Качмарской не нужен дневник Геины. Писал ли он о ней?

— Ни слова.

— Вот видишь. Она могла потом подкинуть его Кенджинскому.

— Когда?

Я пожал плечами.

— Мы знаем, что Пета его не нашел.

— Не забудь,— сказал Володко,— что у нас есть только дневник Геины, но нет его набросков и чертежей.

Он неожиданно поднялся из-за стола.

— Дай-ка мне эти свои записи.

Он долго и внимательно всматривался в мои коротенькие заметки.

— Послушай, а ты уверен, что мы здесь ничего не пропустили?

— Что я мог пропустить? Я, кажется, записал все.

— Да, да, конечно. Однако не выходил ли кто-нибудь два раза?

— Но я сам вышел...

— Нет, между Кенджинским и Дзюжинским. Никто не выходил из столовой дважды?

Я прикрыл глаза.

— Кажется, нет. Это исключено хотя бы по времени...

— Да, да, конечно,— сказал Володко, но я видел, что он не был убежден и что его начал волновать какой-то совершенно новый замысел.

— Я думаю,— сказал я,— что ночной взлом должен был прибавить новые улики. Ты установил уже алиби Кенджинского?

— Алиби! — воскликнул Володко.— Бог мой, все вы мыслите категориями дешевых детективных романов! Никто не имеет алиби. Хозяйка Качмарской, например, даже не знает, когда ее жиличка вернулась домой. Дзюжинский утверждает, что Качмарская оставалась у них до четырех; было уже светло, когда она выходила. Что нам сообщит адвокатша — мы еще посмотрим. Но если говорить о тебе, Пете, Лобонском, Иоанне, Геновеве — то, вероятно, все вы спали? Правда?.. Еву я буду допрашивать сегодня вечером.

— А брошка?

— Да, брошка,— повторил Володко.— Новое вещественное доказательство, новый кирпичик, который не влезает ни в одну стену. Дзюжинская клянется, что не была ни в саду, ни в кабинете, а только в кухне и в столовой. Ночью ее отвезли домой, и она не вставала с постели до утра. Брошка была приколотая к платью, и она не знает, каким образом очутилась эта брошка на террасе.

Я устало прикрыл глаза. Вот уже два дня мы непрерывно коллекционируем наши поступки: пошел в ванную, купил папиросы, принес коньяк, стоял у калитки, сидел в саду, смотрел на солнце или без всякой цели прогуливался в холле. Среди этих мелочей, которых мы не запоминаем, среди поступков преднамеренных и непреднамеренных нужно найти те, которые связаны с преступлением и, составляя логическое целое, неотвратно привели к удару штыком под лопатку или были заведомо организованы так, чтобы убийца не был узнан. Как их найти? Конечно, у работников следственных органов свои методы, каждый из нас при тщательном расследовании может выглядеть виновным, буквально каждый предположительно имел свои мотивы для убийства! Но может оказаться, что пришел кто-то совершенно неизвестный, со стороны, и тотчас же все тщательно собранные данные, которые сейчас нас так поражают, приобретут свой обыденный, ничем не примечательный смысл, и противоречия, над которыми мы сейчас ломали головы, перестанут нас удивлять...

— Что? — внезапно произнес Володко.— Размышляешь о чисто сработанном преступлении? Верю — для журналиста это увлекательнейшая тема. Но нет, мой дорогой, преступник всегда совершает ошибку. Может, конечно, случиться, что загадка окажется трудной, как в данном случае...

Вошел сержант и доложил, что пришла Геновефа.

Я уселся в углу за маленький столик. Володко копался в ящике письменного стола. «Магнитофон налаживает»,— подумал я. Потом он выложил на стол несколько чистых листков и приказал:

— Введите.

Трудно было не заметить, как сильно изменилась Геновефа. Ни следа вчерашней сдержанности. Она осторожно присела на стул, положила ладони на колени. Володко молчал. Закурил, придвинул бумаги, поиграл карандашом. Тишина длилась бесконечно долго. Я видел, с каким трудом выдерживает ее Геновефа, как мучительно старается скрыть тревогу, как дрожат у нее руки.

— Ну так что же Геновефа хочет мне рассказать? — наконец произнес Володко.

— Вы же знаете, я уже рассказывала вон тому,— указала она на меня.

— Прошу повторить.

Она тихо повторила свой рассказ.

— Почему вы не рассказали всего этого вчера?

— Как же я могла? Ведь это страшная вещь для моей Иоаси!

— А почему вы решили, что это может повредить Иоанне?

— Но если он вошел в кабинет с хозяином...

— Так что?

— Я не знаю. Но если вошел...

— Качмарская тоже входила в кабинет. Вы вчера говорили об этом.

— Да.

— Сколько времени прошло с того момента, как вошла Качмарская и вернулись Геина и Кенджинский?

— А я разве знаю? Была в кухне...

— Много или мало?

— Как будто мало...

— И Геновефа сразу подумала, что если Кенджинский вошел в кабинет вместе с Геиной, это может плохо отразиться на Иоанне?

— Подумала.

— Но почему же Геновефа так подумала?

— Но ведь если Здислав был с хозяином в кабинете, на него падает подозрение...

— Кто это вам сказал?

— Никто. Я сама...

— Вы лжете! — неожиданно вскрикнул Володко.

— Нет, о нет, прошу вас, нет...

Вопросы Володко обрушивались на Геновефу все быстрее; он повторял снова и снова одни и те же, ждал ответа и снова атаковал старуху. Было что-то безжалостное в этом бесконечном верчении на одном месте: вопрос — ответ, вопрос — ответ.

— Вы видели как они вставали со скамьи или как они входили в кабинет?

— Как вставали... ну, и как входили.

— Итак, как вставали или как входили?

— Как входили... — тускло, устало отвечала женщина.

— Минуту назад Геновефа сказала, что как вставали. Итак — как же было по правде?

— Входили.

— Вы высунулись из окна? Окно было открыто?

— Окно было открыто, ведь лето...

Мне казалось, что она уже теряет последние силы, но Володко только еще начинал свое наступление.

— Что вы делали ночью?

— Спала.

— Зачем вы входили в кабинет ночью, после того, как мы ушли?

— Я не входила.

— Я спрашиваю — зачем вы входили?

— Чтобы закрыть двери на террасу...

— Значит, Геновефа была все-таки в кабинете?

— Была... Нет, я не была...

— А как же с теми дверьми на террасу?

— Мне казалось, что я закрывала, но я не закрывала...

И опять то же самое, снова по кругу. И наконец:

— Где хозяин прятал деньги?

— А я знаю? Может, в кабинете.

— В ящике письменного стола или где-нибудь в другом месте?

Пусть Геновефа как следует подумает, прежде чем отвечать.

Молчание. Геновефа в ужасе смотрела на Володку.

— Что, Геновефа не желает отвечать?

— Я... я не знаю... Кажется, где-то на полках. Оттуда откуда-то вынимал, но я не знаю. Пан Геина всегда давал, сколько было нужно.

— Я предупреждаю вас,— голос Володка стал жестким, резким.— Лучше говорите все. Укрывание правды ничему не поможет. Правда все равно выйдет наружу. А сейчас прошу подписать.

— Я должна подписать? — испуганно спросила старуха.

— Да. Подтвердить то, что вы здесь говорили. Прочесть вам?

— Нет, не нужно.

Держа карандаш непривычными пальцами, она подписала свою фамилию.

— На сегодня это все, Геновефа. На сегодня...

— Ты ей не веришь? — спросил я, когда за старухой закрылись двери.

— Не верю. Ты заметил, как она разволновалась, когда я спросил о тайнике?

— Да. Я думаю, что Иоанна уже рассказала ей о пропаже денег. Она боится, что ее заподозрят...

— Нет, не в этом дело.

Володка задумался, затем произнес:

— Если бы я мог установить, когда опустошили тайник!..

Входя в кабинет Володка, Качмарская с улыбкой кивнула мне как старому приятелю. Она казалась абсолютно спокойной. Усевшись в кресло, вынула из сумочки маленький серебряный портсигар.

— Можно ли курить во время допроса?

— Прошу вас,— Володка подал ей через стол огонь.

— Итак,— сказала она, затягиваясь,— вы вызвали меня еще раз. В чем я должна признаться?

— Думаю, настало время посерьезнее разобраться в сложившейся ситуации. Собираетесь ли вы наконец говорить правду?

— Наконец... и правду. По какому вопросу?

— Что вы делали в кабинете в день убийства между 19 и 19.15? Предупреждаю — заpiresательство ни к чему не приведет.

Качмарская молчала довольно долго, спокойно покуривая. Длинные пальцы даже не дрогнули.

— Могу ли я из этого заключить, что вы располагаете непровержимыми свидетельскими показаниями о моем пребывании в кабинете?

— Я не отвечаю на вопросы. Я их задаю.

Она прикрыла глаза.

— Хорошо. Вы мне надоели. Признаюсь, я была в кабинете примерно в то время, о котором вы говорите.

— Почему же вы отрицали это раньше?

— Чтобы сэкономить ответ на следующий ваш вопрос. Или иначе: чтобы не встать перед необходимостью отвечать.

— Что это значит?

— Ничего. Спрашивайте дальше.

— Что вы делали в кабинете?

— Подошла к столу, посмотрела через двери террасы в сад и вернулась обратно в столовую.

— Вранье! — спокойно произнес Володко. — Вы открывали ящики стола при помощи отмычки.

Она глянула на него, и в первый раз я заметил в ее глазах удивление, может быть даже страх. Она замаялась на минуту.

— Хорошо, — шепнула она наконец. — Но вы однако же ошибаетесь. Я только пыталась открыть ящики отмычкой...

— А почему не ключом?

— Ключей не было...

— Что вы потом сделали с отмычкой?

— Выбросила ее через окно столовой.

— Вы боялись?

— Пусть будет так.

— Что же было дальше?

К Качмарской вернулось самообладание.

— Ничего не было дальше, — голос ее снова был равнодушным, слегка язвительным. — Просто я волновалась и у меня было мало времени...

— Мало времени? Ага, понимаю — в дверях на террасу стоял Геина...

— Которого я потом убила? — дополнила неоконченную фразу Володко Качмарская. — Нет, вы ошибаетесь. Я глянула в сад, чтобы убедиться, что они еще сидят на скамейке. И тут же увидела, как Кенджинский встает и уходит. Я думала, что он пройдет через кабинет, я не хотела, чтобы он застал меня там, и поэтому должна была отказаться от попытки открыть ящики. Я вышла в холл и через минуту уже вернулась в столовую.

Володко не пытался скрыть свое удивление.

— Как же так? Значит, вы совершенно уверены, что Кенджинский поднялся со скамейки и отошел, а Геина продолжал сидеть?

— Встал со скамьи и отошел. Что было дальше, я не знаю. Я еще минутку задержалась в холле, хотела успокоиться, но он не появлялся.

Но ведь это противоречит тому, что говорила Геновефа! Старуха видела, как оба они входили в кабинет. Значит, Качмарская подтверждает показания Здислава!

— Прошу припомнить все как следует, — сухо сказал Володко. — Вы нагнулись над столом. Потом посмотрели назад, через двери террасы. В каком месте сада был в это время Здислав?

— На аллейке, в паре шагов от скамьи. Шел в сторону дома.

— А потом повернул на дорожку, что идет вокруг дома, или вошел в кабинет?

— Дорогой пан капитан, — усмехнулась Качмарская, — вы же прекрасно знаете, что на этот вопрос я ответить не могу.

— Или, — холодно заметил Володко, — вы и в этот раз не говорите правды; вы оставались в кабинете, ждали Геину и видели, как Кенджинский пошел по дорожке вдоль стены дома. У вас же не было никаких причин бояться встречи со Здиславом в кабинете. Я не могу по-

нять, почему вид возвращающегося из сада Кенджинского мог вас испугать?

— Испугать? Просто я не могла в его присутствии открывать ящики отмычкой.

— Ну, мы еще вернемся к этому. Что вы искали в ящиках?

— Дневник Геины,— тотчас же ответила Качмарская.

— И в дневнике?..

— Да...— Качмарская на мгновение замолчала.— Либо вы знаете, что я искала в дневнике Геины, либо Эдвард выполнил мою просьбу, и в таком случае разговор на эту тему беспредметен.

— Это значит — я не получу ответа на вопрос, что интересовало вас в дневнике Геины?

— Нет,— сухо бросила Качмарская.— У меня нет желания говорить на эту тему.

— Предупреждаю, что укрывание правды ухудшит ваше положение...

— Мое положение вовсе не так плохо,— голос Качмарской был по-прежнему спокоен.

— Ваше положение из рук вон плохо: попытка взлома стола Геины; несомненное пребывание в кабинете в предполагаемое время убийства! Прошу подтвердить: вы признали, что Кенджинский встал со скамейки первый. Вы ждали Геину? У вас было достаточно времени, чтобы убить. И потом — чтобы открыть ящики ключами.

— А где были ключи?

Володко не ответил.

— Вы, однако, не нашли дневника... или того, что искали.— В голосе его прозвучала угроза.— Вы вернулись ночью. Дневник оказался вам не нужен, потому что в нем действительно нет ничего, что касалось бы вас.

Качмарская облегченно вздохнула.

— Я не понимаю вашей беззаботности.

— Это не беззаботность, капитан. Я понимаю, что вы можете мне доставить не мало хлопот. Хотя в течение ближайших тысяч лет вы ничего мне не докажете...

— Я другого мнения...

Она пожала плечами.

— Я не убивала Эдварда... У меня тоже есть свои козыри. Я вынуждена была признаться, что была в кабинете, так как знаю: Кенджинского подозревают в убийстве, и только я одна могу сообщить, что он ушел из сада, когда Геина был жив. Значит, я не имела выбора.

— Вы признались, потому что не видели другого выхода, и в данной ситуации вашим признаниям нельзя верить безоговорочно.

— Я вам сказала правду. Прошу мне верить — то, что интересовало меня в дневнике, не имеет ничего общего с этим делом. Да вы и так все узнаете. Надеюсь, что не от меня. Может быть, молчание и погубит меня, но даже такой ценой...

— Что ж, как хотите. Мы терпеливы, можем еще подождать. А теперь прошу мне сказать, что вы делали в ночь с воскресенья на понедельник?

— Отвезла Дзюжинскую домой, посидела у нее с часок и вернулась к себе.

— В котором часу?

— Очень поздно, вернее, очень рано. Между четырьмя и пятью.

— Вы проходили мимо виллы Геины?

— Да.

— Было уже достаточно светло, правда? Вы не заметили ничего подозрительного?

- Ничего.
- Сколько времени вы были у Дзюжинских?
- Ну, довольно долго, около двух часов.
- Вы, по-видимому, ухаживали за Дзюжинской. А инженер был все время с вами?
- Трудно сказать... Я была в спальне, а он пошел к себе.
- Дзюжинская быстро пришла в себя?
- Быстро.

Итак, Качмарская тоже могла быть ночью в кабинете Геины. Ведь она не нашла дневника в тот вечер, а он был ей очень нужен... Почему, однако же, она опасалась воспоминаний Эдварда? Какое дело адвокатше из Б. до оккупационных дел Геины? Она работает здесь уже много лет... Ее знают, она здесь популярна, часто выступает в суде, ее защитительные речи пользуются доброй славой. У нее, наверное, уютная, хорошо обставленная квартира, друзья, она выросла в этот городок и хорошо себя здесь чувствует. Ради чего она пошла на риск? Я снова приглядываюсь к ней. Она сидит, повернувшись ко мне в профиль. У нее очень красивый профиль: прямой узкий нос, высокий лоб, волосы зачесаны назад. Отвечает всегда спокойно, видно, очень устала — говорит тихо, в голосе уже не слышно иронических ноток. Она не борется, не наступает, а наоборот, отступает с поля боя; охотно попросила бы о перерыве в игре, но Володко безжалостен, в запасе у него полно вопросов, он повторяет их, вылущивает каждое противоречие, каждую неясность.

- Вы знали, где Геина прятал дневник?
- Знала. Да, конечно... В тайнике.
- Почему же вы не искали его там?
- Геина над ним работал. Я думала, что он у него под рукой, в ящике.
- Но проще же было раньше проверить тайник?
- Не знаю. Может быть.
- Что вы нашли в тайнике?
- Я его не открывала.

Качмарская все время отбрасывает мяч, который ей швыряет Володко. Чего же он достигнет? Мне кажется, что с воскресного вечера мы не двинулись ни на шаг вперед. Появилось только еще больше подозреваемых и еще больше неясностей. Противоречивые показания Петы и Кенджинского. Противоречивые показания Геновефы и Качмарской. Еще кубик, как говорит Володко, который ни к чему нельзя приспособить: брошка Дзюжинской на террасе. А дневник Геины? За чем Володко дал мне его? Лучше бы ничего не знать!

Но существуют же, должны существовать и другие варианты! Разве не может оказаться, что убийцей является кто-то совершенно нам не известный?.. Но может быть, Володко пришел уже к определенному решению? Во время допроса Геновефы или Качмарской? Нет у него никаких особых причин информировать меня о своих выводах. Не смотря на мою кажущуюся причастность к его работе, я, в сущности, очень мало знаю о ходе следствия. Мне делается все неприятнее от странной уверенности, что во время допросов, в которых я принимаю участие, Володко больше интересуется моей реакцией, чем ответами подсудимых...

Сейчас перед столом уселся Лобонский. В поведении художника есть что-то такое, что меня раздражает. Нет, не самоуверенность, потому что на этот раз Лобонский достаточно встревожен, нервно мнет в пальцах папироску.

— Вы все время утверждаете, — говорил Лобонский, — что инженер имел что-то против меня. Да, вероятно. Он считал, что таким, как я, легко живется. И что мы сознательно не ставим себе великих целей. Он считал, что человек обязательно должен иметь перед собою великую цель, что недостаточно удовлетворяться решением более мелких задач. Поэтому он и докучал мне. Да и не только мне. И Кенджинскому. Хотя по несколько иным причинам. Но одновременно он был склонен и к снисходительности. Как раз молодым он спускал многое. Он был к нам снисходителен без тени презрения. Презирал он других.

— Кого, пан Лобонский?

— Вы сами прекрасно знаете. Например — директора Пету.

— Почему?

Лобонский пожал плечами.

— Я никогда его не спрашивал. Да инженер Геина мне бы и не ответил. Наверное, считал, что эти дела не для таких, как я. Меня он воспитывал, а директор Пета не представлял уже объекта для педагогических усилий...

— Из чего складываются ваши доходы?

— Я сказал бы — очень интимный вопрос... — усмехнулся художник. — Разнообразно... вернее — по-разному. Но я не собираюсь страховать свое имущество или покупать машину. Постоянной работы не имею. Иногда удается сделать какую-нибудь рекламу, плакат, иногда я помогаю при украшении витрин. Много я не зарабатываю, но — не жалуюсь...

— Иногда берете в долг?

— Беру. Кто этого не делает?

— У вас нет никаких обязательств? Родителей?

— Отец хорошо зарабатывает.

— Одним словом — легко живется?

— Вот, вот, — вздохнул Лобонский, — такова оценка представителя власти. Вы говорите, как Геина. Для вас сам факт, что я не хожу в контору к восьми часам утра, что у меня нет жены и четверых детей, что я не придаю большого значения деньгам, является свидетельством «легкой жизни».

— Нет, я говорю не об этом, а о легком отношении к жизни вообще, о несерьезном... Человек, который крадет чужие письма...

— Долго вы будете мне об этом напоминать?

— Я не считаю выясненным это дело, — медленно произнес Володко.

— А я думал, — тихо заговорил Лобонский, и черты его лица сразу затвердели и заострились, — что вы будете меня спрашивать о совершенно других вещах. Что я делал этой ночью, например.

— Понадобится — спрошу.

— Я могу сам сказать... Я не знаком с методами следствия и не хочу ждать, пока меня спросят, мне ведь нечего скрывать... Так вот, этой ночью я вставал с постели и выходил из столовой, в которой, как вам известно, сплю.

Казалось, Володко совершенно не интересуется сообщением Лобонского.

— Я не знаю, который был час, но я проснулся, потому что услышал какой-то шум... хлопанье дверьми. Я вышел в холл, потом на крыльцо.

— И что же вы заметили?

— Было тихо.

— Везде? А вы не заглядывали в кабинет?

Лобонский усмехнулся.

— Вот благодарность за искренность. Теперь вы готовы подозревать меня во взломе.

— Я ни в чем вас не подозреваю. Дальше, пожалуйста.

— Но это как будто и все. Возвращаясь в столовую, я снизу, из холла, посмотрел вверх. Там кто-то стоял! Я четко видел силуэт.

Значит, все-таки он меня видел! Я закурил, стараясь избежать взгляда Володка.

— Кто это был?

— Пета значительно толще,— сказал Лобонский.— Это был редактор. Тогда я спокойно вернулся в столовую. Редактор ведь участвует в работе следственных органов, как мне кажется...

— Что ты можешь мне сказать? — спросил Володка, когда мы остались одни.

Изо всех сил я старался сохранить спокойствие.

— Что ж,— сказал я,— надо было тебе все рассказать раньше. Не понимаю, почему я этого не сделал.

— Так сильно тебе хотелось, чтобы я не узнал о твоей ночной прогулке? Ты думал, что Лобонский не решится заговорить? Ты был в кабинете?

— Ты хорошо знаешь, что я там не был. Мне нечего скрывать.

— Хотелось бы верить тебе,— тихо сказал Володка.— Очень хотелось бы верить. Ты выходил ночью, видел Лобонского. Как ты мог это скрыть?

— Но ты же ни в чем не подозреваешь Лобонского. Эта информация тебе все равно не пригодилась бы.

— Откуда ты знаешь,— поднял голос Володка,— в каком направлении идет следствие? Да и речь ведь не о Лобонском, а о тебе!

— Может быть, поговорим спокойно?

— Хорошо. Который это мог быть час?

— Не знаю. Думаю, около трех.

— Ты не сходил вниз?

— Нет. Ты уже спрашивал об этом. Лобонского ты оставил в покое, а меня атакуешь.

— Я веду следствие. От Лобонского я сейчас ничего больше не узнаю.

— Ну, и я тебе сказал все.

Володка замолчал. Рисовал какие-то фигуры. Мне показалось, что он забыл о моем присутствии. Я решил не ждать допроса Евы. Да и согласится ли Володка теперь, чтобы я при этом присутствовал? Я понимал, что в наших взаимоотношениях что-то изменилось и теперь, наверное, никогда уже не наладится. Но кстати — зачем это Лобонский признался в своей ночной вылазке?

ПОНЕДЕЛЬНИК. ВЕЧЕР

...Город залит прозрачным предвечерним солнцем. Люди возвращаются с пляжа, занимают столики в кафе, становятся в очереди у киосков, все вокруг красочно, весело. На Моджевской, как раз напротив дома Геины, кто-то включил проигрыватель. «Помнишь, была осень» — эта несносная песенка упорно лезла мне в уши, когда я открывал двери в холл. Я хотел сразу пройти наверх и немного отдохнуть; в конце концов мне полагался отдых после стольких часов бесконечных разговоров, но мне помешала Иоанна. Она стояла в дверях кабинета, бледная, с синими кругами у глаз.

— Вы ничего не ели? Я ждала вас к обеду. Сейчас принесу что-нибудь холодное.

Мы уселись за стол. Иоанна налила мне кофе. Потом глянула на меня, и неожиданно по ее щекам полились слезы. Она вскочила и отошла к окошку.

— Иоанна, ради бога, что еще случилось?

Она сдержалась, перестала плакать, потом вдруг резко обернулась, крикнула:

— Сами знаете! Почему вы не хотели остаться обедать?

— Что? Я не понимаю...

— Зачем скрывать от меня? Мне все равно расскажут! И потом — мне уже все равно! Все равно!

— Скажите же мне наконец, что такое еще случилось?!

— Его уже арестовали? — спросила она тихо.

— Кого, ради всего святого? Кого?

— Как это — кого? Зачем вы притворяетесь? И так я достаточно несчастна!.. Здислава!

— Здислава? — повторил я и механически потянулся к чашке с кофе. — Почему это вам пришло в голову?

— Почему? — шепнула она. — А показания Геновефы? Вместе вошли в кабинет... — Она подняла на меня полные слез глаза. — Они вместе вошли в кабинет, а Здислав не хочет признаваться! Неужели это возможно, чтобы он... Разве можно хоть на секунду в это поверить? Нет, нет я не верю! Не могу поверить! Мы сегодня сидели с ним в саду. Я попросила: «Расскажи мне все, все как было, я должна знать правду!» И он снова повторил, что оставил отца на скамейке, стоял потом возле калитки, мучился, потому что и сам уже не знал, поступаем ли мы правильно, торопясь жениться.

Она плакала, не прычась и не утирая слез.

— Ну, скажите же что-нибудь!.. Мне кажется, что я схожу с ума! Все у меня в голове перемешалось. Сегодня во сне я видела, будто Здислав бежал к озеру; шел дождь; и тут же я увидела отца в толстом свитере, который он привез из Закопане. Отец стоял у своего стола и держал в руке штык. Я помню этот штык еще с тех пор, как мама была жива. Мне говорили: «Не трогай, это острое». А мама возмущалась: «Зачем держать такую опасную вещь на столе?» Я уже никогда не смогу спокойно посидеть в кабинете, никогда не смогу пойти со Здиславом на озеро... Знаете, когда он сегодня мне все снова рассказал, я захотела его поцеловать — мне было его бесконечно жалко и... не смогла... не смогла!

— Успокойтесь, Иоанна! Выпейте кофе, — старался я как-то ее отвлечь. — Я тоже не верю в вину Здислава. И после показаний Геновефы и до них! Дело действительно страшно запутанное, но все обязательно выяснится.

— Выяснится! Пусть уж поскорее. Я так боюсь!

— Чего вы боитесь?

— Ну как вы не понимаете? Ночью я не могу спать, каждую минуту просыпаюсь, мне мерещатся шаги, чей-то шепот... Я хотела бы бежать отсюда!

— Ничего вам не грозит!

— Отцу ведь тоже ничего не грозило!

— Я думаю, что после похорон вы должны будете куда-нибудь поехать, отдохнуть...

— Я никуда не двинусь. Я должна остаться здесь, со Здиславом, даже если... Ну, я прошу вас, скажите мне — он арестован?

— Я ничего об этом не знаю, — ответил я истинную правду. — По моему — он на свободе.

Она молчала. В эту минуту в холле раздались мужские шаги. Иоанна испуганно поставила чашку на стол, кофе выплеснулось на скатерть.

— От кого именно вы узнали о показаниях Геновефы?

— От Витольда, — ответила она безразлично.

Значит, от Лобонского! Геновефа не держала язык за зубами! Но почему она посвятила во все как раз этого художника? А он все пере-

сказал Иоанне, хотя прекрасно понимал, как ей будет больно! Не любит Кенджинского? Хотел бы занять его место?..

Он вошел в столовую — свежий, отдохнувший, гладко выбритый, в серой курточке.

— Иоанна, предлагаю прогуляться; переменишь обстановку, отдохнешь. Вечер мягкий, неповторимый по колориту.

— Хорошо.

Иоанна послушно поднялась.

Позже, из окна, я видел, как они вдвоем прошли через сад к озеру. Красивая пара! Здислав должен, однако, безоговорочно верить Иоанне, если допускает ее дружбу с Лобонским!..

Я стоял у окна, глядя на пустой сад, на кусты малины и смородины, растущие вдоль забора, когда раздался стук в мою дверь. Я точно знал, кого сейчас увижу. Действительно: Пета. Пару часов назад мне было известно о нем очень немного, сейчас мне казалось, что я знаю о нем все. Вот он, Вавер из дневника Геины. Почти квадратное лицо, мясистые, толстые губы; вероятно, он изменился с тех пор, постарел, полысел. Стоит на пороге, смотрит на меня из-под приспущенных век, ждет приглашения войти. Я с удовольствием выгнал бы его; но не выгоню, выслушаю все, что он захочет мне сказать. Он спокоен; усаживается за стол, кладет ногу на ногу, смотрит на меня серьезно, с достоинством. Может быть, это спокойствие труса, который играет свою последнюю роль? Догадывается ли он, что я посвящен в его тайну? Надеется на защиту Евы?

— Я слушаю вас.

— Мы не закончили тогда наш разговор. А вернее — вы не ответили мне.

— Отвечу сейчас, — сказал я сухо. — Да, я читал дневник Геины.

Молчание. Над домом пролетел реактивный самолет.

— Почти каждый вечер летают, — говорит Пета. Он вынимает из кармана свои «Грюнвальды», угощает меня и словно мурлычет себе под нос: — Да, да...

Я ничего не могу прочесть на его лице, оно по-прежнему неподвижно, может быть, только чуть-чуть углубились морщинки около глаз и дрогнули губы.

— Да, да, — повторяет он. — Говорили ли об этом Еве?

— Прошу Еву в это не вмешивать!

Он мягко усмехается.

— Понимаю, но она уже в это впутана. Не знаю, — осторожно произносит он, — что там написал Геина. Я ведь не читал дневника, я только предполагаю...

— Вы предполагаете правильно: Геина написал правду.

— Правду! — он снова улыбается мягко. — Сперва надо ее знать! Эдвард считал, что знает. Он не хотел слушать ни оправданий, ни разъяснений... И кроме того верил, что вчерашняя правда является правдой и сегодня. И что она может быть полезной.

— Я тоже в это верю, пан Пета. Итак, к делу!

— Хорошо, — произносит он твердо, — буду говорить с вами как с другом Евы.

Меня охватывает отвращение. Я ненавижу этого человека! Ненавижу за то, что он был ей близок, и за то, что говорит сейчас.

— Не заслоняйтесь Евой! — кричу я.

— Хорошо, — повторяет он спокойно. — Дневник Геины находится в руках органов безопасности или украден?

Значит, Ева не рассказала ему о нашем разговоре? Значит, они не ведут совместную игру? А может быть, просто не успела? Я молчу. У меня нет намерения раскрывать свои карты.

— Не желаете отвечать? Понимаю.— Он снова уселся на стул.— Вероятно, все-таки в органах безопасности,— тихим голосом произнес он.— Но если так, то они не могут его огласить... Они такими делами не занимаются. Просто отдадут Иоанне. Трудно предвидеть, что она решит... Но если дневник не у них, вы, вероятно, пересказали Володку его содержание. Хотя, считаясь с Евой, вы могли и промолчать кое о чем... Вы, наверное, делали выписки?

Я не ответил. Меня поразило его монологом: он развивал свои соображения, не опасаясь моего присутствия. Даже не ожидая ответа.

— Итак,— тянул он дальше,— вы считаете меня трусом и дураком. Как и Геина! И готовы при первой возможности разгласить это в прессе и среди своих знакомых. Может быть, и сочувствие к Еве вас не остановит. Каждый из нас мечтает хотя бы раз в жизни блеснуть своей принципиальностью! Можно ли рассчитывать, что вы будете молчать?

Теперь он уже ждет моего ответа. Закуривает. Начинает нервничать наконец?

— С чего бы это я вздумал молчать, пан Пета?

— По самой обыкновенной причине: никому никакой выгоды не будет, если солидный и ценный работник будет уничтожен, презираем, подвергнется остракизму. Я, конечно, буду отрицать все, что обо мне написал Геина! Нет никаких доказательств, нет в живых ни одного свидетеля, думаю, мне вообще удалось бы помешать появлению дневника в печати. Но, конечно, это доставило бы мне много хлопот. Я старался убедить Эдварда в бессмысленности рассказывать всему свету эту старую историю. Теперь я пытаюсь убедить в этом вас.

Нет, мне только показалось, что он начал нервничать,— голос его все так же ровен, бесцветен и спокоен.

— А ведь вы подлец, Пета!

— Вы хотите вывести меня из равновесия? Спровоцировать? Заставить драться, что ли? — Он окинул меня презрительным взглядом.— О нет, мой дорогой... Я защищаюсь. Защищаю свою жизнь, я должен это делать.

— И ваша защита оправдывает даже преступление!

Все-таки я сказал ему это!

— Преступление? — он снова презрительно усмехнулся.— Я не убивал Эдварда, мой милый. Я не мог этого сделать!

— Вы его ненавидели!

— Сильно сказано. Просто — мы не понимали друг друга. По всей вероятности, я не знал тех деталей, которые были для него особенно болезненны...

— Но я знаю эти... детали. Они достаточно отвратительны. Я знаю также историю вашей трусости и не нахожу ей никаких оправданий. Не обещаю вам молчания.

Пета кивает.

— Значит, и вы из тех, неподкупных? Правда, только правда... Вытащить на свет божий все грязное белье той старой истории ради поучения малолетних и чтобы ни одна вина не осталась без наказания. Уничтожить Пету. Заставить его спустя двадцать лет исповедоваться в грехах для очищения собственной совести. Ну, а вы, пан журналист, действительно знаете, как это было все там, в Острине? Послушайте меня.

— Вы можете болтать что угодно. Я не поверю никаким разъяснениям, ведь Геина уже мертв.

— Хорошо. Вы не поверите. Но я все-таки расскажу. Да, я струсил. Попросту — струсил,— повторил он это слово, как бы разглядывая его с разных сторон.— Как вы, вероятно, знаете, я получил приказ доставить грузовик на рынок в двадцать три часа десять минут. План Геины я с самого начала считал невыполнимым. Несколько необученных пар-

ней должны взять жандармский пост! Кроме того — это деконспирировало всю нашу работу; даже если бы нападение удалось, немцы потом без труда выследили бы всех нас. Это ведь не Варшава, это Острина.

— Пан Пета! Во время оккупации так говорили только труссы!

— Это теперь так кажется. Труссы, конечно труссы... Итак, у меня были сомнения, однако я считал себя солдатом и был готов выполнить приказ. В девятнадцать часов я должен был запереть гараж; ключи я обычно брал с собой. Я условился с Евой, что вечером приду к ней. Она жила очень близко от мастерской Шнека. О задуманном Геинной нападении она ничего не знала. Время подходило к семи, я уже закончил работу, как вдруг неожиданно подкатил, вернее, дотащился немецкий грузовик. Два солдата потребовали от меня немедленного ремонта. Мой фольксдейч Шнек говорит, что мы уже закрываем, но они на него так заорали, что перепонки чуть не лопнули. А ремонт затяжной. Возимся мы вдвоем со Шнеком, а они стоят над нами, торопят. В Острине такие вещи случались раз в год; этого невозможно было предвидеть. Приближается уже полицейский час; я говорю, что должен идти, а они не пускают, обещают подвезти до самого дома. Стараюсь хладнокровно продумать всю ситуацию, решаю — надо отказаться от грузовика и хотя бы самому вырваться отсюда, чтобы предупредить товарищей. Встаю с земли и направляюсь к выходу. Немец стоит в дверях и не выпускает... «Сделаешь — пойдешь». Работа валится у меня из рук, Шнек ругается, а время бежит чертовски быстро. Остается единственный шанс — у меня в кармане пистолет.

— У вас в кармане пистолет, пан Пета,— повторяю я.

— Да, понимаю. Сую руку в карман, влажной рукой касаюсь металла. Я знал — надо отскочить в сторону, сорвать предохранитель, выстрелить и бежать... Или терроризировать немцев. Но у них были автоматы. Я боялся погони, мог всех выдать. И не отважился,— сказал Пета.— Ноги мои словно вросли в землю. Я почти терял сознание, лежа под машиной. А потом увидел — уже одиннадцать часов...

— А люди гибли на рынке,— холодно сказал я.

Молчит.

— И прямо из гаража,— продолжал я,— вы пошли к девушке. На рынке стреляли, когда вы шли к ней. Стреляли, когда вы входили к ней в комнату. Вы погасили свет, когда выстрелы уже умолкли, или даже не стали ждать, пока наступит тишина?

— Молчать! — крикнул он неожиданно.

Он сорвался со стула и наконец утратил это свое проклятое спокойствие; он уже не владел больше своим лицом — его искривила гримаса страха или боли... Потом снова уселся, скорчился и не поднимал на меня глаз...

— Для чего вы мне все это рассказывали, пан Пета? Нужно было придумать какую-нибудь более удачную сказочку... Подцепить меня на какой-нибудь сентиментальный крючок, что ли. А вы так примитивно! Вы и Геину потчевали тем же самым? И возможно, верили, что он примет эти объяснения...

— Вы не можете понять,— прошептал Пета,— поверить, что было именно так. Я был подготовлен к тому, чтобы пригнать грузовик на рынок, но не к тому, чтобы в одиночку бороться с немцами в гараже. Меня словно паралич разбил! Должен ли я отвечать за это всю свою жизнь?

— Не нойте! Уверен — совесть вас не мучила ни одного часа. Вдобавок вы еще присвоили чужой псевдоним.

— Присвоил? Люди десятки раз меняли псевдонимы...

— Все, пан Пета! — сказал я.— Мне не о чем больше с вами говорить. Абсолютно не о чем.

— Нет, еще не все,— услышал я неожиданно чей-то голос.

На пороге стоял Володко; не знаю даже, когда он открыл дверь. Так же бесшумно он закрыл ее за собою.

— Ну что ж, пан Пета,— сказал он,— может быть, мы теперь наконец поговорим откровенно?

— Я к вашим услугам,— ответил Пета, не вставая со стула.

— О, пачка «Грюнвальдов»!

Володко прикрыл папиросы ладонью.

— Вы привезли запас из Варшавы? Правда? Ведь в воскресенье вечером вы не купили их в киоске? Уже несколько дней этого сорта нет не только на Садовой, но и во всем Б. Вы не ходили к киоску, Пета!

— Не ходил,— бесцветным голосом подтвердил директор Варэкспорта.— Я...

— Показания вы будете давать не здесь. Предупреждаю вас...

Володко отворил дверь — за нею стоял сержант в мундире.

— Я арестован?

— Вы пойдете за мной!

— Я не убивал Геины!

— Машина ждет внизу.

— Я не убивал!

...Вот так выглядит решение. Напряжение спало, я почувствовал что-то вроде удовольствия. Геновефа, очень тихая и спокойная, принесла мне чашечку крепкого кофе. Я уселся в столовой у раскрытого окна. Все было просто, понятно, логично. Но... скажем,— не все, а почти все. Пета вышел из столовой, наткнулся на Геину, выходявшего из ванной, взял с вешалки перчатки Кенджинского... Убил Эдварда, потом открыл ящики стола. Забрал ли он дневник? Если бы взял, то не подкидывал бы его на следующий день Кенджинскому. Значит, он не нашел рукописи, вернулся еще раз ночью и снова не нашел... Однако, если он убил, значит, он и спрятал перчатки за книжки. Итак, Пета подкинул перчатки Здиславу, а кто-то другой подкинул дневник? Тем же способом, на то же самое место? Ерунда! Впрочем, я никогда не умел решать кроссворды. Пусть уж Володко склеивает все факты в одно логическое целое.

Геновефа принесла тарелки, начала накрывать на стол к ужину. Четыре прибора. На один больше, чем надо. Я мог сказать Геновефе, все и так скоро станет явным, а мне хотелось посмотреть, как примет старуха мое сообщение.

— Один прибор лишний, Геновефа.

В первый раз за этот вечер она поглядела на меня. С удивлением, может быть, со страхом. Стояла посреди столовой, руки спрятала, как обычно, под фартук. Молчала. В эту минуту из холла донеслись голоса Иоанны и Лобонского. Геновефа выбежала из комнаты и на пороге чуть не столкнулась с художником.

— Вы испугали ее или еще что случилось, черт возьми?! — спросил входя Лобонский и тут же уселся за стол.— А где наш директор? Он всегда опаздывает к ужину...

— Пета не придет,— сказал я.— Кажется, он арестован.

Лобонский только коротко кивнул. Его поведение показалось мне уж слишком сдержанным.

— Вас это не удивило? — спросил я.

— Удивило? — снова этот короткий смешок, который всегда меня раздражал.— Я так и предполагал, что которого-нибудь из вас, близких приятелей Геины, в конце концов спапают.

— Что это значит?

— Вы с Володко уверены, что я слеп. Подозреваете меня из-за этих

дурацких писем! Лишь бы найти кого-нибудь постороннего, не имеющего оккупационного прошлого!

— Послушайте!

— Я вижу, что делается! — сорвался он с места. — Я уже говорил вам — вы все ненавидели Геину! За то, что не скрывал правды. За то, что никому из вас не оказывал снисхождения. Вы все тянулись к его дневнику!

— Пан Лобонский! Должен ли я вам напоминать?!

— Простите, не буду больше, — неожиданно мягко сказал он. — Я из тех, у кого нет прошлого. Я не должен создавать собственную легенду о себе. Геина хотел прежде всего вскрыть настоящие мотивы человеческих поступков, истинные...

— А каковы же эти истинные мотивы, Лобонский?

— Мы — поколение, не терпящее обманов...

— Красиво сказано. Особенно это ваше отождествление своей особы со всем поколением!

— Я ни с чем себя не отождествляю... Людями руководит страх, голод, любовь, жажда денег...

— И это все?

— Почти все. Я, по крайней мере, не заметил ничего другого...

— Великолечно! И потому вам так легко решаться на подлость?

— Что вы под этим подразумеваете?

Я не спешил с ответом.

— Что вы под этим подразумеваете? — повторил он.

— Например, — заговорил я медленно, — можно без зазрения совести, без жалости рассказать Иоанне о тех показаниях, которые отягощают судьбу ее жениха.

— Вы правы, я рассказал ей. — Лобонский заговорил отрывисто, сухо. — Геновефа призналась мне, что в воскресенье вечером солгала. Так же, как и вам. И, очевидно, вы решили, что Ио не должна ничего знать. По-вашему, так лучше?

— Бросьте, Лобонский. Ваша показная искренность не мешает понять, что Иоанне вы все рассказали с совершенно определенной целью.

— Ну хорошо, а если и так? Если вы правы, и я ищу шанс, которым могу воспользоваться? Неужели же отступить?

— Иногда это необходимо!

— Любите вы поучать! Я не умею отступить. Меня не воспитали в уважении к отступлению!

Геновефа внесла чай и сказала, чтобы мы не ждали Иоанны — она устала и уже легла.

— Вы были на далекой прогулке? — спросил я.

— Нет, только на Замковой Горе, — буркнул художник. — Смотрели на озеро, которое оттуда выглядит так, будто лежит выше города. Я пробовал делать наброски. — Он вздохнул. — Однако со смерти Геины не очень-то у меня это получается. — И прибавил: — А Иоанна действительно плохо себя чувствует. Естественно — такое потрясение. Надо бы ей уехать куда-нибудь, отдохнуть....

...Вечер был так хорош; мне не хотелось забираться к себе наверх. Я решил пройтись. По Моджевской и Садовой я дошел до Аллеи Храброго. На террасе кафе все столики были заняты, над баром, над плюшевыми диванами и по углам тянулись серые полосы табачного дыма. Я надеялся, что встречу тут Еву, но ошибся.

У меня был ее адрес, но я решил все же не идти к ней. Может быть, она еще у Володка. Если захочет меня видеть, позвонит.

Я выпил у бара рюмку вина и той же дорогой направился к дому. Луна освещала тополя на Моджевской; я миновал виллу Геины и пошел дальше по пустой улице, вдоль разбросанных среди палисадни-

ков домов. Я не заметил Кенджинского: он стоял в тени, опершись о ствол высокого дерева. Услышал его тихий оклик: «Товарищ редактор» и только тогда увидел поручика.

— Подождите минутку,— шепнул он.— Это хорошо, что я вас встретил. Вы шли к Дзюжинскому?

— Нет. Я вообще не думал о Дзюжинском...

— Так посмотрите!

Он указал на маленький двухэтажный домик в глубине сада: через широкое окно я увидел ярко освещенную комнату; за столом сидели Дзюжинский и Качмарская. Я видел только их головы, близко склонившиеся друг к другу, словно они нагнулись над одной книжкой или разыгрывали партию в шахматы.

— Ну и что? — спросил я равнодушно.— Ведь Качмарская их старая знакомая.

— Возможно,— ответил Кенджинский.— Однако теперь,— он подчеркнул слово «теперь»,— она будет ему особенно необходима. Может быть, она тоже замешана в этой истории? Пошли,— прибавил он,— мы видели достаточно.

Я учился трудному искусству не задавать вопросов. А также — не давать никаких информации, если это не вызвано крайней необходимостью. Поэтому я молчал. Кенджинский, по-видимому, решил сам найти преступника. Сейчас, когда Пету арестовали, положение поручика улучшилось. Возможно, ему ничего уже не грозит. Собственно, я должен был бы ему сразу сказать — Володко нашел виновного. Однако я промолчал.

Моджевская улица резко поворачивала вправо, в сторону озера; здесь кончался тротуар и дальше шла уже простая песчаная дорожка.

Мы прошли еще с десяток метров и увидели озеро; широкая лунная полоса лежала на воде.

— Красиво здесь,— сказал поручик.— От дома Геины можно пройти к озеру либо по Моджевской, либо через сад и дальше полем. Дзюжинские всегда могут выбрать любую из этих дорог.

— Ну и что?

— Ничего.

Он протянул мне папиросу. При свете зажженной спички я отчетливо увидел его лицо: глубокие черные круги лежали под глазами.

— Сегодня после обеда Иоанна не хотела со мною говорить,— сказал он неожиданно.— Только прошу меня не утешать... Я хотел с вами поговорить. С Володко я сегодня не смог,— прибавил он тихо.— Он мне верит! Если бы не он, не знаю, что бы со мною было. Верит мне,— повторил он,— но минутами, во время допросов, а меня уже несколько раз допрашивали, и не только он, мне кажется, что он чего-то хочет от меня добиться, ждет чего-то... Словно я могу ему что-то важное рассказать или что-то от него скрываю... Я говорю правду, повторяю правду, все время отвечаю на те же самые вопросы; ищу самые убедительные доводы и бесспорные свидетельства, что все было именно так, как я говорю: стоял у калитки, не был в ванной, не входил в кабинет, не знаю, как дневник и перчатки попали ко мне в багажник. Но если даже Иоанна...

— Иоанна вам верит,— перебил я.

— Но и она тоже думает, будто существует что-то, что я скрываю. И вообще — верим ли мы кому-нибудь безоговорочно? Я думаю об этом с утра. Я не переносу бездеятельности. Это мучает больше всего — бездеятельность... А вот для того, что непосредственно меня касается, я ничего не могу сделать! Вы, верно, думаете, что я решил играть роль детектива-любителя? Володко не терпит дилетантов и прав, конечно. Я не собираюсь вести следствие на свой страх и риск. Я просто

считаю, что должен защищаться. Тем более что моя концепция немного отличается от концепции Володко. Я бы избрал совершенно иное направление следствия.

— Как вас понять?

Кенджинский на мгновение замялся.

— Я знаю, что говорю не совсем ясно. Видите ли, мне кажется, что Володко ищет мотивы преступления в прошлом. Или — прежде всего в прошлом. Если, конечно, исключить меня. Но я не верю, чтобы кто-нибудь из людей, близких Геине в годы оккупации, мог совершить преступление.

Он в это не верит! А я? Я... хотел бы, ох, как сильно хотел бы не верить...

— Геина был суровым человеком, — продолжал Кенджинский. — И никогда не отступал перед истиной. Допускаю, что он ждал несколько лет, чтобы рассказать правду о людях, которых знал во время войны. И вот в своем дневнике он раскрыл их трусость или подлость. Почему он не сделал этого раньше? Нет, это не похоже на Геину. Он бы высказал им прямо в лицо все, что думает о них. И добился бы наказания...

Да, Володко был прав — Кенджинский восхищался Геиной. Я мог бы ему, конечно, сказать, что существовали причины, по которым Геина только в дневнике решил написать правду о Еве и Пете. Но я промолчал. Пусть ищет преступника вне того круга людей, которые с давних пор были связаны с Геиной. Я готов даже помогать ему в этом. Больше того — я буду стараться, чтобы он не бросал поисков. Арест Петы вовсе еще не означает окончания следствия. Володко прежде всего займется сейчас установлением всех его связей и главное — Евой...

— Мне можно не верить, — продолжал Кенджинский, — но я точно знаю, что дневник мне подкинули. Это — исходное и совершенно несомненное положение могу подтвердить только я один, так как опять же я один могу безусловно верить собственным показаниям и вообще не обращать внимания ни на какие другие предположения! Поэтому я ищу того, кому совершенно точно не нужен был дневник.

— Правильно, — сказал я. — Значит, Лобонский? Дзюжинский?

— Да. Эти двое. И еще Качмарская. Меня, однако, прежде всего интересует Дзюжинский. Как раз он... — поручик неожиданно замолчал. Может быть, он решил, что и так слишком много мне наговорил? Однако подумав, он продолжал: — Пару дней назад я провожал Иоанну поздно вечером домой. Мы шли с озера по Моджевской. На тротуаре перед своей дачкой стоял Дзюжинский, очень нетерпеливый, очень неспокойный, даже не заметил нас... Из дома Геины выходила его жена. Отец Иоанны проводил ее до калитки и, как только заметил нас, тотчас же с ней попрощался.

— И вы, — сказал я, — начали подозревать, что Дзюжинский убил Геину из ревности?

— Нет, почему? Я не так наивен! Дзюжинский не любил Геину, вернее — ненавидел его. Дзюжинский, единственный из нас всех, может быть исключая Пету, понимал, какое огромное значение имеет изобретение инженера. И сумел бы расшифровать любые его заметки. Несколько дней назад что-то произошло на фабрике, отношения между обоими инженерами резко ухудшились.

— Что же произошло?

— Завтра я узнаю все точно. Именно об этом деле я и хотел с вами поговорить. Я условился встретиться завтра с тем, кто мне... нам, — поправился он, — расскажет о некоторых весьма интересных фактах.

— Вы предлагаете мне роль свидетеля?

— Я вас об этом прошу. Завтра вечером в «Оазисе».

— Хорошо.

Сейчас я уже мог рассказать ему об аресте Петы. Он был совершенно потрясен этим известием.

— Пета? — выкрикнул он. — Невозможно!

— Почему?

Он молчал. Володко, наверное, говорил ему, что Пета был сильно заинтересован в получении дневника. А может быть, ему об этом сказала Иоанна?

Наконец он произнес:

— Но я, однако, не намерен отступить. И если вы согласны...

ВТОРНИК. УТРО И ПЕРЕД ПОЛУДНЕМ

... — Да, это я, — произнес он.

Вышел внезапно из темноты, свет рефлектора скользнул по нему; сперва я увидел руки, обыкновенный эффект — белые руки, вырванные из темноты, длинные пальцы, потом рукава свитера и лицо, как бы совершенно отделенное от тела. И глаза, кинематографически-телевизионные, штампованные глаза.

Рефлектор погас, голос исходил из ночи, потом в луче отдаленного света я увидел рынок; грузовик стоял перед домом, в открытом окне — профиль женщины, словно вырезанный из белой папиросной бумаги. И снова голос:

— Боишься? Думаешь, что можно еще что-то изменить? Чепуха! Я понимаю, ты не способен на отречение, ты не хочешь понять, что простейшее — возможно. Хотя...

Свет рефлектора смешно затанцевал по небу, потом, как ракета, начал стремительно снижаться. Звезды лопались с треском...

Раздался, очевидно уже не первый, стук в мою дверь. Я вскочил с постели, открыл дверь.

— Геновефа сбежала! — испуганно сказала Иоанна, стоя на пороге.

— Сбежала?

— Исчез ее чемодан, — быстро проговорила Иоанна. — В кухне жуткий разор. Пойдемте, посмотрите сами.

Мы вошли в кухню. В раковине была нагромождена немытая посуда, занавеска, отделявшая жилую часть кухни, была откинута. На кровати, прикрытой старым одеялом, лежали газеты, бумажные кульки, веревки: видно, Геновефа упаковывалась в страшной спешке.

— Надо оповестить Володко, — сказал я.

Капитан приехал через несколько минут. Молчаливый, понурый, он сразу отправился на кухню; Иоанна мыла тарелки, готовила кофе, а он внимательно осматривал каждую бумажку, выметал пыль и сор с антресолей, и я подумал, что точно так же старательно, но точно так же слишком поздно он осматривал вчера кабинет.

Потом появились два солдата с собакой. Но дождь не переставал идти, собака кружилась перед домом и никак не могла взять след.

Володко тщательно разглядел и подал Иоанне бумажку, найденную на антресолях. Это была узенькая банковская бандероль, на которой печатная цифра «10 тысяч» была зачеркнута чернилами и сбоку написано «5 тысяч».

— Это почерк вашего отца?

— Да.

Иоанна с удивлением разглядывала серый бумажный поясок.

— Боже мой! Это с тех денег, которые лежали в потайном ящике! Значит...

Володко кивнул.

— Да, Геновефа. Это она украла деньги.

— И потому сбежала?

Капитан промолчал.

— У нее есть родные? — спросил он.

— Дочка под Лодзью.

— Вы можете дать мне ее адрес?

— Конечно.

Он долго говорил в кабинете по телефону, потом мы пили кофе в столовой. Лобонский принес свежие булки. Вчетвером мы сидели за столом; лил сильный дождь, крупные капли ударяли в стекло, как град.

— Я никогда еще не видел Замковой Горы без солнца, — сказал Лобонский. — Пойдешь со мной, если утихнет дождь? — обратился он к Иоанне.

— Я не могу, — сказала Иоанна. — Должны приехать с фабрики. Завтра похороны отца, у меня еще масса дел.

Она выглядела уже снова совершенно спокойной.

Лобонский не настаивал. Подошел к окошку и долго вглядывался в хмурое небо.

— А все-таки я рискну, — сказал он наконец. — Замковая Гора — самое красивое место в этом городке.

Володко, который до этого все время молчал, обратился к Иоанне:

— Говорила ли вам что-нибудь Геновефа о показаниях, которые она давала вчера?

— Мне нет, она говорила Витольду.

— Вам? — Володко удивленно посмотрел на Лобонского. — Когда она вам об этом рассказала?

— Вчера утром. Спрашивала, как она должна поступить.

— И что вы ей посоветовали?

Лобонский усмехнулся.

— Я, конечно, понимал, что ее показания могут иметь большое значение. И одновременно они отягощали, как мне казалось, положение поручика Кенджинского. Я подумал об Иоанне... словом, я посоветовал ей поговорить с редактором...

— С больной головы на здоровую! — иронически улыбнулся Володко.

— Но ведь теперь показания Геновефы не имеют уже значения, раз вы арестовали Пету, — вмешалась в разговор Иоанна.

— Все, что связано с Геновефой, имеет огромное значение, — холодно сказал капитан.

Нетрудно было догадаться, как страстно хотела Иоанна узнать что-нибудь о Здиславе. Однако она молчала. Видно, она не хотела задавать прямых вопросов и надеялась, что Володко наконец скажет об окончании следствия. Но Володко молчал, словно считал, что кража денег не является истинной причиной бегства Геновефы.

Иоанна со вздохом встала, собрала тарелки, и когда открывала двери в холл, все услышали телефонный звонок.

— Это меня, — сказал Володко.

Через минуту он вернулся из кабинета.

— Я ошибся, — сказал он, обращаясь ко мне. — Это тебя.

Конечно, Ева. Голос усталый, говорит так быстро и тихо, что я слышу только отдельные слова. Ждет меня в кафе.

Когда я положил трубку, в дверях появился Володко.

— Подвезти тебя? — спросил он.

Я кивнул. Он знал, с кем я говорил, знал, вероятно, и куда я пойду. Он приказал шоферу остановиться около кафе на Аллее Храброго. Я понял это как предостережение: «не старайся от меня что-либо скрыть».

— Ты думаешь, — спросил я равнодушно, когда мы повернули на Ал-

лею,— что исчезновение Геновефы имеет что-либо общее с арестом Петы?

— Ничего я не думаю,— буркнул он неохотно.— Пета имеет алиби.

— Алиби? Каким чудом?

— В самом прямом смысле. Он — один-единственный из всех вас! Словом... узнаешь позже. Позвони мне после обеда.

Дождь ни на минуту не ослабевал. Я выскочил из машины, быстро перебежал тротуар и вошел в кафе.

Ева сидела за тем самым столиком, что и вчера, в углу, на плюшевом диванчике. Тот, кто не знает ее так хорошо, как я, не заметил бы на ее лице никаких следов беспокойства или нервного напряжения. Она мелкими глотками пила кофе, старательно засовывала сигарету в стеклянный мундштучок. Как великолепно умела она владеть собой!

— Итак,— произнесла она, когда официантка, поставив передо мною чашку кофе, отошла от нашего столика.— Итак, это случилось!

Я молчал. Только голос ее, такой же тихий, как по телефону, выдавал ее волнение.

— Ты читал дневник?

Я не хотел ее щадить, не мог!

— Читал,— сказал я.— А ты?

Она кивнула, потом посмотрела мне прямо в глаза.

— Володко вышел из комнаты,— начала она.— Оставил мне дневник и вышел из комнаты. У меня было немного времени, чтобы прочесть... А ты! — голос ее неожиданно взлетел и надломился на очень высокой ноте.— Не смотри на меня так!

— Однако, Ева!

— Не смотри на меня так! — повторила она шепотом.— Ведь это отвратительно!

Она опять закурила. Это ее немного успокоило.

— Геина был жесток,— снова зашептала она.— Жесток сознательно и бесполезно. Он всегда был таким. И тогда, когда решил меня бросить. Он пришел ко мне уже с готовым решением. И знаешь, почему он это сделал? Из эгоизма, из-за бесконечного самокопания! Родине он посвящает все! Он и не думал даже обо мне. Я существовала только как вещь, как элемент, необходимый для решения теоремы. Ты не знал его тогда! Этого жесткого молокососа, цедающего слова, отмеривающего жесты; как же трудно было вырвать у него улыбку, волнение, сочувствие! Он пишет в дневнике о парнишке, которому приказал бросить девушку. Она была моей подругой. Красивая, порядочная девушка. Кончила в Освенциме... Любовь не помешалась в мире Геины, он был уверен, что во время войны нет для нее места. Не понимал, что в человеке все сплетено и связано, что человек откладывает карабин и идет к своей девушке, что необходимо любить именно между боями! Хотел остаться свободным, боялся, просто боялся обременять себя любовью!

— Ты его ненавидела, Ева!

— Я его любила! Потом я сбежала к Пете; я говорю — сбежала, потому что так именно и было. Обыкновенный, человеческий, трусливый; я отдыхала рядом с ним; не должна была уже выбирать каждое слово, жест, зорко вглядываться в лицо — не увижу ли, как кривятся губы, не появится ли презрение в глазах...

Она вытряхнула из мундштука недокуренную сигарету, закурила другую.

— Довольно! — сказала она уже другим тоном.— Хватит. Геина совершил свою месть. Ждал долго и спокойно. Ударил, когда решил, что час настал. Может быть, надеялся, что приеду его умолять? Я приехала...

Однако первым явился Пета.— Она презрительно повела плечами.— Это не противник для Эдварда. Геина высмеял его: «Может быть, я должен тебя по головке погладить за твою трусость?» и еще: «И так я уже не тот, что прежде! Вот терплю же я твое присутствие!»

— Как он решился жить у Геины?

Она пренебрежительно скривила губы:

— Пета готов был вынести любое унижение. Геина выслушал его объяснения, взвесил их, продумал и, уверяю тебя, проделал все это очень добросовестно, а потом начал над ним издеваться. Издеваться! — повторила Ева.— Такие люди, как Геина,— безжалостны. От них невозможно ждать понимания человеческих слабостей. Холодная, пренебрежительная твердость.

— Ты его ненавидела, Ева! — повторил я.

— Да, потом я его возненавидела.— Она сильно затаилась.— Но тогда, когда он меня бросил, я не поверила ему, думала, что у него просто другая. И тут Пета... И как же я разочаровалась! — горько усмехнулась она — Ведь Пета меня обманывал...

— Обманывал? Когда?

— Обманывал. Той же ночью. Я ничего не знала о готовившемся падении. На рынке стреляли. Я вышла из дому, стала у калитки, услышала сперва очередь из автомата, потом резкий, быстрый стрекот пистолетов, и как раз в это время прибежал Пета. Я ни о чем не спросила его, думала, что он бежит оттуда, я просто втащила его в комнату. Остальное ты знаешь... Не смотри на меня так! — снова вскрикнула она.— Это омерзительно! Я говорю не о себе сейчас! О женщине, которой уже нет!.. И только много позже, когда утихли выстрелы, он рассказал мне все. Или — почти все...

— Я должен был об этом знать раньше,— сказал я жестоко.— Когда ты просила моей помощи.

— Ты этим недоволен? Не будь ребенком. Есть вещи, о которых не говорят даже с самыми близкими людьми... разве что принудительно. Даже Геина не обо всем решился написать...

— Не обо всем?

— Да, но это неважно. Я уже тогда понимала, что люди неспособны говорить правду... особенно о себе. Когда Зигмунд... то есть Пета, мне обо всем рассказал, я почувствовала гадливость. Знаешь, человек иногда покрывается липким, отвратительным потом. Мне хотелось бежать на рынок, хотелось броситься к Геине... Да, да, было так, как написано в дневнике... Эдвард увидел наши лица и держал нас под дулом своего автомата, а мне в течение всех двадцати лет не пришлось даже в голову, что он там был, стоял под окном, раненый, едва державшийся на ногах... Я должна была знать... Не подумала, что если жив, то придет ко мне...

Она посмотрела на меня задумчиво и грустно.

— Ведь в ту ночь я в первый раз была с Петой, понимаешь, первый раз согласилась остаться с ним. До этого все еще было игрой, бегством от Эдварда, надеждой на возвращение Эдварда... Если бы Пета не пришел в ту ночь раньше... Если бы я знала, что Геина стоял у окна!

Она замолчала. Я подал ей сигарету, она взяла ее прямо в рот, не вспомнив о мундштуке.

— Послушай, зачем он это сделал? Зачем он написал это? Кому нужно было знать о той ночи? Почему он не захотел пощадить меня? — Я боялся, что она расплачется, но она внезапно успокоилась, подобралась и начала говорить уже совершенно другим тоном: — Итак, Пета мне рассказал, как обстояло дело. Я уже совсем решила его выгнать — трусливого, лживого, не говорящего ни слова правды, а потом меня охватило какое-то странное, упрямое чувство — возьму его таким, каков он

есть,— подлого труса, жалкого лжеца,— ему я, наверное, нужнее... На следующий день мы уже знали, что все участники вылазки погибли. Немцы бесчинствовали в Острине. Однако заложников, тех, кого не убили во время боя на рынке, не расстреляли. Выпустили. Нападение на пост все-таки произвело впечатление. Пета,— сухо продолжала она,— установил связь со Старым и под псевдонимом «Дикая Кошка» снова начал создавать организацию. Я согласилась на то, чтобы он украл чужой псевдоним. И помогала ему; нет, не помогала, а следила за тем, чтобы он избавился от ночных страхов, чтобы... ах,— вздохнула она,— что там говорить! Все остальное ты знаешь. Слишком поздно я поняла свою ошибку... Видишь ли, для женщин в любви заключается несколько иной смысл, чем для мужчин. Иногда нам кажется, что милосердие, сочувствие, потребность в нежности...

Она неожиданно надолго замолчала. Потом заговорила снова:

— Когда я узнала о существовании дневника, я запретила Пете ехать к Геине, говорить с ним. Однако он мне не доверял — боялся меня. Думал, что ему удастся все «устроить». Он забыл, кто такой Геина. И вот я приехала сюда. Сперва позвонила в отель «Орбис», я не думала, что он поселится где-нибудь на частной квартире. Портье мне сообщил, что он выехал и поселился у Геины. Я просто остолбенела. Неужели ему удалось договориться с Эдвардом? Я тебе уже сказала, что сняла комнату у одной дамы. Из квартиры я позвонила Геине; через двадцать лет я снова услышала его голос. И знаешь, была потрясена. Он дважды повторил «халло», пока я решилась отозваться. Он меня, конечно, не узнал; не думаю, чтобы он узнал меня, если бы встретил на улице. Я попросила к телефону Пету и, не дав ему произнести ни слова, велела тотчас же прийти в это кафе. Я велела Пете сообщить Геине, что я приехала в Б. и что он может со мною увидеться. Я не намеревалась ни звонить, ни просить; видишь ли, мы всегда были немножко из одного теста с Эдвардом. Я дала Пете номер телефона моих хозяев и попросила его позвонить мне вечером, информировать меня, как Геина принял известие о моем приезде в Б. Пета всегда был счастливымчиком,— усмехнулась она.— В этот раз тоже.

— Не понимаю.

— Через минуту поймешь. Я призналась Володко, что вышла из дому около 18.30. Вернулась около 20.30. Нет у меня никакого алиби на все то время, когда произошло убийство. Скажу больше: я хотела увидеть дом, в котором живет Геина. И я пошла по Моджевской, осмотрела дом со стороны улицы, а потом пошла дальше, до самого озера, и оттуда полем до сада Геины. Подошла к калитке. Увидела в саду на скамейке Эдварда и рядом с ним молодого офицера. После стольких лет я снова увидела Геину. Ну что ж... с такого далекого расстояния... мне показалось, что он нисколько не изменился. Даже черты лица. Такие же острые. Губы сжаты. Только волосы немного поседели... А может быть — это был только отблеск солнца...— Она глубоко вздохнула.— Я ждала. Хотела подождать, пока он встанет, посмотреть, как он ходит,— когда-то у него был очень характерный, короткий и сильный шаг. Думала, может быть, он приблизится к забору и я увижу его глаза. Но ничего такого не произошло. Я должна была уйти — мне сделалось нехорошо; я легла на траву и пролежала с полчаса. Как раз те полчаса, в которые я, как думает Володко, и убила Геину.

— Но Володко вовсе так не думает!

— Почему? Учитывая мое прошлое? Признайся, что Геина дал мне не очень лестную характеристику. А ведь я не раз доказала, что не трусиха. И так — я смелая и не очень щепетильна. Представляешь себе уголовный процесс: случилось ли вам кого-нибудь убивать ударом штыка под лопатку? Да, случилось...

— Ева!

— Ах, ты опять чувствуешь себя оскорбленным. Конечно, так я когда-то ликвидировала гестаповца. Я принимала участие в одном большом деле, получила за это орден...

— Ты вне подозрений...

— Ах ты, мой милый! А скажи, ты совершенно уверен, что я не убивала Геину? Что, сойдя с ума от любви, ненависти, горя и дьявол знает от чего еще, не всадила ему штык в спину...

— Но ведь существует Пета, он арестован...

— Вот именно. Пета выполнил мои приказания: он позвонил вечером и не застал меня дома. Звонил точно в 19.35. Хозяйка смотрела телевизор и запомнила время, потому что как раз начинался короткометражный фильм «Цветные озера». Положила трубку, заглянула ко мне в комнату, потом вышла во двор, в маленький садик, нигде меня, конечно, не нашла, вернулась к телефону и перекинулась с Петой парой слов. Все это длилось две-три минуты; Пета на первом допросе не хотел признаваться, что звонил мне из спальни. Не хотел говорить о том, что я нахожусь в Б., а также о том, что меня не было дома в то время, как совершалось преступление. Иногда он бывает способен на такие жесты. Только позже, когда Володко прижал его, признался: не был ни в киоске, ни в кабинете. Звонил из спальни, и разговор, как сообщила моя хозяйка, длился не менее двух минут. Это значит, что ожидание ответа хозяйки как раз совпадает по времени с отсутствием Петы в столовой.

Я слушал ее с удивлением.

— Значит, это исключает Пету?

— Ну, не окончательно. Мог ведь звонить не из спальни, как утверждает, а из кабинета. Но мне кажется это мало правдоподобным, чтобы в течение пары минут он успел убить, обыскать стол и позвонить по телефону. Это не самое чистое алиби, но, однако, и неплохое... Зато, как мне кажется, Володко удалось вытянуть у Петы признание, что он ночью пытался ограбить кабинет.— Она презрительно скривила губы.— Закажи еще кофе... А у меня нет алиби ни на вечер, ни на ночь. Я сразу призналась Володко, что в ту несчастную ночь я не сидела дома, а бродила долго, очень долго над озером. Дважды я без труда могла войти в кабинет Геины со стороны сада.

— Ерунда! Володко слишком умен, чтобы не понимать: обвинение тебя в убийстве или в сочувствии к убийству не может объяснить всех известных ему фактов. Подброшенный дневник и перчатки, если их действительно подбросили; запертая ванная... Особенно эта несчастная ванная... Трудно, конечно, возразить, что твое положение сейчас не из самых устойчивых.

— Хорошо, что ты все-таки это заметил. И помни еще одно — мое присутствие у калитки исключает возможность подозревать кого бы то ни было постороннего, пришедшего со стороны. Значит, я должна защищаться,— сказала Ева. Она снова была спокойна; вынула из сумочки пудреницу и помаду.— Должна защищаться,— повторила она.

— Что можно сейчас делать? Только ждать.

— Нет, ждать нельзя! Послушай,— вдруг спросила она,— как выглядит эта Качмарская?

— Пани Ирена...

— Ее зовут Ирена? — прервала Ева.— Значит, это все-таки она! Неправдоподобно! Но, однако?..

Я описал адвокатшу как можно подробнее. Ева слушала внимательно, но казалась чем-то недовольной.

— Из описания мужчины немного можно узнать о женщине. Даже

если мужчина — журналист, а женщина красива. Я обязательно должна ее увидеть!

— Скажи, наконец, в чем дело? Что ты о ней знаешь?

— Не знаю, о ней ли, и не знаю, должна ли говорить.

— Ладно уж, ладно... Это твое нежелание говорить правду уже довело черт знает до чего...

Ева посмотрела на часы.

— Я скажу тебе только вот что: года два или три назад, когда я узнала, что Геина жив, один мой старый товарищ представил мне в каком-то варшавском кафе очень красивую женщину, приехавшую из провинции. Потом, опьянев, он рассказал мне ее историю. Ее и Геины. Дело было тоже во время оккупации, через несколько месяцев после остринской катастрофы. Ее псевдоним — Йола. Нет, ты не найдешь ни слова об этом в дневнике Геины. На этот раз Эдвард сохранил секрет. — И прибавила сквозь зубы: — Йоле принес в дар то, что мне принести не захотел!..

ВТОРНИК. ВЕЧЕР

Дружба Володко и Кенджинского меня сильно удивляла. Я не мог понять, что связывает двух таких разных людей. Володко, старший по чину и годам, замкнутый, молчаливый, холодный, казался полной противоположностью горячего, запальчивого, но довольно примитивного Здислава. Кенджинский не любил сложностей, слова и жесты трактовал дословно, подозрительность, чуждая его натуре, проявилась в нем только сейчас, когда он получил от жизни достаточно мощный удар. Недоверчивость и подозрительность Володко были не только приметам профессий, но и чертами характера. Он относился одинаково настороженно и к так называемым «подозреваемым», и к выставленным против них обвинениям, и к показаниям свидетелей, и к выводам, к которым приходили его подчиненные или начальники, да, по-моему, — и к собственным мыслям. Ведя следствие, Володко неустанно колебался, возвращался к исходному пункту обвинения, занимался бесконечными проверками, словно не доверяя самому себе, старательно избегал поспешных решений.

Словом, он ничем не напоминал знаменитых детективов, которые на основе только им одним ведомых следов и улик восстанавливают точную картину преступления. Володко нисколько не скрывал, каких трудов стоило ему из массы малозначащих фактов и мелких происшествий выуживать как раз те, которые имеют отношение к преступлению, как сложно построить их в единую логическую линию поведения преступника; он знал, что если даже такая единая линия выстроилась, она не обязательно ведет прямо к истине. Вариантов несколько, а найти надо один: единственный, подлинный и несомненный. Поэтому до самого конца следствия Володко не высказывал своих предположений и был чрезвычайно осторожен в выводах.

Наоборот, Здислав казался мне уверенным в себе. Я легко мог представить его отдающим распоряжения во время боя. Не сомневаюсь, что он внушил бы солдатам веру в целесообразность своих действий. Иоанна права: чем-то, может быть упорством, нелюбовью к колебаниям и привычкой всегда отдавать себе отчет в чувствах и мыслях, он походил на Геину. Именно эти черты его характера проявились в полной мере, когда, подозреваемый в убийстве, холодно принятый Иоанной, он принялся активно действовать. И действовал он, как всегда, с полной верой в успех, в свои силы, желая перещеголять Володко как раз в той области, в которой тот был признанным специалистом. Продолжал ли капитан подозревать друга в совершении преступления?

Дружба требовала доверия; и Володко верил в честность товарища — ведь он знал Здислава много лет. Не мог же он сказать даже себе самому: «Я ничего не знаю о самом для меня близком человеке!» Значит, только в этом единственном случае Володко должен был отступить от своего всегдашнего принципа: «Пока не кончено следствие, нельзя сказать, что ты знаешь то-то или то-то абсолютно точно». В противовес уликам, показаниям и точным доводам, он защищал Кенджинского, всячески стараясь доказать его невиновность. Он защищал его не только перед начальством, но прежде всего — перед самим собою. Я понял, что дело Геины было для него одновременно, а может быть и прежде всего, — делом Здислава Кенджинского. А следовательно — и его личным делом. (Совершенно так же, как для меня убийство Геины связано прежде всего, а может быть и исключительно — с Евой и ее судьбой). Безусловно, если бы кто-нибудь другой вел следствие, положение Кенджинского было бы куда более тяжелым. Потому что только Володко был искренне убежден в невиновности Кенджинского, и все, что он потом думал и делал, вытекало из этого убеждения. Высшая ставка в дружбе!

Понимал ли это Здислав? Думаю, что нет. Он был уверен, что Володко просто выполняет свои обязанности, возможно, был даже обижен — ведь друг до сих пор не снял с него тяжкой угрозы обвинения. Решил действовать самостоятельно, хотел удивить капитана...

Я размышлял обо всем этом, идя на свидание со Здиславом. Темнело. В дверях городского ресторана-дансинга шумела толпа туристов. С трудом, работая локтями, я пробрался внутрь. Почему он выбрал это место для встречи? По-моему, нехорошо, чтобы его видели в дансинге за день до похорон Геины! С порога я оглядел зал: оркестр играл твист, на круглой паркетной площадке молодые люди подергивались в такт музыке. За столиками тесно сидели туристы, места на диванах — возле окон, откуда лучше всего была видна танцевальная площадка, — занимал местный «высший свет». Отличительная особенность таких вот дансингов в излюбленных туристами городках — смесь солидного вечернего кафе с трактиром и кафе-шантаном: рядом с шортами и ситцевыми платьями — черные костюмы солидных мужчин и открытые бальные туалеты дам.

Кенджинский одиноко сидел за маленьким столиком у окна. Пил кофе, серьезно поглядывая на танцующих. Меня он заметил только тогда, когда я положил ему руку на плечо.

— Ну, где же ваш таинственный свидетель? — спросил я.

— Танцует, — ответил он серьезно. — Через минуту подойдет.

— Кто же он?

— Никакой тайны, — пожал он плечами. — Зоя, секретарь главного директора комбината, подруга Иоанны.

— Володко ее не допрашивал?

— Я уже сказал вам — Володко все это проглядел. Он допрашивал секретаря Геины, даже секретаря Дзюжинского, но ему не пришло в голову, что Зоя может знать куда более интересные вещи.

— Ну, а сама она не объявила ему об этом?

— Ей и в голову не могло прийти, что то, что она знает, может кого-то заинтересовать. А я, — Здислав подчеркнул «я», — связал пару деталей. Видите ли, несколько дней назад Иоанна мне рассказала о каком-то резком столкновении между ее отцом и Дзюжинским. Она узнала об этом как раз от Зои. В течение последних двух недель Геина заменял главного директора и Зоя осталась секретарствовать у него. Она здесь со своим парнем, но присядет к нам через минуту. Я уже с ней говорил.

На площадке твистовали все более бурно, в сумасшедшей толкотне

уже трудно было различить, кто с кем в паре. Я подумал, что никогда не научусь танцевать этот дикий танец...

— Может быть, надо было сразу уведомить Володко? — спросил я. Здислав заколебался.

— По-видимому... но я ведь еще ничего толком не знаю. Тадек никогда серьезно не относится к моим замыслам. Вы понимаете, я сейчас нахожусь в таком положении, что не могу прийти к нему, не выяснив все до конца. Я тяну нитку, которую Тадек не заметил. Уверен, что он совершил ошибку!

Кенджинский вообразил себя на месте Володко. О, этот бы не колебался, не боялся бы поспешных решений! Такого трудно разубедить, если он кого-либо заподозрит!

Девушка, которая подошла к нам, когда оркестр неожиданно, как мне показалось, — на полутакте, прервал твист, была намного красивее Иоанны. Брюнетка с тонкими чертами лица, с узким, прямым носиком; только губы были несколько полноваты и густо накрашены.

— Значит, вы журналист? — сказала она, подавая мне руку. — Последнее время к нам очень часто приезжают журналисты.

Я был поставлен на место: пусть гражданин средних лет не думает, что его занятия и приезд из столицы могут смутить здешних девиц! Кенджинский подсунил ей пачку «Экстра-крепких»; она держала папироску длинными пальцами, аккуратно стряхивая пепел в пепельницу.

— Вы были другом инженера Геины?

— Да.

— Здисек мне говорил. Редко встречаются теперь такие люди, как Геина. — По лицу ее пробежала легкая тень, чуть-чуть скривились полные губы. — Теперь люди чаще всего... никакие...

Она замолчала, потянулась к чашке.

— А Геина?

— Нет... он был сильный! Я часто думала, что он такой, как... ну, как герой романа. Даже мой начальник при нем казался мелким. Но это между нами, конечно...

— Ясно.

— Теперь никому нельзя верить... Геина умел принимать решения. Самостоятельно. И люди его боялись. Я не раз видела, как, ожидая в секретариате приема, они нервно шагали из угла в угол, вытаскивали и снова прятали какие-то заметки. — Она усмехнулась. — Я его не боялась. Мы часто разговаривали с ним. Пили вместе кофе в столовке. Мой парень даже ревновал.

— Но он ведь не имел повода...

— Не имел, — подтвердила Зоя. — Геина меня понимал; он знал, что я нашла цель в жизни: хочу выбиться, буду учиться заочно. Он понимал людей, которые чего-то хотели. Других — презирал.

— А что это было у него с Дзюжинским? — прервал ее Здислав.

— Подожди, расскажу. Раз обещала — расскажу. Я никого не обвиняю. Но я знаю, почему убили Геину; потому что он был такой, какой был. Неудобный. Понимаете? Люди говорили, что он придирается, что не дает жить, что из-за мелочи может уничтожить человека. Даже мой начальник, но это, прошу вас, между нами, часто говорил: «Эдвард (они друг друга по имени называли) не понимает, что иногда надо закрывать глаза».

— Они с директором ссорились?

— Ссорились. Бывали на ножах, но в общем-то — дружили. Все знали, что они вместе ездили на рыбалку, но никогда ничего не слыхали, потому что только сидели над озером и шипели друг на друга...

— Ну, а с Дзюжинским? — снова прервал ее Здислав.

— Ну, хорошо, хорошо. Я не верю, что Дзюжинский мог такое сде-

лать, но что знаю — то расскажу. Видите ли,— она обращалась только ко мне.— Дзюжинский — полная противоположность Геине. Люди его любят... Он всегда подумает о премии, об авансе, каждый знает, что он тебя поймет, знает жизнь. Никогда не крикнет на работника и умеет, как надо, вежливо обвести тебя вокруг пальца. Работает начальником цеха и в течение последних двух лет добивался наивысших показателей. С Геинной жил в полном согласии, но если говорить правду — тот его не выносил, хотя и доверял ему полностью. Дзюжинский выступал против того, чтобы новый реактор назывался по имени изобретателя: «Г». Но Геина не обиделся: в глаза, на собрании, ему можно было говорить решительно все. Редко признавал чужую правоту, вообще — все делал по-своему, но каждого выслушивал и никогда не мстил за критику.

— Зойка!

— Ну сейчас, сейчас. Итак, когда директор поехал в отпуск, Геина, как всегда, переселился в его кабинет. Я очень любила с ним работать, приносить ему кофе, слушать, как он разговаривает с людьми. Как-то так получалось — когда он брал на себя руководство, на фабрике становилось тише и спокойнее; меньше собраний и заседаний, по-деловому... Геина знал, и Геина принимал решения... Теперь о Дзюжинском. Буря над его головой собиралась уже давно. Я не знаю всех технических деталей и поэтому расскажу только в общих чертах, о чем шла речь; Дзюжинский достиг в своем цеху значительного снижения себестоимости продукции благодаря экономии сырья. И получил за это большую премию. Геина с самого начала смотрел на эту экономию косо. Возмущался, ссорился с директором; потом все утихло, но я знала, что если Геина что-нибудь начинает, обязательно доведет до конца. На фабрике говорили, что у него бульдожья хватка. Так и случилось. Делал какие-то вычисления, велел приносить пробы из цеха, потом, уже во время отпуска директора, вызвал Дзюжинского к себе. Я слышала этот разговор, оба они кричали. Потом Дзюжинский успокоился, начал просить, ссылался на их дружбу, на товарищескую лояльность, не знаю, на что еще. Геина заявил, что напишет рапорт, в котором потребует выбраковки целой партии товара и административного взыскания. Дзюжинский вылетел из кабинета красный как рак, в полуобморочном состоянии. Ничего удивительного — для Дзюжинского это был ужасный удар. И для его цеха тоже. Начали приходить к Геине по очереди: мастера, бригадиры, даже одна какая-то продавщица. Ничего не помогло. Никто не смог его уговорить — Геина не уступил.

...На танцевальном кругу снова начался твист. Погасили верхний свет, в полумраке были видны только лица танцующих — мелькающие белые пятна...

— Что же было дальше?

— Ничего,— Зоя опять закурила.— Я должна уже идти, мой парень заждался... Я пила с Геинной кофе, последний раз...— Ее голос неожиданно надломился; она умолкла.— «Знаешь, Зоя,— сказал мне тогда Геина,— я иногда думаю над тем, сколько еще должно пройти лет, чтобы такие, как я, стали уже не нужны».

— Когда произошел этот скандал с Дзюжинским? — спросил я.

— За пару дней до... Подождите. Директор приехал из отпуска в пятницу, в субботу Геина сидел у него целый день, так как в понедельник должен был ехать в Варшаву,— считала она по пальцам.— Значит, это было во вторник.

— А когда ты видела жену Дзюжинского у Геины? — спросил Здислав.

— В среду... Ну, я пойду уже. До свидания. Честь, Здислав! И не думайте, пожалуйста, что я обвиняю Дзюжинского. Я никого не обвиняю...

— Еще одно, Зоя,— задержал я ее.— Успел ли Геина передать директору тот рапорт?

— Не знаю.

Улики против Дзюжинского показались мне необыкновенно вескими. Он вышел из столовой вместе с Петой, значит, он, а не директор Варэкспорта, мог встретить Геину, выходявшего из ванной. Он же мог и подбросить дневник, ему были совершенно ни к чему воспоминания Эдварда.

— Ну, что вы обо всем этом думаете?— спросил Кенджинский, когда мы остались одни.

— Володко должен как можно скорее допросить Зою,— сказал я.

— Я бы на его месте сейчас же прижал Дзюжинского,— возбужденно заговорил Здислав.— Он не выдержит и начнет говорить. А в это время мы что-нибудь узнаем и о брошке, найденной на террасе!

— Только не сделайте какой-нибудь глупости,— сказал я ему на прощание.— Лучше уведомить обо всем Володко и действовать не торопясь.

— Не торопясь? Это вечный девиз Тадека. Я придерживаюсь другого — завтра может быть уже поздно!

Он остался в ресторане. Я выбирался, лавируя между тесно стоящими столиками и танцующими парами. Возле большого стола у самой двери я увидел Качмарскую в обществе высокого мужчины в серой куртке. Лицо его показалось мне знакомым. Партнера адвокатши я, должно быть, видел когда-нибудь в Варшаве, но, кажется,— в мундире. Когда я проходил мимо их столика, Качмарская посмотрела на меня. Я поклонился. И в дверях, когда выходил из ресторана, чувствовал на себе ее взгляд.

Перевела с польского Л. ВОЙТЛОВСКАЯ

(Окончание следует)



ЧИСТОЕ ДЫХАНЬЕ

• • •

Зори бились кумачом,
солнце в речке плыло —
не жалею ни о чем,
что со мною было.

Что мое, что не мое —
не перебирала,
заскорузлое белье
в проруби стирала.

Как умела — не лгала,
дожидаясь завтра,
тяжко на душу легла
истинная правда,

но всегда чего-то жду
и всему открыта,
как весеннему дождю
новое корыто.

• • •

Не руку отрубила
по самое плечо,
любила — отлюбила,
остыло горячо.

Теперь, коли захочешь,
ко мне не подойдешь,
заносиста, как кочет,
колюча, будто еж,

рассудком осветилась,
все знаю, как пророк.
Да я ль когда-то билась
затылком о порог?

Да я ль была готова
себя перехлестнуть?
Да мне ль хватало слова,
чтоб мир перевернуть?

Давно ли мненье света
мне было все равно?
Подобьем самоцвета
цвело мое окно.

А нынче виснет косо
полшторки полоса,
и за стеклом белесым
стеклянные глаза.

• • •

Прежнего житья
гаснет белый свет.
Были ты и я,
нас с тобою нет.

Голубую шаль
на клочки порву,
ничего не жаль,
широко живу,

разобью бутылку
о паркетный пол,
пусть засыплет пыль
глянцевитый стол.

Мне ли не посметь
все перемешать?
Только бы суметь
слезы удержать.

ДВА РАССКАЗА

ОНА ЛЮБИЛА СИММЕТРИЮ...

Ничего особенного не случилось. Нечего было рассказать даже близким друзьям, но Геннадий определенно знал, что теперь на всю жизнь запомнит тусклую, немолодую женщину в аккуратной маленькой старомодной шляпке, прикрывающей только макушку. Он понял, что всегда теперь будет оправдываться перед ней, хотя вряд ли когда-нибудь встретится с ней еще раз. Если бы он мог объяснить ей, что ошибка его была в общем не столь уж серьезной, во всяком случае легко объяснимой и прощательной. Но он никогда больше не увидит ее, и она будет жить с молчаливой обидой, он — с вечным бессильным раскаяньем.

А начиналось все так славно. Уже у вокзала, перед кинотеатром «Красный партизан», он увидел себя самого ростом в два этажа и непохожего. Местный художник был человек старательный, но не очень одаренный. С рекламного плаката, извещавшего о премьере, пронзающим прохожего взглядом смотрел белолицый красавец злодей. А может быть, художник льстил?

В Смоленске льстило новой знаменитости все. В Москве он жил в коммунальной квартире, у Серпуховки, а здесь приезжего поселили на главной улице в лучшей гостинице города. Он ездил на студию двумя троллейбусами с пересадкой, а здесь раскатывал по маленькому городу в черном, слишком просторном для одного пассажира лимузине.

Тогда Геннадий не думал, что награда за удачный фильм была несоизмерно крупной. Смоленск был первым городом в его первой гастрольной поездке. После не раннего, если не сказать позднего, успеха на примере тех знаменитостей, с которыми он вдруг сравнился, он знал, какие радости его ждут. И действительно, все сбывалось.

Перед началом сеанса в «Красном партизане» его ждали цветы, оvationи, речи. Геннадий был счастлив — он еще не привык к почестям, похвала казалась преувеличением, и он краснел от них и от аплодисментов. Публики он не боялся — он ведь играл в театре, сумел собраться и сказать искренне все как есть: как хорошо, что фильм удался, очень здорово, что он принес людям радость, как хочется играть, честно работая, изо всех сил, чтобы другим жилось теплее.

Весь зал, провожая его взглядом, аплодировал до тех пор, пока он

не поднялся на балкон, в середину первого ряда. Легче стало, когда свет, наконец, погас, начался фильм. Еще раз взгремели ненадолго аплодисменты.

Теперь полтора часа можно было оставаться наедине и думать о чем угодно. Мысленно он, конечно, имел право признаться, что в общем нравится сам себе. Вот здесь он довольно хорошо собой, а вот там зря уступил режиссеру: мог бы доказать, что надо делать иначе и лучше. Впрочем, он не так уж часто уступал другим — не потому ли такой крутой, перекопанной оврагами была его дорога. Все это пришло в тридцать с лишним лет — для актера, особенно для киноактера, просто поздно, и поры, когда можно иметь успех только из-за того, что ты молод и красив, уже не будет. Сейчас не время быть злопамятным, но он, честно говоря, мог бы припомнить некоторым своим лучшим теперешним друзьям — очень много друзей сейчас — и несправедливость, и невниманье. Впрочем, он может быть им благодарен, особенно самым несправедливым, самым невнимательным в прошлом. Они, сами того не подозревая, помогли ему сыграть верно эту роль — человека, который устоял, понятного и близкого многим.

Геннадий очнулся от аплодисментов. Он остался здесь сидеть не для того, чтобы еще раз посмотреть знакомый до последней детали фильм, а именно для того, чтобы поклониться, когда фильм окончится. Люди, обернувшись к балкону, аплодировали, а Геннадий кланялся.

И вот когда он спускался с балкона, к нему подошла эта немолодая, довольно старомодно, хотя и аккуратно одетая женщина в шляпке, которую когда-то шутливо называли менингиткой.

— Простите меня за те слова, которые я вам скажу, — сказала она Геннадию грудным, тусклым голосом. Он улыбнулся ей с покорной готовностью скромно выслушать похвалу. Она действительно хвалила. — Спасибо вам за этот фильм. Я даже не могу вам сказать, как я благодарна вам за него. Так бывает с хорошей, с самой хорошей книгой: кажется, что она написана только для тебя и ты одна понимаешь все до тонкостей. Знаете, я смотрела фильм сегодня четвертый раз. Не в Смоленске — о нем здесь уже все знают, но сегодня его показали впервые. Я была летом в Москве, смотрела его в «России» три дня подряд. Ходила утром, на первый сеанс, — только тогда можно было достать билет. — Потом она смутила его еще больше: — Я намного старше вас. Не подумайте обо мне плохо, я хочу вас поцеловать.

Он покраснел, не зная, что сказать, когда она, приподнявшись на носках, чуть коснулась губами его щеки.

...В Смоленске Геннадий провел еще несколько дней. Вечером он выступал перед началом сеанса, каждый раз в другом кинотеатре. Почти весь день сидел, томясь бездельем, за столом у окна, читая журналы. Ему был виден старинный тенистый сад, со старыми, но так и не ставшими могучими липами — им было, наверное, слишком тесно. Сад почему-то назывался (по-французски, что ли?) Блонье.

Еще днем Геннадий уложил вещи. Впрочем, он это мог бы сделать за две минуты, перед самым уходом: вещей он взял немного, но радовалось, что впереди опять дорога и приятно было возиться с нарядно блестящим артистом, на потайных застежках чемоданом — его подарил знакомый артист, вернувшийся из Италии с фестиваля. Жаль, что прошла мода на пестрые наклейки. Сегодня Геннадий уже имел бы одну гостиничную марку на чемодане, завтра получил бы вторую, скоро, наверное, появились бы и заграничные.

Радуюсь успеху и скорому отъезду, на сцену перед экраном Геннадий вышел легкий, разговорчивый. Он чувствовал, что нравится людям. Он говорил все то, что и в первый раз, вспомнил и о женщине в менингитке, рассказал о ней весело, с иронией.

— Честно говоря, мне воздают больше, чем я заслужил. Конечно, радостно, что зритель так тепло принимает фильм. А где же режиссер? Почему о нем забыли? Где другие мои товарищи? Знаете ли, здесь, в Смоленске, ко мне подошла одна женщина. Она видела фильм девять раз.— Он потом никак не мог понять, зачем ему понадобилось так мелко хвастаться, он, конечно, помнил, что не девять, а четыре.— Девять раз! Словно бы человеку некуда время деть — нет, что ли, хороших книжек и, наконец, возлюбленного, чтобы с ним провести время.— Смех в зале ободрил его.— А на прощанье она меня — представьте себе — поцеловала.— В зале опять рассмеялись, и Геннадий захотелось продлить удовольствие: — В правую щеку. А так как она любила симметрию, она поцеловала и другой раз — в левую.

На сеанс Геннадий не остался — скоро поезд. Как только погас свет, он тихонько выбрался из зала. Его опять ждал казавшийся на здешних узких улицах слишком крупным черный, лучший в городе лимузин — машина была вряд ли нужна: гостиница совсем рядом. Когда «Чайка» неслышно тронулась, Геннадий, еще раньше чем успел что-либо понять, вдруг почувствовал, что ему сделалось дурно, что он падает и нет никаких сил, чтобы удержаться. Хотя на улице было довольно темно, он сразу узнал идущую по тротуару женщину в менингитке. Геннадий дал знак шоферу остановиться. Они притормозили чуть впереди, и когда женщина поровнялась с ними, он сумел сказать обычновенным голосом, искренне и дружелюбно, — он ведь все-таки играл и в театре.

— Здравствуйте, нам, навернсе, по пути. Разрешите вас подвезти?

Женщина не остановилась, не глянула на него, и по тому, как она чуть заметно покачала головой, Геннадий понял, что она шла из кино, все слышала и не осталась на фильм — нет, конечно, не в десятый — в пятый раз.

Наверное, ничего особенного не случилось. Пожалуй, нечего было рассказать даже близким друзьям, но Геннадий знал, что счастье кончилось, что всю жизнь будет помнить эту минуту, эту немолодую, тусклую женщину на полутемном тротуаре, в аккуратной маленькой старомодной шляпке, прикрывающей только макушку.

ГОСТЬ

Дверь открыла молодая женщина в длинном халате. Она только что вымыла волосы, и голова ее была небрежно повязана мохнатым полотенцем.

— Валентину Ивановну? — переспросила она.— Это я.

Она призналась нерешительно, смотрела с удивлением, а руки, придерживая отвороты халата, осторожно легли на горло.

— Я от Георгия Баканова.— Андрей торопливо вынул из кармана незапечатанный конверт.— Он вам письмо прислал...

Валентина Ивановна показала Андрею более крупной и красивой, чем представлялась ему по рассказам товарища, он немного оробел.

Валентина Ивановна взяла конверт, стала читать письмо, но вдруг спохватилась:

— Чего же я держу вас на площадке! Проходите.

Она обрадованно засуетилась. Отняла у Андрея чемодан, поставила его в угол, затем взяла пальто.

— Искушайте с дороги. Пожалуйста, не стесняйтесь. А потом мы будем пить чай...

Пока Андрей мылся, Валентина Ивановна переделалась, приготовила чай, накрыла на стол. Высокая, статная, она двигалась по комнате легко. Потом села напротив Андрея и, глядя на него, не переставала расширивать:

— И диплом получил?

— Да, теперь Георгий настоящий инженер. Не только по должности.

— Как я рада за него! Вы не можете себе представить... О, он молодец!

Андрей и сам замечал, как эта радость плескалась в ее огромных серо-зеленых спокойных глазах.

— Почему же он не написал мне? Я так тревожилась за него. Ну, а с комнатой у него как?

— Тоже все в порядке. Теперь у него две. На троих вполне достаточно.

— На троих? — не сразу переспросила Валентина Ивановна. Андрей покраснел, поняв, что сказал лишнее. Валентина Ивановна отошла к туалетному столику и медленно, усталым движением подняла руки к волосам. Она стояла спиной к Андрею, но он видел в зеркале ее лицо. Она вздохнула сдержанно и прерывисто и стала осторожно мять рукой еще влажные и скрипучие волосы.

— Отчего люди так часто и так много лгут друг другу, — произнесла она негромко, не оборачиваясь, будто размышляя. — От малодушия или из-за выгоды... Ничто так не оскорбляет людские надежды, как ложь...

Андрей испытывал отчаянную неловкость оттого, что сделался невольным свидетелем чужой тайны, чужого горя. Только теперь он понял смысл насмешливых слов Георгия, когда тот сказал, вручая ему письмо к Валентине Ивановне: «Не стесняйся, она примет, она добрая...»

Хозяйка охотно согласилась с тем, что Андрей поживет у нее недельку, как просил об этом в письме Георгий Баканов, в Москве у него знакомых не было, а устроиться в гостинице в летнее время почти невозможно. Андрей понимал, что за радушие, за приветливость ее надо как-то незаметно и просто отблагодарить. Но застенчивый и деликатный, он ничего не мог придумать: предложить денег — он видел по обстановке, что жила она скромно; его особенно поразил репродуктор-тарелка, который хрипел от древности, — было бы, по его убеждениям, дико и нахально; принести продукты для обеда — еще глупее. Он решил приглашать ее в театры — как все москвичи, она наверняка редко бывает в театрах, в музеях.

Сославшись на дела, Андрей вышел в город, побродил немного по улицам, все время думая о Валентине Ивановне. Вскоре прибежал домой, полный решимости.

— Я взял два билета в кино. Пойдемте со мной, Валентина Ивановна?

— С удовольствием, — сказала она просто, не задумываясь.

— Скорее, — торопил он, точно боялся, что она раздумает. — А то опоздаем...

Возвращались домой поздно. На выпуклом хребте Большого Каменного моста было безлюдно. Изредка, высекая голубоватые огоньки, проносился с бешеной скоростью троллейбус. Вечер был теплый, но от реки тянуло прохладой, и над водой между берегами висела темнота, легкая и какая-то прозрачная, пронизанная светом фонарей; казалось, подуй ветер — и она улетучится, как темный туман.

Слева, где-то далеко и высоко, словно бы загораживая реку, стояло

в непогашенных огнях здание университета. Из Александровского сада доносился слабый запах тополя.

Андрей с наслаждением вдыхал этот сладковатый запах, от которого чуть-чуть кружилась голова. Он осторожно держал Валентину Ивановну под руку, не ощущая никакой неловкости.

— Я много поездил по городам,— заговорил Андрей, чуть сильнее сжимая ее локоть,— и каждый из них нравился или не нравился только потому, как тебя встретили в этом городе, хорошо ли тебе было в нем.

Валентина Ивановна, повернув голову, внимательно посмотрела ему в глаза. И Андрей стал горячо уверять ее.

— Да, да! Иной город с виду красивый, весь в цветах, в садах, музыка играет. А ты в нем чужой, бездомный... В гостиницах мест нет, друзей нет. Приходится ночевать в учреждении на скользком диване или на вокзале...

Валентина Ивановна удивилась.

— Неужели так бывает?.. А мне кажется — постучись в любой дом, заходи и живи.

— Если бы так! — Андрей засмеялся, изумляясь ее наивности. — А в Москве мне очень нравится. Я здесь как будто свой!

— В Москве все свои,— тихо заметила Валентина Ивановна и замолчала, печально и, как ему показалось, сожалеюще вздохнув.

Дома Валентина Ивановна постелила ему на диване. Он долго не спал. Освоившись с темнотой, Андрей стал различать предметы — шкаф, ширму, за которой стояла кровать хозяйки. Время от времени комната вдруг озарялась беспокойным, движущимся светом. Это по улице проезжали машины. В этот миг освещенный прямоугольник окна, рассеченный рамой, падал, согнутый углом, на потолок и часть стены, стремительно пробегал комнату, скрываясь в противоположной стороне. Загоралось и тут же гасло зеркало, тускло вспыхивал полированный шкаф.

Андрею казалось, что Валентина Ивановна тоже не спит, но, может быть, это она во сне дышала так беспокойно. А может быть, она плакала?..

Следующие дни прошли очень быстро. Пока Валентина Ивановна была на работе, Андрей ездил на выставку, был в Третьяковке, раздобыл билет в Оружейную палату. Вечером они шли в театр или кино, заходили в кафе съесть мороженого...

Валентина Ивановна стала оживленней, охотно и с грустной усмешкой рассказывала о себе. Андрей ее не перебивал, хотя кое-что уже слышал перед отъездом от Георгия, о котором они так и не сказали ни слова, точно его и не существовало.

Личная жизнь Валентины Ивановны сложилась неладно, как, впрочем, у многих красивых и неглупых женщин. Судьба в пригоршнях несла предназначенное для нее счастье, да не донесла. Валентина Ивановна работала на Центральном телеграфе телефонисткой. Подруги завидовали ей, когда она вышла замуж за хорошего парня, прораба стройки в Кузьминках. Валя и сама была рада своей удаче, своему выбору. Но вскоре она, к ужасу своему, убедилась, что этот хороший парень — пьяница. Он возвращался домой поздно, и она не узнавала его: привлекательные черты лица его расплывались, нижняя губа бессильно отвисала, а глаза становились маленькими и мутными, будто слепли, в них боязно было смотреть. Он, не раздеваясь, как-то боком садился у стола, пытался подпереть подбородок ладонью, но рука все время соскальзывала и ударялась об угол стола, и это его раздражало.

— Чему ты улыбаешься? — кричал он жене. — Отчего тебе весело? Вот уйду от тебя совсем. Брошу! Или тебя прогоню!.. Топну ногой — вон! И нет тебя... что будешь делать?..

И начиналось пьяное бормотанье о том, какой он замечательный работник, начальство у него в кулаке, он командует этим начальством, как ему захочется. Бормотанье прерывалось внезапными вскриками, оскорблениями, ругательствами и попреками.

Долго боролась она за свою семью, страдала и терпеливо уговаривала мужа «взять себя в руки, быть мужчиной...» Не помогло. И она решила: заперла квартиру и ушла жить к подруге. Муж тоже куда-то исчез. У нее родилась дочка, единственное утешение в жизни, но девочка заболела воспалением легких и умерла. И Валентина Ивановна осталась одна. Потом встретила Георгия Баканова...

Андрей внимательно слушал, не сводя с нее глаз, и страдал от тоски. Мучительно хотелось сделать для нее что-то такое, от чего ей было бы немного легче и радостнее жить. Но он был просто бессилён перед таким горем.

Извинившись, он поспешно оделся и выбежал из дома, она даже не успела спросить его, куда он и зачем. Через полчаса он влетел в квартиру, запыхавшийся и нетерпеливый, принес торт и букет,— не букет, а целую охапку ярких пахучих цветов.

Валентина Ивановна строго свела брови и укоризненно покачала головой.

— Вам же не с чем будет возвращаться домой, Андрей. Вот сумасшедший!..

Но он заметил, как загорелись радостью ее глаза, как приподнялись в улыбке уголки ее губ.

— Куда же я их поставлю?.. Спасибо,— прошептала она и неожиданно поцеловала его в висок.

Валентина Ивановна хлопотала с цветами. Она достала из шкафа две вазы, кувшин, налила в них воды, но цветов было так много, что часть из них лежала просто на столе. Комната наполнилась густым, кружащим голову ароматом.

В последний вечер, перед отъездом Андрея, они никуда не пошли, долго и молча сидели в комнате на диване. Валентина со страхом смотрела, как сгущалась темнота, но не в силах была подняться, чтобы зажечь свет. Ей было приятно и тревожно сидеть рядом с этим, в сущности, незнакомым человеком, застенчивым и внимательным. Она сидела дальше от окна, и ей был виден профиль Андрея. Андрей, сдерживая дыхание, взволнованно гладил ее руку, осторожно подносил к своим губам. Она руки не отнимала.

В переулке прошла машина, по комнате задвигался светлый прямоугольник, он скользнул по их фигурам, осветил ее увлажнившиеся глаза, испуганные и ожидающие. Затем она решительно встала.

— Извините, пожалуйста, я, кажется, не выключила газ,— и вышла из комнаты.

Георгий Баканов Андрей встретил в первый же день приезда.

— Ну как, Андрюша? Доволен? — глаза Георгия смотрели на него с веселым подозрением.

Андрею не хотелось говорить, он ответил неопределенно:

— Да, все хорошо.

— Я про Валентину. Ну, расскажи, как она тебя встретила? Про меня расспрашивала? Правда ведь, славная? И уж добра. Главное, добра...

Они сидели в столовой. Подошли сослуживцы из конструкторского бюро, и в сутолоке приветствий, расспросов о дороге и Москве Андрей не сразу уловил намек. Когда сообразил, вдруг огненно покраснел. Конечно, нужно было сразу что-то возразить, но Георгий уже сам подвел итог:

— Впрочем, все они одинаковы. Я был уверен. Ты парень не промах...

На мгновение Андрей застыл, побледнел, потом деланно улыбнулся — то ли смущенно, то ли виновато. Георгий ничего не понял и молчание Андрея оценил просто как мужской такт.

Андрей, сам того не замечая, все время думал о Валентине Ивановне. Он часто ловил себя на этом. Он вспоминал голубоватые искорки троллейбуса на Большом Каменном мосту в Москве, тополиный аромат Александровского сада, отражение огней на воде, плывущий расчерченный прямоугольник окна; вспоминал Москву как огромный и прекрасный мир, а в центре этого мира была Валентина Ивановна. Да и здесь, как он теперь отчетливо осознал, все пространство вокруг было заполнено ею. Он твердо решил, что обязательно напишет ей, — такие встречи не должны проходить бесследно.

На другой день утром он встретил Георгия Баканова у входа в конструкторское бюро. Георгий шел с новеньким сотрудником Олегом, который только что окончил институт и отправлялся в свою первую командировку в Москву. Георгий горячо убеждал в чем-то Олега. Он призвал на помощь Андрея:

— Ну, скажи ему, Андрюша: чего тут стесняться? Послушай: поезжай с чемоданом прямо на Староконюшенный — до метро «Кропоткинская», там рядом. Очень славная женщина. И очень-очень добрая... — И подмигнул намекаяще.

Олег, чуть покраснев, громко и глупо засмеялся.

В тот же момент сутуловатый, узкоплечий Андрей стремительно вскинул руку и ударил со всего размаха Георгия по лицу. (Надо было высоко поднять руку, чтобы достать). Он хотел было что-то сказать Георгию, но смолчал и ударил другой рукой, еще сильнее.

ИЗ ЦИКЛА «ВОСПОМИНАНИЕ О ВОЙНЕ»

Мы в море заплыли

Опасною ночью мы в море ушли,
 блестящее небо светилось во
 взорах,
 но что же мне делать вдали от
 земли —
 тобою дышать или думать
 о звездах?

О, как бы ты вздрогнула, вдруг
 увидав
 наш катер, окутанный тьмой и
 волнами.
 Я воин, а ты виноградник, я прав,
 оставив тебя далеко за горами.

Но как ты решилась меня
 отпустить,
 неужто не дрогнуло сердце от
 горя?
 Рискует, но все же пытается плыть
 наш катер — смельчак, обезумевший
 в море.

Но с робостью, видимо, я
 не знаком,
 рука не дрожит при крутых
 поворотах,
 готов я вплотную схватиться
 с врагом
 на всех девяти безымянных дорогах.

Пусть мина нас ждет на одной из
 дорог,
 я на берег выброшен буду волною.
 Ты к берегу выйди на желтый песок
 и щедрые слезы пролей надо мною.

Нет, я не исчезну, не кану на дно,
 не рухну, как буйвол, мыча
 бессловесно,
 лишь сердце останется рассечено
 и две половины тебе вернет бездна.

Родимому краю одну подари,
 согрей на груди половину другую.
 О сердце мое, неустанно гори,
 тебя утешая в минуту такую!

А катер без усталости крутит винтом,
 в туманах скрываются волн
 караваны.
 Ты так далеко за высоким хребтом...
 Мечтать о тебе ли, смотреть ли
 в туманы?

Не страшно по морю пустынному
 плыть.
 От близости пуль мое сердце
 не плачет.
 Упрямой волне меня в море
 не смыть,
 любовь и надежда в тумане маячат.

Сказанное на могиле Гогичайшвили

Я в Грузии жаждал обняться с
 тобой,
 исполненным мужества, силы,
 здоровья,
 но ты меня ждал над днепровской
 водой
 и розы сложил я на камни
 надгробья.

Лежишь по-над кручей, над
 быстрым Днепром,
 калина колышет ветвями своими,
 среди маков, пылающих вечным
 огнем,
 впечатано в камне родимое имя.

От встречи нежданной я скорбь
остужу
надеждой, что Гурия вечно с тобою.
Я в сердце своем этот куст посажу,
возжажду напиться днепровской
водою.

Тебя Украина в печали своей
прижала к груди и рассыпала маки...
Но очи погасли, как пара свечей,
сожженных во имя любви и отваги.

Мы чаши вдвоем наполняли не раз,
и роги не раз осушали мы разом...
Мне кажется, рядом далекий
Кавказ,
мне кажется, милая Гурия рядом.

Нет, жизнь не напрасно влюбилась
в тебя,
Сияешь в фиалках звездой упавшей,
И нам помогают, всем сердцем
скорбья,
Друзья с Украины, соратницы нашей.

Каштаны, как белые свечи, в цвету,
И Днепр обнимает меня на
прощанье.
Ты, может быть, встретишь меня
на мосту,
Покажешь дорогу
и скажешь: «Прощайте...»

*Перевел с грузинского
Станислав КУНЯЕВ*

• • •

В моей душе коловращенье
листьев —
Осенний ураган швыряет их.
И чувствую — плодов рожденье
близко,
В тревожном ожиданье я затих.

А вдруг сорвут! Нет времени,
не скрою,
Растить и вновь расцвета ожидать.
Остался полдень жизни
за спиной —
Спешат мои бессонные года.

Увял цветок, но сохранилась завязь
И тени пальцев на листве густой.
Я думал прежде, что за мох
цепляюсь,
Но оказалось — колос под рукой.

И воскресают силы, дабы сеять
Иль собирать миндаль на склонах
гор.

И жажду вновь умерить не умея,
Покой не обретаю до сих пор.

И снова вдаль. Душе моей
тревожно.
Бушует в ней янтарная пора.
В суме еды припрятано немножко,
Суха дорога, и светлы ветра.

Горбушки хлеба и вина в стакане,
Кусочка сыра — хватит мне сполна.
И если ночь в пути меня застанет,
Смогу ль уснуть, когда вся жизнь
видна?

И чередою мысли прошагают
Заноют раны старые во мне.
Но причащаться тщетно
предлагают,
Молиться рано — длинен свиток
дней.

В ногах пока усталости не чую,
Надежд не счесть, не сосчитать
забот.
И, не склоняя голову седую,
Стремится жизнь, как смолоду,
в полет.

Перевел Александр ГЛЕЗЕР

Дом у Старого ТИМЕНА

*Вере Муромцевой —
одних со мной корней.*

I

ДЕДУШКА ИЛОВАЙСКИЙ

Не собирательный дедушка, как «дедушка Крылов» или «дедушка Андерсен», а самый достоверный, только не родной, а сводный.

«Мама, почему у Андрюши два дедушки, а у нас только один?» Помню вопрос, ответа не помню, да его, наверное, и не было, ибо не могла же мать ответить правду, а именно: «Потому что мой отец, ваш дедушка, Александр Данилович Мейн, как человек великодушный и справедливый, не может не любить, по крайней мере не одаривать и не ласкать, чужого внука наравне с родными внучками, а Андрюшин дедушка, как человек черствый и очень уж старый, насилу и единственного своего внука может любить». Так и оказалось у Андрюши «два дедушки», а у нас с Асей — один.

Наш дедушка лучше. Наш привозит бананы — и всем. Дедушка Иловайский — только золотые — и только Андрюше — прямо в руку — даже как-то мимо руки, — ничего не говоря и даже не глядя, — и только в день рождения или на рождество. Мама эти золотые у Андрюши сразу отбирает. «Августа Ивановна, вымойте Андрюше руки!» — «Но монет совсем нифенький!» — «Нет чистых денег». (Так это у нас, детей, и осталось: деньги — грязь). Так что дедушкин подарок Андрюше не только не радость, а даже гадость: лишний раз мыть руки с без того уже замывшей немкой. Золотой же проваливается в отдельную «иловайскую» копилку, и никто о нем не вспоминает до очередного золотого. (В один прекрасный день вся копилка со всеми, за десять лет, иловайскими золотыми исчезла, и если кто-нибудь о ней жалел — то не Андрюша. Золото для нас сызмалу было не только грязь, но пустой звук).

Наш дедушка заезжает за нами на своих лошадях и увозит в Петровско-Разумовское. Андрюшин дедушка никого не увозит, потому что сам никогда не ездит, а всегда ходит пешком. Оттого он и дожил до такой старости, говорят старшие. Наш дедушка привозит нам из-за границы заводные игрушки, например Андрюше в последний раз из Карлсбада игрушечного мальчика, который лезет по стене. При дедушке же Иловайском и сам живой мальчик Андрюша пошевеливаться не может, точно сразу сломался завод. После каждого его посещения наш

старый трехпрудный дом¹ всеми своими ходами и переходами шипит и шепчет: «Милльонщик» (няня), — «Millionäg» (балтийка-бонна), вместе же: «Шушушу — Androurscha — Андрюшечка — reicher Erbe² — наследник...» Эти слова для нас, семилетнего, четырехлетней и двухлетней, не имеют никакого смысла и остаются чистой магией, как сам дедушка Иловайский на венском стуле, посреди залы, чаще даже не сняв своей большой, доброй шубы, — холод трехпрудного низа он знал, ибо это был его дом, им данный в приданое дочери Варваре Димитриевне, когда выходила замуж за моего отца. Дальше залы дедушка Иловайский никогда не шел и на круглом зеленом зальном диване никогда не сидел, всегда на голом стуле посреди голого паркета, точно на острове. Тыча в воздух на подошедшую и приседающую девочку: «Это кто же — Марина или Ася?» — «Ася». — «А-а-а». Ни одобрения, ни удивления, ни даже осознания. Ничего. Но зато и мы от него ничего не чувствовали — даже страха. Мы знали, что он нас не видит. Двухлетняя, четырехлетняя и семилетняя знали, что нас для него нет. И рассматривали его так же совершенно свободно и спокойно, как памятник Пушкина на Тверском бульваре. Единственное его на нас действие, — как, впрочем, всякого памятника — в комнате, был некий постепенный безболезненный, глубокий столбняк, отпускаявший нас только со скрипом парадного. Если бы дедушка Иловайский никогда не ушел — мы бы никогда не двинулись.

Весной на сцену нашего зеленого тополиного трехпрудного двора выкатывались кованые иловайские сундуки, приданое умершей Андриюшиной матери, красавицы Варвары Димитриевны, первой любви, вечной любви, вечной тоски моего отца.

Красный туфелек (так мы говорили в детстве), с каблуком высотой в длину ступни («Ну уж и ножки их были крошки!» — ахает горничная Маша), скат черного кружева, белая шаль, бахромой метущая землю, красный коралловый гребень. Таких вещей мы у нашей матери, Марии Александровны Мейн, не видали никогда. Еще кораллы: в семь рядов ожерелье. (Мать — двухлетней Асе: «Скажи, Ася, „коралловое ожерелье“!») Хорошо бы потрогать руками. Но трогать — нельзя. А эти красные груши — в уши. А это, с красным огнем и даже вином внутри, — гранаты. («Скажи, Ася, „гранатовый браслет“!» — «Бра-слет.») А вот брошка коралловая — роза. Кораллы — Neapel, гранаты — Bohemen. Гранаты — едят. А это — странное слово — блонды. От какой-то прабабки — „мамаки“ — румынки. Никакого смысла, чистейшая магия. («Говорят, актрисы были, на театре пели... — шепчет Маша нашей балтийке-бонне. — Говорят, наш барин очень без них тосковали. — «Думхейтен³, — басом отрезает балтийка, блюдущая честь дома, — просто богатая дочь богатый отец. А пела, как птиц, для свое удовольствие»). Жаркий, жгучего бархата, костюм мальчика. Мальчик, которого так одевают, называется паж. (И черный шнурок с змеиной головой, которым подбирают юбку, — паж). А этот длинный нож называется шпага. Фаи, муары, фермуары. Ларчики, футлярчики... То, как все это пахнет, — пачули. Андриюша, убедившийся, что второго ножа не будет, носится вокруг на «штетенферде»⁴. Я — робко матери: «Мама, как... красиво!» — «Не нахожу. А беречь нужно, потому что это Лёрино приданое». — «Какой снег серебряный!» — «Это нафталин. Чтобы не съела моль». Нафталин, моль, приданое, пачули — никакого смысла, чистейшая магия.

Позже на нашем зеленом тополином дворе появился остов велосипеда. Говорю — «остов», потому что, подрастая, сразу опознала его в

¹ Дом Цветаевых в Трехпрудном переулке.

² Богатый наследник. (Нем.).

³ Глупости. (Нем.).

⁴ Лошадка. (Нем.).

первом же из тех животных, непомерно высоких, с непомерно высокими шеями и далекими от земли ногами, существующих только в виде остова, да и то на картинках (как и такие велосипеды). «Донсторический велосипед историка!» — хохочет и даже грохочет свободомыслящий студент Гуляев, готовящий Андриюшу в подготовительный класс Седьмой гимназии, а сестру Лёру, под шумок, — себе в невесты. Это была первая модель велосипеда, подаренная, вернее оставленная (проще — оставленная!) нещедрым дедом доросшему до науки внуку. Себе же дедушка купил новый. Самое трудное и даже несбыточное для девятилетнего мальчика было на этот велосипед — сесть. Второе — на нем поехать: нога на аршин не доставала до педали. Единственное доступное было на нем сидеть, ибо скелет был трехколесный, непреложно устойчивый и устойчивый. Велосипед с Андриюшей возил по двору дворник Матвей. Нас с Асей на заветное иловайское сидение не пускали никогда. Но мы и не мечтали. Все иловайское в нашем доме, от бирюлек институтки Валерии до Андриюшиного ихтиозавра, для нас, только Цветаевых, было табу. Это был дом молчаливых запретов и заветов. Позже в нашем доме появилось такое же ружье. И такая же подзорная труба. Можно сказать, что дед из своих вещей вырастал, как ребенок из обуви, только в обратной пропорции: большее сменяя на меньшее. Впрочем — велосипед, ружье, труба оказались единственным наследством внуку. Остальное (миллионы — в кавычках или без кавычек) унаследовала Революция.

Иловайский жил на Малой Дмитровке, в переулке у Старого Пимена. В доме Иловайских мы с Асей никогда не были, только о нем слышали. Отец — матери: «Ты уже целый месяц не была, пятая пятница, пойми же: обида! — пересиль себя, голубка, — нужно...» — «Значит, опять засесть в угловой и целый вечер проиграть в винт!» А в винт играют так: стоит посреди комнаты стол на винту, вокруг сидят гости и вертят, кто перевертел — выиграл. Это еще называется «вертеть столы», и этим-то и занимаются институтка Лёра с молодыми Иловайскими, запершись от нас на ключ. Скучная игра и даже страшная, потому что, по словам матери, до полуночи ни с места встать, ни перестать нельзя: в дверях угловой дедушка Иловайский, который не пускает. Позже, когда я поняла, что винт — карты, помню такое слово матери: «Wenn die Menschen keine Gedanken zum Austausch haben, tauschen sie Karten aus»¹, а еще позже узнала эти слова у Шопенгауэра. «Что делать, голубка, людей не переделаешь, а обижать не надо...» — вздыхал отец, сам глубоко равнодушный ко всякому столу, кроме письменного.

Андриюша у Иловайских бывать не любит. Сверстников у него там нет, и он сразу попадает в когти второй жены дедушки, Александры Александровны, которую так и зовет по имени-отчеству. А. А. (рожденная Коврайская) на тридцать лет моложе деда и, как взрослые говорят, до сих пор красавица, а по-нашему — наоборот, потому что лицо у нее злое, нос с какими-то зашипытыми ноздрями и такой же, сквозь зашипытые ноздри, голос. А «родинки» — родинки просто пятна, точно шоколад ела и над губой не вытерла. Ходит она всегда в «курицыном», то есть в черную с белым, коричневую с белым, серую с белым мелкую клеточку, от которой, если долго смотреть, в глазах рябит, а смотреть приходится долго, тупя глаза под ее — обратным его голубому невидящему — всевидящим черным глазом в ее же рябой подол. Вся стянутая, подтянутая, как взрослые говорят: «tirée à quatre épingles»², и все время «пускает шпильки», которые, в соединении с «quatre épingles», превращают ее для нас в какую-то подушку для иголок.

¹ Когда людям нечего сказать друг другу, они играют в карты. (Нем.).

² Буквально: натянутая на четырех булавах. (Франц.).

Но дети у А. А.— чуждые. Их трое: карекокая Надя, черноокий Сережа и очень хорошенькая, толстая Оля, с глазами, которые у нас в доме зовутся «незабудки».

Димитрий Иванович Иловайский был женат два раза. Первая жена и все трое детей от первого брака умерли. Помню в семейном альбоме чудесные лица этих мальчиков. (Красота в этой семье цвела!) Последней из первой семьи умерла уже упомянутая красавица В. Д. Но смерть не остановилась. В 1904 г. и красавица Надя и красавец Сережа (двадцать два года, двадцать лет) один за другим протянулись на столе у Старого Пимена. Последняя же дочь, Оля, для Иловайского хуже чем умерла: бежала к человеку еврейского происхождения в Сибирь, где с ним и обвенчалась.

1906 год. Мы с Асей, после долгой заграницы, потеряв мать, отвыкшие и выросшие, вернулись в наш трехпрудный дом. Большая зала, в которой за наше отсутствие прибавился только цветной поясной портрет Андриюшиной матери (портрет — роковой в жизни нашей!), посреди залы венский стул, на голом стуле, под карим прекрасным взглядом покойницы, в волнах своей черной шубы, посреди голого пола, как посреди голого поля,— дедушка Иловайский. Вытянутый перст, оловянный невидящий взгляд: «Это которая же: Ася или..?» — «Марина». — «А-а-а...» И не узнавал он нас не потому, что он нас столько-то лет не видел, а потому, что он нас вообще никогда ни разу не увидел, то есть лица с именем не связал, а не связал потому, что ему было все равно. Вопрос же об имени (которая — кто) был чистой функцией историка: *Mettre les noms sur les figures*¹ — тут же забываемые — по неисторичности. До «исторических же дат», то есть наших с Асей возрастов, у Иловайского никогда не дошло. Пять лет, пятнадцать ли лет стоящей перед ним Марине — какое ему дело, когда она не Мнишек, а самому восемьдесят с лишком — зим!

— Странный у деда дом,— рассказывает брат Андрей, живший все эти годы у Иловайских,— топят снизу, и всегда ночью, босиком — ступить невозможно, танцуешь как в аду! А сам дед спит на чердаке, в самый мороз с открытой форткой,— и Надю с Сережей заставлял, может быть оттого они и умерли. И ничего не ест, за целый день три

¹ Называть вещи своими именами. (Франц.).



До недавних пор Марину Цветаеву знали у нас главным образом как поэта. В последние годы в нашей печати начала появляться проза Цветаевой. Проза эта обширна и многообразна — художественно-мемуарные очерки о русских поэтах, воспоминания о собственных ранних годах, трактаты об искусстве и поэзии, литературно-критические статьи и рецензии. «Живое о живом» — этими словами самой Цветаевой можно назвать любое ее прозаическое произведение. Слово поэта воскрешает живые судьбы, характеры и мысли. Так писала Цветаева о Пушкине и Маяковском, об Андрее Белом и гетевском «Лесном царе», о студийцах-вахтанговцах и о собственном детстве. Живое слово Цветаевой всегда остро современно. Если она обращается к минувшему — то непременно с точки зрения будущего, критически перосмысливая былое, а не идеализируя его и не растворяя в нем. В этом — принципиальное отличие Цветаевой от других русских художников, оказавшихся в эмиграции и роковым образом пришедших либо к благостной идеализации, либо к тенденциозному искажению прошлого.

Все сказанное относится и к художественно-биографическому очерку «Дом у Старого Пимена», публикуемому в Советском Союзе впервые. Написан он был в 1933 году; в этот же год — наиболее плодотворный для Цветаевой-прозаика — были созданы ее художественные мемуары об отце и основанном им Музее изобразительных искусств, о поэте М. Волошине, воспоминания о детстве... «Дом у Старого Пимена» появился на свет при следующих обстоятельствах.

черносливины и две миски толочка. И всю ночь не спит — и мне не дает — либо пишет, либо ходит, как раз над моей головой — все взад и вперед, взад и вперед. Перестал — значит пишет. Я в гимназию — он спать, прихожу завтракать — уж опять пишет. И чего это он все пишет? Доведу, говорит, до последних дней. До каких это последних, когда сегодня, например, уж кажется последний? а завтра — опять последний!.. Так ведь никогда не кончить можно... А — здоров!! До сих пор верхом ездит, а как в рог трубит — уши лопаются! Сам не спит, а других укладывает. Пока еще Надя с Сережей живы были, придет молодежь, гадают или играют во что-нибудь — ровно в десять часов, в самый бой, на пороге — дед в халате. Подойдет и дунет на свечу, потом на другую, так на все подряд, пока не останется одна. Эту — оставит. И уйдет, ни слова не скажет. Значит, гостям домой пора. Ну, а гости пошумят, пошумят в передней калошами, чтоб знал, что ушли, а когда уйдет к себе на чердак — опять возвращаются, и уж тогда пир горой, только потихонечку...

Один вопрос нам с Асей, впрочем, прибавился, даже целых два. «В гимназии учишься?» — «Да». — «По какому учебнику?» — «По Виноградову». (Вариант: «Випперу»). Недовольное: «Гмм...» Но Иловайский мне на экзаменах послужил, и не раз. Однажды, раскрыв его учебник, я попала глазами на следующее, внизу страницы, булавочным шрифтом, примечание: «Митридат в Понтийских болотах потерял семь слонов и один глаз». Глаз — понравился. Потерянный, а — остался! Утверждаю, что этот глаз — художественен! Ибо что же все художество, как не нахождение потерянных вещей, не увековечение — утрат?

Стала читать дальше — и раньше, и после, и древнюю, и среднюю, и новую, и вскоре убедилась, что все, что он пишет, — вижу, что у него все — г л а з, тогда как неизбывная «борьба классов» наших Потоцких, Алферовских и т. д. либеральных гимназий совсем без глаз, без лиц — только кучи народа — и все дерутся. Что тут живы е лица, живые цари и царицы — и не только цари: и монахи, и пройдохи, и разбойники!.. «Вы отлично подготовлены. По каким источникам вы готовились?» — «По Иловайскому». Либеральный педагог, ушам не веря: «Как? Но ведь его учебники совершенно устарели! (Пауза, наполненная всяческими размышлениями). Во всяком случае, вы прекрасно осведомлены. И, не-

В 1931 году одна из парижских газет поместила воспоминания под названием «У Старого Пимена». Автором их была В. Н. Муромцева (1881—1961), жена И. А. Бунина и тоже, как и Цветаева, дочь профессора Московского университета (отсюда — слова Цветаевой об общих ее с В. Н. «корнях»). Муромцева с гимназических лет знала дом родственников Цветаевой Иловайских и бывала в нем. Воспоминания ее оживили в памяти и воображении Цветаевой полулегендарный, мрачный дом ее неродного деда Д. И. Иловайского (1832—1921), известного в прошлом историка монархической ориентации. То, что в детстве пугало, отталкивало и, наоборот, притягивало и привлекало, обрело теперь, более полувека спустя, глубокий смысл и истолкование. Старопименовский дом предстал живой летописью канувшей в вечность старой России.

Мрачный дом Иловайского — не что иное, как «затянувшийся урок истории»; сам хозяин его — живой анахронизм, олицетворение несдающегося, не желающего сойти со сцены отжившего; кров, под своды которого вместились столько разнородных человеческих начал, — физический губитель живых, прекрасных жизней; под этим кровом жили так, как «нынче жить уже нельзя». В быте, укладе, взаимоотношениях семейства Иловайских — явлена эпоха. Подобно тому, как каждая клеточка единого организма несет в себе качества целого, так в каждой мелочи и детали Цветаева сумела увидеть и передать приметы целой эпохи. В этом смысле «Дом у Старого Пимена» — произведение историческое. Чувство истории — в каждой его строке.

Невозможно не сказать также и о большом даре психологического проникновения поэта в характеры встречаемых им лиц — о поэтическом «яснозрении», домысливании, превращающем просто достоверное — в типическое, частное — в общее. Обитатели старопименовского дома, оживая под пером художника, вызвавшего их из небытия, зывают к читательскому сочувствию, сомыслию, сопереживанию.

И хотя Цветаева пытается утверждать, что она ничто и никого не судит, — она опровергает это каждым словом. Ее «Дом у Старого Пимена» — не только суд, но и приговор. Приговор будущего — над прошлым. Приговор истории, развивающейся поступательно, над историком, желавшим повернуть ее вспять или хотя бы остановить. Приговор торжествующей жизни — над тленом и прахом.

Анна Саакянц

смотря на некоторую односторонность освещения, я вам ставлю...» — «Пять», — мысленно подсказываю я. Эту шутку я повторяла в каждой гимназии, куда поступала, а поступала я постоянно. Так, столь ненавистный стольким школьным поколениям «Иловайский» — источник не одной моей, школьницы либеральных времен, пятерки.

Вторым вопросом нам с Асей Иловайского было: «Мой «Кремль» читала?» — «Да». — «А что́ я в нем пишу?» — «Про евреев». — «А что́ я в нем пишу про жидов?» — «Вы их не любите». (Призрак усмешки и, с непередаваемым наполнением): «Не любите!..» Родного внука, впрочем, опрашивал подробнее — и коварнее. «И то ему скажи, и то! Настоящий допрос! Не я же писал, наконец! Наизусть, что ль, ему учить? — жаловался Андрей. — Я ему: «немцы», он мне: «ливонцы». А по мне — хоть чухонцы! Вчера целый час не отпускал!»

Ежемесячная газета «Кремль» с единственным редактором, сотрудником, подписчиком и разносчиком — Иловайским. (Родных и знакомых обносил сам). Цензора, впрочем, он над собою почувствовал, ибо в 1905 г., после трех предупреждений, «Кремль» закрыли — за открытую и сердитую критику историком Иловайским исторического жеста последнего на Руси царя в октябре 1905 г. Помню в молодом дневнике матери (около 1895 г.) такую запись: «Была на докладе Д. И. о призвании на царство Михаила Романова, в присутствии Высочайших Особ. По Иловайскому выходило, что Михаил Романов был избран на царство за ничтожество. Смело, но в присутствии родных — неловко»...

«...И истину царям с улыбкой говорить...» Улыбки на лице Иловайского я не видала никогда. Сомневаюсь, чтобы видели и цари. Но правду — слышали. «Кремль», конечно, потом опять разрешили, и Д. И. продолжал наводнять им дома своих оброчных. Единственное, что у меня осталось от единственного моего посещения дома Иловайских — это стопы «Кремля» в глубоких нишах окон, стопы, доходившие до оконного креста и не аллегорически, а физически застилавшие жителям и посетителям божий свет и мир. Комнату эту, полуподвальную, с годовновскими сводами, прошу запомнить.

Это был красавец старик. Хорошего роста, широкоплечий, в девяносто лет прямой ствола, прямоносый, с косым пробором и кудрями Тургенева и его же прекрасным лбом, из-под которого — ледяные большие пронизательные глаза, только на живое глядевшие оловянно.

Закрываю свои — и вижу: наша маленькая трехпрудная передняя, в дверях парадного старик в огромной шубе, перед ним оробевшая, за десять лет не могущая привыкнуть горничная. «Машей тебя зовут? Так доложи своему барину, что приходил барин от Старого Пимена. «Кремль» принес».

II

ДОМ У СТАРОГО ПИМЕНА

Это был смертный дом. Все в этом доме кончалось, кроме смерти. Кроме старости. Все: красота, молодость, прелесть, жизнь. Все в этом доме кончалось, кроме Иловайского. Жестоковыйный старик решил жить. «Заживает чужой век... Всех детей зарыл, а сам... Двадцатилетний сын в земле, а семидесятилетний по земле ходит...» Под этот шепот и даже ропот — жил.

Много позже прочтя фарреровских «Hommes vivants»¹, я... не вспомнила, а глазами увидела Д. И. Книга, в ее страшности, груба. Столетние старики в какой-то каменной пустыне подстерегают и зазывают молодых путников и выкачивают из них кровь, которой живут.

¹ Клод Фаррер «Дом живых людей». (Франц.).

Ничьей крови Д. И. не пил, нет, он по-своему детей даже любил, но соответствие все же уцелевает — от такого долголетия, самого по себе редкого, а при стольких молодых родных смертях — чудовищного. Первая жена, двое мальчиков, дочь; сын и дочь от второго брака... Это был какой-то мор на молодость. Мор, шадивший только его.

Иловайского в нашем доме, как и его собственном, часто упрекали в черствости и даже жестокости. Нет, жестоким он не был, он был именно жестоковыйным, с шеей, не гнушейся ни перед чем, ни под чем, ни над чем, кроме очередного (бессрочного) труда. Казалось бы — сколько предостережений! Если не сбавишь спеси, не сдашь власти, то есть прежде всего не сдашься перед очевидностью, — и те умрут. Все умрут. Но очи его видели другое. Они не видели смысла сменяющихся на столе тел. Истории в своем доме и жизни старик не ощутил. (А может быть и не истории, а Рока, открытого только поэту?) Очевидность его очей была одна: его родительская власть и непогрешимость ее декретов. Смерть же — несчастие, от бога посланное. Ни одной секунды старик не ощутил себя виновным. Да был ли?

Над этими детьми был рок ранней смерти...

И так как всё — миф, так как не-мифа — нет, вне мифа — нет, из мифа — нет, так как миф предвосхитил и раз навсегда изваял всё, Иловайский мне ныне предстает в виде Харона, перевозящего в ладье через Лету одного за другим — всех своих смертных детей.

Вот те первые мальчики из окон семейного альбома и старшие бы меня на сорок лет, с молодой их матерью посредине. Оба на одно лицо: отца, большелобые, голубоглазые, прямолицые, до последней минуты через материнские колена плещущие друг в друга недвижной водою Леты...

Вот В. Д.... умершая после рождения первого сына — на полуслове, с букетом в руках, парадная, нарядная, — сгусток крови шел и шел и дошел до сердца — В. Д., залитая кораллами, с неостывшим еще румянцем Юга и первой радости. Вот она, концом кораллового ожерелья машет оставляемому сыну...

И — туман над Летой редет — не альбом! не портрет! — Надя, живая — каштановая и розовая, вся какая-то жгуче-бархатная, как персик на солнце, в своей гранатовой (Прозерпина!) пелерине, которую двуединым жестом озноба то распахивает, то смыкает, — о нет, не в саване! Миф савана не знает, все живые, живыми входят в смерть, кто — с веткой, кто — с книжкой, кто — с игрушкой...

(Всё в этой ладье сменяется, кроме лодочника.)

Вот Сережа, живой отблеск отживших поколений (о, как ты ничего не понял, историк!), изящный, тонкий, с маленькими бачками на совершенно детском лице, светло-черноглазый, не розовый — ярко-бледный, — живой 1812 г.! — с гравюры — из семейной хроники, — точно вросший в свой (увы, студенческий!) мундир. (И вот таинственное слово из глубочайших недр моего младенчества встает: Сережа Бор-Раменский...) Сережа Бор-Раменский, Рауль Добри из романа для девиц *Zénaïde Fleuriot*¹... А в общем вечное в видении юноши: Ганимед, восхищенный Зевсом, Гераклов Гилл, похищенный нимфой... Но эта река — Лета, река без нимфы, река без звука, Лета, которой ничего не нужно, даже его чудных глаз.

Дорогнэ Сережа и Надя, вижу вас весной 1903 г. в блаженном месте: генуэзском Нерви. Сережу — в тени комнаты и матери, Надю — на полном свету, только пересекаемом материнской тенью. Мать Сережу хранит, Надю — стережет. Вот они обе в ландо на *bataille de fleurs*². Все

¹ «Рауль Добри, глава семейства», роман французской писательницы З. Флерно (1829—1890).

² Бой цветов. (Франц.).

цветы — ей, все бумажные, с песком (а может и свинцом) горошины — матери. Разойдется итальянец и запустит: в красотку — розой, в дракона — дрянью. (Как это А. А., сама красотка, в сорок лет без единого седого волоса, ухитрилась быть драконом?) Надя смеется, мать виду не подает, но после первого же рейса вдоль «маринны» велит кучеру повернуть обратно — и не возвратило. С цветочного боя — в ту самую одну комнату, где сравнительно здоровая сестра с серьезно больным уже братом живут вместе и будят друг друга кашлем. В Надю влюблен студент Фан-дер-Фласс, не голландец, а киевлянин, тоже больной, тоже красивый, которого мы с Асей зовем «монастырский кот», потому что толст и как-то особенно чист и живет в отдельном, вроде бы келья, домике. Мы с Асей носим от него Наде записки, а бывает — и от нее. Нас она тогда горячо, много раз подряд целует в голову, прижимая к жаркой груди. Влюбленным покровительствует моя мать, тоже молодая, тоже больная, часами занимаемая непереносимую ей А. А. хозяйственными, непереносимыми ей самой, разговорами: наблюдениями, соображениями, иногда — измышлениями: как, например, солить репу... (Потом, нам: «Пускай посолит! Сама же и будет есть!») — и увлекая бдительного стража до полного забвения сроков. Но в один блаженный день блаженство кончается. А. А., не дождавшись конца лечения, под предлогом дороговизны жизни (двое в одной комнате, пансион по пять франков, миллионы...), на самом же деле — из-за успехов Нади (неблагонадежного состава этих «успехов»), увозит детей из морского Нерви в сырое иловайское Спасское. Надя плачет, Фан-дер-Фласс, и не один он, плачет (особенно плакал один, с большой рыжей бородой, даже не из нашего пансиона, на которого Надя даже ни разу не взглянула), наша мать плачет, мы с Асей плачем, благонравный Сережа из почтения к матери не плачет, но неустанно, из экипажа, оглядывается, казалось тогда — на Нерви, оказалось — на жизнь.

Мать. Мать она была сыну, не дочерям. Да простит мне ее тень и да увидит, что я прежде всего и после всего — не сужу. Есть такая украинская сказка о матери родной и матери крестной. Идет девушка ночью мимо храма, видит — свет, заходит. Служба тихая, священник чужой, молящиеся — чудные: одни давно не виданные, другие и вовсе никогда. Вдруг кто-то ее за плечо. Оборачивается: крестная мать покойная. «Беги отсюда, девонька, а то здесь твоя мать родная, увидит — разорвет». Но поздно: мать — увидела, вон, сквозь народ, пробирается. Девушка — бежать, мать за нею, так и мчатся они по пустым полям (дочь-то по земле, а мать-то за ней — по-над землею). Но рядом крестная, не дает в обиду, на бегу засыпает ту, родную, крестами, открещивается. Наконец — конец. Край деревни, первая хата. Петухи поют. И крестная, прощаясь: «Никогда, девонька, больше не заходи ночью в церковь, как увидишь свет. Это неупокоенные души молятся с неупокоенным попом. Не будь меня — заела бы тебя твоя мать родная, с самой своей смертушки на тебя зубы точит».

Когда я эту сказку, как всегда в таких случаях, для выяснения самой себе, стала рассказывать и потом опрашивать, в чем дело? почему? — только один из моих собеседников, собеседница, категорически: «Совершенно понятно. Ревность. Ведь дочь — соперница». Посмертная ревность к молодости, несчастной — к счастливой, мертвой — к живой. И, возвращаясь к А. А.: неупокоенные страсти мертвой, никогда не жившей. Ибо А. А. никогда не жила. Выйдя молодой красавицей за старого Иловайского, она вышла за деньги и за имя. Получила же ключи на пояс и на себе — крест. Ревновал он ее, по домашним рассказам, люто. Жестоковыйный старик любил красоту. Никуда без себя не отпускал, только раз, с каким-то своим присным, на бал, которым потом

ее всю жизнь попрекал. Зря. Была горда и верна. (До измены, как до собственной красоты, просто не снисходила. Так и вижу ее, стоящую с видом, точно попирающим собственную красоту). Пошли дети. Дети, сразу отделенные от нее традиционной стеной кормилиц, нянек, бонн, гувернанток, учителей. Не говоря уже о водоразделе родительского верха и детского низа. Дети, действительно, жили под родителями, как под спудом: то, по чему родители, со всеми их тягестями, всей своей тяжестью, ступали, было для детей — верхом, то есть попросту лежало у них на головах. Вроде атлантов, держащих небосвод с небожителями. (Недаром их «низ» был со сводами!) На том и надорвались. И, возвращаясь к воспитанию: как тут было до своего ребенка — добраться? Сквозь всю эту подобострастную и стойкую толщу — продрасться? Для этого нужно — очень любить. А можно ли, я только ставлю вопрос, а неизбежно ли, а так ли уж непреложно — любить ребенка от нелюбимого, может быть — невynosимого? Анна Каренина могла, но то был сын, сын — в нее, сын — ее, само-сын, сын ее души. Таким сыном для А. А. оказался последний ребенок — Сережа, дитя ее души и тела, она живая — если бы ее с самого начала не убили.

Нет физического сходства без душевного. И если Сережа, весь крохотность, робость, нежность, с первого взгляда казался душевно обратным матери, то потому, что сравнивали его с нею — нынешней, а не с нею — тогдашней, его однолетней. И не высшее ли смирение она проявила тогда, выйдя замуж за нелюбимого, раз навсегда смирясь: сломаясь, точно так же, как ее сын без всякой мысли ропота связал бы себя с той, которую бы движением брови указала — она. Только в Сереже, еще не тронутым жизнью, мы видим упоение покорности, в ней — ожесточение покорности.

Меж тем жизнь, понемножечку, красотку перековывала. Когда знаешь, что никогда, никуда, начинаешь жить тут. Так. Приживаешься к камере. То, что при входе казалось безумием и беззаконием, становится мерой вещей. Тюремщик же, видя покорность, размягчается, немножко сдает, и начинается чудовищный союз, но настоящий союз узника с тюремщиком, нелюбящей с нелюбимым, лепка — ее по его образу и подобию. Но какой же может быть здесь «образ и подобие»? Между стариком ученым и нелюбящей красавицей? Что могла А. А. от Д. И. «перенять»? Историю, дело его жизни? Нет, историю он писал сам. Идеи? Они ей, как всякой настоящей женщине, были безразличны (не были бы, ежели бы, но так как этого «ежели» не было...). И, чтобы не спрашивать праздно, — она могла перенять от него только методы. Его методы скопидомства, домоводства, детоводства, однодумства и т. д. Методы, сразу выродившиеся у нее в привычки и даже мании, ибо одно — в стране, другое — в доме, одно — в книге, другое — в жизни. Вся нетерпимость Иловайского к инородцам, перенесенная на одну немку-экономку, вся теория государственного накопления — в пределах собственной кладовой, весь идейный домострой, перенесенный на живых детей. Нечего говорить: Иловайский в доме был тираном, но тираном идейным, то есть не мелочным. Раз навсегда, en bloc¹. И больше олимпийцем, чем тираном: он до детей просто не снисходил. А. А. же, из дома не выходя, во все входила, в каждый их шаг и жест, и именно потому что во все и чисто внешне, в них самих никогда не вошла. Разница между папой, санкционирующим, и рядовым боевым членом братства Иисуса. Словом, в доме А. А. была его правой рукой, а правая рука всегда пуще головы. «Молодые девушки должны ездить на балы», — Иловайский. «Да, но по возвращении вешать платья на „плечики“», — А. А. (Сильно говоря, она, конечно, была о г о р ч и т е л ь н и ц е й колодца

¹ Весь, целиком. (Франц.).

их молодости). «Молодые девушки должны танцевать с теми, кто нравится их родителям»,— Д. И. «То есть не танцевать с теми, кто им нравится»,— А. А. Упор с должествующего переносился на возбраняемое. Физический запрет становился духовным.

Почему? Почему и откуда запреты? А потому что ей самой, так еще недавно, запретили жить, сама себе сгоряча (пусть по холоду расчета, но все же сгоряча воображения!) запретила, потому что сама себя заживо зарыла в доме у Старого Пимена. Дочери, особенно одна, растут красавицы.— Я тоже была красавица.— Дочери растут веселые.— И я смеялась.

И вот подсознательное (подчеркиваю это трижды) вымещение на дочерях собственной загубленной жизни. Если, в упрощающем мифе родни и дворни, Д. И. детский век «заживал», А. А. его «заедала». Не заедала, нет. Она не питалась их соками, ибо тогда эти соки ей шли бы впрок, чего не было,— она их жесткой рукой зажимала, не давала им ходу, чтобы ее женские отпрыски тоже не были счастливы. Иное старение кормится возле молодости дочерней, это же ложилось на них могильным камнем. Я задохнулась — и ты не дыши.

Чудовищно? А такой брак — не чудовищно? «Сама виновата!» А разве эта сама — знала? Знала, что такое вообще брак? Это нынешние знают. Те, пятьдесят лет назад, летели в этот ад, как бабочки на свет,— грудью. Оступались в него, как в ров. И — как знать? Может быть, еще и родительская власть, угрозы и уговоры ее матери? Ожесточенное бедой сердце — вот. Но как же вымещать на невинных? А разве она знала, что вымещает? Это знающая природа в ней вымещала, мстила за попанную себя. Она, в полной невинности,— воспитывала. (Показательно и подтвердительно, что недуг, от которого из троих ее детей погибло двое, был ее недугом, даром, наследством. Впрочем, и у Д. И. был в юности туберкулез, но — когда была эта юность? И была ли когда? И вот уже начало нового мифа о родителях, откупившихся от смерти детьми...)

Девочек не мучили. О, им многое разрешали. У них были наряды, подруги, братья подруг, у них были билеты на парад и ложи в балет и, главное — у них были «живые картины»... Сказав это слово, я дала эпоху. Это был рассвет девятисотых годов, недалекий канун Пятого. Шел пока еще ручьевый шум студенческих беспорядков. Слово «педель» одно из первых, которое я в младенчестве осознала, от созвучия с «пудель». И вот от сходок, вопросов, запросов, страшных людей, идей — щит: живые картины. Колеблющийся щит: целая стена старинного штофа. А за ним...

Недвижная группа из живых людей, окрашенная бенгальским — зеленым и малиновым — пламенем. Группа не дышит, улыбки застыли, пламя трепещет, догорает... Занавес! Рукоплескания. Красавица Надя, весна для каждого встречного, застывшая аллегорией Весны, с бенгальским румянцем на персиковом. Живая красавица, застывающая красавицей спящей. Красота, спящая под очкастыми — подслеповатыми — дальнозоркими — слезящимися и бог знает еще какими! — взглядами старцев, старцев — Елены, старцев — Сусанны, семидесятилетних сверстников ее отца... (Могла бы назвать имена, иные — исторические, но зачем? Все это ушло в миф...)

Но что тут делали бородатые студенты и доценты? (Из всей группы безусым был только Сережа, неизменная пара всех Надиных превращений: Май всех ее Весен, Царевич — Красавиц). Пенсне можно снять, но бороду? А ведь и они участвовали в «Веснах» и «Помпадурах». Бородатые маркизы? И этот *contre-sens*¹ в доме у историка? Как ни

¹ Бессмыслица. (Франц.).

грустно, не могу не улыбнуться. И десятилетия спустя не могу не содрогнуться от такого сгущения жути: «живые картины» — в мертвом доме, мертвые картины из живых людей.

Были живые картины, были выезды — поднадзорное танцевание, напоминающее мне уныние первых Ассамблей. Но девочки отыгрывались. Жизнь всегда отыграется. Чайный стол молодежи понемножку обрастал кругом молодых вольнодумцев (позже — всего только правых кадетов!). Свечи старого дома даже под надежными щитами своими содрогались от первого дуновения «идей». Каких? Еврей тоже человек. И самые храбрые: «Раз сам Христос был еврей...» Звучало еще робкое, но и в робости своей грозное, ничем, кроме собственного звучания, не заполненное слово «свобода». Какая? Вся. От чего? От всего. И, конечно, прежде всего — от дома. Нет, нет, не от родителей. Родители еще были неприкосновенны, неподсудны, да и они ли гнели? Нет, не Д. И. же со своими декретами раннего сна и такого же вставанья, не А. А. со своими нотациями и интонациями — родители сами были гнетомые — гнел дом, сам дом, со всеми в нем прежде жившими и жившими так, как нынче жить уже нельзя (а было ли когда-нибудь можно?). Гнел дом толстыми, как в бастионе, стенами, гнел глубокими нишами окон, точно пригнанными по мерке привидений, гнел дверями, не закрытыми, не открытыми — приоткрытыми, гнел потолками, по которым неустанно, по ночам, кто-то взад и вперед, взад и вперед, гнел подсматривающим, вплотную прильнувшим садом. О, больше всего садом, его мнимой свободой, на самом же деле всем дозором бессонного древесного сырья, так явно держащего руку бывшего, садом с его сыростью, садом с его старостью, с калиткой, не ведущей никуда. И больше всего слово гнело: «Пимен». Кто был Пимен? Что за святой? Почему не сохранил? Почему из троих выпустил не на кладбище только одного, одну? Иловайская девическая «свобода» была только свобода от этого страшного святого, точно забивавшего их клюкой в гроб. Свобода от сторожа, сторожившего дом, стороживший их. (О, Пимену дело только до дома, сохранить дом во всем объеме, со всем, что в нем, будь то комод, гроб, сын). «Вырваться от старого Пимена!» Сами не знали, что говорили. (Однажды, после такого взрыва, Надя: «Впрочем, мы с Сережей в нем долго жить не будем. Дом останется Оле». И Оля, как бы обидевшись на такой распорядок (подарок!), запальчиво: «Тогда я его взорву!» Но Россия со всеми старыми пименами взорвалась раньше).

Гнет родителей — был, но гнет — исполнительный: подневольный. (Не забудем, что и над Зевесом — Рок). Гнет был не от их присутствия, а от всеприсутствия, всюду сущия: в самом воздухе дома и на тридцать верст вокруг (на тридцать лет вперед!). «И настигнет мя десница твоя», — это вовсе не значило, что А. А. над дочерьми сидела и пилила (дочери для нее были только частью домоводства, такую же, как сундуки), что Д. И. в неурочные часы заходил и ловил. Гнет был в том, что неурочных часов не было, не могло быть, что сам этот дом был затянувшийся «урок истории», что слишком легко было физически из-под гнета выйти: обойти. Это был, если довести вещь до ее истинных размеров, — искус доверием. Нет, не то слово: родители и предположить не могли, чтобы их можно было обмануть. Слепость их веры (в непреложность своей правды и власти) и составляла затвор. Замков не было. Впрочем, давно известно, что вера — привязь, пущая всех цепей. Если нельзя обмануть доверяющего, то как же можно — не сомневающегося, не усомнившегося никогда? Дочери, как и мать, были честны и горды. Дом у Старого Пимена при всей его тяжести был исполнен благородства. Ничего мелкого в нем не было. («У нас было тяжело, у нас не было так мелко», — слово Оли И. о семье, в которую из Старого Пимена вышагнула). Это не была бытовая трагикомедия приказов и обманов, приди-

рок и уловок, как все бытовое, кончающаяся благополучно. Дом у Старого Пимена благополучно кончиться не мог. Потому он так надо мной и властен, что он был не менее чистокровно трагичен, чем дом Приама. Что над ним был — Рок. Рок, сказавшийся в самой физической заочности родительского гнета, в их физическом олимпийстве: наверху, на свету, откуда вниз, в полуподвальные садовые туманы, шли невидимые декреты — токи. (Единственный дом, кстати, на моей российской памяти, где бы родители жили наверху, а дети — внизу. И в Трехпрудном, и во всех ему подобных — детским был тесный, низкий, но жаркий и светлый верх, родительским — парадный, просторный, но пустынный и холодный низ. Дети от родителей спасались наверх. Здесь же дети родителями были низвергнуты в преисподнюю, под достоверные своды... Аида. Очевидно, старина Старого Пимена была древнее дворянской (Уран, титаны...)

Но подчас, еще углубляя этот образ, Д. И. предстает мне уже не Зевесом — Гадесом, владыкой подземного царства.

Бедная Надя, по счету насильственных гранатовых зерен проводящая, за исключением одной италийской весны, в родном Аиде — всю жизнь!

И бедная ее мать, от всего гранатового яблока искуса — ни зерна не оставившая, в Аиде навек оставшаяся.

И бедная В. Д., и за порогом отцова царства опутанная гранатовыми бусами...

И, выплывая на поверхность века, места и быта, — Иловайский был менее всего самодур. Никогда — «чего моя левая нога захочет» (та, с которой нынче встал!) — всегда — голова. Между ним и Багровым-дедом¹ ничего общего, кроме неизбежной тяжести личности и единственного в жизни обоих случая умиления над занесенным под их кровлю одиноким и бесстрашным женским существом. Новой особью женщины: единственной. Д. И. мою мать явно чтил, и она, столь страстная и безоговорочная в своих суждениях, его никогда, ни в чем, ни разу, за все мое детство, ни словом не осудила. Странность этой расположенности была и во взаимоположении этих людей: отец первой жены, расположенный ко второй. Вторая, так страдавшая от первой (тени первой!) — к отцу этой первой. По существу же они чем-то, отдаленно, подходили, подходили (совершенно так же, как совершенно непохожие Софья Николаевна и Багров-дед). Больше скажу: если бы не закон, по которому дочь у отрешенного ученого и старика — непременно красавица и певица (или танцовщица), если бы не этот закон обратной наследственности, моя мать больше бы годилась ему в дочери, чем его собственная, собственные. И вот он, ни в жене, ни в дочерях не встретивший (да и не допустивший бы!) помощницы, любовался на помощницу другого, заместительницу в сердце его единственного друга, его любимой дочери. Моя мать же, как отдаленная, но истая германка, больше всего любившая трудность и чтившая труд, не могла найти слова осуждения тому, кто всю жизнь, волей и неволей, в работе, как в жизни, ничего другого не знал. И не хотел знать. Взаимное признание сил. Думаю, что если бы она словами захотела определить свое отношение к Д. И., этим словом было бы: «Э то уже вне суда». Что — «э то»? Да то нечеловеческое одиночество, холодившее кровь в жилах его собственных детей. Нечеловеческое одиночество служения.

Но и он ей немало прощал, не только всю ее сущность, для него, по существу, дикую, но и самое для него в ней существенное: ее юдоприверженность: постоянную и в России и за границей окруженность евреями,

¹ Степан Михайлович Багров из «Семейной хроники» С. Т. Аксакова.

не объяснимую ни происхождением (полупольским), ни кругом (очень правым), — только Генрихом Гейне, только Рубинштейном, только еврейским гением и ее женским вдохновением, только ее разумом, только ее совестью — хотела сказать, только ее христианством, но вспомнив слово «несть ни эллин, ни иудей», не могу, ибо для нее иудеи — были, и были милее «эллинов», и обертонном всех этих «только» (всех не перечислишь!), лейтмотивом всей ее и моей жизни — толстовским «против течения!» — хотя бы собственной крови — и против стояния — всякой среды (стоячей воды).

Так вот эту-то приверженность, для него совершенно непонятную и неприемлемую, Иловайский ей сразу, молча, как органический порок в дорогом существе, раз навсегда — простил.

Когда она умерла, старик глубоко горевал. Помню его письмо к нам в Тарусу, твердое только почерком. «Вы потеряли не только близкого человека, но большого человека», — писал он своему единственному другу, моему отцу. «Друзей много, друга — нет» — вот еще одно его ворчливое, стыдливое (моему отцу же!) высказывание. Дружба эта, думаю, совсем не основывалась на общности идей. Если мой отец был верноподанный — то, как и православный, пассивно, традиционно, от прирожденного смирения, несуждения — и безразличия: безостаточной поглощенности другим: одним. Да и можно ли назвать «верноподанным» того, кто если и надевал свои ордена, то исключительно, чтобы просить за какого-нибудь забранного на сходке студента, которого и в глаза не видал. «Церковным» — того, кто, не желая смущать близких, а главное — сделать из своей смерти «события», умер (сын, внук и правнук священника!) — без священника, хотя знал, что умирает. Такой «монархист» и «православный» прежде всего — человек. И — только человек. «Под небом места много всем»¹ — вот его однострочное, детям по каждому поводу высказываемое исповедание. Иловайский же, кроме любви к России, знаменуемой для него ненавистью к инородцам, любви к монархии — вплоть до суда над монархом, ничего не знал и не хотел знать. Дружба эта зиждилась на дорогих телах, тенях. Нет прочнее дружбы — на костях! Это были два старика, потерявшие одну семью. Старых друзей — не судят.

Вижу их вдвоем, в низкой широкой комнате с многими, многими, одинаково-одинокими окнами в сад. Над притолокой двери, в него ведущей, охотничий рог Иловайского (никогда не охотился!), которым он сзывал гостей и детей на трапезы, поражая молодежь мощью его звона: своих легких. Роландов рог историка, ныне навек замолкший.

Мы с Асей — в Спасском, именуемом также Крюковым, по названию станции Николаевской железной дороги. В детстве нам это невиданное Крюково мнилось крюком, железным крюком старьевщика, а то и клюкой, Ягой, значит, опять-таки — старостью. Со станции ехали на линейке, вещи без будущего и прошлого: вдоль событий — мимо черных елей, мягко колючими мокрыми лапами задевающих по лицу, как кропилом. Разлатое здание, поданное как на ладони болотистой равниной. В дом — цветником: тем, что им было, тем, что им больше не будет. Внутри тишина. Старина. Чувство, что комнаты здесь живут одни, продолжают, не замечая, что половины семьи уже нет. Не замечая и оставшейся половины. Так что выход А. А., откуда-то сбоку, в сером переднике с грудью, со стопкой белья в руках, а за ней и Д. И., тоже в сером и тоже с белым (газетной стопой!), скорей... неожидан, скорей... разрушитель. Мы никогда не узнаем, насколько комнаты старых домов, которые мы, не замечая, минуем, — нас не замечают, нас, как волны старого моря, минуют — в своем продвижении. Волны моря и рода,

¹ Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Валерик».

только изредка, по неучтимой прихоти, возвращающие через сотню лет берегу — наше кольцо, наше лицо — правнуку.

Сидим с Асей, сначала как на гвоздях, а потом уж — как пригвожденные, с краю штофного диванчика, на который нас усадила А. А., сама неуютно и властно и от прямоты спины, точно стоя, сидящая против нас на твердом стуле с работой в руках, к которым (рукам и работе) как будто бы и не снисходит. Между стариками канделябр в две свечи с зелеными наглазниками, от которых свет, на лица, исподлобья: «А не думаете ли вы, Иван Владимирович...» — «А не думаете ли вы, Димитрий Иванович...» Но чего не думают «И. В.» и «Д. И.», мы не слышим. Сидим, убаюканные старческими интонациями и скучными сюжетами и зачарованные — немного как птицы — неотступным взглядом А. А. (вспоминающим? сравнивающим? невидящим?), в котором узнаю чудные глаза Сережи. Сережа был ее живым портретом, и теперь, после его смерти, она стала его живым. Тот же отродясь иронический рот, та же возможность смеха в глазах (*rire latent*¹), — смеха, ни им, ни ею не высмеянного. Сын, умирая, точно завещал ей свою молодость, чуть-чуть играющую по углам губ — будто в прятки. В этот вечер я А. А. — любила, и она, точно почуяв, а может быть и помягчев сердцем после потери своих, обаятельно и как с ровнями беседовала с нами, дикарями и сиротами, мать без детей — с детьми без матери, ввалила прочтением нашей обуви, чистоту нашего французского выговора и в конце вечера до того необъяснимо растрогалась, что обещала нам в подарок: Асе — «Дети Солнцевы», мне — «Юность Кати и Вари Солнцевых», написанные какой-то ее родственницей. Самое изумительное, что мы действительно эти книги получили, каждая — новую, каждую с надписью: «От сердечно любящей А. А.»

Так сын в этот вечер перевоплотился в мать.

...Но был у иловайского молодого стола свой край — тихий. Это было царство небесное «херувимчика» Сережи, лебеда среди окружающих белоподкладочников, среди маменькиных сынков — сына матери. Здесь ни споров, ни вопросов. Здесь отродясь все было решено: предрешено. Сережа из всех детей отродясь вверился Пимену и даже умирая не спросил. Примерный крошка в платьице, примерный гимназист, примерный студент — противно? Да, если бы не неотразимое очарование: глаз, усмешки, повадки, легкого налета не то какой-то виновности, не то подтруниванья над собой — не то над вами, за то, что вы в это благонравие так уж поверили... Чуть сощуренные, светло-черные, в полном соответствии с ртом, чуть усмехающимся и тоже как бы сощуренным по углам, — глаза какого-то непрерывно храбрящегося прощания, гощения (недаром и умер в гостиной!), глаза, старше глядящего, глаза рода, глаза — последнего в роду.

Тихоня, херувимчик, маменькин сынок, старушкин угодник, белоподкладочник, черносотенец?

Не тихоня, а тишайший, не херувимчик, а cherubim², не маменькин сынок, а сын — матери, не стародамский угодник, а ревнитель древнейшей заповеди, не белоподкладочник — сама белизна, не черносотенец — горноста́й.

Странно: в этом красавце было какое-то сходство с Павлом, да, вопреки уродству, вопреки красоте. Павел был уродливой крайностью того типа, которого Сережа был прекрасным полюсом... Очень явные ноздри чуть коротковатого, как бы ножницами подрезанного носа, очень явные зубы, глубокие ямы глаз, подъямыны скул. Точно смерти с них даже не меньше придется снять (дело не в худобе), а меньше придется над

¹ Невыявленный смех. (Фринц.).

² Херувим. (Др.-евр.).

ними работать (modeler, формовать), чтобы получить свой собственный образ. Такие лица часто бывают у детей, верней: много детей с таким лицом. (Детей — много, лицо — одно). Мальчиков. Непременно: темноглазых. Взываю к сочувственному (эвокативному) воображению читателя.

Когда я все дальше и дальше заношу голову в прошлое, стараясь установить, уловить, кого я первого, самого первого, в самом первом детстве, до-детстве, любила,— и отчаиваюсь, ибо у самого первого (зеленой актрисы из «Виндзорских проказниц») оказывается еще более первый (зеленая кукла в Пассаже), а у этого самого — еще более с а м ы й (чужая дама на Патриарших прудах) и т. д., и т. д. (только в д р у г у ю даль!) — когда оказывается, по слову поэта:

Я заглянул во столько глаз,
Что позабыл я навсегда,
Когда любил я в первый раз
И не любил — когда?

— а я сама — в неучтливом положении любившего отродясь, до-родясь: сразу начавшего со второго, а может быть сотого... в положении продолжения без начала, в положении отрожденного продолжения... Но конца у этого словесного периода, по самой внутренней его бесконечности, быть не может.

Правда, есть свидетельство моей матери о моей двухлетней бурной любви к черноглазому и -мазому студенту Айналову, но я этой любви не помню, кроме того, откуда мать могла знать, что это — первая, поручиться, что я уже с рук кормилицы не рвалась на другие, не ее? (Раз есть вещи, которые никогда не кончатся, всегда будут — а эти вещи есть, и их знают все,— так же законно, чтобы были вещи, которые никогда не начинались, всегда были). Но теперь, так сильно вжившись в Сережу, и по тому волнению, которое он, мною вызываемый, во мне вызывает, мне начинает казаться — я на самом краю уверенности,— что первым живым мужским существом, которое я любила, был он.

Вижу себя четырехлетней толстой девочкой, часами в полном молчании простаивающей возле Сережи, глядя, как он заступом с Оки к нам на дачу в крутом боку горы роет лестницу. И когда однажды Августа Ивановна, раздраженная такой настойчивостью и устойчивостью (подвигнуть меня дальше очередной Сережиной ступеньки было невозможно): «Да что ты все глядишь и глядишь на эту Трерре? ¹ Ничего в ней такого нет interessant!» — я, вздохнув всем животом: «Я гляжу на его голубые панталоны...» Голубые? Не знаю. Он тогда был гимназистом, а у гимназистов были серые. Или же, летом, суровые, холщовые. Голубизна Оки? Любви? Но слово и чувство «голубые» — помню.

Но что-то еще встает, раннейшее, позднейшее? «Сережа и Надя» — не Иловайские, а другие, не брат Сережа и сестра Надя, а другие, другому. В приложении к «Ниве». Прочитанное? Прослушанное? У нас в Тарусе, как по всем таким семьям России — укрыться от темных ночи,— сбивались под белый ламповый круг (подножка лампы объемом в медвежью ногу: медведь лезет в улей!), и кто-то что-то читал. Иногда детей «забывали». Только помню ожог и жуть тайны посреди груди, там, где ребра расходятся: никому не сказать про Сережу и Надю, Сережу и Надю... Сережа и Надя. Приложение к «Ниве», рассвет девятисотых годов.

Странно, что от Старого Пимена я получила первый урок легкомыс-

¹ Лестница. (Нем.).

ля — непривившегося. Вот он, черным по белому, в малиновом альбоме Нади, гостившей тогда у моей сестры Валерии.

Спешу тебе в часы досуга
Написать десять строк¹.
Прими совет сестры и друга —
Не верь мужчинам, мой дружок!

Ты весела, ты все хочешь,
В головке бродит ветерок,
Но если плакать ты не хочешь —
Не верь мужчинам, мой дружок!

Пускай они тебе клянутся,
Пускай грозят взвести курок,
Ну хоть на части разорвутся,—
Не верь мужчинам, мой дружок!

А если ты им верить будешь,
Они дадут тебе урок,
Который век ты не забудешь,—
Не верь мужчинам, мой дружок!

Я сказала: легкомыслия, хотя по содержанию нужно бы сказать: благоразумия. Но так как ни то ни другое мне на роду написано не было — то и урок не привился, и я, как впрочем и сама Оля, и бедная Надя, и все мы, бывшие, сущие, будущие, до скончания веков, аминь — в «неверие» не поверила, встречному — верила.

Но дело не во мне, дело в тоне эпохи, диктующем одаренной и благородной девушке такие стихи в альбом на редкость одаренной и одухотворенной сестре.

Не сужу. Невинно. То же самое, что «Раз в крещенский вечерок», и ведь главное — те же девушки! («Как ваше имя? Смотрит он и отвечает: Агафон»). Вечный сторожевой окрик одной сестры — другой (одной доверчивей другой!) — «Не верь: обманет!» Не вырождение девичества (бессмертного), а вырождение целой культуры, открывшейся Пушкиным и докатившейся до последнего листка девического дворянского альбома, на котором — уж не знаю чьей рукой:

✠

Когда я кончу мой вояж,
Mesdames, тогда я буду ваш!

(Прощание Собинова с московскими дамами, восход девятисотых годов).

Однажды — мне было семь лет — Сережа, мне: «Так ты мне свои стихи перепишешь?» — «Ну, конечно, черт возьми!» — «Но зачем же „черт возьми?“» — с таким недоумением, даже страданием, несмотря на чуть выросшую улыбку, что я, сразу ударившись подбородком себе в грудь (почему не ему?), разом всадила все четыре передние «лопаты» в нижнюю губу. Странное чувство и неприписываемое себе, тогдашней, чувство: мне перед Сережей (семь лет и семнадцать) всегда было стыдно за себя — такую. Какую? Да здоровую (он тогда еще не болел), резкую, дерзкую, с черными ногтями. Я, как негр, стыдилась своей непоправимой черноты. Помню, какого труда мне стоило войти в залу, где на зеленом диване, между зелеными филодендронами сидел он в своей небесного цвета тужурке с другими студентами, но не такими же, тоже в тужурках, но не таких. Какого сведения челюстей — пройти через всю эту паркетную пустыню и подать ему руку. «А стихи все пишешь? Пиши, пиши!» Мне от этого голоса сразу хотелось плакать. Плакать и каяться, что я такая злая, грубая, опять дала в зубы гувернантке,

¹ В этом популярном «альбомном» стихотворении вторая строка читалась: «Я написать шестнадцать строк».

которая меня дразнила, жестяной от зубного порошка, а вот он — такой добрый со мной, такой нежный... И чем нежнее и добрее он меня расспрашивал, может быть что-то чуя и стараясь рассмешить: «Ну, улыбнись, улыбнись, улыбнись же наконец, не улыба!» — тем я ниже клонила голову в накипающими слезами, и — последним голосом: «Я лучше принесу тетрадь, вы сами прочтете...» Это, кажется, единственный человек за все мое младенчество, который над моими стихами не смеялся (мать — сердилась), меня ими, как красной тряпкой быка, не вводил в соблазн гнева... Может быть — он сам писал стихи? Прозу — знаю. Двенадцати лет (рассказ моей матери, очевидицы) он по настоянию родителей стал читать на какой-то их «пятнице» свою пьесу «Мать и сын». Действующие лица: «Мать — 20 лет, сын — 16 лет». Взрыв хохота, и автор, не поняв причины, но позор поняв, сразу и невозвратно убежал в свою детскую, откуда его не могла извлечь даже мать.

А мать над ним — все могла. Больше скажу: он не мог иначе, чем мать. Не мог иного, чем мать. Думаю, они мало друг с другом говорили, больше — глядели. Ибо слова всегда опасны. Словами он бы должен был ей сказать: «Мама, зачем ты дергаешь Надю? Мама, зачем ты омрачаешь нашу молодость? Мама, мы скоро умрем». Глазами же он ей говорил одно: «Люблю. Твой».

Эта любовь у либеральной молодежи называлась «консерватизмом», равно как собственный инстинкт самосохранения — «политической оппозицией». Страшные бывают слова (и чаще — иностранные!) для самых простых вещей. Но пока до простоты додумаешься...

Милый Сережа, четверть с лишним века спустя примите мою благодарность за ту большеголовую стриженую, некрасивую, никому не нравящуюся девочку, у которой вы так бережно брали тетрадь из рук. Этим жестом вы мне ее — дали.

Спасибо и за старый мир, ныне всеми... преданный, больше всего же, хотя и невинно, теми, кто его хотят воскресить. Вы были его чистейшее зеркало.

Спасибо за верность дому — даже такому.

Спасибо за мать.

После Нерви брат и сестра стали умирать. Не сразу. К нам за границу доходили слухи, что увезены они отцом в Спасское. Что кормит он их там овсянкой и заставляет спать с открытым окном. «Что ж (мать над письмом), и овсянка и окно вещи полезные, но вот — сырость... Ведь Спасское стоит на болоте... И не проще ли в Крым?» Но в Крым (предполагаемые доводы Старого Пимена) одних нельзя: опять в Надю все сразу влюбятся, и вдруг примерного Сережу окрутит какая-нибудь дрянь? А матери с ними ехать — значит бросать все. Все, значит — дом. Дом, значит — сундуки. На кого оставить? На маленькую немку-экономку? Но она сама цыпленок, где ей? Только и умеет, что испуганными голубыми глазами, не мигая, глядеть на всех, и особенно на Сережу, который никогда и мухи не обидел... Как ей совладать с вороватой горничной, лукавым дворником, пьяницей кухаркой и всеми их земляками и кумовьями, — со всей этой грабилровкой? Кроме того, в Крым, значит — на две семьи. И кто же будет разливать чай на ученых пятницах у Д. И.? Оля? Да к самой Оле надо приставить гувернантку, ибо из троих она — пущая, самая тайная и упрямая, опять я у нее обнаружила борный вазелин для рращения бровей и ресниц, — и не только упрямая, но и расточительная, ибо тот вазелин — у меня под ключом, значит этот — новый. А все эти вазелины и ресницы, чтобы нравиться этому — не дай бог! Как только его в дом пустили? — Р-ну. Какой уж тут Крым?

И вечером, в ответ на эти соображения, Д. И., лаконически: «Везу их в Спасское. Свежий воздух и овес — это главное».

Сережа умер первый. Про смерть свою он знал... Сколько я их видела за всю болезнь моей матери, по Бориважам, по Квисисанам¹ (почти уже — по часовням!), и на Ривьере, и в Шварцвальде, и в Ялте — врачей, выхаркивающих последний лоскут легкого с сияющей уверенностью, что это «маленький бронхитик», отцов семейств, не догадывающихся проститься с детьми, юнцов, расписывающих вечера на двадцать лет вперед, волкоподобных старцев, заедающих саму возможность — сырым мясом (женщины, даже самые молодые, неизменно знали), тяжело больных, с опытом чужой болезни, чужих ежедневных, с теми же приметам, смертей, вплоть до номера такого-то, куда уносят смертника, или, как в Нерви, в дом напротив, по винтовой железной лестнице, под гробовые своды сестринского убора² — а вот этот, без всякого опыта умирания, ибо умирал он от этой болезни ни семье — первый и никогда в санатории не был, — не обманувшись ни послухом Крыма, ни собственным румянцем, ни особой легкостью в теле, так легко принимаемой за силу: смертью в жилах, принимаемой за жизнь, этот сразу понял и — принял. Все его земные помыслы были только о Наде (о которой он тоже знал) — увезти поскорей Надю, спасти Надю... Все иные мысли — в боге.

А мать? Мать была в нем, он умирал с нею внутри, как с — внутри — собственным сердцем.

Надя, уже не встававшая, на вынос брата смотрела из высокого окна залы, в которой теперь жила. Вчера — на товарища брата, который нравится и опять придет, нынче — на брата, которого любила и который уже никогда не придет. За которым — сама пойдет. Поедет — вот тем же снегом, такими же еловыми веточками, на тех же плечах... Вот в последний раз сверху, так сверху, так навзничь, как никогда еще, по-новому внятно, по-высокому — далёко, и внятно, и тщетно, и близко, и далёко — как на ладони — отставленной за версту! — как собственное лицо на дне колодца — в последний раз лицо Сережи, от подпирающего лазурного ворота как бы все еще храбращающееся...

Усмешка... Ресницы...

Рядом с кареокой румяной смертницей, обняв подругу за плечо, подерживая и даже удерживая, — светловолосая, с глазами, плачущими точно своим же цветом, с возрожденской головкой, точно впервые ознакомившейся с собственным весом, Вера Муромцева, ищущая слов и никаких не находящая, кроме слез. Внизу, на снегу, черная одинокая фигурка: та самая немочка-экономочка, так боявшаяся взглянуть на Сережу, а когда глядевшая — то с чем-то пушим страха. Достоять обедни ей не дали и на кладбище не пустили — надо прибрать дом к возвращению, — и вот торопливо прибирает, только не дом, а двор — от тех самых веток (чтобы не замел дворник!). В руках целый букет — черных, лохматых, так похожих на те, в Спасском. Эти ветки она будет хранить до дня своей смерти, для дна своего гроба, на дне своего экономкиного чемодана, когда осыплются иглы, соберет их в мешочек, мешочек завяжет лентой с шоколадной коробки, поднесенной ей иловойской молодежью (значит, и им) в прошлый сочельник. Сочельник... Ельник...

Наде, умершей месяц спустя, бог послал тяжелую смерть. Не надо научных слов для такой вечной вещи, как смерть молодой красавицы. Как бы ни назывались сопутствующие ее болезни явления, — муки были ужасные, и ни один врач ее от них не избавил. Умирала она тяжелее брата еще и потому, что хотела жить. Не о непостыдной безболезненной кончине живота молила, а о жизни — какой бы ни было — только жить!

¹ Названия пансионатов и санаториев.

² За умирающими наблюдали католические монахини в больших накрахмаленных чепцах.

Что может быть жесточе такой Нади, из горячей постели горячей рукой тайком передающей монашке деньги, чтобы молились о ее здравии по всем монастырям Москвы.

Умерла она в феврале, и выносили ее по тому же снегу. Жестоковыйный старик — в этот день он впервые выглядел стариком, а было ему уже сильно за семьдесят — на похоронах плакал. Надя в гробу лежала красавица. Спящая красавица с староименовской живой картины, нынче по-настоящему — спящая, с тем же, тогда чуть-чуть лукавым, ныне — знающим началом улыбки, или того, что нам, на спящих — глядящим, улыбкою кажется. «Я ничего красивее не видал, — рассказывал отец, шагая с нами, Асей и мной, тоже мимо черных елей, только не мокрых — трещащих от зноя, шваривальдских — не спасских (закрываю глаза, чую запах и слышу, как хвоя трещит...) — С распущенными каштановыми кудрями (умирала тяжело, и не могли расчесать), лицо — розовое, улыбка... — и с интонацией, близкой бы к негодованию, если бы сам, весь, не был сплошное смирение: — Такая красавица... Такая красавица... — И, внезапно, оборвав и фразу и прогулку: — Ну, домой пора. А то мама заждалась». (Мать моя умерла год спустя от той же болезни).

Тут я должна рассказать одну очень странную вещь. Рассказываю я ее (февраль 1905 г.) впервые. Рассказываю я ее потому, что весь тот мир — иловайского Старого Пимена и нашего цветаевского Трехпрудного, молодых красавиц, как Надя, и одиноких, на мой лад, девочек — кончен. Кончен не только мой тот век, но весь тот век. Рассказываю по неоплатному долгу — сердца.

Когда я в закрытом учебном заведении во Фрейбурге из письма отца узнала о смерти Нади, первое, что я почувствовала, было — конец веревки, вдруг оставшийся у меня в руке. Второе: нагнать. Вернуть по горячему еще следу. Даже (как слезы) загнать — откуда пришло. Сделать, чтобы этого еще не было. опередить — назад. Восстановить ее на прежнем (живом, моем) месте и, встав перед ней, не пустить. Первый ответ на удар было: сорваться с места. Но куда? Новодевичье кладбище далёко, да там ее и нет. Где же искать? В Нерви, конечно, где я ее видела в последний раз, на фоне Лигурийского залива, под изгибом белой шляпы, выгнувшейся из заворачивающего экипажа. И вот, как по команде, — в Нерви. Обежав шагом колотящегося сердца все виноградом крытые дорожки нашего сада с прямо на голову свисающими лимонами и мандаринами, спустившись на мою соименницу «марину»¹ («Видишь, вот ты и знаменитость! Вроде твое имя написано, — смеясь, Надя, мне...»), оттуда — в дом, сначала в их комнату, где они вдвоем с Сережей кашляли: кто — кого, потом в столовую, где под Новый год пускали лодочки с желаниями, и все они задумали одно, а она — другое (и ничего не сбылось!), потом в монастырский дом, не обнаружив ее нигде, обнаружив, что ее нет — везде, я стала в тупик. Где же мне ее искать, чтобы сказать... Что? Да то самое. Устав гадать и отложив на перед-сном, опять перечла письмо отца: «Сообщаю вам грустную весть. Вчера, такого-то февраля, умерла в больших страданиях бедняжка Надя...»

У-мер-ла. Значит, нигде?

И вот, начинаются упорные поиски ее — везде.

«Куда ты?» — «Платок забыла в дортуаре». Проглотив лестницу, несусь по гулкому коридору, на поворотах чуть ли не отрываясь от собственного тела, опережающими и все ж неспешающими шагами вле-таю... Может — здесь? Раз знает, что всё внизу. Но ничего, кроме блеска холодного, мною же оттертого умывальника, кроме холодной белизны

¹ Здесь: набережная. (Итал.).

мною же накрытой постели, в рядах таких же белых и безнадежно пустых. Как же я не сообразила, что здесь слишком светло? Что здесь можно только быть или не быть. Где же сейчас темно? Есть темное место, всегда темное, музыкальная комната, одна во всем этаже, нежилом. Но туда, до *Klavierübung*¹, не пустят. Как прожить эти три часа до шести?

— *Klavierüben*, Marina.— Намеренно медленным шагом выхожу, уже не бегу, не бегу, даже когда одна в пустом этаже, с полным самообладанием, аккуратно, во всех подробностях управляюсь с туго поддающейся дверью (дать успеть прийти...). Осторожно, чтобы не спугнуть, просовываю голову, за ней, как ненадежного постороннего, впускаю тело. (Самое для меня теперь дивное, что я не только ее не боялась — ее боялась испугать). Сажусь. Не оглядываюсь. Открываю рояль. Ганон. В полной честности проигрываю все положенные упражнения, событий не тороплю, само придет (сама придет?). Но когда перехожу к *Invitation à la valse*², сердце не выдерживает, и, обрывая игры, в лад pedalному нажимаю: «Надя! Надя! Надя!» — сначала мысленно, потом шепотом, потом вполголоса... (Во весь голос не позвала, не назвала никогда).

«*Das Mägdlein schläft,— ihr, Eltern, jammert nicht...*»³ Какой бог внушил дубовой *Frl. Risky* задать моему классу именно эти стихи? И не тот же ли бог внушил убогой *Frl. Annie* задать мне бетховенское «*Lied für Elise...*»⁴

Нади я не увидела никогда, как ни взывала, как ни умоляла, как ни подстерегала — на всех коридорных поворотах оборотом головы жирафы на каждый мнящийся шум, шумок; как ни выстаивала — стойкой вкопанной гончей — все на той же полянке нашей ежедневной прогулки, пока другие ловили мяч; как воровски ни вращалась в стену в простенке между платяными шкапами, мимо которых сейчас должна пройти; как ни выглядывала за благоприятствующей завесой ладана в ряде семистолетних деревянных неразумных и разумных дев, и, еще настойчивее, из собственных глаз выскакивая, — в многообещающих портьерах *Fremdenzimmer*⁵... С порога *Fremdenzimmer*, с постели *Krankenzimmer*⁶, во всем движущемся, во всем кажущемся, в каждом молчании — в каждом звучании — крадучись — наскоком — самоутверждаясь — развоплощаясь...

Нади я глазами не увидела никогда.

Во сне — да. Все тот же сон: прихожу, она только что была, иду за ней — она уходит, зову — оборачивается с улыбкой, но идет дальше, хочу догнать — не могу.

Но знаки — были. Запах, на прогулке, из цветочного магазина, разом воскрешающий цветочный бой и ее, цветком. Облако с румянцем ее щек. С изгибом ее щеки. Даже жидкий ячменный кофе, пока не налили молока, — с золотом ее глаз. Знаки — были. Любовь всегда найдет. Все было знак.

Может, в моем повествовании не увидят главного: моей тоски. Тогда скажу, эта любовь была — тоска. Тоска смертная. Тоска по смерти — для встречи. Нестерпимое детское «сейчас!» А раз здесь нельзя — так не здесь. Раз живым нельзя, так. «Умереть, чтобы увидеть Надю», так это звалось, тверже чем дважды два, твердо как «Отче наш», так бы я со сна ответила на вопрос: чего я всего больше хочу. А дальше? —

¹ Музыкальные упражнения. (Нем.).

² Приглашение к вальсу. (Франц.).

³ Девочка спит, родители, не грустите. (Нем.).

⁴ Песнь для Элизы. (Нем.).

⁵ Гостиная. (Нем.).

⁶ Комната для больных. (Нем.).

Дальше — ничего — всё. Увидеть, глядеть. Глядеть — всегда. И странно: я, такая беспощадная в своей внешней самооценке, так стыдившаяся своей некрасоты перед ее (и Сережиной — и всякой) красотой, ни секунды не усомнилась: А что, если Надя, такая красавица, увидев меня, некрасивую, да еще маленькую, — не захочет? Точно я уже тогда знала стих Гете:

O, lasst mich scheinen, bis ich werde ¹,—

а что werde — сбудусь я там по образу своей души, то есть такая же, как Надя, а если даже нет, если даже старая оболочка...

Und diese himmlischen Gestalten
Sie fragen nicht nach Mann und Weib ²,

— значит, и на красоту и на некрасоту не смотрят... Точно я уже тогда знала то, что так непобедимо, неотторжимо, неискоренимо и торжествующе знаю теперь: что там — отыграюсь. И последнее предзнание людей с их чистосердечнейшими поговорками о псе и льве, синице и журавле, погонщике мулов и царе — я знала, что соперников в этой любви у меня не будет.

Что главное в любви? Знать и скрыть. Узнать о любимом и скрыть, что любишь. Иногда скрыть (стыд) пересиливает знать (страсть). Страсть тайны — страсть яви. Так было и со мной. Мне было невыносимо говорить о Наде и невыносимо не знать о ней. Но еще невыносимее назвать, чем не знать. Я жила, как робкий нищий, случайными подачками, как потом, выросши, в Революцию, подачками музыки на улице, ночью, под чужими окнами. (Так мне раз из арбатского ночного окна «подали» Рахманинова — сам Рахманинов). Я жила случайными словами о ней, без моих, наводящих. Больше скажу: как только отец, нашими далекими еловыми походами (а мать все лежала, лежала, лежала, это было ее последнее лето, уже лежащее, уже под елями), как только отец начинал нам что-нибудь о той рассказывать, я каким-нибудь косвенным, отводящим, уводящим в подробность болезни и от любимой вопросом, с какой-то неправдоподобной, противоестественной для меня хитростью и удачливостью отводила (грозу счастья). Так я, совсем маленькая, молила бога в сочельник утром, чтобы вечером еще не было елки, которой я так безумно ждала, которой жила. Так я, старше, с первых слов, уверткой или шуткой, пресекала любовное признание, конца которого, случалось, потом уже никогда не слышала...

...Почему же Сережу (любила)? Покаянную любовь моего раннего детства? Почему с его смертью примирилась, приняла ее — как всё.

А потому что Сережа сам смирился, а Надя — нет.

А потому что Сережа уже не хотел жить, а Надя — да.

А потому что Сережа совсем умер, а Надя — нет. Совсем ушел туда, со всем, что в нем было, а Надя, со всем, что в ней было, в ней било! — не рассталась, совсем осталась.

И еще потому, быть может, что о Сереже уже так горевала мать, а о Наде так, как я (утверждаю это и сейчас), никто — никогда.

Милая Надя, чего тебе от меня было нужно? Стихов? Но они тогда у меня были детские, к тому же — немецкие...

Почему именно за мной ходила, передо мной вставала, — именно мной из всех тех, которые еще так недавно за тобой и вокруг?

Может быть, милая Надя, ты... ходила за своим поэтом, тем, кто воскрешает тебя ныне, без малого тридцать лет спустя?

* * *

¹ Какой кажусь, такой я стану. (Нем.). («Песня Миньоны» Гете).

² И нет меж облаков небесных

Ни женских ликов, ни мужских. (Нем.). («Песня Миньоны» Гете).

Д. И. Иловайского я в последний раз видела, точнее — слышала, накануне открытия музея Александра III¹, в мае 1912 г., у нас в доме, в неурочно поздний час. Не дожидаясь прислуги, живущей через двор и, наверное, уже спящей, Сережа Эфрон, за которого я только что вышла замуж, открывает. Скрип парадного, какое-то ворчание, из которого выясняются слова: «Значит, дома нет?» И, проходя в залу: «А гардероб — будет?» Молчание, затем покашливание вопрошаемого. Вопрошающий, настойчивее: «Гардероб, говорю, будет? Под расписку, спрашиваю, сдают?» Выглянув из столовой, вижу, как Сережа, с все еще любезной улыбкой, слегка подается от неуклонно, с бесстрашием Рока, надвигающейся на него шубы, в которой (май!) узнаю Д. И. Иловайского. «А то (похлопывая себя по широченному, как у рясы, рукаву) она у меня небось бобровая, как бы (с желчной иронией) по случаю торжества-то — не лишиться! Тоже мода пошла, перекинет через ручку и «будьте покойны-с», с одной улыбкой-с, без всякой расписки-с... А кто его знает — слугитель или грабитель переодетый? На лбу ведь не написано, а если и написано — так ложь. Нет, номер нужен, номер!» Спрятавшись за самовар, гляжу дальше. Пауза, и, прищурившись: «А вас я что-то не припомню... В прихожей-то, было, за Андриюшу принял, а теперь вижу — нет: еще выше и худощавее (и, неодобрительно) и годами будто е еще моложе...» — «Я муж зятя... то есть зять дочери — Марины... Я хотел сказать: Ивана Владимировича. Муж». Иловайский, недочувствительно: «Муж? — и уже бесстрастно: — А-а-а... Так передайте, молодой человек, Ивану Владимировичу, что приходил его тесть от Старого Пимена, про гардероб узнавал».

И перепутав родного внука с чужим зятем — уже сказанием! уже привидением! — метя бобровой шубой дубовые половицы, темнеющей залой, залой, за эти несколько минут совсем стемневшей — как снеговое поле, снеговым полем своей волчьей доли, скрипящим парадным, деревянными мостками, лайнувшей калиткой, мимо первых фонарей — последней зарю — домой, к своему патрону — Пимену, к патрону всех летописцев — Пимену, к Старому Пимену, что на Малой Димитровке, Малому Димитрию, к Димитрию Убиенному — в свой бездетный, смертный, мертвый дом.

* * *

Большое тире. Тире длиною в шесть лет: всей войны и начала Революции. Тире, заполненное для Иловайского потерей всего его мира. 1918 г. Весна. Стук в дверь. Редкий гость. Брат Андрей, о котором никогда ничего не знаю, ни жизни, ни окружения, ни горестей, ни радостей, ни даже адреса, ничего, кроме того, что он нас, полуродных сестер, любит...

«Марина! У тебя еще живет этот жилец — как его?» — «Икс²? Живет». — «Так ты уж, пожалуйста, устрой, чтобы выпустили деда». — «Как — выпустили?» — «Ну да, сидит в Чека уже неделю...» — «А сколько ему сейчас лет?» — «А бог его... Около ста должно быть». — «Ну-у?» — «Во всяком случае девяносто». — «Хорошо, я попытаюсь».

Поздно вечером сторожу у тогда еще звонившего телефона своего квартиранта Икса. Топ-топ-топ-топ — по лестнице. Открываю. «Генрих Бернардович!» — «Да?» — «Нечего сказать, хороши ваши большевики, — столетних стариков арестовывают!» — «Каких еще стариков?» — «Моего деда Иловайского». — «Иловайский — ваш дед?» — «Да». — «Историк?» — «Ну да, конечно». — «Но я думал, что он давно умер». — «Совершенно нет». — «Но сколько же ему лет?» — «Сто». — «Что?» Я,

¹ Ныне — музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; основателем музея был И. В. Цветаев.

² Г. Б. Закс, польский коммунист (1880 (?) — 1937).

сбавляя: «Девяносто восемь, честное слово, он еще помнит Пушкина». — «Помнит Пушкина?! — И вдруг, заливаясь судорожным смехом: — Но эт-то же анекдот... Чтобы я... я... историка Иловайского!! Ведь я же по его учебникам учился, единицы получал...» — «Он не виноват. Но вы понимаете, что это неприлично, что смешно как-то — то же самое, что арестовать какого-нибудь бородинского ветерана». — «Да (быстро и глубоко задумывается) эт-то — действительно... Позвольте, я сейчас позвоню...» Из деликатности отхожу и уже на лестнице слышу имя Дзержинского... «Товарищ... недоразумение... Иловайского... да, да, тот самый... представьте себе, еще жив...»

Неделю мой скромный Икс гонял по иловайскому делу... Неделю я ничего не спрашивала, ибо больше чем верила — знала. И на седьмой день в тот же ночной час — топ-топ-топ-топ (ровно в четыре скачка брал лестницу) — стук-стук-стук. «Марина Ивановна!» — «Да». — «Могу вас поздравить! Выпустили вашего дедушку...» Я, робко: «Спасибо, я не нахожу слов, чтобы...» — «Совсем не надо, я с удовольствием, собственно, без всякого удовольствия... Ему правда девяносто лет?» Я, чтобы хоть чем-нибудь отблагодарить: «Девяносто восемь». — «А выглядит — шестьдесят. И голос бодрый. Да. Вы говорите — Наполеона помнит?» — «Все, что угодно! А главное — Пушкина». Икс, на секунду полузакрыв глаза: «Замечательно!» Я, пользуясь секундой: «А за что его арестовали?» Икс, открывая настежь: «За германскую ориентацию». Я, в полном чистосердечии изумления: «Но он же казак, даже станица есть «Иловайская!» — «Я не говорю, за германское происхождение — для нас происхождение не играет роли, мы же (точно кладя мне в рот, один за другим, шесть кусков сахара) Ин-тер-на-ци-о-нал, я говорю: ориентацию». Я, многозначительно: «А-а-а... Он очень, очень бодр для своих лет. И даже не для своих, — он еще недавно на велосипеде катался. И в рог трубил». — «В рог? Скажите! (С любопытством): А зачем, собственно?» — «Чтоб все слышали. В Роландов рог — ну, знаете, исторический...»

На следующее утро явление Андрея. «Ну, Марина, молодец твоя Икс! Выпустил деда». — «Знаю». — «Три недели просидел. Ругается!» — «А ты сказал, через кого?» — «Да что ты!» — «Неприменно, непременно передай, что освободил его из плена еврей Икс». — «Да что ты, матушка, он, если узнает, — обратно запросится!»

Обратно не запросился — сам вышагнул... В мир иной, о котором, думаю, за всю свою жизнь мало думал, целиком и отродясь отдавшись миру не менее потустороннему: былому.

Иловайский умер в 1919 г., девяносто одного года отроду, как — не знаю и навряд ли узнаю, ибо единственный, кто мог бы мне сказать: его единственный внук и мой единственный брат Андрей в апреле 1933 г. сам сошел в могилу, от того же старопименовского наследственного недуга, на четырнадцать всего лет пережив своего древнего деда.

И, чтобы кончить о Д. И. Знаю только, что умер он у Старого Пимена и что работал до последнего дня. Да и не знала бы — знала бы.

Есть у меня на память о нем, с собой, его книга о моей соименнице, а отчасти и соплеменнице Марине¹, в честь которой меня и назвала мать...

Остается конец А. А. Он страшен. Потеряв всех (последняя дочь была за границей), А. А. осталась одна, втиснутая со своими мебельями и сундуками в одну комнату — ту, полуподвальную, со сводами, бывшую Надину, окнами в сад. Вокруг был новый мир, от первого тесного круга вселенных жильцов до кругозора новых идей — до огромного, в сплошных заревах, окоема Революции. Как же она с ним справлялась? Во-первых, она с ним сражалась. Осталась, но отстаивала. Что? Свое

¹ Мнишек.

добро. И отстояла. Чтобы в полный разгар Революции, нося такое имя, выиграть не один, а целых два процесса с таким «арендатором» (так она это, для приличия, называла), для этого нужно было быть ею, то есть, по слову близкого ей лица, фанатиком собственности.

Попытаемся восстановить ее день...

Вставай в холоде. (Ничего, полезно, всю жизнь проспала с открытой форткой.) Чай без сахара (тяжело). Черный хлеб (именно тяжело). Очередь за мылом. (Ничего, выстою. Отстою свое, а уж свое — отстою!). И вот, при полном шутовском одобрении всей очереди («Ну и сурьезная гражданка! сквозь такую не протиснешься!»), победоносное изгнание «пахала» и свой кусок немывающего мыла — в руках. Домой, есть. Ест мало — приучена. (Вот только — овса нет! Точно они с Д. И. только для того и соединили свои жизни, чтобы вместе есть овес. Есть в этой ассоциации что-то умилительно конское...) После еды — рытье в сундуках. Вижу ее на коленях, подперев все еще запоспчивой головкой все еще маркизы кованую крышку сундука. Голова — болит. Ничего, своя ноша не тянет! Скаты сукна, полотна, шевиота, тисненого муара, атласа... С чем расстанусь? От чего оторвусь? И подумать, что все это будут носить хамы. Хамки. Хамки ради на коленях стою...

Смоленский рынок. Пожилая дама, в шубе с буфами, в высоких остроносых башмаках. Из-под белого кавказского (Сережиного еще) башлыка — черные глаза без всякой милости. Не предлагает, не протягивает, перевесив через оставленную руку — являет. Безмолвно. Но товар сам за себя говорит. «Сколько?» — «Столько». — «Да что вы, тетка... (под пронзительным взглядом) — да что вы, гражданка... (и, не вынеся глаз) — да помилуйте, мадам, разн... Совсем гражданина обездолить хотите... Хотите?» (Цифра.) — «Нет», — точно лед треснул. О, эта ли уступит копейку с аршина — этим, когда и собственным своим молодым страстям, и родным детям не уступила. Никогда — никому — ни в чем. И вот, под двойным давлением недобрых глаз и добротности товара, гражданки ей в ладонь — бумажки, себе под мышку — аршины. Стоят, пересчитывают, каждый — свое, в беззастенчивости своей являя собой картину полного равенства.

Домой, в нору, с горстью рафинада в бумажке, с белым хлебом, но не под мышкой, а на дне английского, свиной кожи, чемоданчика.

Письмо за письмом от дочери. Настоячиво зовет за границу. Но — как расстаться с вещами? С собой взять? Всего не возьмешь. Продать? От одной мысли мороз. Как же без всего, одной, без арьергарда сундуков, корзинок, мешков, узлов? Изредка посылки нуждающейся дочери: когда несколько английских фунтов от удачной продажи на Смоленском, когда шелковое платье gris-perle¹, из только одного шлейфа которого та в Сербии шьет себе целое платье.

Кто-то в 1927 г. о ней из Москвы пишет дочери: «Обстановка у мамы ужасная — одна комната, сплошь заставленная вещами, и день и ночь горит в ней свет...»

Днем — от куста, то снеговым, то лиственным грузом застилающего свет.

Ночью — от дум.

Так — до 1929 г.

Январь и ночь. А. А. собирается спать. Свет горит — тот самый, что и днем: верхний, белый, ровный. За окном — мерзлый сад. Под самым окном — во весь его дубовый ставень — замороженный сиреневый куст, как сторожевой пост.

Снимает с себя верхнюю, в клетку, юбку, нижнюю, с крючком, юбку, на двенадцати пуговицах лифчик (четвертая на одной нитке — закре-

¹ Жемчужно-серое. (Франц.).

пить!), распускает вздержки, аккуратно складывает вещи в стопку. В одной рубашке пробравшись между сундучной толкучкой, подымает покатуя, горбом, крышку, обнажает мраморную доску, подставляет под струйку губку. Надевает ночную кофту, продевает в иголку нитку. Вынув шпильки, обрабатывает щеткой до блеску. Вплетает косоплетку. Встав на циновку, молится на лампадку: «хлеб наш насущный» и за упокой душ.

Стук. В ставню — куст, мерзлой веткой, как мерзлым пальцем. Точно вправду пальцем: вторым его, согнутым, суставом. Раз — и второй. А что, если будет..? — Третий. И вот, крадучись, удаляется. А. А., хладнокровно: «Нервы». Но все же, для достоверности, пробравшись между острыми углами сундуков, привстав коленом на так и не убранные стопы «Кремля», приникает лбом к раме. Ничего. Глухая стена ставня. Оттолкнovenье мерзлого стекла.

Да и чего бояться в таком доме? Со столькими жильцами?.. За такими ставнями? С таким дворником? Да и кому пугать по ночам, зачем? (В эту минуту А. А. забыла, что стучать можно не только, чтобы испугать, а и чтобы остеречь. И если бы она, как ей в самую смутную секунду было захотелось, сейчас — вышла, она бы может быть увидела не страшное, а родное — и в черноте ночи светло-черноглазое! — отходящее от окна. А если бы и никого, ничего не увидела, кроме припавшего куста сирени, — то предостерегающий может, за отсутствием иных возможностей, постучать и веткой...).

Собравшись с духом, входит в ледяную постель.

Закрывает глаза, не свет. Свет горит, тот же, что и днем, так же, как и днем: ровно, неживо. Под закрытыми веками — лицо того солдата с рынка, которому вчера продала парчу. (Ту, от Надиного боярского, так и не сбывшегося костюма). Молодое лицо, безбородое. А жаль, что только по стольку-то аршин, хороша парча, дал бы больше...

А — сын? Забыла? Нет. (Нынче, разгребая сад, задела лопатой куст: зазвенел, как венки. В годовщину не забыть убрать фарфоровый: все цветы обились, одна проволока...) Но туда, на самое дно, где он, и только он один, не спускается никогда. Иначе — не жить. А жить — надо. Зачем? А сундуки? Кому же все пойдет: неношеное, нетронутое, некрóеное, десятилетия подряд храненное и дохраненное до нынешнего дня. Дочь — далеко... Этим? Всем — тем?! Нет, жить надо, все прожить, чтобы не осталось, не досталось. Ничего. Никому.

Спит.

Беда пришла не из окна. Беда пришла из двери. Стук. А. А. спит. Вторичный, спешный. «Кто там?» — «Иван, дворник. Александра Александровна, дело до вас есть». — «Какое дело? Завтра!» — «Нет, дело неотложное, вы уж, пожалуйста, простите, что беспокою, долго не буду». — «Погоди входить, открою и сейчас лягу».

...Входит. Стоит молча. Глаза не те. А. А., властно и нервно: «Ну? — Упавшим голосом: — Да ну же?» Тот, в дверь: «Входи, ребята».

Старый дом точно только того и ждал.

Пришли шайкой. Пришли за миллионами, а нашли всего только 64 руб. с копейками. «Добра» не тронули — тряпки. Бежали на Кавказ, были прослежены, схвачены, судимы, иные — расстреляны...

И кончаю словами одноименных воспоминаний Веры Муромцевой, именем которой свои и начинаю:

Ныне в приходской церкви Старого Пимена комсомольский клуб.

1933 г.

Ведь для детей живешь,
Не для одной.
А здесь,
Здесь просто сердца не хватает.
Она дикáя
Да и он дикóй,
Да и любовь такая же дикáя.

И шел от птиц
Мороженный дымок.
И дикую любовь втокнули в ведра
люди.

И вот они сейчас придут домой...
Ну, что же будет?
Что же дома будет?

Будут наволочки набивать
Пером, как обычно,
Будут женщины спать
На невинности птичьей.

Будут дети кричать
По ночам отчего-то,—
Той тревожной любви
Сохраняя полеты.

Старая дорога

Я стою в лесу немолодом,
Где могил забытых очень много...
Заросла травой да лебедой
Старая Смоленская дорога.

Здесь когда-то города горели,
Пленных уводили далеко...
И отсюда провожали «гениев»
Стареньким солдатским матерком.

Хорошо бы дней далеких славу
В громкую представить новизну.
Ну, а может, тишина нужна вам?
Я — за тишину.

Я хочу, чтоб ночь не трепетала,
Чтобы лебеда не лепетала,
Чтоб над вашим безымянным сном
Никакая боль не прозвучала,
Не напоминала о былом.

И навеки тишину земли
Лучше уж пускай никто не трогает...
А не то опять заговорит
Старая Смоленская дорога.



Комсомольск

Давайте, товарищи, полный!
Кипят на крутом берегу
тайги океанские волны,
гармоники

входят
в тайгу.

Вы бурые,
рыжие сопки,
за хвоей пахучий дымок...
Ну что ж ты,
приятель неробкий,
родимый припомнил дымок...

Какие твои предложенья,
и в чем опасенья твои?
— Ты сделай, дружок, одолженье —
таежный массив,
не реви!

Гармоники вальсы играют,
и ветер завыл
и затих.

Идут комсомольцы,
шагают
в некрепких
ботинках
своих.

Как небо высоко-далеко!
Какой частоты бурелом!
Прикрыл тихий ангел Востока
тайгу лебединым крылом...

...По скверам,
скамейки сдвигая,
стучит
и стучит домино:

сидят старики,
вспоминая
все то,
что им мило давно.

• • •

Вот вы и встретились под ивой
после войны,
под ивой тихой, терпеливой
после войны.

Друг друга вы узнали сразу
после войны.
К чему слова,
к чему все фразы
после войны?

Рукопожатья молчаливы
после войны.

Ах, эти ивы,
ивы,
ивы
после войны!

Похвала краткости

Не верю затяжному красноречью...
Я наблюдал собрание малых птиц:
все деревце секунду совещалось,
советовалось,
говорило,
пело
и вдруг взмахнуло крылышками
всеми
и разлетелось по своим делам.



РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ

Задумывались ли вы, читатель, над тем, почему география долголетия совпадает с горными районами? Что, разве мы, москвичи, сделаны из другого теста, чем горцы? Умирать мы не торопимся — у нас совсем другие планы. Так обязательно ли ехать на Кавказ, чтобы продлить это чудесное занятие — жить?

Обычно долголетие горцев объясняют так: там, мол, чистый воздух и простая, здоровая пища. Конечно, не без того. Но есть еще одна, более капитальная причина. Природа крайне несправедливо распределила силу между частями нашего тела. Легкие способны насыщать кислородом гораздо большее количество крови, чем они обычно насыщают. Мышцы, если бы свежая кровь быстрее выносила из них продукты, вызывающие утомление, тоже работали бы интенсивнее. Загвоздка в нашем вечном «моторе» — сердце. Именно оно, как утверждает академик В. Парин, является ограничителем работоспособности человека.

Сердце хорошо тренированного спортсмена может в ответственные моменты десятикратно увеличивать количество выбрасываемой крови. А горцам на руду написано быть спортсменами. Каждый их шаг — это подъемы и спуски, постоянная тренировка. Вдобавок воздух в горах разрежен, и потому сердце обязано проталкивать через сосуды больше крови, чтобы доставить мышцам то же количество кислорода.

Мы с вами в худшем положении. Метро, троллейбусы, лифты берут на себя основную работу по перемещению нашего бременного тела. С прогрессом техники и на заводах год от году уменьшаются физические нагрузки на организм. Человек привязан к своему канцелярскому столу, пульту управления или станку. Даже относительно небольшое мышечное усилие вызывает у него одышку.

Недостаточная физическая напряженность труда становится чуть ли не злом. С другой стороны, возрастают нагрузки на нервную систему работника. Усложняется весь комплекс условий жизни, особенно на производстве. Труд оператора, наладчика автоматической линии, контролера требует

мобилизации нервных ресурсов организма — а они довольно ограничены.

Сердечно-сосудистые заболевания стали поистине болезнью века. Статистика показывает тревожный процесс. Например, в некоторых цехах завода «Серп и молот» на каждую сотню постоянных рабочих в 1958 году отмечено два случая «свежей» гипертонии, а в 1963-м — уже шесть. В среднем по предприятию заболеваемость гипертонией возросла вдвое. На шинном заводе за семь лет число таких случаев увеличилось с 2,5 до 9, в отдельных цехах кондитерской фабрики «Большевик» — с 5 до 9 и т. д.

Как-то мне попала в руки изданная в 1928 году книга «Рационализация промышленности СССР». Листаешь ее — и воочию убеждаешься, какой головокружительный путь прошла наша индустрия. Но по одному важному показателю прогресса не наблюдается. В 1925—1926 годах потери рабочего времени из-за болезней в расчете на одного работника составляли 15,1 дня в год. Примерно столько же мы теряем и теперь.

В общем-то, конечно, оснований для паники нет. С 1926 года средняя продолжительность жизни возросла на 26 лет. И все-таки задуматься есть над чем. Государство не щадит средств, коль скоро дело касается здоровья трудящегося человека — счет тут идет на миллиарды. Уходят в прошлое профессиональные заболевания — силикоз, ревматизм и прочие.

Однако общие болезни, вроде бы и не связанные с условиями труда, приобретают ярко выраженный профессиональный характер. Та же гипертония, нервные расстройства, радикулит, как выяснила медицина, все теснее связываются с определенными профессиями и условиями производства.

Так что же, может, и вправду первая и роковая ошибка человечества — изобретение колеса? Может, и в самом деле наука бессильна сохранить наше здоровье в эпоху бурного технического прогресса?

Нет. Это не так. Сейчас большие успехи делают две родственные отрасли знания — физиология и психология труда. Они обещают сделать наш труд безопасным,

превратить его из обязанности в источник радости и наслаждения.

Рассказ наш — об одной научной школе, о ее поисках и находках, успехах и вынужденных остановках. О группе ученых, объединившихся вокруг доктора биологических наук Зои Михайловны Золиной в лаборатории физиологии труда столичного Института гигиены труда и профессиональных заболеваний.

* * *

Есть такая догма: современное производство предъявляет все более высокие требования к интеллектуальному уровню работника; только образованный человек способен ныне достичь успехов в любой профессии. А раз так — дело, мол, идет вообще к универсализму: в работе: скоро все будут уметь делать все, превратятся в «хитрых папаш», которые, по Маяковскому, чередуют занятия следующим образом: «землю попашет — полишет стихи». Этот тезис зачастую отстаивают, впрочем, со ссылками на иные источники, чем стихи Владимира Маяковского.

В принципе такая схема, возможно, и справедлива, но, как всякая схема, она не улавливает некоторых важных процессов в современном производстве. Одно из главных направлений технического прогресса заключается в обособлении небольшой части работы в самостоятельную операцию, в узкой специализации исполнителей. Особенно характерно это для конвейерного труда. Так, сборщица часов изо дня в день выполняет одну операцию длительностью около полутора минут. Работа в общем-то проста и не требует не только высшего, но и среднего образования. Работница может, конечно, изучить весь процесс сборки и улучшить его, ей не заказано писать стихи или учиться на инженера. Но все это она должна делать в нерабочее, не оплачиваемое государством время.

Отомрет ли конвейерный труд? Не исключено. Поживем — увидим. А пока что, напротив, наблюдается тенденция к конвейеризации. Примерно третья часть рабочих промышленности стоит (или сидит) сегодня у конвейеров. Задача, следовательно, не в том, чтобы похитрее обосновать отмирание этого труда, а в другом — как организовать его на научных основах, чтобы не обеднить психику рабочего, сохранить его здоровье.

За решение этой задачи и взялась З. М. Золина почти сорок лет назад, будучи еще студенткой. Последние пятнадцать лет ее лаборатория в основном занималась именно этой темой. Недавно труд завершился — с блеском защищена докторская диссертация, найдены и апробированы на производстве эффективные меры рационализации конвейеров, десятки заводов пользуются теперь рекомендациями Золиной.

Очень коротко о конечных выводах ученого (нас интересует в основном не ре-

зультат, а метод исследований, но об этом позднее).

Даже неспециалисту ясно, что работа на конвейере весьма различна. Обработав колоссальный статистический материал, Золина разделила конвейеры на четыре типа — по степени нервной и физической напряженности труда. К примеру, в первой группе — работа нервно напряженная, но физически легкая. Таков, в частности, конвейер сборки часов. Замеры показали, что этот труд не так легок, как представляется с первого взгляда. Уже в первой половине смены резко падает возбудимость зрения, а к концу рабочего дня рассеивается внимание, ослабевают слух, замедляются зрительно-двигательные реакции, частота пульса достигает ста ударов в минуту. Соответственно падает производительность труда, растет процент брака.

Как избежать этих неприятностей? Боюсь, что рекомендации Золиной покажутся вам элементарными — вроде тут и науки никакой не требовалось, настолько все просто. Это вроде ответа на шахматную композицию в конце сборника задач. Вы безуспешно бились над решением трехходовки час и другой, а заглянули в ответ — и удивляетесь, как он вам сразу в голову не пришел.

Так и здесь. Несколько тысяч замеров позволили вывести кривую изменения работоспособности. Мы трудимся не с равной отдачей в течение дня. В первые час-полтора мы постепенно вытягиваемся в работу, затем какое-то время действуем с наибольшим эффектом и, наконец, устаем. Введя перед началом смены физзарядку, Золина сократила период «вработываемости», то есть вхождения в трудовой ритм. Перед спадом в первой и второй половине дня физиологи предложили делать небольшие перерывы для отдыха и физкультуры. Кривая работоспособности в значительной мере выровнялась, период наивысшей производительности стал длиннее.

В строгом соответствии с этой кривой стали менять скорость конвейера. Инженеры Пензенского часового завода по заданию физиологов сконструировали автоматический вариатор скорости. В итоге брак сошел на нет.

Из Москвы сборку часов вынесли с конвейерной ленты на отдельный столик, куда детали поступают по желобу. Удобнее стала рабочая поза, перед глазами не мелькают больше движущиеся предметы, а главное, сборщица может без ущерба для соседок накапливать у себя пять-шесть изделий и работать в относительно свободном темпе, то есть по настроению замедлять или убыстрять операции. И еще одна выгода — реже стали заболевания гриппом, потому что менее тесным стал контакт между сборщицами.

Весьма ограниченное число мышц и нервных центров участвовало в работе. Нагрузка на них была чрезмерной, тогда как другие органы вообще бездельничали. Вот почему в ряде случаев пришлось расши-

ритель содержание операций — то есть мобилизовать новые группы мышц и нервных центров. Труд стал более содержательным, а значит, не столь утомительным.

Любопытная деталь. Реконструированные конвейеры осмотрел недавно специалист из «страны часов» — Швейцарии. Там до последнего времени конвейеры не вводили, опасаясь снижения качества, дискредитировать знаменитую швейцарскую марку. Инженер уехал от нас убежденным сторонником конвейеризации.

Для других групп конвейеров Золина нашла свои способы рационализации. Видели вы, например, когда-нибудь шезлонги для отдыха в цехе? Сомневаюсь. А попробуйте, почему их нет, так вас могут и высмеять. Но ведь если работа физически тяжелая, гимнастика должна не взбодрять, а успокаивать организм. Тут хорошо помогают упражнения на расслабление мышц, выполняемые в шезлонгах.

Так комплекс продуманных мер сводит к минимуму вредное влияние конвейера на организм. Согласитесь, что при всей своей простоте они довольно необычны. К слову сказать, перерывы, рекомендованные Золиной, до сих пор не узаконены. У нас все еще в чести хлесткий лозунг: «Все 420 минут — производству». А как эти минуты истрачены, зачастую мало кого волнует — лишь бы люди «без дела не болтались».

Суть вопроса, однако, в том, что рекомендации Золиной нельзя узаконить единым актом. Почему? Позвольте начать несколько издаleка.

* * *

Не хотите ли узнать, как сказывается хорошо подобранное освещение на производительность труда? Вашу любознательность может удовлетворить новосибирский архитектор Р. Повилейко. В брошюре «Цвет и свет на производстве» он утверждает, что рациональное освещение рабочего места поднимает производительность на четыре-пять процентов. Мало? Не горюйте. Переверните страницу, и вы узнаете, что правильно подобранный свет повышает выработку на три — десять процентов. Опять мало? Не беда. Полистайте брошюру — и обнаружите, что оптимальный свет увеличивает производительность на тридцать процентов.

Ну, знаете ли, в нас уже просыпается азарт аукционера. Раз — тридцать процентов. Два — тридцать процентов. Стоп. Слово имеют ленинградские физиологи. В одной из публикаций они сразу поднимают «цену» освещения в росте производительности труда до восьмидесяти процентов. Кто больше? Нет желающих? Продано.

А может быть, вас интересует, насколько увеличивает продуктивность труда рациональная окраска помещений? Тот же Р. Повилейко поначалу называет несообразную, прямо-таки обидную цифру — два-четыре процента. Но теперь мы с вами, читатель, уже опытные люди и не торо-

пимся соглашаться. Наше последнее слово — двадцать пять процентов, и ни копейки меньше. Автору брошюры ничего другого не остается, как пойти на наши условия. Он сдается буквально в следующем абзаце. И правильно делает — есть публикации и пощедрее.

Если вы захотите вводить музыку на производстве, вот вам мой совет: ни в коем случае не пользуйтесь расчетами ученых Свердловского политехнического института. Эти скупердяи сулят жалких полтора процента роста выработки. Возьмите лучшие материалы недавней ленинградской конференции по научной организации труда — и «музыкальный эффект» будет ровно в десять раз больше.

Однако шутки в сторону. Директор Таганрогского комбайнового завода лауреат Ленинской премии Н. Лутай писал недавно в журнале «Социалистический труд»: «Необходимо, чтобы соответствующие институты создали на основе обобщения практических материалов своеобразные таблицы зависимости роста производительности труда от цветового и светового климата, то есть установили влияние окружающей производственной среды на работоспособность человека. Данные, опубликованные в различных технических журналах и книгах, разноречивы и практически не могут быть использованы».

Воистину так! Производству нужны точные сведения. Ведь и окраска помещений, и музыка, и свет даются не даром, и прежде чем пойти на расходы, директор должен знать, окупятся ли они.

Недостовверная информация оказывает нам плохую услугу. По моим подсчетам, сегодня уже больше чем на тысяче предприятий создана специальная служба научной организации труда. Почти всюду она начинает с внедрения промышленной эстетики. Это и понятно. Затраты в общем-то невелики, а эффект обещан громадный. В самом деле. Представьте, что завод решил поднять производительность труда на пятнадцать процентов. Если идти проторенным путем, надо приобретать много новых машин, искать резервы в технологии, кропотливо исследовать потери рабочего времени и устранять их. Хлопотно и дорого. Но тут к директору приходит руководитель лаборатории НОТ и предлагает решить задачу единым махом: достаточно поставить в цехах по несколько репродукторов, передающих музыку, — и 15 процентов роста выработки у вас в кармане.

Директор поначалу сомневается, но ему показывают печатные рекомендации. Он готов рискнуть. Что происходит дальше? Тут давайте перейдем от абстрактного предприятия к конкретному. На Свердловском инструментальном заводе ввели производственную музыку, мечтая получить упомянутые 15 процентов. В цехах и раньше стоял несусветный шум, а теперь, подобно горному обвалу, грохочут еще и динамики. Человек стал только больше уставать, производительность труда поползла вниз.

Специалисты другого свердловского завода, соблазнившись заманчивыми посулами, ввели физкультпаузу. Зарядку начинали как раз в то время, когда человек только что втянулся в работу, вошел в ритм. Перерыв сбивал устоявшийся темп труда, и, естественно, производительность падала.

Не получив обещанного эффекта от освещения, окраски и прочих подобных мероприятий, производственники вообще теряют интерес к научной организации труда, воспринимая ее как очередную моду. Нотовское движение переживает сейчас определенный кризис. Возродилось оно у нас года два назад после большого перерыва, и на первых порах дело вроде бы пошло. Однако быстрое распространение вширь не было подкреплено глубокими научными разработками, и нередко все сводилось к бумаготворчеству.

Дошло до курьезов. Вышестоящая организация дала задание Ивановскому заводу автокранов составить за год тридцать шесть планов НОТ. Почему именно тридцать шесть, а не десять и не сто? Никто этого не знает. Подобные директивы получили и другие заводы. Когда задание «разбили» по цехам, некоторые цеховые руководители категорически отказались выполнять контрольные цифры. Их заставили делать это в порядке партийной дисциплины. В итоге — исписана куча бумаги. И только.

В общем, происходит нечто вроде пресловутой кукурузной эпопеи, в которой меньше всего была виновата сама кукуруза, а больше всего (не будем смелыми задним числом) недобросовестные специалисты, готовые обосновать любую цифру урожайности в любых почвенно-климатических условиях.

Давно, однако, подмечено, что специалисты по общим вопросам, эти гроссмейстеры болтовни, плодятся, как грибы в ненастье, там, где прошляпила большая наука. Так и в нашем случае. Научная организация труда имеет дело с человеком на производстве, а не с самим производством, и без изучения работающего человека, иными словами — без физиологии и психологии труда представляет собой не более чем знахарство, шаманство.

В этом смысле работы Золиной имеют принципиальное, если хотите — этапное значение. Она не дает глобальных рецептов и не сулит молочных рек с кисельными берегами. Ее рекомендации предельно конкретны.

Казалось бы, азбучная истина: труд на конвейере монотонен, человек устает здесь от недостаточного нервного и физического напряжения. Вздор! Вне пространства и времени цена этой истине — горсть семечек в базарный день. Надо еще разобраться: какой труд и на каком конвейере. Годы, десятилетия исследований — и рождается чеканная рекомендация: на конвейерах первой группы, например у сборщиц часов, где труд нервно напряженный, но физически легкий, операция должна состоять минимум из десяти простейших

элементов общей продолжительностью от полутора до трех минут. Если труд физически тяжелый и нервно напряженный — а это по классификации Золиной четвертый тип конвейера, — в одну операцию надо включать пять-шесть элементов суммарной длительностью 40—45 секунд.

Таков оптимум. Будете дробить производственный процесс на более мелкие операции — производительность труда снизится, потому что работа станет скучной. Увеличите сверх меры число элементов в одной операции — опять прогадаете, поскольку нарушится ритм труда. Ведь еще И. П. Павлов отмечал благотворное влияние ритма, закономерного чередования возбуждения и торможения для физиологических процессов. А конвейер — это ритм. Прежде чем дать совет такого рода, Золина продельзывает тысячи, десятки тысяч обследований человека в производственной обстановке, посредством десятка хитроумных методов прослеживает тончайшие изменения физиологических и психологических функций организма.

Выше мы говорили, что на Пензенском часовом заводе Золина и ее сотрудники с точностью до нескольких минут определили моменты, когда работоспособность сборщиц часов начинает падать, и ввели перерывы в работе через каждые полтора-два часа. Дважды в день устраивали зарядку, причем упражнения подбирали специалисты Института физической культуры. Иной ученый счел бы на этом работу законченной.

Для Золиной тут лишь начало труда. Через год она проводит повторное обследование сборщиц. Как выяснилось, возбудимость глаз и скорость зрительных реакций к концу смены падает теперь лишь в тридцати шести процентах случаев вместо прежних шестидесяти четырех. Такой же примерно прогресс и по другим показателям. Вроде бы все ясно. Нет, еще через год специалисты лаборатории снова обследуют работниц. К концу смены зрение уже почти не ухудшается. Частота пульса возрастает теперь на 8,7 процента, а не на 28,4, как было прежде. Скрытое время зрительно-двигательной реакции уменьшилось с 0,52 до 0,30 секунды. С той же дотошностью прослежены устойчивость внимания, скорость движений, выносливость рук к статическому усилию, кровяное давление и еще множество показателей.

Вот теперь можно ставить точку — перерывы выбраны правильно, производственная гимнастика оправдывает себя. И не вообще гимнастика, а данный комплекс упражнений. Но все это относится только к сборщицам часов. А если конвейер выпускает школьные портфели? Надо начинать новое исследование.

Так делается большая наука. Медленно? Хлопотливо? Ничем не можем помочь. Не по адресу обратились. Если вам очень некогда, адресуйте в Новосибирск, к товарищу Повилейко. Он вам в два счета растолкует, что к чему. За один год он выпустил восемь брошюр по интересую-

щим вас вопросам. Зато уж не взыщите, если не получите пользы. За пользой надо идти к Золиной. Когда она требует, чтобы человек, во избежание монотонности, эпизодически менял рабочее место на конвейере, и обещает за этот счет четырнадцать процентов роста производительности, можете смело закладывать этот резерв в план — вы будете иметь четырнадцать процентов, не тратясь на новые машины. Только не забудьте проконсультироваться с учеными — не исключено, что в ваших условиях эта мера и не подойдет.

* * *

С кем, однако, консультироваться? Много ли их у нас, физиологов труда? А что-то около сорока человек на всю страну, причем половина их работает в лаборатории Золиной. Прямо скажем, не густо. Есть на то свои причины.

Говорят, кто старое помянет, тому глаз вон. Рискуя единственным оком смотреть на будущие успехи этой науки, решаюсь все же сделать небольшой исторический экскурс.

В середине двадцатых годов в Ленинградском университете сформировалась школа блестящих теоретиков и экспериментаторов в области физиологии труда во главе с академиком А. А. Ухтомским. В ту пору на физико-математическом факультете было открыто отделение физиологии труда. Зоя Михайловна Золина — как раз из первого выпуска этого отделения. Молодые специалисты были, что называется, нарасхват. В одном Ленинграде открыли семь заводских лабораторий психофизиологии труда. В лаборатории военного завода, куда попала Золина, насчитывалось восемьдесят человек.

Собственно, проблемы перед нами стояли те же, что и сегодня: режим труда и отдыха, рациональное освещение, облегчение работы на конвейерах и т. п. Но разница лишь в том, что тогда производственникам было к кому обратиться. Без участия психотехников не решался ни один серьезный вопрос организации труда. Да, они не зря ели свой хлеб.

Но в 1938 году все лаборатории неожиданно ликвидировали. Закрыли и учебные центры, выпускавшие специалистов этого профиля. Психотехника, наряду с педологией, была объявлена буржуазной лженаукой. Ученые, занимавшиеся ею и психофизиологией вообще, переквалифицировались и, надо сказать, в других областях науки достигли выдающихся успехов. Вот судьба нескольких сокурсников Золиной. Е. Люблина стала ведущим токсикологом страны. Г. Конради экспериментирует на животных в павловских Колтушах. В. Фарфель заведует кафедрой общей физиологии в Институте физической культуры. А. Слоним занимается в Новосибирске экологией. И так далее, и тому подобное. Между прочим, трое из названных ученых теперь профессора и доктора наук, в тридцатые годы написали книгу по физиологии

труда, которая и сегодня — настольная книга для наших и зарубежных специалистов.

Этим людям еще повезло. Некоторым довелось искупать несуществующие заблуждения, работая на ланцетом, а киркой.

Новый удар по этой науке был нанесен в 1949 году, когда в Ленинградском университете закрыли единственную в стране кафедру физиологии труда. Тогда модно было высказывать идеализм там, где он и не ночевал. Руководителя кафедры М. И. Виноградова, которого сам Ухтомский перед смертью назначил своим преемником, заставили покаяться в мнимом отходе от павловского учения и в прочих смертных грехах. Прямо с трибуны его увезли в больницу с инфарктом. Будучи в отставке, он продолжал приватным образом заниматься любимым делом и спустя десять лет выпустил книгу о физиологии трудовых процессов.

Чудом уцелели только небольшие группы физиологов в нескольких институтах гигиены труда и профессиональных заболеваний. Одна из них, где вот уже около двадцати лет работает Золина, выросла в единственную ныне солидную лабораторию.

Обстановку, в которой до недавних пор приходилось работать исследователям, можно понять, заглянув во второе издание Большой советской энциклопедии. Есть там сердитая статья о психотехнике. Что это за штука? Понятие психотехники толкуется расширительно — в него включена почти вся психофизиология труда: «Центральными проблемами психотехники являются профессиональная консультация... рационализация трудовых процессов, техники и условий труда, снижение травматизма и аварийности, совершенствование методов производственного обучения».

Проблемы вроде бы неплохие? Как бы не так! Кошмарные. Слушайте, и не говорите потом, что вы не слышали: психотехника «отражает состояние кризиса буржуазной психологии, реакционность ее взглядов на сущность человеческой личности... игнорирование или непонимание законов исторического развития и роли труда в жизни человека, тенденцию к грубой биологизации личности и т. д. В поисках чисто количественных критериев обоснования своих психологических «диагнозов» и «прогнозов» психотехника стала на путь фетишизации статистического метода, чрезмерного увлечения измерительной техникой и безудержного применения массовых психотехнических испытаний. В СССР в период с 1925 по 1936 год такие испытания имели распространение, но не критическое использование идей и методов капиталистической психотехники делало их бесплодными и часто вредными».

Пожалуй, хватит. Давайте разбираться. Прежде всего математические приемы исследований. Они обозваны предпоследними словами. А как известно, в истине столько истины, сколько математики. Понятно, после таких вот затрещин мало находилось охотников вставать на путь чрезмерного

увлечения и безудержного применения. Нельзя не поражаться мужеству Золиной и ее учеников, которые в таких условиях продолжали делать свое дело. Не в их власти было сохранить кадры науки и исследовательские центры. Но они спасли, быть может, самое дорогое — метод. Все значение этого, без преувеличения говоря, подвига воочию раскрывается сегодня, когда лаборатория Золиной, одна из немногих, способна дать движению НОТ математически достоверные рекомендации в области физиологии труда.

Далее. В энциклопедии смешан вопрос о фактическом содержании науки с использованием ее результатов. Разумеется, и рационализацией трудовых процессов, и снижением травматизма буржуазная психотехника занимается не из любви к человеку, а по заказу предпринимателей, озабоченных только ростом прибылей. Каков же этот заказ?

Рождение научной организации труда, как, вероятно, многие знают, связано с именем американского инженера Ф. Тейлора. Он рассматривал человека как придаток машины — индивидуальные особенности исполнителя его не интересовали. Работа дробилась на столь простые операции, что с ними справился бы и идиот. Тейлоризм в действии показал нам Чарли Чаплин в знаменитой картине «Новые времена» — вспомните машину, которая вводит калории в организм человека.

Однако увлечение тейлоризмом на Западе вскоре прошло, потому что эта система не могла обеспечить постоянного роста продуктивности труда. Ее возможности оказались чрезвычайно ограниченными. Ведь человек — бездушный автомат, на интеллектуальное обеднение трудового процесса он отвечает снижением производительности. Современная техника требует от рабочего быстрых и сложных реакций, переработки обильного потока информации. Стало быть, необходимо активизировать не столько мускулы, сколько мышление, волю, эмоции.

А тут инженер бессилён, тут нужен физиолог и психолог. В последние десятилетия в развитых странах идет бурный процесс синтеза антропологических и инженерных наук. Самостоятельной отраслью знания стала так называемая инженерная психология. Ее задача — приспособить уже на стадии конструирования новую технику к требованиям человеческого организма.

Чтобы понять всю актуальность этой проблемы, сошлюсь на такой факт. Один из наших институтов спроектировал центральный щит управления энергетического блока мощностью 200 тысяч киловатт. На пульт вынесено 150 приборов теплового контроля, 185 элементов управления задвижками и 50 электронных регуляторов. Оператор не в состоянии осмыслить такой большой объем информации и быстро принять решение. А ошибка его или медлительность могут привести к аварии.

Если бы к проектированию привлекли психолога, он измерил бы объем внима-

ния человека и определил максимально допустимое число приборов контроля. Он, вероятно, помог бы правильно сконструировать эти приборы — известно, например, что если нулевые отметки на всех шкалах расположены одинаково, оператор оценивает показания приборов в восемь раз быстрее, чем при беспорядочном положении их.

Пригодился бы здесь и физиолог. Он посоветовал бы, во-первых, разместить основную часть приборов на правой половине щита, потому что справа мы видим лучше, чем слева. Во-вторых, он предложил бы сделать щит не плоским, а сферическим, вогнутым — тогда глазу не нужно перефокусироваться при наблюдении за приборами. В-третьих, этот специалист, возможно, рекомендовал бы некоторые кнопки управления заменить рычагами. Почему? Оператор устает от того, что в его работе нет чередования физического и нервного напряжения. Усилие, прилагаемое на рычаг, будет для него полезно.

Но, к сожалению, об участии психологов и физиологов приходится говорить в сослагательном наклонении. В США, по некоторым данным, сейчас не меньше 1300 психологов служат в конструкторских бюро промышленности. А у нас есть лишь небольшая группа при Ленинградском университете, да та же лаборатория Золиной занялась недавно исследованием пультов управления.

Но, конечно, психолог и физиолог нужны не только при проектировании пультов. На многих заводах мне довелось слышать нелестные отзывы о новейших токарных станках. Доказано, что глубина органов управления станков не должна превышать полуметра, а на этих машинах она равна 70 сантиметрам, поэтому многие операции токарь выполняет согнувшись. Ручки управления размещены так, что физиологически неграмотно чередуется работа мышц. К слову сказать, недавно московский завод «Красный пролетарий» пригласил вездесущих сотрудников Золиной в консультанты по новым станкам. Но ведь «Красный пролетарий» — не единственный станкостроительный завод. А много ли могут дать промышленности два десятка пусть даже и очень энергичных сотрудников?

Пока горячие головы изустно и печатно сокрушали психотехнику, зарубежные специалисты ушли далеко вперед. Недавно я беседовал с заместителем директора Научно-исследовательского института труда В. П. Жуковым, вернувшимся из поездки по Италии. Он рассказал о подоплеке так называемого «итальянского чуда». С 1958 по 1962 год среднегодовой рост промышленного производства составил здесь восемь процентов, причем достигнут он почти исключительно за счет повышения производительности труда.

По отзывам самих капиталистов, солидная заслуга в этом принадлежит психологам и физиологам труда. Здесь действует, в частности, единая, разветвленная до предприятий служба профессиональной ориен-

тации молодых рабочих. Путем остроумного обследования индивидуальных качеств (результаты анализа держатся в тайне) она помогает новичку выбрать дело по душе и по способности. За один год через центры профориентации прошло 160 тысяч человек, причем специалисты смогли выполнить лишь сорок семь процентов заказов промышленности в этих услугах. В спешном порядке здесь готовят физиологов и психологов труда, набирая врачей на специальные курсы.

Мы же все еще щеголяем патриархальным невежеством: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был физиологом?» Объективные данные проверяют только у кандидатов в космонавты, летчики и подводники. Считается, скажем, что учителем, от которого в большой мере зависит судьба людей, может быть всякий. А комплектование конвейеров? Подобно тому, как скорость флота определяется скоростью самого тихоходного корабля, темп движения конвейерной ленты зачастую рассчитывают по самому медлительному рабочему. Золина настоятельно рекомендует набирать на каждый конвейер людей с примерно равными объективными рабочими данными. Но кто это будет делать, если даже на тяжелые и вредные работы подбирает исполнителей сплошь и рядом простой кадрик?

Речь тут вовсе не о создании потогонной системы. Медленный, рассчитанный на «тихохода» темп труда столь же утомителен для остальных рабочих, как и чрезмерная скорость. На Ленинградском заводе имени Свердлова физиологи из Ленинградского университета обследовали строгальщиков. При черновой обдирке заготовки четыре-пять часов станок действует самоходом, а при чистовой обработке внимание напряжено, человек то и дело вмешивается в процесс. Бесстрастные приборы показывают, что в первом случае строгальщик устает скорее.

На производстве буквально шагу нельзя ступить, не посоветовавшись с физиологом. Вот, скажем, вам нужно расставить станки. На какого рабочего вы будете ориентироваться — на низкого, среднего или высокого? Сотрудники Львовской лаборатории психологии труда обнаружили, что на заводе автопогрузчиков примерно восемьдесят процентов рабочих мест рассчитано на низкорослых. А между тем, наклонная поза поглощает энергии до восьмидесяти процентов больше, нежели прямая, приводит к сутулости, затрудняет дыхание и кровообращение. По рекомендации физиолога станки ставят теперь в расчете на высокорослых, но оборудуют рабочее место решетками на подкладках, которыми можно регулировать высоту.

Или еще. Физиологи из Научно-исследовательского института труда обследовали недавно 250 рабочих десяти профессий в жарких цехах столичного «Серпа и молота». Люди теряют здесь 2,3 килограмма веса за смену. Это в среднем. Некоторые производственники худеют и на шесть ки-

лограммов. С поверхности тела испаряется до десяти литров воды за смену. А на испарение одного грамма воды расходуется 0,6 калории тепла. Вот теперь и считайте, какова добавочная нагрузка на организм: шесть тысяч калорий. Потери влаги, солей, витаминов можно сократить в несколько раз, если рабочие будут пить не воду, а хлебный квас. Это доказано киевскими и львовскими физиологами.

Мы с вами не знаем, а психолог знает, что полосатые комбинезоны предохраняют рабочих, ремонтирующих шоссе, от наездов. Поскольку пока что у нас каждый сам себе физиолог, на многих заводах увлекаются окраской оборудования и помещений в яркие тона, вплоть до красного. Это стало прямо-таки напастью. А наука установила: если покрасить станок в красный цвет, производительность труда сильно возрастет лишь в первые 40—50 минут, затем произойдет резкий спад. Поэтому эффект красного цвета имеет смысл использовать, когда человек работает на данном оборудовании непродолжительное время. В остальных случаях он вреден.

Можно до бесконечности перечислять производственные задачи, которые ныне нелегко решать без представителей антропологических наук. Сегодня никто уже не обвиняет их во всех мыслимых прегрешениях.

Но прошлое можно сдать в архив лишь тогда, когда из него извлечены все уроки. Пока это не сделано. Ни одно учебное заведение и сейчас не готовит кадры физиологов и психологов труда. Значит, не приходится рассчитывать на то, что в скором времени движение за научную организацию труда, поднятое на шестом съезде КПСС, получит прочную основу. А без этого — как бы оно не выродилось в очередной почин, в кампанию.

И дело не только в кадрах. Давайте заглянем в Институт труда, которому, так сказать, по штату положено вооружать производство рекомендациями в области НОТ.

* * *

«Если экспериментатор не может поставить любой опыт с помощью обрывков веревки, нескольких палочек, резиновой полоски и собственной слюны, он не стоит даже бумаги, на которой пишет».

Эти слова способного физика, одного из героев Митчела Уилсона, я напомнил руководителю лаборатории условий труда института М. Бабаджаняну, когда он начал жаловаться на нехватку приборов для физиологических и особенно психологических исследований.

Собеседник мой отпарировал не менее ядовито:

— А вы не замечали, что убедительнее всех проповедают пользу бедности богатые люди? Физики же в наш век чертовски богаты...

Однако мы тут все шутим, а дело-то серьезное. Чего-чего только нет в лаборатории: дистанционной аппаратуры для

измерения дыхания, кровяного давления и пульса — нет, экспресс-лаборатории для исследований человека на производстве — нет, приборов для записи биотоков мозга — нет...

Ваш покорный слуга исписал полтетради, фиксируя претензии физиологов. Кажется, ученые были благодарны уже за одно то, что наконец кто-то выслушал их с вниманием и хотя бы посочувствовал. Однако я ведь не Санта-Клаус, а только журналист, и у меня нет за плечами рождественского мешка с тоноосциллометрами и миннографами.

Для полноты картины отметим, что разговор состоялся в мрачном подвале жилого дома — именно здесь расположена лаборатория условий труда НИИТ. Прошу обратить внимание: условий труда!

На весь институт для покупки иностранной литературы ныне выделено восемьсот рублей в иностранной валюте. Это вдвое меньше, чем отпускали даже пять-шесть лет тому назад, хотя и в ту пору НИИТ не мог похвастаться богатством своей библиотеки. Ни одного специального зарубежного журнала лаборатория не получает. А в развитых странах мира они выходят десятками. Весьма неполный библиографический перечень работ по психофизиологии труда, опубликованных в американской печати, включает около десяти тысяч наименований.

А теперь еще один исторический экскурс. Институт, о котором идет речь, в известном смысле — преемник знаменитого Центрального института труда, созданного основоположником НОТ в нашей стране А. К. Гастевым.

3 июня 1921 года Владимир Ильич Ленин беседовал с Гастевым о нуждах ЦИТа и написал заместителю наркома финансов А. О. Альскому записку. Вот этот документ:

«Хочется мне помочь товарищу Гастеву, заведующему Институту труда.

Ему надо на 0,5 миллионов золотом прикупить. Этого, конечно, теперь мы не можем. Нельзя ли в Германии хоть кое-что купить на романовские?»

Подумайте, узнайте точнее и постарайтесь ископотать ему известную сумму. Такое учреждение мы все ж таки, и при трудном положении, поддержать должны».

Вот так-то. А мы экономим. Но это как раз тот случай экономии, когда расщепляют пичку на четыре части и поджигают четвертушкой собственный дом.

Преувеличение? Совсем небольшое. Сейчас вы это сами увидите.

В Директивах XXIII партийного съезда по пятилетнему плану указан один из путей повышения жизненного уровня народа: «При осуществлении мероприятий по повышению заработной платы усилить преимущества в оплате труда работников, занятых на участках с тяжелыми и вредными условиями труда, на подземных работах и работах с повышенной интенсивностью». Уже сейчас государство ежегодно затрачивает несколько миллиардов рублей на выплаты

и льготы, связанные с условиями труда. Около восемнадцати миллионов человек, занятых на вредных производствах, пользуются дополнительным оплачиваемым отпуском длительностью до 12 рабочих дней и шестьсот тысяч человек — до 36 дней. Это не считая районов Крайнего Севера.

За пятилетку, как уже сказано, такие выплаты возрастут, и, видимо, значительно.

Кто же их получит? Какие работы вредные и тяжелые, а какие нет? Вроде бы каждый это знает. Труд шахтера тяжел, а курьера — легко. Но что вы скажете о рабочем у конвейера сборки? Как будто особой вредности тут нет. Однако З. Золина обнаружила, что на одном из таких конвейеров пятьдесят три процента работниц страдали нервно-мышечными заболеваниями конечностей. Нет, это вопрос совсем не простой.

В разные времена были попытки классифицировать труд по степени тяжести, напряженности и вредности. Но все предложенные методы неточны. Ученые единодушно пришли к выводу, что только комплекс гигиенических, физиологических, психологических и производственных показателей может дать представление о тяжести труда и влиянии его на организм.

Но эти комплексные исследования не проведены. А производству ждать некогда — людям надо сегодня, сейчас выплачивать компенсацию за вредные и тяжелые условия работы. Поэтому по весьма приблизительным данным составлены перечни производственников, которым положены льготы в зарплате. Иначе говоря, миллиарды рублей мы расходует без достаточного научного обоснования.

Недавно лаборатория М. Бабаджаняна получила задание найти объективные критерии для оценки тяжести труда. Срок окончания работы — август. И знаете, как-то не по себе становится, когда вдуматься в этот факт: всего три специалиста, экспериментируя почти что только посредством «собственной слюны», предрешают миллиардные затраты. Ведь по их рекомендациям будут устанавливаться льготы и компенсации работникам, дифференцировать тарифные ставки. Лично я не взялся бы утверждать, что судьба цитированной выше директивы партийного съезда не вызывает беспокойства...

Вдобавок ко всему мало найти критерии тяжести труда. Надо еще определить, в какой форме будут предоставлены льготы. Объясню примером. При прочих равных условиях кому в первую очередь завод должен дать квартиру — токаря или слесарю? Ученые Новосибирского электротехнического института провели субъективное, то есть анкетное обследование причин, вызывающих у рабочих усталость. Слесари, лекальщики, электромонтажники на 99,9 процента устают от физических нагрузок. Токари же, фрезеровщики и шлифовальщики — только на 69 процентов, а в остальном усталость объясняется умственным и нервным напряжением. У наладчиков утом-

ление уже почти наполовину вызывается этими «тонкими» факторами.

Отсюда вывод. Для первой группы главное — компенсировать затраты мышечной энергии лучшим питанием. Тут достаточно увеличить зарплату, улучшить работу заводской столовой. Для второй и особенно третьей группы только рост зарплаты может и не достигнуть цели. Для них нужнее нормальные жилищные условия, путевки в дома отдыха и т. п. Но все это надо заранее знать, распределяя выплаты, льготы и компенсации. Лаборатория же Института труда даже и не ставит этот вопрос в «повестку дня».

На таком же уровне обосновываются и многие другие затраты. Ряд правительственных документов требует: повсеместно обеспечить нормальные условия труда. Что же такое нормальные условия? Каковы они, нормы условий? По заданию редакции одной центральной газеты я попросил недавно специалистов Госкомитета по труду и зарплате сообщить эти нормы. Вышел конфуз: их никто не знает. Впрочем, трудовики посоветовали пользоваться примерными нормативами, составленными в приватном порядке Латвийским проектно-конструкторским бюро.

Достоверность этих рекомендаций, выражаясь деликатно, сомнительна. В самом деле. Оптимальным, например, считается освещенность рабочего места в 100 люкс. Но вот перед нами только что изданная методика разработки планов научной организации труда в системе Министерства речного флота РСФСР. Здесь дана совсем другая норма освещенности — 150—300 люкс. В третьих источниках эта цифра поднимается до 500.

А исследованиями Золиной доказано, что на особо точных работах освещенность должна составлять 2000 люкс, для конвейеров второй группы достаточно 300—400 люкс. Причем Золиной можно верить: эти ее рекомендации, как, впрочем, и другие, проверены многими сотнями опытов и адресованы точно: для таких-то операций на таком-то типе конвейера. О других упомянутых нормах этого не скажешь — они рассчитаны на несуществующие средние условия производства и потому бесполезны, как сведения о средней температуре больных по госпиталю.

Взять производственные шумы. Их иногда называют бедствием цивилизации. Статистика показывает: на шумных производствах число заболеваний на 20—30 процентов больше, а производительность труда — на 10—12 процентов ниже. Однако тут можно и не обращаться к статистике — каждый по себе знает, как раздражает грохот. Врачи дают этому объяснение: шум повышает кровяное давление, травмирует сердечно-сосудистую и нервную систему. В общем, можно понять доктора Мурке, героя рассказа Генриха Бёля. Помните, как этот работник радио вырезал из магнитофонной ленты паузы, склеивал куски и вечерами наслаждался, прослушивая через магнитофон тишину?

Какова же допустимая норма шума? Согласно первому документу, комфортная зона характеризуется шумом не выше 70 децибелов, а по второму — 85—90. Поясню: в 90 децибелов оценивается шум от мотоцикла. Не уверен, что человек наслаждается комфортом, работая изо дня в день рядом с заведенным мотоциклом. Впрочем, и точные нормы шума пока что никому не нужны: раздобыть обычный шумомер труднее, чем билет на международный матч по футболу, хотя несколько легче, нежели выиграть по лотерее «Москвич».

За температурой воздуха следить проще — градусники есть в любой аптеке. Но и здесь специалистов подстерегает каверза. Какова оптимальная температура цеха? Наука дает точный ответ: неизвестно. В разных источниках названы цифры противоречивые — от 14 до 23 градусов. А исследованиями ленинградских физиологов показано: на тяжелых работах снижение температуры воздуха на три градуса уменьшает долю простудных болезней в общем числе заболеваний на 7,9 процента.

Речь идет, как видите, о здоровье трудящихся масс, о нашем с вами здоровье, читатель. От того, какую цифру запишут в инструкцию, зависит, будем ли мы болеть гриппом, сохраним ли остроту зрения или обзаведемся очками, станем тугоухими или сбережем способность наслаждаться музыкой Бетховена и шорохом весенней листвы, вернемся с работы измотанными или приятно утомленными.

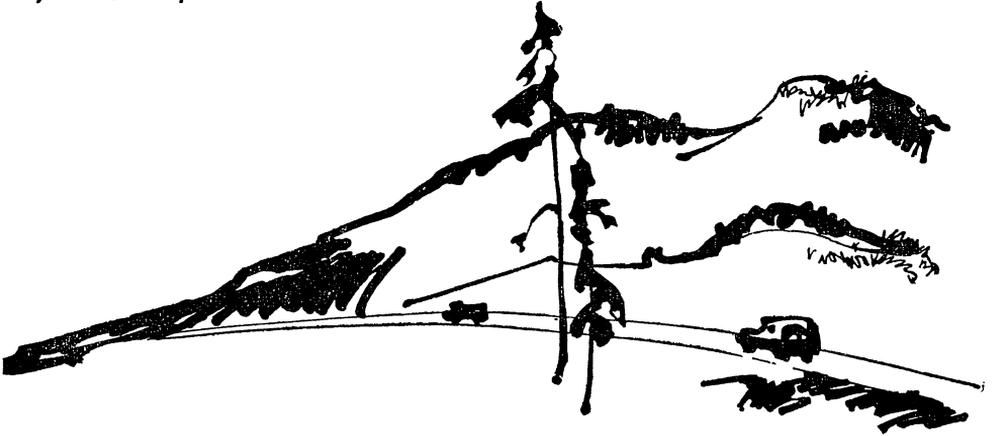
* * *

Да, пока что физиология труда в долгу перед каждым из нас. И все-таки дело идет к лучшему. Несколько лет назад враждебное отношение к этой науке сменилось безразличием. А сейчас безразличие уступает место заинтересованности.

Заведующий лабораторией физиологии труда Ленинградского университета К. Точиллов рассказал анекдотичный случай. Года два назад группа его сотрудников пришла на крупный завод. Начальник отдела труда и зарплаты тут же дал распоряжение своему помощнику: «Проводи их в цех. Они будут изучать влияние луны на производство».

Вскоре Точиллов и его коллеги послали этого умника. Дело было так. В цехе установили новейший конвейер, но спустя месяц он замер — люди ушли отсюда на другую работу. Именно физиологи нашли причину. Такт конвейера составлял здесь шесть секунд (вспомните, что по классификации Золиной ни при каком условии операция не может быть короче 45 секунд). Работа была настолько монотонной, что потеряла для исполнителей всякий интерес. Физиологам удалось пустить конвейер, а одновременно с этим приобрести тысячи единомышленников.

Недалеко время, когда физиолог и психолог будут такими же привычными специалистами на заводе, как инженер.



МОЯ ЗОЛОТАЯ ТАЙГА

ОЧЕРК

Осень подкрадывалась исподволь, как лесной пожар. Сопки возле Магадана уже поблекли, но осень к ним еще не пришла. Только как искры далекого пожарища вспыхивали у дороги покрасневшие стебельки кипрея, редкие желтые листья на карликовой березке... В долине Хасына мы повстречали передовую линию огня. Мы въезжали в осень.

Две машины, одна из них — автолавка с книгами. Задача новая в наших местах: посмотреть, для кого издает книги наше Магаданское издательство и так ли, как нужно... Впереди более двух тысяч километров пути по «великой колымской кругосветке»: Магадан — Тенька — Сусуман — Ягодное — Магадан. Прииски, рудники, совхозы. Дороги, перевалы, тропы и неожиданности: шофер нашей автолавки Виктор обязательно хотел попасть туда, где до него не был никто.

Линия жизни

У каждой дороги своя жизнь — долгая или короткая, интересная или скучная. В зависимости от того, чему она служит.

Большая колымская трасса — линия жизни на рабочей ладони края. От основной трассы разбегаются и постепенно гаснут тонкие морщинки зимников.

Эти дороги возникают и живут только долгой колымской зимой. Их единственный строительный материал — снег. За Полярным кругом на самые дальние прииски добываются по зимникам машины, везут продовольствие, оборудование, детские игрушки — за Полярным кругом тоже живут дети.

С пушечным грохотом взрываются на зимниках наледи, весной их размывают одичавшие реки. Но дороги существуют и летом, и по ним в любую погоду идут машины. Никакой другой путь на Колыме так не служит человеку, как обычная грунтовая дорога. И, конечно, на Колыме есть место, где люди заняты только дорогой, ее нуждами и «болезнями».

Поселок Карамкен сверху напоминает серую каменную чашу, дно которой написано желтыми лиственницами и редкими кубиками белых домов. Поселок невелик, хоть в нем и находится главное дорожное управление...

За иззубренным краем чаши медленно гаснет небо. На дно упали серые тени, наполненные холодом. Мертвая придорожная трава засеребрилась от изморози.

Наш «козлик» приткнулся курносый носом к стене гостиницы и, может быть, дремлет. Тихий воздух наполнен острой свежестью близкой ночи, затихая перекачивается по ребристым стенам каменной чаши лай одинокого пса. Закрывают глаза окна.

Не хочется идти в низкую и жаркую комнату гостиницы. Там пахнет геранью, сохнувшей землей от рассыпанной на полу картошки — это вислоусый, молчаливый комендант сушит свой урожай...

Я думаю о дороге. О той, что ждет впереди, и о той, что уже пройдена. Вспоминаю разговор с начальником производственно-технического отдела управления Иваном Алексеевичем Мищенко. Только цифры. Ими можно выразить все. Даже мысли и поступки бульдозериста, дежуря-

щего в трескучий мороз где-то на зимнике. Он и его машина — крошечный кусочек тепла.

И так — неделя. Изредка пройдет машина, смолкнет вдали простуженный грохот мотора, и снова он слышит только мороз. Голосов у мороза много. Есть обычные — визжит под сапогами снег, шелестит дыхание, стреляют промерзшие насквозь лиственницы. Есть тревожные — громовый раскат лопнувшей наледи, давящий гул сорвавшейся со склона снежной лавины. Голоса надо знать, иначе дорога исчезнет.

— Вы же знаете, у нас от зимников зависит очень многое, — говорил Иван Алексеевич. — Работа на них трудная, зимой через многие перевалы не пройдешь... Да и летом работы хоть отбавляй: около полутора миллионов кубометров одних ремонтных земляных работ ежегодно...

Передо мной встала знакомая картина: вдоль всей трассы кусты клонят головы в пудренных пылях париках. Тысячи кубометров земли вместе с сотнями тысяч рублей оседают невесомой пылью — временные работы не помогают, — машины то и дело спотыкаются о ребра дорожного скелета.

— А что поделаешь? — Мищенко недовольно пожимает плечами. — По нашим грунтовым дорогам проходит в десять, пятнадцать раз больше машин, чем они могут за сутки выдержать... Тут не ремонт нужен, а реконструкция.

Тьма до краев наполнила каменную чашу. Померкли лиственницы. В один сплошной серый массив слились дома поселка. Они похожи на застигнутое ночью стадо животных. Тьма полна опасностей, и дома ближе и ближе жмутся друг к другу... Но это обманчивое впечатление. ярко вспыхнула открытая дверь клуба. Чье-то окно бросило в темноту обрывок вальса. Засмеялась женщина. Поселок живет и ничуть не боится ночи.

Живет и дорога. Ее полотно меловой линией делит поселок пополам. Две встречных машины оцупали друг друга лучами фар и разошлись. Каждую ждала своя дорога. Одну из них дорога скоро приведет в Магадан. Другую может завести на далекие террасы Хандыги или в стынущую высь Кулинского перевала. Дорог много, а сердце их здесь — в маленьком поселке Карамкен.

Колымчанки

Я встретила ее в сотне километров от Магадана. В сторону от трассы убегал едва приметный летом зимник. Молоденькие, чуть тронутые осенью лиственницы нехотя расступились и пропустили белую лошадку. В седле спокойно покачивалась женщина в мужской куртке. Загорелое лицо ее в цвет с осенью — коричневатое, усталое от солнца. И очень ярко блестели на нем молодые голубые глаза. Женщина пасла в тайге стадо черно-белых спокойных коров...

Потом колымчанки встречались нам ча-

сто. Небольшими группами — по две, по три — выходили из тайги с ведрами брусники. И лица их дышали солнцем и ветром, а в походке чувствовалась охотничья таежная легкость. Это была Колыма. Край огромных просторов и тесных поселков. Мелькал у обочины одинокий домик дорожной дистанции, и такая же рослая, загорелая женщина копала возле него картошку или развешивала на веревке пестрые детские штанишки и платица. Ни в повадке этих женщин, ни в их простой одежде, ни в загорелых лицах без грима не было ничего городского. А среди них были люди самых разных профессий: рабочие совхозов, приисков, врачи и инженеры.

Возле желтой от осыпавшейся хвои обочины мы подобрали двух колымчанок. Одна несла ведро с брусникой, у другой в руках был только букет из багряных веток шиповника и бледно-желтой ивы. Одежды они были в куртки и лыжные брюки, обе — учительницы.

Вместе кончили институт на Брянщине, вместе приехали сюда и так же вместе живут вот уже почти десять лет в маленьком поселке, у которого и названия-то нет — просто цифра километра.

— И вам нравится? — спросила я.

— Сначала казалось — будет скучно, а где тут скучать, когда дня не хватает, — отвечала та, что с букетом. — В поселке живешь, как в большой семье — все на виду. Знаете, ведь делать нечего только там, где ничего не видишь и не знаешь. А у нас... Вот хотя бы интернат. Ребята у нас не дальние — кто с дорожной дистанции, кто из отделения совхоза. Все это в десяти-двадцати километрах, рядом по-здешнему. Зимой по воскресеньям дети на лыжах домой бегают... Ну и учительнице тоже приходится бегать. Не навестишь родителей — обида. Считается, учитель должен все знать и уметь. Знаете, даже рисовать пришлось выучиться — ребята никак не могли поверить, что я не умею!..

Они сошли у едва заметной тропки, поселок стоял в стороне от дороги. Сейчас же из-за густого низкого ивняка выбежали ребятишки и что-то быстро затараторили наперебой. Поселок встречал учительниц неотложными делами...

...Загорелое лицо, неторопливое движение руки, поднятой навстречу нашей машине. Женщина одета бедновато, но чисто. Руки и плечи кажутся девичьими, только по лицу разбежались тонкие морщинки — они светлее загара. Пасмурно серы большие глаза.

— Вам далеко?

— Да нет... тут дорожная дистанция будет, так мне туда...

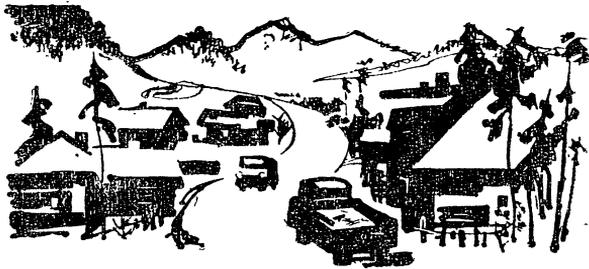
— А как вас зовут?

— Валентина. Да что там — просто Валя. А вы кто?

— Писательница...

— Вон что...

Какое-то странное движение начинается вдруг в глубине ее пасмурных глаз;



зрачок оживает, темнеет, ширится. Руки сжимаются в кулаки.

— Небось за таких, как я, ни в жисть не напишете! И все-то вы в своих книгах врете!

— А вы читали мои книги?

— Да что там их читать? Все про одно пишут — как жить быстро хорошо, а вот про мою бы разнесчастную жизнь кто написал!

Наша машина разматывает бесконечные петли спуска с перевала. Прямо под откосом бурая торфянистая луговина, а за ней — стена черно-желтого пойменного леса.

Издали мне кажется, что там осенний пожар уже догорает: вверху еще взметываются отдельные языки желтого пламени, а внизу — только черные головни стволов, подернутых голубовато-сизой дымкой подлеска. Частые кусты ольховника издали кажутся теплом...

Мне грустно — хочется вернуться в удивительный мир пылающего ущелья Теньки, и раздражает попутчица.

— ...Ну, убежала я из ФЗО — одна я, что ли? Война. Тогда из ФЗО уйти было некуда... Я туда, сюда... так и подалась к воякам. Красивая была, фартовая девчонка. Что захочу — то и мое... Да. А потом так вышло — человека убила, так уж с тех пор меня тюрьма-то и не отпускала. А кто виноват? Если бы не закон такой был...

Я с сомнением смотрю на тонкие бесхарактерные руки. Убила? Ну, это вряд ли. Ворovala? Конечно. До тех пор, пока не стали подводить дрожащие от водки пальцы. Только при чем тут закон? Никто, кроме нее самой, — не украл у нее счастья...

Делается легче на душе, когда она исчезает за реденькой стеной лиственниц.

Солнце, как ребенок, играет с нами в прятки. То прикроется белым краем облака, то снова выглянет. Тихо. Тепло. Мы проскочили мост, который, как всегда в этих местах, вдвое шире реки — в расчете на весеннее половодье. На берегах — лиловые заросли голубики и жимолости, ослепительно желтый ивняк. Около каждого такого кустика хочется погреться, как у костра.

Мы останавливаемся, чтобы залить воды в радиатор. Сразу со всех сторон на нас наступает тишина. Но это лишь на секунду — просто уши устали от грохота мотора.

Первой заговорила вода, а уж после — земля. Голос воды был однообразен, а у земли голосов были сотни.

Торопливо прошуршала в траве мыш-полевка, булькнул осевший кусочек берега, едва слышно лег на кочку желтый лист ивы и как-то бранчливо, пронзительно прокричала на лету пестрая кедровка.

Эти звуки несли покой и уверенность, что не для таких, как Валя, вся эта раздольная покойная красота, это непочатое богатство. Она и не заметит его, да и руки ее добра не удержат...

...Она под села ко мне на кровать в тесной комнате гостиницы. Больше там сидеть было не на чем.

— Вы не скажете, что это у вас за стихи?

— Есенин.

— А мне больше нравится Тушнова... И вообще все, кто хорошо пишет про любовь...

— Разве Есенин не писал про это?

— Писал, конечно... Только у него любовь не такая, какой для себя бы хотелось, понимаете?

Крутой детский лоб в белых кудряшках. Серые глаза почему-то сразу напомнили летний грибной дождь, когда солнце изнутри золотит серые тучи. А возле рта — горькая складочка. Жизнь как-то сумела обидеть и это юное красивое существо.

Маша Зорина — дорожный техник. Мы три дня живем рядом. Поселок маленький, квартир в нем не хватает, и Маша вместе с другой — молчаливой и какой-то угасающей женщиной, зубным техником Галей, живет пока в гостинице. Чтобы было похоже на комнату (а она в гостинице всего одна!), женщины отгородили свой уголок драпировкой.

Машу в поселке знают. Красоту не заметить трудно. Командантша соседнего рабочего общежития, пожилая женщина с глазами цепной собаки, ворчит:

— Строит тоже из себя чистенькую! Муж, говорит, у нее в Приморье остался, приедет, мол, скоро! Знаем мы таких мужей! Цену только себе набивает.

А говорливая буфетчица из столовой отозвалась:

— Ну что вы их слушаете, этих баб? Они же весь мир ненавидят, кулачье несчастное! Маша — хороший человек и честный. А жизнь — она и хороших не всегда балует...

Поздно вечером, когда кончилось в клубе кино, Маша опять пришла к нам в «гости». Села на постель.

— Вы спрашиваете, какой любви я для себя бы хотела? Да никакой, кроме той, что у меня есть. Ни на кого своего Ивана не променяю! Это верно: когда девчонкой была, думала — главное, чтобы самый красивый был. А вот пожила, повидала всякого и думаю — главное, чтобы был самый надежный! А уж надежнее моего Ивана не найти... Мне ведь не сразу с работой

повезло: не могла себе выбрать специальность по сердцу. И горя хлебнула довольно — ребенка похоронила. Все было. Если бы не Иван, может, и того, что сейчас имею, не нашла бы... Сейчас-то все хорошо: и работа нравится, и в институте заочно учусь. Но нет, конечно, тут не один Иван, это и я сама.— Маша улыбнулась, быстро глянула на меня.— Ведь надо же верить и в свои силы, верно?

Я тоже улыбнулась и ничего не ответила — мысль не требовала подтверждения. Но про себя я еще долго думала обо всем этом, когда погас свет и в комнату вошла ночь.

В молодости моя случайная попутчица Валя была, вероятно, так же красива, как Маша. И так же не сумела сразу найти любимого дела, но дальше-то что? Неужели все дело только в том, что она вовремя не встретила вот такого надежного Ивана? Нет, тут другое. У Маши всегда было твердое убеждение, что неудача — не конец, надо искать, и твое место в жизни найдется. Такой ее сумели воспитать.

Как часто в нашем воспитании не хватает именно этого единственного штриха — умения предвидеть не только удачу, но и неудачу на первых шагах самостоятельной жизни.

Утром мы уехали из поселка. Путь был дальний, а с вершин сопок по ночам уже поглядывала вниз зима. Надо было торопиться.

Книги и дети

Есть места, где живет тихая радость. Таким мне показался поселок Мадаун. Ничего особенного в нем нет — обычный поселок дорожников на причудливой Тенькинской трассе.

Среди больших и маленьких перевалов вдруг встретилась долинка, заросшая ивой-корейкой. Посреди долины — поселок. Прозрачные, дымчато-серые силуэты деревьев обступили дома, и на тропинках между ними сохнет лесной палый лист. Пахнет тайгой. Кажется, что лес и поселок — одно.

Уже позднее утро, но на улицах тихо и безлюдно. Люди еще не узнали о нашем прибытии.

Наша книжная лавка остановилась возле магазина — обычного белого домика, напоминающего украинские хаты.

Стертое крыльцо. На двух-трех полках — самые разнообразные вещи: охотничьи сапоги, мешки с крупой, золотистое сливочное масло, радиоприемники, бутылки вина, парфюмерия. Все это бесстрастно освещено лампочкой без абажура. Магазин не лучше и не хуже, чем в других поселках.

Наш книгоноша Виктор готовится к книжному базару. Густое облако дорожной пыли повисло в прозрачном горном воздухе — это он открыл дверцу своего «книгохранилища». Потом на свет появляются три покалеченных стола и, наконец, книги: в коробках, в мешках, в пачках, рассыпью.

В Магадане все это выглядело иначе. Аккуратные пачки книг, пахнущие свежим клеем, укладывали ровными рядами вдоль стенок машины. Однако грузили их так быстро, что, кажется, никто и не узнал, что именно мы получили с оптовой базы. Потом у нас оказалось многое, чего мы никак не ожидали встретить: даже учебники на чукотском языке. Но главное было не в этом.

Машина не была приспособлена для перевозки книг, а дороги на Колыме, как уже говорилось, не шелковые... Через сотню километров мы везли не пачки, а книжную кашу, которую мы сортируем, раскладываем на столы, когда понемногу пыль оседает. Базар открыт.

Мы все в том же приветливом лесном поселке. Только теперь нас разделяет непривычная для меня преграда: поселок — это покупатели, а мы — продавцы. И от этого сами книги вдруг начинают выглядеть иначе. Я работаю в книжном издательстве, многие из этих книг помню с самого рождения, но, оказывается, я их совсем не знала! Вдруг перестают читаться заглавия, написанные в неопределенной «современной» манере. И еще: на фоне этих белых домиков и красоты разгорающегося осеннего дня режет глаза каждая попытка условного изображения. Слишком внешне прост и ясен окружающий мир. Внутреннюю сложность его все равно не передаст изломанный черный зигзаг вместо дерева или расплывчатое пятно вместо человека. Пусть со мной поспорят художники...

Первыми к нашему столу подходят дети. Они идут цепочками. Старшие ведут за руки младших. В иных цепочках по пять-шесть человек. Детей в поселке много. За детьми плетутся собаки. Обычные дворняжки всех мастей, они ничуть не похожи на лаек. Только притворяются ими...

Не могу понять, какая странная притягательная сила заключается для ребят в маленькой зеленой записной книжке? Сто-





ит она дорого — пятьдесят копеек, но все тянутся именно к ней, и уж только потом, убедившись, что покупка не по карману, — к книгам.

Ко мне подошла цепочка из пяти человек. Шестой — на руках у старшей сестренки. Для него мир пока состоит из одинаковых цветковых пятен. Ему важно, чтобы они были большими и двигались.

Малыш с восторгом смотрит на красный кузов нашей машины и пускает пузыри. Он счастлив, а вот пять его сестричек никак не могут разрешить свои финансовые дела. Девочки все похожи друг на друга — точно матрешки, вынутые из одной игрушки. Румяные щеки и узковатые темные глаза. Все пять пар смотрят на ладошку средней сестры, где лежит их богатство. Видимо, так ничего и не решив, девочка протягивает монетки мне:

— Дайте нам на эти деньги книжек...

Считают они, конечно, умеют. Беда в том, что цены на детских книжках очень неудобные — семнадцать, девятнадцать, двадцать три копейки, даже тридцать одна... Наверное, при их выпуске никто не думал о том, что эти книжки будут покупать дети. А детям очень не хочется признаваться в том, что они еще плохо умеют считать. Несмотря на сутолоку, я замечаю, что некоторые ребятишки уходят, так ничего и не купив, — стесняются.

Но и мне не легче: сестричек пять, а денег у них сорок семь копеек. Большие, ярко раскрашенные книги для них дороги. По счастью, у нас есть книжки дешевой серии по две-три копейки. Особенный успех имеют «Кот в сапогах» Перро и «Сказка о трамвае» Баруздина. В этих местах трамвай действительно сказка.

Мои покупательницы, слюнявя палец, листают их. Самая младшая на всякий случай прячет книжки под кофточкой — кто их знает, этих старших, вдруг отнимут?

Солнце, наконец, перевалило через иззубренный край сопки. Утро кончилось. Длинные кружевные тени деревьев укоротились, потемнели. Лес словно отодвинулся от поселка. Неожиданно между ними легла израненная земля картофельного поля. На краю его пышно разросся куст дегрея с все еще живыми белыми цветами.

Ожили и дома поселка. Где-то стукнула открытая форточка, в магазин привезли свежие помидоры и молоко. К нам пришли взрослые. Молодой человек с суроватым лицом и уверенными движениями долго перебирал книги — взял только местных авторов. Это был начальник дорожного участка Владимир Рыбченко, и я подумала: хорошо, что у такого славного поселка молодой начальник, людям с ним легче, молодость легче, смелее...

А дети все еще подходили. Теперь почти у всех в руках были книжки, и ребятишки, с видом хозяев, рассказывали о них тем, кто еще ничего не успел купить. Счастливый Мадаун!

Перевал Бутугычар

О нем предупреждает выцветший плакат: «Шофер! Проверь тормоза, высади пассажиров!»

В серое небо влита серая громада хребта Бутугычар. Его вершины обточены ветром, но оттого он выглядит еще более огромным и тяжелым. Все серо. Лишь в одном месте на склоне мерцает как огонек одинокая лиственница.

Шоссе уходит в небо. За каждым поворотом ждешь конца подъема, хотя бы крошечной площадки, чтобы на секунду передохнул мотор. Напрасно. Все уже каменный карниз, все выше нависшая над ним стена. Далеко внизу столпились лиственницы, тоненькие, как церковные свечи.

Дорога наклонена в сторону пропасти. Машина на ней превратилась в живое существо, мучительно цепляющееся за мокрый от тумана гравий. Так хочется помочь изнемогающему мотору! И таким страшным кажется край дороги, от которого тихо отплывает щебенка...

Вершина возникает неожиданно. Машины остановились. Тихо. Дышат холодом никогда не тающие снежники. Из-под края одного с трудом выбился кустик травы, ветер чуть слышно посвистывает среди сухих метелок.

Еще тише голоса каменной осыпи. Может быть, еще сотню лет назад отправилась вниз крошечная песчинка... И до сих пор почти незаметно для глаза скользит и скользит вниз, в пропасть... Колесо машины задело край осыпи, маленький камнепад напомнил равномерный шум дождя.

Звуков много, но ни в одном из них нет ничего от людей.

И вдруг среди этих шорохов и шумов возникает звук шагов. На площадку, где стоят машины, поднимается человек. Он высок, ладен, у него крупные и подвижные черты лица жизнелюбца и насмешника. Такому лучше не попадаться на язык... Одет

обычно — куртка, болотные сапоги, за спиной винчестер в чехле и полупустой рюкзак.

— Откуда вы взялись?!

— Из-за перевала, конечно. Машина наша чего-то забарахлила, я и пошел пешком. Жаль, что не по пути — подкинули бы малость...

Он садится на пестрый, покрытый лишайником камень. Ветер по-прежнему неприятно свистит в чернбыле, но ощущение заброшенности прошло. Есть такие люди — с ними везде спокойно. Пошарив вокруг рукой, он кинул в рот горсть почерневших от спелости ягод брусники.

— Эх, в горле-то как пересохло! Полтора часа уже вверх топаю...

Виктор молча пошел к машине и вернулся с бутылкой вермута, — один бог знает, чего только нет в его кабине!

Бутылка отправляется по рукам, вместо закуски — та же брусника. Мы усердно ползаем на коленях, отыскивая ягоды.

Нашего встречного зовут «просто Кузин», так он сам отрекомендовался. А занят он необыкновенным делом.

Далеко за сопками лежит новый участок прииска, у которого еще нет названия. Вокруг него сотни километров непроходимой болотистой тайги. Весной вертолетами забросили туда оборудование и все необходимое для жизни. А теперь — и людей. Только необычных — самых страшных, неисправимых рецидивистов. Стеречь их там не будет никто — деваться некуда, а работать придется, иначе не прожить. Нескольким человек коммунистов, в том числе и наш «просто Кузин», решились на то, чтобы жить и работать вместе с ними. Нравные. Никто еще не знает, что получится из этого опыта, но те, кто пошел на него, верят — люди будут спасены...

Кузин распрощался с нами и зашагал прочь. Бутылка разбилась в брызги, не долетев и до половины пропасти. Ничего не осталось на память о встрече, кроме чувства зависти, — бывает же у людей такая судьба!

Машины медленно спускаются с перевала. Опять возникает ощущение мертвенности окружающего мира. Лишь когда нас встречает нарастающий ропот густого пойменного леса, это ощущение проходит.

Лес теснится на берегах порожистой речки. День безветренный, а в лесу кажется, что приближается буря. Он скрипит, потрескивает, всплескивает безлистными ветвями. Какое-то дерево протяжно кричит тонким птичьим голосом. Деревья очень старые, и, может быть, им просто хочется рассказать о том, что они видели за свою долгую жизнь?

Глянцевые листья тополей устилают водоемоны, пахнут растревоженным сеном. Они похожи на маленьких зверушек. Вот один тихонько отправился через дорогу, другой чего-то ищет у корней гнилого тополя.



Старый лес умирает, но на его месте уже рождается новый. Гибкая осина глянула из дупла тополя, молодая поросль защищает от ветра стариков. Лес живет. Он с каждым годом выше, и за его стеной постепенно исчезает перевал Бутугычаг.

Течет Колыма...

Нас догоняет зима. Утром мы повстречались с нею на перевале Обо. Прямо из снежной крутящейся мглы возникали отяжелевшие вершины лиственниц. Пропасть так густо наполнилась снегом, что глубина ее не пугает — она стала незаметной. На черной обочине дороги сидят пестрые куропатки, похожие на голубей. На машины они не обращают внимания. Потом снялись и растаяли в метели.

От высоты перевала заложило уши, но на самой его верхней точке мы увидели бурый тракторный след, уходящий в слепое снежное небо. Там найдено золото, значит, придут и люди.

Все колымские поселки похожи друг на друга. Можно проехать тысячу километров, а встретить все тот же привычный вид, как и в десяти шагах от Магадана. Обязательно у въезда в поселок стоит столовая с обтертым пудовыми сапогами крыльцом. Перила в разлохмаченных трещинах, но их не грызли лихие кони — о них просто спотыкались ночью машины усталых шоферов. Дальше — две ровные шеренги по-украински побеленных домиков. Частных — поменьше, рабочих барачков — побольше. Возле частных владений — огороды с картошкой и редисом, возле барачков — несокрушимые столы, где забивают после смены «козла». Если в поселке имеется клуб, то над ним на столбе соловьем-разбойником заливается репродуктор.

В Обо огородов не было. Поселок жил только золотом. Полигоны участка подобрались к самым домам и явно вытесняли людей из жилья.

Нас встретили, как всегда, ребяташки, а с крыльца столовой лениво проводила глазами сытая серая кошка.

В магазине продавали свежие помидоры и виноград — совсем как в Магадане...

Только покупатели были другие. Здесь ничего не брали по мелочам, зато и очередь в пять-шесть человек могла стоять часами. Ребяташки время от времени забе-

гали в магазин, чтобы сообщить на весь поселок:

— Мам, уже Ивановы берут!

Когда мы приехали, возле прилавка кражистый дядя упихивал в мешок бруски масла, мешки с крупами, тарактающие пачки сахара. Серая пасть мешка глотала все с привычным равнодушием.

...И когда мы уже разложили книги, он все еще не отошел от прилавка.

Возле магазина остановился приземистый «кряб», из него неторопливо стали выгружаться женщины в платках и лыжных брюках, мужчины в неукладистых брезентовых куртках. Наконец спрыгнула тоненькая, совсем московская девушка в спортивном костюме.

Это «разведка с перевала» приехала за недальним запасом продуктов.

Пока мужчины и женщины носили в машину всяческую снедь, а женщины встряхивали, изучая, полотнища тканей, девушка подошла к нам и попросила «какие-нибудь книги о Колыме».

Оказалось, она действительно москвичка и книги хочет послать в Москву, родным. Зовут ее Валя Горшенина, она — студентка московского геологического института, приезжает сюда уже на вторую практику.

— А живем мы — может, видели, когда ехали сюда, — возле самого перевала домики. Еще один из них строится. Вот там наша разведочная партия... А Москва? Знаете, если уж выбрали нашу профессию, надо не останавливаться на полдороге, верно? Геолог в городе — это уже что-то не то...

Вот эта Валя и нашла свое «то» на перевале возле далекого поселка Обо. Таким местом в жизни может похвастаться не всякий. Вале — чуть больше двадцати, а сколько есть в жизни людей, которым и в сорок похвалиться нечем, да и вспоминать нечего.

Зима догоняет нас и гонит из Обо обратно на Ветреный, к берегу Колымы.

Сейчас Колыма обмелела. Зеленоватая мелка-река лениво обходит камни. С каждым днем они все больше высовываются из воды. Между тем Ветреный — это лишь голова прииска «Сорок лет Октября». Его тело — на том берегу реки. Поэтому с самого утра в кабинете директора прииска Макарова говорят о воде и о катерах.

Вода, в основном, убывает, а катера — «сидят». Какому где повезло. Один «сел» даже почти напротив самого Ветреного. Мелкая волна лениво швыряет гальку в изящный железный борт.

В кабинете с раннего утра сидит у стены на корточках человек. Шапку и папиросы он положил на стул. Так относятся к мебели только заядлые таежники. Лицо человека тонет в густом едком дыму дешевых папирос. Время от времени он словно выныривает из дыма и молча ловит взгляд директора. Чаще Макаров просто не обращает на него внимания, а иногда быстро отрицательно качает головой.

— Фанат! — с восхищением глядя на таежника, восклицает парнишка, забежавший с каким-то минутным делом. — Второй день вот так сидит, и ведь добьется, точно говорю!

— Да чего добьется-то?

— А катера. Его, понимаешь, ребята с Себик-Тыэллаха сюда наладили, хоть умри, но вернись с капустой! По щам, понимаешь, заскучали. Он три дня тайгой сюда пер — пришел. Капусты нету. Добрался до совхоза — там, за перевалом, видели? Сговорил каких-то ребят — подбросили ему капусту и через перевал. Теперь вот катер высиживает... Высидит. Каменный. Поеду вот по делам в их место, обязательно к ребятам загляну — авось угостят щами...

Работает только переправа — тут самое глубокое место реки, и еще ходит легонький «золотой» катер, который забирает золото с дальних участков.

А между тем на том берегу люди, и у них могут быть самые неотложные нужды. Тут уж добирается кто как может.

Из реденького лозняка на том берегу то и дело появляются странные фигуры с посошками в руках. Есть среди них и женщины. Идут они с Себик-Тыэллаха или Юбилейного к переправе. Что поделаешь — надо...

Рае Бирюковой повезло: ее, вместе с годовалым сыном, прихватил с Себик-Тыэллаха «золотой» катер. Муж Раи — Алексей Бирюков, вместе со всей своей бригадой шахтеров, поехал на самый северный прииск области — «Полярный», на мысе Шмидта. Рая теперь догоняет его.

— Раньше выехать побоялась: Костя был очень уж мал, а дорога-то какая! Теперь-то уж доберемся, а там и мне работа найдется.

...Кто живет на близком и недоступном «том берегу»? По виду он ничем не отличается от этого. Лозняк. Дальше редколесье и заснеженная вершина Аначика. Лиственницы на его склонах издали кажутся полями спелой ржи...

Раннее утро. Трава закуржавела от инея. Остро пахнет замерзающим болотом: льдом, осоклой и горьким ивняком. Наш «козлик» приткнулся к самому берегу Колымы и словно нюхает темную рассветную воду. Дальше ему пу-



ти нет. Катер перебросит нас на ту сторону вместе с несколькими мешками книг и капусты. И то и другое одинаково ждут на участке Мой-Уруста.

Наконец катер прибыл, перевез нас на другую сторону, а вскоре, раскачиваясь, как на качелях, на «дикий» дороге появился и самосвал.

Брать пассажиров в кузов самосвала запрещено, но здесь свои правила. Двое наших попутчиков устроились даже между кабиной и кузовом — там теплее и не так бьет в лицо речной мокрый ветер...

Выглянуло солнце, и Колыма вдруг напомнила южное море. В погожие дни оно полнится таким же радостным бирюзово-зеленым светом. Но здесь с дальних плесов подступала к сверкающей зелени холодная серая сталь глубокой воды. И солнце не грело, а лишь устало следило за игрою красок.

Дорога была долгой. Двадцать километров по ней стоили сотни. Мы уже устали ждать, когда появится Мой-Уруста. Наконец машина нырнула под арку с надписью: «Вас приветствует Мой-Уруста, поселок коммунистического быта».

За аркой неожиданное зрелище: широкие улицы, двухэтажные каменные дома. Не поселок — кусочек города. Это впечатление стирало воспоминание о пройденном пути. Казалось, мы где-то в пригороде Магадана... Только люди другие — таежные.

Виктор не ошибся: нас здесь очень ждали. Если книжная лавка сюда и добиралась когда-то, то очень давно.

Быстро вытащили кровати из читального зала, временно превращенного в общежитие: жилья в поселке, оказывается, не хватало. Поставили в ряд столы, разложили книги. И сразу прибежали школьники. Их было много. В Мой-Уруста школа-интернат, где учатся дети с еще более дальних участков. Покупали альбомы, сотни открыток с фотографиями киноартистов. Я до сих пор не совсем понимаю, почему они так привлекают ребят? Желание походить на своего героя? Но ребята выбирают по принципу: «У меня такой (или такая) есть» или «У меня такого нету».

В Мой-Уруста нашлись и подлинные любители книги, даже здесь сумевшие собрать библиотеку. Но большая часть покупателей — обветренные, грубоватые парни — бульдозеристы, шоферы, рабочие промприборов, шахтеры. Все они — вчерашние солдаты — приехали вместе после демобилизации.

Они пришли с дальних приисков с полунасмешливыми именами «Козочка», «Утюг». Приходили люди с других участков, десятки километров шагавшие по ночной тайге. Негнуцимися пальцами они громко листали страницы. Выбирали не по автору, не по названию — по величине, чтобы надольше хватили. Молча взвешивали



на ладони двухтомник Карамзина или «Люди с чистой совестью» Вершигоры, уходили, довольные покупкой. Прихватывали и разноцветную пачку детских книжек. На потрескавшихся губах появлялась скупая улыбка.

— Попробуй не принеси моему книжек, так он и мне ничего читать не даст. Дай — и все тут!

Молодой парень с крупными и редкими оспинами на худом цыганском лице долго перебирал книги, отошел, потом снова вернулся. Я решила ему помочь.

— Может быть, я лучше выберу вам книгу? Вы только скажите, про что любите читать.

Он замялся... и неожиданно покраснел — густо, во всю щеку.

— Понимаете... мне бы такую книжку, чтобы про любовь... Но не так, как пишут, знаете, он ее обнял, поцеловал, а дальше весь разговор сразу про то, как план выполнить, или там начальника-рвача разоблачить. А мне чтобы все слова про любовь были разные, ведь их много, наверное, понимаете? А мы ничего не знаем — роешься тут в песках да торфях как крот, ну и все!

— Возьмите стихи — там и найдете все слова. И мысли — чудесные, большие мысли о любви, — я протянула ему несколько книг стихов. Он полистал их с сомнением — тонки уж очень. Но вдруг напал на какую-то строку, остановился, вслепую, не глядя, отдал Виктору деньги и так и пошел прочь, налетая на людей. Даже спросить, кто он, не успела.

Люди шли не переставая. Казалось, вместо шести тысяч прошли все шестьдесят.

Они спрашивали книги о Колыме. Край успел полюбить их, они хотели знать о нем все, что только можно. Вот тогда я почувствовала, как мало еще сделано нами, писателями колымской земли...

На улице уже давно стемнело. Виктор стал собирать книги. Холодным платиновым зубцом вырисовывалась в темноте вершина Аначика. Оттуда тянуло зимой. От запаха свежего снега заходились зубы. А далеко за Колымой неясным белесым пятном выступал Бутугычаг. Там тоже лег снег. Нельзя было оставаться ни часу, зима могла закрыть перевал. Ничего другого не оставалось, как позвонить на Ветреный Макарову и попросить переправить нас через Колыму ночью.

...Машину болтало с огромным размахом. Вверх — вниз, вверх — вниз скользили

лучи фар. На этот раз мы ехали в кабине. Было тепло и дремотно. В пляшущих лучах света вставали перед нами корявые листовенницы, речка с хлипким мостиком и залитый водой разъезд, желтые кочкарники.

Шоферу тоже хотелось спать, и он говорил не переставая. О том, что работы — выше головы, машин не хватает, а дороги плохие. О том, что жена скучает дома, а в кино с ней пойти некогда, а без него она ни за что не пойдет. Что вот на той пустоши прежде были огороды и росли картошка, капуста, редиска, лук, но старики поразьехали, а молодежи с огородами возиться неохота — так все и забросили. Что грибов в этом году было хоть косой коси, но все маслята, а белых — нет. Что медведей тут тьма и есть один такой хитрый, который всегда выходит на дорогу, когда с собой нет ружья, а возьмешь ружье — его и след простыл. Что, между прочим, котлеты из медвежатины не хуже говяжьих, а суп вот не получается, не то...

Дорога прыгала через водомоины, петляла по увалам, и наконец в приоткрытое стекло кабины ударила плотная волна речного мокрого ветра — мы выскочили на берег Колымы.

В черной воде двоились огни Ветреного, раскинувшегося на том берегу. В стылом небе сжались от холода редкие звезды, лениво тянулась куда-то полоса тумана. Вдалеке на отмели горел костер. Изредка, когда набегал ветер, его отражение ломалось на воде и отдельные блики добежали к нам. Пахло сырой вялой травой, мокрым деревом и рыбным духом чистой большой реки.

На том берегу вспыхнул и погас прожектор — нас заметили. Все остальное было похоже на медленный-медленный фильм. Бесконечно долго полз с того берега катер. Наконец он ткнулся в хрустящую гальку берега. А потом так же медленно-медленно он полз обратно через невидимую черную Колыму. Человек на носу непрерывно делал замеры и быстро что-то говорил мотористу.

Все было внешне довольно обычно. И тогда, когда на том берегу к нам стремительно подбежала женщина в пушистом платке, я без слов поняла, где мы могли бы оказаться, если бы нам не повезло...

Но благодарить было некого: и моторист, и наш лоцман (им оказался заместитель директора прииска Филатов) спокойно

и незаметно ушли. Ночь выдалась глухой и темной — даже по звуку шагов нельзя было сказать, куда пошел человек.

Мы остались одни на сыпучем галечниковом берегу. Издалека, осторожно обшаривая фарами кусты и ямы, к нам приближалась машина. Это был наш милый надежный «козлик». Впереди лежала еще невидимая дорога.

Встреча с лешим

Леший привязался к нам где-то возле угольной Аркагалы. Места там не из красивых. Унылое плоскогорье, пологие голые сопки. Только кое-где клонится на них во все стороны разом листовенничное редколесье. «Аркагала — уголь и золото», — сказал когда-то первооткрыватель этих мест геолог Вронский. Звучит это сильно, и край оправдал его слова. Но нам здесь не повезло.

Небольшой, прихотливо разбросанный поселок Аркагала тонул в осенней непролазной грязи. Смеркалось. Туч не было видно. Все одинаково затянула сизая мгла, и казалось, что реденький дождь пополам со снегом сыплется не сверху, а окружает со всех сторон. Словно сам воздух родит эти холодные, медленно стекающие по лицу капли.

О книжном базаре и думать было нечего. Решили ехать в Сууман, а оттуда утром на дальний молодой прииск «Буркандья». Машины развернулись. Виктор, как всегда, далеко обогнал наш «козлик». Скоро красно-желтый кузов его «ГАЗ-51» исчез за очередным увалом.

Мы ехали медленнее — легкий «козлик» сильно заносило на поворотах. И тут из серой мглы, плотно скопившейся в распадке между сопок, на нас глянули большие, широко расставленные зеленые глаза. Они блестели ярко и холодно, как стекляшки на дорожных знаках.

Шофер сказал, что это медведь, но мы, конечно, решили, что леший, и даже заспорили. В адрес лешего было отпущено изрядное количество крепких слов... и мы за это жестоко поплатились!

В темноте и сером однообразии сопки мы прозевали нужную нам свертку, и машина помчалась неизвестно куда. Поздним вечером на западе зарделась полоска заката, и в ее свете мы увидели снежную равнину, черную ленту реки и деревянный гремучий мост. По мосту шел человек. Когда машина поравнялась с ним, мне показалось, что из-под черной папахи глянули на нас те же зеленые холодные глаза...

Он молча, одним движением руки, показал на обратную дорогу. Уже потом мы узнали, что «проскочили» целых сто километров. Сууман нас встретил редкими цепочками ночных негаснущих фонарей. Дома уже спали — была глубокая ночь.

Утром выглянуло солнце, и мы



забыли про лешего. Машины долго ныряли среди многолетних, поросших бурой травой и ивовыми хлыстиками отвалов прииска «Широкий». Рядом, у самой дороги, как большая утка в маленькой луже, плавала драга.

Мы начали карабкаться на очередной перевал. Мы так к этому привыкли, что и внимания не обращали, на акробатические выкрутасы дороги.

Мир вокруг нас состоял из трех красок: белой, коричневой и голубой. Белыми были пятна только что выпавшего снега, коричневой — земля, и голубым, очень ярким, — небо. Это был радостный, чистый и яркий мир. Хотелось петь, говорить самые лучшие слова, какие только знаешь. И еще он был полон странной, ничуть не пугающей обманчивости. Может быть, это все еще провожал нас давешний леший?

Впереди то и дело возникали белые домики поселка. Они были видны так ясно, что глаза не верили себе, убедившись, что это просто пятна снега среди деревьев. Под конец я даже не посмотрела в сторону появившейся из-за поворота Буркандьи...

Но леший все равно не забыл про нас. Автолавка сломалась и застряла где-то возле «Широкого». Пока машина стояла, я смотрела на поселок, залитый солнцем. Поднимались в синее небо еще безликие стены высоких домов, с широких улиц доносился запах стружки и извести. Это была юность прииска, жизнь ждала его еще впереди.

И опять мы ехали через сказочную страну, и над нами было до изумления голубое небо, а вокруг нехоженая, не привыкшая к человеку тайга.

Время по-своему распоряжается с воспоминаниями. Одни, как бусы, надежно нанизывает на нитку, другие — просто теряет. Где-то за страницами этого очерка остались ушедшие из памяти и дороги и встречи.

Но из всего увиденного я вынесла одно твердое убеждение: писательское дело наше служит людям в самых далеких местах Родины, и писать о ней нужно гораздо больше, рассказывать людям о Колыме, о Якутии, о Подмоскowie, о Новгороде. Писать о богатствах ее и людях, живущих на нашей земле.



ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

Мне приходилось слышать от моряков, ходивших в заграничное плавание, про процедуру, которая повторяется каждый раз, когда советский капитан или штурман оформляет документы в порту капиталистической страны. Клерк спрашивает о мощности судовой силовой установки, о водоизмещении, о роде груза, о количестве членов экипажа (речь, разумеется, идет о торговых судах). Задавая последний вопрос, клерк неизменно уточняет: «Сорок пять без капитана, сэр?»

В его понятии экипаж и командир — две разные категории моряков.

Небольшая, казалось бы, деталь: «вместе» или «без», а в ней как в капле воды, — весь буржуазный образ мышления.

Я побывал у моряков Краснознаменного Северного флота, выходил вместе с ними в море. Познакомился с интересными людьми самых разных судеб, биографий, характеров и профессий. И в этих очерках, мне думается, можно найти ответ на вопрос клерка.

Именно вместе, именно единым коллективом, именно один за всех, а все за одного, как поется в известной флотской песне, посвященной восстанию на броненосце «Потемкин». И вовсе не случайно эти крылатые слова стали девизом нашего времени.

Особая примета

После подъема флага корабль сразу же вышел в море. Каждый занялся своим делом. Я прошел на ют. Невысокий, плечистый старшина команды минеров учил на юте молодых матросов заряжать реактивный бомбомет. Матросы боязливо поглядывали, как орудует с бомбами старшина, как он досылает их в стволы, стопорит, затем командует кому-то, сидящему под палубой в погребе, и снова принимает снаряженные бомбы, каждая весом в несколько десятков килограммов.

— Теперь вы! — распорядился старшина, оглянувшись на матросов. — Смелее!

Матросы старательно и все так же боязливо принялись заряжать установку. И тут я заметил офицера, который стоял поодаль. Офицер держал в руках хронометр. Когда матросы кончили свое дело, офицер сказал:

— Ну что ж, для первого раза неплохо. Почти хорошо. — Матросы приободрились. — Только вот что, — снова заговорил офицер, — брать бомбу следует вот так. — Он показал. — И не бойтесь. Минер не должен бояться, из-за боязни все ошибки бывают, а ошибок быть не должно.

Потом я видел офицера у артиллеристов. Там не ладилось с одним из стволов зенитного полуавтомата, и офицер вместе с заряжающим и командиром башни при-

нялся что-то подкручивать и прилаживать.

Немного позже политработник познакомил меня с этим офицером — Валентином Арсеньевым, хозяином каюты, в которой мне предстояло жить во время похода.

Старшему лейтенанту Арсеньеву двадцать восемь. У него жестковатый, слегка ироничный взгляд темных глаз, крупное лицо, широкие покатые плечи и сильные обветренные руки. Когда он снял ушанку, бросилась в глаза кипенно-белая прядка в черных блестящих волосах.

— Это? — он тронул прядь, когда я спросил, откуда она. — Всякое бывает... Вот и появилась особая примета.

После училища у Арсеньева, как он сам выразился, был взлет. Лучший артиллерист соединения, лучший управляющий огнем на сторожевиках. А потом он оказался на какое-то время за штатом. Послали на противолодочный корабль.

Срочный выход в море на длительный срок. В это время умирает отец. Сын приехал домой спустя несколько дней. Мать обвинила его в черствости, в отсутствии сыновнего чувства. Ну что ей сказать? Вроде права она, но и он прав: не мог же приехать, корабль был в длительном походе.

Вернулся на корабль в расстроенных чувствах. И снова в море. Отрабатывали постановку траловых вех. Ночь, шторм,

холод. А корабль идет с большой скоростью. Свалишься за борт — пиши пропало.

Сам не заметил, как зацепило тросом, дернуло, потащило к минному скату. Не успел испугаться, почувствовал: схватил кто-то за воротник куртки, помог на ноги встать. Пригляделся — старшина команды Иван Лавренюк. Сказал, чуть улыбувшись: — Спасибо, Иван Сидорович!

А Сидоровичу всего двадцать.

Руку пожать некогда — с мостика команда следует за командой. Потом уже, после, как спустились вниз, сказал старшине, пряча за шутивным тоном взволнованность:

— За царем служба, за богом молитва, Иван Сидорович!

— Ну что вы, товарищ командир! — сконфузился старшина и деликатно взял двумя пальцами сигарету из коробки. Но прикуривать не стал. На корабле курят только в отведенном уставом месте. Знал службу старшина команды.

Месяц не прошел, вернул долг офицер Арсеньев старшине Лавренюку. А было так.

Минеры отработывали постановку трала. Опять ночь, шторм, холод. В тусклом свете фонаря офицер заметил, как покачнулась и стала медленно падать стоящая на ребре тяжелая, килограммов на триста, решетка трала. Пройдут доли секунды, и она прихлопнет опустившегося на колени старшину. Этих долей секунды Арсеньеву хватило, чтобы кинуться под решетку, подставить спину под трехсоткилограммовую тяжесть. Подскочили матросы, помогли поставить решетку на место.

— Квиты, Иван Сидорович! — только и сказал офицер. Разговаривать много некогда: с мостика опять следуют команды.

Может, тогда и появилась седая прядка у старшего лейтенанта Арсеньева? Или, может быть, в другой раз? Это ведь на картинках да в кино все идет гладко. А жизнь, она непременно свои поправки внесет. Причем иной раз такая поправка ценой как раз в жизнь.

...Во время подачи снарядов из погреба в башню вышел из строя элеватор. Крышка элеватора повредила головные взрыватели двух снарядов. Старшина второй статьи Александр Кучма, который находился в погребе вместе с матросом Семеном Потаповым, не успел и слова вымолвить, как его напарник исчез из погреба. Когда потом Потапова принялись стыдить за трусость, он оправдывался тем, что побежал доложить о происшествии Арсеньеву. Потапов действительно разыскал командира, но смог только выдать невразумительно:

— Там... там...

Арсеньев кинулся к погребу. Из люка медленно поднимался Кучма, держа под мышками два искореженных снаряда.

Корабль стоял в базе. Неподалеку — другие корабли. Скомандовать, чтобы Кучма бросил снаряды в воду, нельзя. А вдруг они взорвутся? Но и медлить нельзя, не век же он сможет стоять на палубе с этими

увесистыми и смертельно опасными «игрушками».

— Несите на корму! — пришло наконец единственно верное решение. — Кладите осторожно! — Офицер показал на пенковый мат, словно специально приготовленный для этого случая. А когда Кучма положил снаряды, Арсеньев скомандовал:

— Доложите командиру, а я покараюлю пока.

После совета с командиром было решено, что Арсеньев вывернет взрыватель сам.

Офицер снял китель, фуражку, оглянулся. На палубе ни души. Только командир на мостике.

Арсеньев лег на палубу, осторожно, деликатно, как тогда старшина Лавренюк сигарету, взял двумя пальцами взрыватель...

Через десять минут снаряды были обезврежены. А взрывателями Арсеньев кинул в чаек: нечего орать, тут не рыбу потрошат. Затем он надел китель и фуражку — по кораблю в свитере разгуливать нельзя. Арсеньев службу знает...

Однажды утром, когда мой сосед по каюте спал, как, впрочем, спали все, кроме вахтенных, в каюте раздался негромкий голос:

— Товарищ старший лейтенант, а товарищ старший лейтенант! — Кто-то будил Арсеньева, который, как я слышал сквозь сон, вернулся с вахты совсем недавно.

— В чем дело? — сонным голосом спросил Арсеньев.

— Товарищ старший лейтенант! — зачастил матрос, просунувшись в дверь. — Это я, Морозов! Вы же говорили — рыбу пойдем ловить. У нас все готово. Ребята уже начали пикшу таскать, а у одного палтус сорвался... Честное слово, шириной с минную дорожку!

— Не может быть! — отозвался Арсеньев. — Вечно вы преувеличиваете, Морозов. С минную дорожку, скажет тоже.

Я слышал, как Арсеньев стал одеваться, потом хлопнула дверь каюты и по трапу торопливо простучали две пары башмаков...

В обед, за столом в кают-компании, Арсеньев, покосившись в сторону штурмана, серьезным голосом спросил:

— Скажи, Борис, поправка к лощи сегодня не поступала?

— Нет, а в чем дело? — спросил штурман.

— Море Баренца пахнет жареной рыбой, — продолжал все так же серьезно Арсеньев. — Предлагаю внести исправление в лощию.

— Не замечал, — откликнулся штурман. — Это макароны с мясом. Здесь не ресторан. Вот там действительно готовят отличные котлеты по-североморски, — добавил он мечтательно и даже прикрыл глаза. Когда же он открыл их, перед ним стояла тарелка с жареной пикшей.

Все в кают-компании засмеялись. Вестовой подал каждому офицеру по полной тарелке рыбы.

В конце обеда командир корабля попросил офицеров задержаться.

— Поскольку уж сегодня у Арсеньева удача с самого утра,— сказал командир,— то, я думаю, нелишне поздравить его и с другой удачей. Я получил приказ откомандировать старшего лейтенанта Арсеньева в

распоряжение командира ракетного корабля. Поздравляю, Валентин Николаевич! И хоть жаль расставаться, но рад за вас, очень рад!

Товарищи потянулись к Арсеньеву. В кают-компани стало шумно и весело.

«Маленький механик»

Мне вспоминается, на лекциях по строительной механике доцент рассказывал будущим инженерам-кораблестроителям о запасе прочности, каким должен обладать корпус подводной лодки.

— Представьте себе,— говорил доцент,— такую картину. Лодка уходит от бомбового удара. Командир приказывает погрузиться в глубину. Это предел. И это знают все: в формуляре корабля показана именно такая цифра. В отсеках тревожная тишина. Выдержит ли корпус соотнетонное давление? Но командир спокоен. На приемке лодки ему сказал главный строитель: «В случае чего можете перекрывать глубину погружения. Расчетная глубина в полтора раза больше. Ясно?»

И вот лодка на предельной по формуляру глубине, преследование и взрывы бомб не прекращаются.

— Старшина, принять еще балласт! — командует командир. Теперь и к нему самому закрадывается тревога, поглядывая на глубиномер, он думает: «Все, граница между жизнью и смертью»...

Мы слушаем доцента, и каждый почти явственно ощущает, как обжимается обшивка, как напружиниваются стальные ребра-шпангоуты, как концентрируются напряжения в продольных связях. А сознание продолжает рисовать...

— Осмотреться в отсеках! — следует приказ. И люди с тревогой и надеждой проводят руками по подволоку, смахивают ветошью капли воды, проступившие на сальниках. Один за другим слышатся в центральном посту докладчики о том, что в отсеках все в порядке.

Матросы повеселели. Они поверили, что с таким офицером они еще повоюют, еще не один вражеский корабль будет пущен на дно. Матросы поверили в командира. Поверили в то, что он хорошо знает, где границы запаса прочности.

Так запас прочности неодоушевленной лодки обернулся запасом надежды для моряков, который нужен и важен в бою не меньше, чем торпеда или ракета.

И как же необходимо, чтобы офицер знал и умел пользоваться запасом прочности человеческих душ! Этому не учат в училищах, нет таких дисциплин и на курсах усовершенствования, этому учится офицер сам, работая и воспитывая подчиненных. Это приходит с годами службы ценой раздумий и творчества.

...Каждый год принимает флот молодых офицеров. Принял и нынче. Их сразу узнаешь еще издали: по особой щеголеватости

формы, по новеньким погонам, по незахватанной белизне кантов на фуражке.

Молодым инженер-лейтенантом прибыл не столь давно на подводную лодку Петр Буда. Представился, как положено, получил назначение на должность командира группы движения. Сбылось все, к чему готовили в училище: стал командиром. Теперь бы быстрее в поход, чтобы доказать свое умение и знания. Но вышло так, что лодка пока находилась в базе.

Потянулись дни, похожие один на другой, когда и не сразу вспомнишь, что было вчера, третьего дня, неделю назад. Начались будни. Восторженность сменилась легким разочарованием: в курсантских мечтах начало службы рисовалось иначе.

А тут торчи в базе, смотри, как плещет волна в почерневшие сваи причала, как выползают из воды обомшелые валуны — отлив, как опять скрываются — прилив. И так каждые шесть часов. Тоже — романтика... Подплыл вчера тюлененок к лодке, поморгал черными глазенками, поглядел на матроса, который корпус лодки шкрябал — любят, говорят, тюлени незнакомые звуки, — так и того отпугнули матросы, болтом в него кинули. Теперь разговоров об этом на неделю хватит...

В отсек спустится, еще тошнее станет. Все вроде бы делают что-то, упражнения отрабатывают. Старшины в который уже раз слышанное-переслышанное втолкуют матросам, каждый вентилечек, каждый сальник заставляют на ощупь искать. И ему бы этим заняться, но мысль одна: вот выйдем в море, тогда посмотрят, на что я годеи.

Такое настроение сказалось. Опоздал к подъему флага. А получив от командира замечание, даже подсадовал: подумаешь, формальность. Пообещал больше не допускать. Ему поверили. Но у командира глаз наметанный, взял молодого офицера под контроль, потому что понимал: на лодке мелочей нет.

Через несколько дней замполит доложил командиру, что офицер Буда не явился по приказанию старшего начальника в штаб соединения, сослался на срочную работу. Работа была действительно срочная: нужно было заварить прожог на газотводной магистрали дизеля. Недоглядел инженер-лейтенант Буда за изоляцией, понадеялся на матросов. Они, конечно, схлопотали свое, но и ему попало. Случись такое не в базе, а в море, — ЧП на весь флот. Вот и торопился офицер, двое суток не уходил с лодки, помогал ремонтникам, вину свою загладить хотел.

И командир лодки оценил это. Но не выполнить приказ старшего начальника?! Только что пришлось выслушивать в штабе соединения суровые, но справедливые слова. Пообещал немедленно принять меры.

И вот они вдвоем в кают-компании, за узким продолговатым столом, над которым низко повисла бестеневая лампа — здесь по боевому расписанию операционная, тут заведование корабельного врача.

Разговор нелегкий, разговор, к которому на лодке волей-неволей прислушиваются все — и оба знают это: не шепотом же вести этот строгий разговор.

Румянец пятнает лицо Петра, пальцы комкают фуражку, лежащую на столе, кант на фуражке безвозвратно теряет меловую белизну. Офицер молчит, невесело размышляет: наверное, после такого разговора не пойдет командир хлопотать о жилье. А он уже дал телеграмму невесте, чтобы ехала сюда, совсем недавно замполит говорил, — комната для молодоженов будет. «Нет, — думает он, — не видать мне комнаты».

И ему вовсе невдомек, что не только замполит заболел о жилье для него. Командир выкроил время, сходил к старшему начальнику, прослышав про предстоящую женитьбу молодого офицера. Старший начальник и вызывал Будака именно для того, чтобы побеседовать с ним, осведомиться, как он тут служит, какие заботы, радости и огорчения встретились ему на первых порах.

Командир лодки, конечно, скажет об этом молодому офицеру. Но только не сейчас, не в эту минуту, когда так понурился инженер-лейтенант Будак.

Откровенно говоря, командиру немного жаль проштрафившегося офицера: очень уж по-мальчишески смущен и растерян «маленький механик» — как негласно зовут командира группы движения на лодке. Но командир гонит эту жалость.

Нет, вовсе не потому, что он жесток и черств. Он делает это во имя высшей доброты, какая сродни действиям хирурга, отсекающего гангренозную конечность.

Командир знает, как будет знать со временем и этот сидящий перед ним молодой офицер: дисциплина — это свобода, осознанная необходимость. И понимание этой истины поможет ему самому стать воспитателем, начальником, воином.

Ведь когда-то и командир лодки пришел на корабль таким же юнцом. Две лейтенантских звездочки и корочки диплома, казалось, обеспечат безмятежное плавание

не только в подводных глубинах, но и в житейском море.

Правда, к подъему флага он не опаздывал, выручал будильник. Но зато из-за нерасчетливости влез в долги. Никак не мог словить кладовщика — получить материал на новый китель. За затрапезный вид — замечание. Наврал в прокладке курса, едва не угодили на скалу. Хмурилась жена — долго не могли дать отдельную квартиру, к тому же ребенок заболел ветрянкой. Приуныл и растерялся: моряк не получился, зря тратит государственные харчи. Вспору подавать заявление о демобилизации. И вдруг — перевод на новый корабль, новая звездочка на погоне, новая должность.

Произошло чудо. Он вдруг почувствовал, что в голове твердые знания. Теперь он уже не умоляет кладовщика в базе выдать отрез, а скупко пообещал, что ежели завтра во столько-то ноль-ноль не застанет его на месте... И кладовщик был в указанные ноль-ноль и оказался на редкость внимательным и чутким.

И дали квартиру. И дочь пошла в школу и принесла первую пятерку. И нашлась работа для жены. И лодку отметили в приказе за успешную стрельбу. И за рационализаторское предложение вышла премия. И старший начальник, как передавали друзья, уже интересуется: а почему нет рапорта об откомандировании в академию...

Смотрит командир на «маленького механика». Улыбка трогает резко очерченные губы.

— Придется, инженер-лейтенант, начинать новую жизнь.

Вопросительный взгляд на командира. Во взгляде растерянность и недоумение: неужели спишут на другой корабль?!

— Для начала советую купить будильник. Деньги есть? Ну, очень хорошо. Знаете, такой небольшой, из черной пластмассы. Звонок — мертвого поднимет. Ясно?

— Так точно! — «Маленький механик» машинально отвечает по-уставному и тоже начинает улыбаться. Но улыбка тотчас же пропадает. Не до улыбок.

— А за халатное отношение к своим обязанностям объявляю выговор! — это сказано громко, отчетливо, пусть слышат все. Пусть каждый знает: свобода — это дисциплина.

...Тихо в кают-компании, где сидят два офицера, тихо в отсеках, словно замерли все, как во время спуска на предельную глубину, когда проверяется запас прочности.

Есть такая должность

Сутки у капитан-лейтенанта Василия Толкачева забиты делами плотно, словно многостольная установка бомбами. И каждое дело — важное: в работе с личным составом мелочей нет. Корабль есть корабль. Не закроешься от сотен глаз плотными дверями с дерматиновой обивкой, не отгородишься непробиваемым секретарем. И ме-

таллическая, крашенная под дуб дверь каюты замполита открыта почти круглые сутки.

В каюте стол, кресло, шкаф, стеллаж с книгами, задернутая синим пологом койка. Бесшумно и непрерывно крутятся на столе принайтовленный на случай шторма вентилятор с резиновыми лопастями. Вен-

тилятор колышет легкий синий полог, шевелит уголок газеты «Красная звезда», которая лежит на столе. В газете на первой полосе очерк. Называется он «Первый контакт». Написал его секретарь партийной организации корабля Евгений Андреев.

Газета побывала в руках: читали ее в электромеханической части, уносили в свои башни артиллеристы, вслух читали в кубриках. И в политотделе читали. Замполиту говорил об этом старший начальник, который перед походом принес эту газету на корабль, свой почтальон не успел развернуться. «Непорядок,— морщится озабоченно замполит.— Ладно, побеседуем...»

Мнение у всех, кто читал, одинаковое: толковый очерк написал старший лейтенант Андреев. Правильно подметил про первый контакт. Помнит замполиту, как исподволь помогал он командиру боевой части наладить отношения с подчиненными, потому что знает по своему опыту замполит: главное в работе и службе — чтобы поверили тебе люди, увидели в тебе не только по штату положенного командира, но и старшего по опыту, по знаниям. И чтобы ты увидел в каждом из них не просто придаток к орудью или механизму, а единомышленника, надежного товарища по службе.

И по всему видать, прочным стал этот контакт у молодого офицера Андреева. Его электромеханическая часть считается одной из лучших в соединении. Дизель, вспомогательные механизмы, системы и устройства работают безупречно. Это дело рук старшины первой статьи Мосейчука, который командует электриками, и отделения трюмных, во главе которых стоит старшина первой статьи Денисов.

Случился непорядок на боевом посту, которым заведует матрос Алипов, сами же товарищи его в стенгазете покритиковали. Главный старшина Логвиненко нашел такие слова, что Алипову потом проходу не давали, пока он не навел порядок в своем посту. Да пообещали еще вдвоавок «Комсомольским прожектором» осветить, если впрядь замечен будет в нерадивости.

Да, замполит знает силу воздействия коллектива. Тринадцать лет назад, когда он начинал срочную службу матросом, обучал их в экипаже суровый с виду старшина-сверхсрочник. От него и услышал Толкачев матросскую, годами проверенную истину: если хочешь, чтобы тебя уважали подчиненные, знай — самый лучший пример для подражания — твое собственное поведение.

Накрепко запомнил эту нехитрую с виду матросскую мудрость Толкачев. Уже потом, позднее, учась в военно-морском политическом училище, когда с трудами классиков знакомился, нашел другую формулировку этой философии. Все победы в жизни приходят после победы над собой — так толковал один из классиков.

После училища получил Толкачев назначение на тральщик, сюда, на Север. Офицеров на тральщике немного, поэтому сразу же сдал экзамен на право самостоя-

тельного несения вахты. Командир одобрил, но в политотделе недоумевали: у замполита своих дел хватит, а тут еще обязанности строевого офицера. Мудрит что-то Толкачев. Ну да поглядим.

И вот первая вахта. Принял ее у помощника командира корабля, поздоровался с сигнальщиками. Отошел к правому крылу мостика и услышал в это время легкое позвякивание шторок прожектора. Обернулся. Старший сигнальщик старшина второй статьи Соловей пишет что-то, перемигивается световой морзянкой с соседним кораблем. Вчитался замполит (вот где матросские университеты пригодились), разговор явно на посторонние темы. Интересуется Соловей у годка насчет демобилизации.

— Прекратить посторонние разговоры! — приказал замполит.

— Да что вы, товарищ лейтенант? — притворно изумился Соловей. — Я спрашиваю, на каком корабле командир дивизиона пойдет.

— А давно ли командир дивизиона вашим годком стал?

Смутился старшина, стойку положенную принял, говорит:

— Простите, я думал...

— Для раздумий у вас времени хватит! — перебил замполит. — От вахты вас отстраняю. А за попытку обмана — на комсомольском собрании поговорим! И подучитесь грамматике. Демобилизация через «е» пишется...

Решение было строгим, но справедливым. Даже самые языкастые матросы в кубриках одобрили, потому что увидели: замполита не проведешь. А вскоре еще один случай укрепил авторитет Толкачева.

Тральщик находился в дозоре, далеко от базы. Машины на столе, черный сигнальный шар поднят до места: командир приказал обрубить стальную полосу на привальном бруссе, которую задрало при швартовке. Двое матросов и боцман рубят зубилом толстую полосу. Рубят неумело, еще на час работы хватит. Обратился замполит к командиру:

— Разрешите, я сделаю. В железнодожном училище на слесаря сдавал.

— Добро,— кивнул командир.

Снял Василий реглан, штертом объялся, велел конец в надстройке закрепить, а сам с кувалдой через ограждение пергнулся, в зубило метит. Удар, еще, еще! Блестящая канавка ширится, матросы только завистливо вздыхают: сноровисто работает замполит.

Приладился еще ударить, взмахнул кувалдой, и помнит только: взметнулся кверху черный шар волейбольным мячом, вниз рухнул замполит — перетерся штерт об острый угол надстройки.

Вынырнул, все еще не бросая кувалды. Ватные штаны, валенки, свитер вмиг набухли, вниз тянут. Опустил кувалду, а волной уже от борта относит. С корабля концы кидают, спасательные круги летят. Матрос концом обвязывается, прыгает к нему. Хотел крикнуть: «Не надо», но не успел. Ухватился за круг — и к борту. Десятки рук

подхватили, вытянули. У фельдшера руки трясутся, никак в стакан спирта не нальет. Кто-то реган накинуд на плечи, в каюту уговаривают идти. Улыбнулся замполит, на шар неподвижный взглянул, сказал только:

— Как мячик взвился, показалось!

Отлежался в каюте, согрелся, подремал и снова к людям. Служба есть служба, хворать некогда. На брус посмотрел: в порядке. Боцман, виновато улыбаясь, доложил:

— Меня матросы из-за вас в оборот взяли. Такого замполита, говорят, во всем дивизионе нет, а ты чуть не прохлопал!

— Ладно, боцман,— улыбнулся Василий Иванович,— комплименты до берега сохрани.

Говорят, если в отсутствие руководителя все идет так, словно он на месте,— это лучший аттестат его работе. Значит, не пожалел офицер труда, чтобы стали инициативными матросами его подчиненные, знали в совершенстве свои заведования и обязанности.

Так поставил дело на тральщике замполит Толкачев. Слово бы безо всяких усилий с его стороны выходила радиогазета, боевые листки. Слово бы ненароком кок ставил перед каждым именинником вкусный пирог. И может быть, не сразу дошло до главного старшины Макарова, получившего радостное известие от девушки, что замполит написал ей письмо, рассказав о том, как идет служба у ее любимого. Наверно, все это вместе взятое и есть искусство быть заместителем командира корабля по политической части. Невидимая, не поддающаяся измерению ни в каких единицах работа, результат которой входит в общую готовность корабля к бою, как входит порох в состав унитарного патрона.

Неожиданно вызвали Толкачева в политотдел, приказали:

— Поедете принимать новый корабль, товарищ старший лейтенант!

— Ясно, есть!

Новый корабль понравился сразу: приземистый, с острыми обводами, массивными артиллерийскими башнями на носу и корме и еще кое-чем, прикрытым от любопытного взора зеленым брезентом. Узнал тактико-технические данные корабля, восхитился еще больше: отличный ход, мощное современное вооружение и оснащение. Такому и океан не страшен, и атомную лодку противника в случае чего достать можно.

Парень из нашего города

Вначале я его не узнал. На корабле он ходил в полотняной робе, с нашатыми на кармане номерами своей боевой части и боевого поста. Да и усы — черная полоска в сочетании с румяным, круглым лицом, которые бросились в глаза при первом знакомстве,— теперь исчезли. Сейчас он был в черном бушлате, в бескозырке. На плечах ярко желтели золотые галуны: старший матрос. Но когда он улыбнулся и заговорил, я сразу его вспомнил: старший

А потом началось самое главное: знакомство с людьми. Тот самый первый контакт, про который пишет офицер Андреев.

И вот уже позади почти целый год службы на новом корабле.

Корреспонденты, когда бывают у него, поражаются: всех матросов замполит помнит по имени-отчеству.

— Запомнить — это не трудно,— отвечает обычно Толкачев,— труднее к каждому в душу заглянуть. Когда все в строю, в одинаковой форме, может показаться, что и мысли у всех одинаковые, интересы одни и те же. Но это не так. К каждому нужно, говоря по-штурмански, поправку на девиацию и склонение определить. Да к тому же и характер человеческий — не карта. Тут иной раз такие сложности попадают, что не сразу человека на верный курс выведешь...

Стрелка компаса всегда показывает на север. А чем должен руководствоваться офицер-воспитатель? Проще всего сказать: действуй по уставу, и все будет в порядке. Конечно, это необходимое, но все же не достаточное условие.

Ушел матрос в самоволку, совершил серьезный дисциплинарный проступок. Наказали справедливо и сурово. Но почему этот матрос очернил имя корабля? Как сделать, чтобы он никогда больше не посмел допустить подобное?

Конечно, вынести на комсомольское собрание. Это испытано и проверено. И, пожалуй, не лишнее — поговорить с проштрафившимся. Поговорить по-мужски.

Сказать, что и ему, замполиту, порой несладко. Корабль в базе, рядом семья, дочь уже который раз просила сводить ее в кино. Еще не дочитана новая книга, о которой много говорят и спорят. Сказать про то, что впереди у замполита серьезные и трудные экзамены на право самостоятельного управления кораблем. И дело офицерской чести — сдать их. И еще, что если даже вставать на час пораньше — все равно в сутках двадцать четыре часа.

Сказать ему, этому матросу, да так, чтобы понял он, дошло бы до него: то, что называется службой,— для замполита это жизнь. Трудная жизнь моряка, офицера, коммуниста. Но он не хочет и не ищет другой. И еще, что должность у него такая — замполит, потомок комиссаров.

матрос Валерий Раевский. Судьба свела меня с ним на одном из противоположных кораблей.

Естественно, на свет была сразу же извлечена бутылка напитка, несколько более крепкого, чем флотский компот.

— Приехал на десять суток,— сказал Валерий.— Сразу домой, а на следующий день на завод. Ну, ребята, конечно, обрадовались.— Он улыбнулся.— Стою в цехе, смотрю, вроде бы все по-старому, и в то

же время изменилось. Новые приборы, я слесарь по контрольно-измерительным, люди новые. Познакомились. Ничего ребята, грамотные, все после технического училища.

Потом он рассказывал, как обрадовались его приезду дома, как изменилась Москва, восхищался монументом космонавтам возле метро ВДНХ, уважительно расспрашивал про высокую Останкинскую телебашню, которую хорошо видно из окна.

Я спросил, не писал ли он о том случае своей девушке, с которой дружил перед уходом на флот, — ну, когда нас прихватило штормом где-то севернее острова Кильдин и пришлось уходить на всех парах.

— Нет, не писал. — Валерий отвел глаза. — Она замуж вышла. — Он сказал это тем же ровным, спокойным голосом, каким только что говорил о встрече с ребятами.

Да, нервы у парня в порядке, — вспомнились мне слова офицера, который командовал противолодочным кораблем, где служил Валерий.

Вспомнился и тот случай, за который и вышел ему нечаянный десятисуточный отпуск, не считая дороги...

Есть такое понятие в физике: живая сила. Она дает представление о силе удара. Причем эта сила зависит не только от массы, но и от квадрата скорости.

А теперь представьте себе самый современный двигатель противолодочного корабля: тонны веса и тысячи оборотов. Каждый, кто знаком с физикой, невольно с почтением отнесется к такому овегешествленному понятию живой силы. Только гляди и гляди. Не зря в запасном командном пункте электромеханической боевой части столько различных приборов, циферблатов, вентиляей, тумблеров, кнопок.

Когда-то, по первому году службы, матросу Валерию Раевскому, если говорить откровенно, бывало страшновато выходить из запасного командного пункта в машинное отделение. Очень уж там шумно, да еще если качка — того и гляди попадешь куда не следует. Но время шло, и стал он из новичка уже старослужащим, которого командир отделения машинистов вполне спокойно оставляет за себя дублером. Теперь-то Валерия кажутся чудными и непонятными опасения новичков. Теперь и он не раз слышал, как про него говорят: «С ним полдела служить». Слышал и улыбался каждый раз: сам когда-то так говорил про службу со своим прежним старшиной.

Все верно. Так и должно быть. На этом флотская служба строится: выучили тебя, учи другого, готовь замену. Люди приходят и уходят, а флот, корабли остаются. Придет пора, уйдет в запас и он, Валерий Раевский, московский парень с завода «Красный богатырь». Вернется в свои Сокольники, благо дом стоит прямо на одной из просек, посидит с родней, как положено служилому человеку, за праздничным столом, и — на люди, к друзьям. И пойдут немногословные, понятные лишь им одним, друзьям,

разговоры. И девчата, наверное, станут поглядывать с уважением на ладную суконную рубаху, пересчитывать семь голубых полосок на груди, уважительно расспрашивать про северное сияние, про моржей и тюленей.

«Чудачки, — еле приметно улыбается Валерий (на вахте не до улыбок, тем более, идет состязательный поиск подводной лодки, тут держи ухо востро: то и дело с мостика приказывают менять ход). — Конечно, чудачки! Было все: и сияние видел, и шторм прихватывал. Правда, моржей и тюленей — не доводилось. Да что они, глупые, что ли? Лезть к кораблю, когда он с грохотом и шумом идет пошибче пассажирского поезда?!»

Он посмотрел в иллюминатор, прорезанный в двери запасного командного пункта. Взгляд внимательно, привычно прошелся по серебристым кожухам двигателей, по вспомогательным механизмам, по маслоотделительному баку над топливной цистерной основного запаса. Затем так же внимательно и цепко — на щит с приборами. Отметил про себя давление масла, температуру, число оборотов — все в норме. Тренированное годами сознание подсказало: порядок. Сознание подсказало и другое: подчиненным пора осмотреть механизмы, пройти в носовой машинный отсек.

Валерий скомандовал:

— Матросы Гребенюк и Земцов! Обследовать машины и доложить!

— Есть, — ответили матросы и отдраили дверь запасного командного пункта.

В ту же минуту с мостика поступило приказание:

— Полный ход!

Гребенюк взглянул на Валерия. Раевский кивнул на вахтенный журнал. Земцов вышел, а Гребенюк стал записывать приказание в журнал. Это входило в его обязанности.

Валерий повернул рукоятку, регулирующую подачу топлива. По тону шума, еще не глядя на прибор, показывающий число оборотов, почувствовал, как увеличивается скорость. Представил себе, как вскипают за кормой зелено-белые отвалы волн, как вспарывает узкий, стремительный форштевень студеною, вязкую — даже на взгляд — воду. Покосился на запись в журнале: «15-44. Увеличили ход до полного».

Он не знал, зачем командир приказал увеличить ход, хотя, как и все на противолодочном корабле, знал, что ищут контакт с лодкой. Значит, понадобилось, значит, есть такая необходимость. Не зря же заряжены бомбами реактивные бомбометные установки, не зря в трубах торпедного аппарата притаились красноголовые торпеды.

И действительно, за минуту до этого противолодочный корабль получил приказ от командира поисково-ударной группы: подойти к флагману, акустики которого слышат шум винтов подводного противника, включиться в преследование.

Валерий снова взглянул в иллюминатор: как там Земцов? Матрос осматривал правую машину.

«Эх,— подосадовал Валерий,— чего, понимаешь, медлит?» Он хотел было уже скомандовать Гребенюку, чтобы тот отправился осмотреть левую, как вдруг услышал глухой удар, показавшийся ему похожим на выстрел корабельной пушки.

«Тревоги же не было?» — мелькнула мысль, и он оглянулся на Гребенюка, как бы спрашивая: может, прослушали?

— Не было тревоги,— подтвердил Гребенюк.

Тогда Валерий взглянул в иллюминатор.

Это было так неожиданно, что вначале он даже не поверил тому, что увидел. Пульсирующие языки пламени с черной траурной каемкой по краям выплеснулись из-под левой машины, потянулись к баку с маслом, лизнули переборку, за которой находился боезапас.

Все еще не веря глазам, Валерий перевел взгляд на прибор, показывающий число оборотов машины. Стрелка скакнула вниз, потом снова вверх и застыла возле предельной цифры. Машина, словно вздрогнув от удара, взвыла от боли, пошла вразнос.

Руки Валерия, тренированные руки отличного специалиста, казалось, движутся сами собой. Обгоняя мысль, они нажали кнопку аварийной остановки машины, включили систему огнетушения под кожухом машины и еще одну систему — орошения машинного отделения.

Пламя не унималось. Желтые, пышущие жаром клочья его, подхваченные мощной вентиляцией, устремились по газоотводной магистрали к трубе и вымахнули пышным султаном.

Занялась краска на коже дымовой трубы, на палубе. Ветер свалил гребень пламени, и оно лизнуло трубы торпедного аппарата, из которых выглядывали красно-голубые торпеды.

Густые смрадные клубы дыма окутали корабль, плотно забили помещения. Гребенюк принялся раскатывать шланг и, пытаясь, потянул его на себя. Валерий выхватил у Гребенюка брандспойт и хлестнул тугой струей по машине. Дым стал белочерным. Вода моментально превращалась в пар. Одежда стала мокрой и липкой. Он успел заметить, что у Земцова в руках тоже появился брандспойт.

Валерий не мог знать в эту минуту, что на верхней палубе, возле дымовой трубы, расправляется с огнем матрос Виктор Мазур, который успел включить пожарный насос, подняться из поста живучести на палубе и теперь заливал огонь в трубу. Он не знал, что торпедисты отбили огонь от аппарата, развернули головы торпед в безопасную зону.

Он не знал этого, а только понимал, что сейчас самое главное сбить огонь, превозмочь удушливый дым, и, понимая это, хлестал тугой струей воды, чувствуя, как рвется из рук брандспойт...

...На мостике тоже слышали глухой удар, который показался Валерию пушеч-

ным выстрелом. Командир корабля и вахтенный офицер оглянулись: из дымовой трубы корабля вымахнуло облако черного дыма и тут же снова исчезло в трубе.

Резкие, тревожные звонки раздалися по кораблю.

— Боевая тревога! Боевая тревога!

И, подчиняясь этой, не раз прежде слышанной команде, стремительно, но не суетливо, с дробным перестуком башмаков разбежались матросы по своим боевым постам.

— Что на корабле? — запросили с флагманского миноносца, увидев, что противолодочный корабль сбавил ход, окутавшись густой пеленой дыма.

Командир коротко доложил.

— Поиск продолжать сможете? — после молчания спросили с флагмана.

— Сможем!

— Добро! Пеленг... дистанция... кабельтовых! — приказал флагман.

И поиск продолжался.

Да, корабль не вышел из строя. В те считанные секунды — от момента, когда Раевский остановил машину, дал орошение и включил систему огнетушения до объявления боевой тревоги, — произошло уже самое главное — угроза большого пожара была предотвращена. И поэтому, когда с мостика приказали командиру электромеханической боевой части вывести людей из машинного отделения, загерметизировать его и принять другие экстренные меры, предусмотренные инструкцией, инженер-механик, выслушав доклад Раевского, отвел на мостик:

— Пожар потушен!

Корабельный хронометр показывал 16.00.

Шесть минут длилась борьба с огнем. Шесть минут мужества, стойкости, отваги, проверки боевой выучки и слаженности экипажа.

Кто они, схватившиеся с огнем и победившие его?

Имена троих вы уже знаете. Валерий Раевский, Юрий Гребенюк, Владимир Земцов. Комсомольцы. Матросы. Машинисты.

Еще двое: старшина второй статьи Чернецов, матрос Мазур. Тезки. Оба — Викторы. Один — командир отделения электриков, другой — трюмный машинист. Комсомольцы.

Замполит, называя их имена, сказал:

— В партию будут вступать — первым рекомендацию дам.

Флагманский механик — два ряда орденских колодок — в разговоре, уже потом, когда убедилась комиссия, что действовали моряки в полном соответствии с инструкцией, сказал:

— За такое в войну к награде представляли!

Подвиг — это огонь сердца. И нет на свете огня сильнее, чем огонь сердца, измеряемый мгновеньями и всей человеческой жизнью, спрессованной в эти решающие мгновения. Он и есть живая сила, сила Человека, Моряка.

АМЕРИКАНКИ

Некоторое время назад, по приглашению Комитета советских женщин, в нашей стране побывала группа американок, участниц движения «Женщины, боритесь за мир!». Последовало ответное приглашение, и шесть советских женщин полетели в Соединенные Штаты. В их числе была писательница Гатьяна Тэсс. Во всех городах, больших и маленьких, где ей привелось побывать, она поселялась не в гостинице, а в частном доме, в какой-либо американской семье, которая уже ждала ее к себе в гости. Это дало ей возможность познакомиться со многими хорошими людьми, увидеть вблизи их жизнь, их домашний уклад, выслушать от них самих рассказы о том, что их радует, заботит или печалит.

Автор показывает, как американские матери доступными им средствами протестуют против политики грабежей и войны, которую ведет их правительство, раскрывает картины быта и нравов Америки.

КОНИ-АЙЛЕНД, ОСТРОВ ВЕСЕЛЬЯ

Наступило воскресенье, и можно было поехать на Кони-Айленд.

Прошло уже несколько дней, как мы жили в Нью-Йорке, но это было первое свободное утро. И я поехала на Кони-Айленд. Я была очень довольна, что смогу сделать это. Всякому иностранцу, приехавшему в чужую страну, всегда интересно пожить хоть час той жизнью, какой живут местные жители.

Кони-Айленд называют островом веселья. Там огромный песчаный пляж на берегу Атлантического океана. Там карусели и аттракционы, колеса счастья и машины времени, комнаты смеха и катанье с искусственных гор, комнаты страха и гонки на игрушечных автомобилях, где желающие могут пережить азарт скорости и треск аварии, достаточно безопасной, чтобы не угрожать жизни, и достаточно правдоподобной, чтобы испытать сильные ощущения.

Кроме того, там есть машины, которые за небольшую плату могут предсказать вам судьбу и составить на несколько лет вперед расписание всего приятного и неприятного, что предстоит вам в жизни. Говорят, там даже есть машина, определяющая достоверность любви. Достаточно опустить монетку — и машина сразу безошибочно ска-

жет, любит вас человек, которого вы любите, или только притворяется влюбленным.

Словом, развлечений там много. В воскресный день туда приезжают отдохнуть и повеселиться тысячи людей. Короче говоря — не надо вам долго объяснять, что мне было интересно тоже поехать в воскресенье на Кони-Айленд и увидеть все своими глазами.

И вот передо мной Кони-Айленд.

Волны накатываются на широкий пляж, на бескрайний гладкий берег, покрытый мелким, блестящим песком, и маленькие песчаные волны перекатываются от ветра по пляжу, как бы повторяя движение океанской волны. Вода океана не синяя, не голубая, а розово-серая, цвета жемчужины.

Берег почти безлюден. Это странно, потому что, по моим представлениям, день выдался жаркий. Но, очевидно, по представлениям жителей округов Нью-Йорка, время для купанья в океане еще не наступило. Наверное, правы они, а не я.

Я смотрела на могучие, вспыхивающие под солнцем волны, на пустынный песчаный берег, и они притягивали меня с магической силой. Из блаженств, которые дарит человеку природа, одно из самых высших — прогулка по пустынному пляжу в солнечный день, когда все — морской ветер, запах соленой волны, упругость песка под ногами, орудийные раскаты прибоя, — все как бы принадлежит тебе одной.

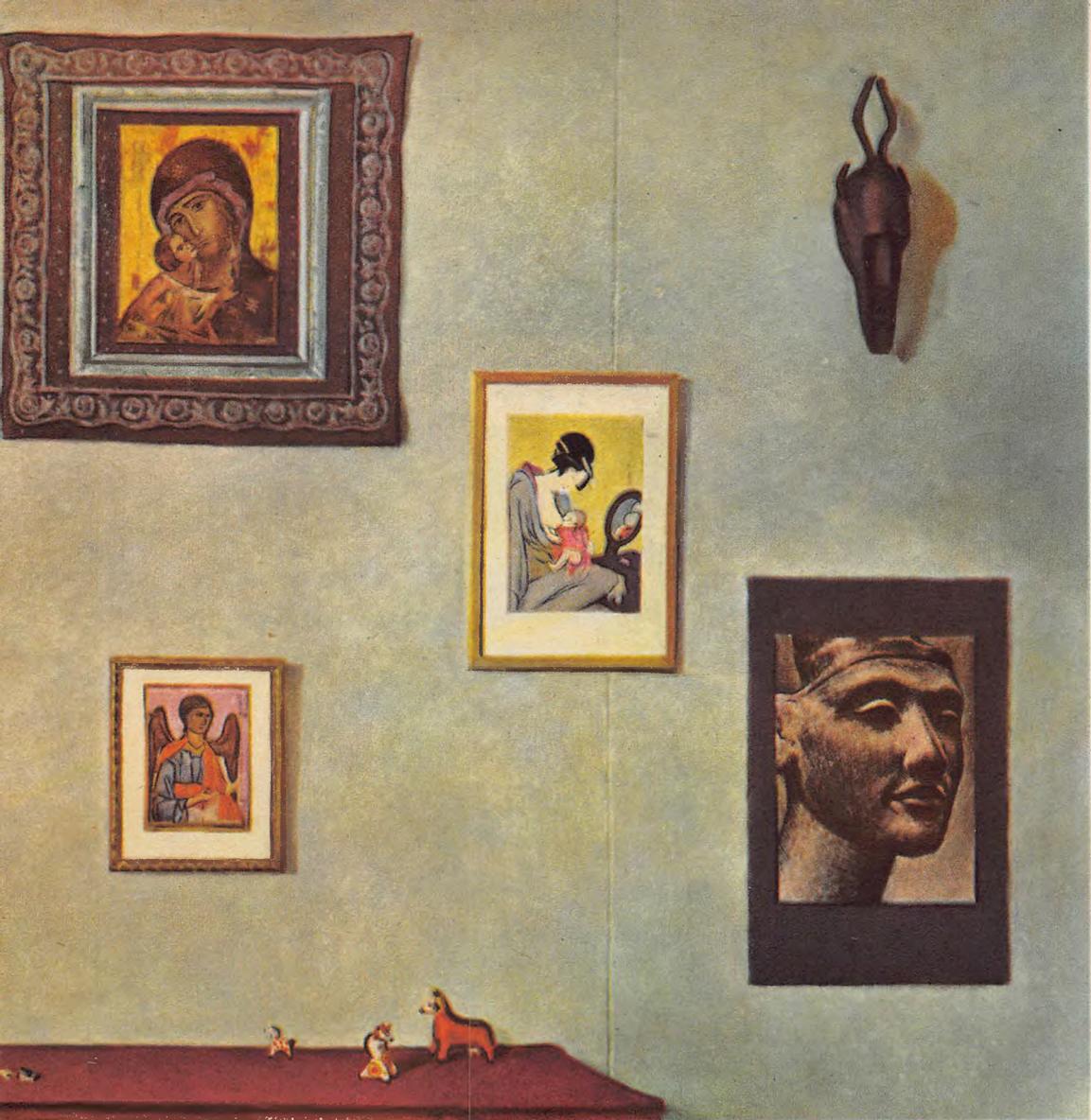


В. Ефанов

Москвичка

ВОСЬМАЯ ВЫСТАВКА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ
ХУДОЖЕСТВ СССР

ГАЛЕРЕЯ
„МОСКВЫ“



Г. Нисский

Натюрморт с вятской игрушкой

А. Пластов
Вовка-неслушник



Э. Калныньш
На Рижском взморье





П. Крылов На солнце

Н. Соколов В Ялтинском порту



М. Куприянов

Москва. Дождь





Иллюстрация к «Северной Авроры»
Н. Никитина

Иллюстрация к книге П. Нилина
«Жестокость»



РАБОТЫ ХУДОЖНИКА А. ЛИВАНОВА

Иллюстрация к «Чапаеву» Дм. Фурманов





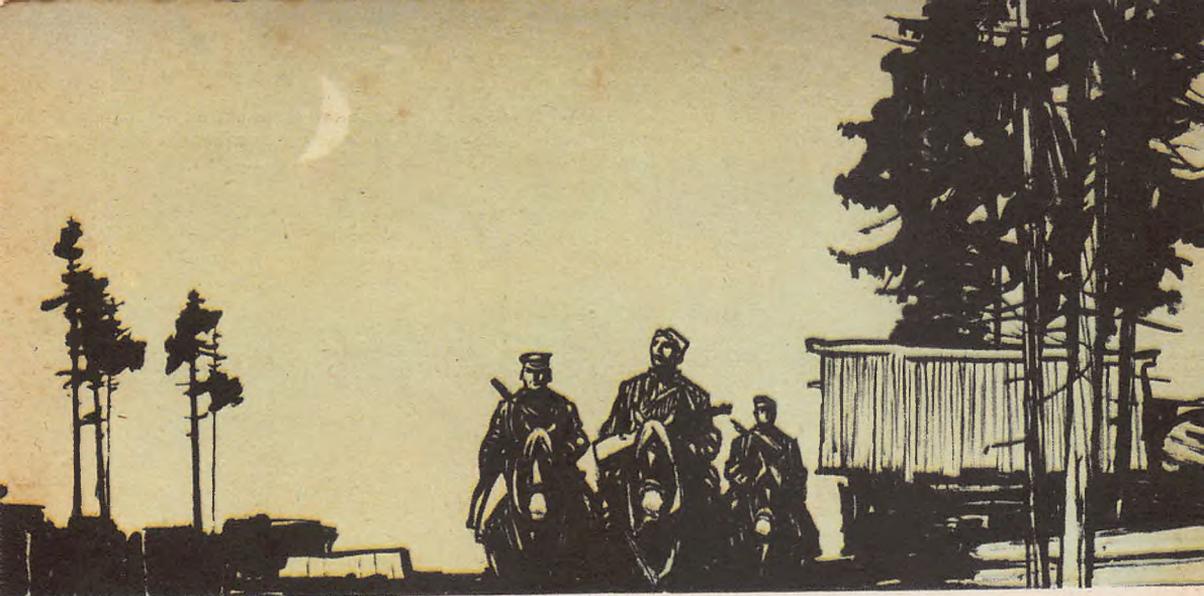
Автолитография «Партизанский край»



Иллюстрация к «Балладе о семнадцати сапожниках» Л. Кондрашенко



Иллюстрация к книге Н. Евдокимова «Чапаевский трубач»



Автолитография «Дозор»



Иллюстрация к «Бронепоезду
14—69» Вс. Иванова



Автолитография «В походе»

«Надо сделать несколько десятков шагов — и все это станет моим,— думала я.— И можно будет потихоньку идти вдоль берега, идти и думать, в то время как морской ветер будет сдувать всю накипь усталости, счищать ее, как счищают нагар с чайника...»

Да, но остров веселья... Как же быть с островом веселья? С аттракционами и тирами, с комнатами страха и с автоматической бабушкой, которая предсказывает судьбу? Не увидеть всего этого?

Вот оно впереди, нечто пестрое, вертящееся, блещущее, с расписными сиденьями каруселей и металлическими рукоятками машин времени и счастья. Нужно сделать всего несколько десятков шагов — и это тоже будет моим...

«Хорошо быть свободной в воскресное утро!» — подумала я с удовольствием.

И в это время заметила, что прохожие, идущие навстречу, останавливаются и смотрят направо, они видят за поворотом улицы нечто, чего еще не вижу я.

Через минуту и я увидела то, что видели они.

Из-за угла показалось шествие.

Шли женщины, одетые в воскресные платья, с одинаковыми белыми косынками на плечах. Шли дети в праздничных костюмчиках — аккуратные девочки со стянутыми в хвостик волосами, мальчуганы в коротких штанишках, спотыкающиеся малыши и даже совсем маленькие, которые не шли, а ехали в колясках, толкаемых мамами. Дети держали за ниточки разноцветные воздушные шары, на которых было что-то написано; такие же шары с надписями были привязаны к коляскам, где лежали беби.

Это была одна из самых удивительных демонстраций, которые я когда-либо видела. Демонстрация, в которой участвовали только матери и маленькие дети.

Колонна подошла ближе, теперь я могла хорошо ее разглядеть.

Косынки на плечах у женщин были выкроены из простого белого бумажного материала — очевидно, наспех, потому что края оказались неровными, с зазубринами от ножниц. На всех косынках было написано наискось большими черными буквами: «Нет — атомному вооружению Западной Германии!» На воздушных шарах, которые несли дети, тоже виднелась надпись: «Моя мама сказала войне во Вьетнаме: «НЕТ!»

Колонна матерей шагала по мостовой, и люди, приехавшие на остров веселья, останавливались и смотрели на шествие.

А матери с детьми все шли и шли.

Шли мимо вертящихся реклам, мимо пестрых весенних витрин, мимо аптек с бутылками виски на прилавках, мимо газетных киосков, мимо зевак, мимо гуляк и мимо людей, провожающих демонстрацию серьезным, понимающим взглядом. Шли по душной шумной улице Кони-Айленд, под жарким майским солнцем. И я повернула и пошла туда, куда двигались они.

В то воскресенье был «День матери», праздник, ставший традиционным в амери-

канских семьях. В этот день матери решили устроить демонстрацию. Ее организовали участницы движения «Женщины, боритесь за мир!»

Колонна матерей дошла до перекрестка. Это был обыкновенный людный перекресток с большим количеством прохожих. В ту же минуту появились полицейские и остановились на четырех углах, неподвижные, как памятники. Четверо полицейских стояли, расставив ноги, и молча, с каменными лицами, смотрели на идущих мимо них женщин и детей.

Но колонна тоже остановилась. И начался митинг.

Настороженные глаза матерей видели грозные языки огня войны, вспыхивающие то в одном, то в другом конце земного шара. «Люди, будьте бдительны!» — говорили матери. — Не дайте злему пламени разгореться...»

И вдруг в какую-то минуту четверо полицейских двинулись с четырех углов к матерям и детям на перекрестке.

То ли истекло засеченное полицейскими время, то ли им просто надоело ждать. Так или иначе, полицейские медленно двигались прямо к центру перекрестка, туда, где выступала одна из матерей.

Очевидно, участницы демонстрации хорошо знали, что такое американские полицейские. Женщины молча перешли с мостовой на тротуары. Сейчас это уже были не демонстранты, а просто матери семейств, вытирающие ребятам потные, разгоряченные лица.

Вдруг стало тихо.

С берега доносились гулкие, тяжкие вздохи накачивающихся волн; сквозь их дыханье был слышен далекий шум, звонкое постукивание, шелканье, чай-то веселый пронзительный крик, разноголосый гул — это шумел Кони-Айленд, остров веселья.

— А все-таки мы провели демонстрацию! — сказала женщина, стоящая со мною рядом, и вздохнула устало и удовлетворенно.

Это была крепкая, выносливая женщина с большими, умеющими работать руками. Рядом с ней на тротуаре стояло двое коротко остриженных мальчуганов. Мальчики держали за нитки свои шары.

— Если бы я умела писать стихи, я сочинила бы молитву, — сказала женщина. — Она начиналась бы так: «Дай мне силы, чтобы победить сильных, сеющих в мире черные злаки войны. Дай мне силы, чтобы поддержать слабых в борьбе...»

— Мама, — сказал один из мальчиков. — Мы скоро пойдем домой? Я уже хочу кушать.

— Мама... — сказал другой, подняв к матери озабоченное лицо в веснушках, и что-то бурно зашептал ей на ухо, когда мать наклонилась. Очевидно, второму мальчику тоже чего-то хотелось.

— Потерпите, — сказала мать. — Помните, что вы — маленькие мужчины и сегодня помогаете матери. Потерпите еще немножко.

— Я собрала тысячу подписей,— сказала другая женщина.— Тысячу подписей под петицией, которую повезут в Гаагу на конференцию женщин стран НАТО, выступающих с протестом против распространения ядерного оружия. Ну что ж такого, если петицию повезу не я, а другие женщины? Все равно, я душой буду с ними. А кроме того, все мы собирали на эту поездку деньги,— добавила она простодушно.— И я тоже дала немножко из своих сбережений...

— Мама...— сказал сдавленным голосом мальчик и переступил с ноги на ногу.

— Сейчас пойдем, Тэдди,— ответила мать, не глядя.— Сейчас пойдем. Нет, что ни говори, мы все-таки сумели провести демонстрацию!

— Неужели мы не добьемся, чтобы с нами считались?— сказала другая женщина.— В мире много матерей. В конце концов у каждого человека, даже самого плохого и несправедливого, есть мать! Ни одна мать на свете не хочет войны. Они должны будут с нами считаться.

— Дай мне силы, чтобы победить сильных...— сказала первая женщина в раздумье и взяла мальчиков за руки.— Пойдемте домой, сынки! Сегодня вы оба оказались молодцами. А теперь действительно надо торопиться— отец нас ждет.

Постепенно вся демонстрация рассеялась; лишь по белеющим в толпе косынкам с косо выведенными черными буквами можно было угадать ее участниц.

Часть женщин пошла в большой зал на той же улице: там было собрание женского клуба — одного из бесчисленных клубов, которые так распространены в Америке. Другие отправились домой или по своим делам.

Лица у женщин были разгоряченные, но довольные. Ведь они все-таки провели демонстрацию и митинг! Несмотря на полицейских. Несмотря на все трудности, которые у них, наверное, были. Как она сказала, эта мать двух сыновей, двух веснушчатых, быстроглазых мальчуганов? «Дай мне силы, чтобы победить сильных...»

...Что ж, я так и не посмотрела Кони-Айленд, остров веселья. Не прошла по влажному песку берега, слушая гул волны. Не покаталась на каруселях и не опустила монетку в машину, чтобы узнать наверняка, что мне предстоит в будущем. Не носилась по треку на дьявольской игрушке — гоночном автомобиле. И даже не узнала, есть ли на Кони-Айленд действительно такие гонки, и машины счастья, и автоматическая бабушка, предсказывающая судьбу.

Может быть, их там вовсе нет и мне зря об этом рассказывали басни. А может быть, и есть. Я этого так и не узнала, и бог весть, когда теперь узнаю.

И все-таки я узнала именно то, ради чего приехала сюда, на Кони-Айленд, в воскресный день.

Мне хотелось пожить хоть час той жизнью, какой живут здесь люди. Это удалось. Поэтому и я считаю, что мне повезло.

Кэтрин вела меня к себе домой завтракать. Сегодня у нее был день рождения. Она шла рядом, седая, пышная, в сиреновом платье; волосы ее были красиво уложены.

Мимо нас, под сенью высоких деревьев, почти смякающихся ветвями друг с другом, неслись по улице машины. Почти в каждой машине за рулем сидела дама. В дневное время, когда мужчины находят работу, автомобильным транспортом владеют женщины. В Вашингтоне это было особенно заметно.

Была заметна здесь и другая особенность: немало сидящих за рулем дам были, выражаясь мягко, очень пожилыми дамами. А если говорить точнее, среди них можно было увидеть просто-таки древних старух.

— Сейчас за углом будет дом, где мы живем,— сказала Кэтрин. Она слегка запыхалась от быстрой ходьбы.— Это совсем близко. Мой муж сейчас у себя в конторе, мы позавтракаем без него.

Впереди у обочины стоял небесного цвета форд, в него, опираясь на палку, с трудом влезала дряхлая леди в шляпке с розовыми цветами. Очевидно, розовые оттенки сейчас были в моде. Цветов вокруг всей шляпки было так много, что казалось — у старой дамы на голове целая клумба.

Упершись палкой в тротуар, старая леди вцепилась свободной рукой в спинку сиденья и, наконец, победоносно влезла в машину. Она уселась, положила палку рядом с собой и схватила руль увешанными браслетами морщинистыми руками.

Мы с Кэтрин прошли вперед. «Как-то она поедет?» — подумала я не без тревоги. И вдруг сзади послышалось: «Вжик!»

Мы не успели и ахнуть, как небесного цвета форд вынесся на середину дороги и обошел все другие машины с такой легкостью, словно те стояли на месте.

Впереди мелькнула похожая на клумбу розовая шляпка. Потом и шляпка и форд исчезли в потоке уличного движения.

— Это еще что! — сказала Кэтрин.— Недавно в Вашингтоне оштрафовали даму семидесяти девяти лет за то, что она ехала с превышением скорости. Кроме того, полисмен показал, что она двадцать четыре раза проехала по красному цвету. Когда у нее попросили объяснений, она сказала, что это было в два часа ночи, она возвращалась из гостей и надеялась, что только она одна едет на машине по городу в такой поздний час...

Мы вошли в квартиру Кэтрин. Здесь было много прохладней. В комнате был легкий беспорядок: на кресле лежал мужской спортивный пиджак, один ящик шкафа остался выдвинутым. Кэтрин смутилась.

— Это Дик, мой сын,— сказала она.— Сегодня у них студенческие соревнования по баскетболу,— наверное, он очень торопился...

Она повесила пиджак на плечики. У входной двери раздался звонок.

— Кто бы это мог быть? — удивилась Кэтрин и пошла открывать. — Пришел почтальон! — крикнула она из передней. — Посылка от Мэджи, моей дочери...

Она вернулась с посылкой в руках. Это была продолговатая белая картонная коробка, перевязанная крест-накрест лентой. Кэтрин открыла ее, внутри лежала цветочная бутоньерка.

Она выглядела очень красиво: белая орхидея, окруженная нейлоновым тюлем и лентами. Кончик стебля орхидеи был обмотан клейким пластырем, пропитанным специальным составом для того, чтобы цветок долго сохранял свежесть.

— Как мило со стороны Мэджи! — сказала Кэтрин растроганно. — Никогда не забывает моего дня рождения. И такая красивая орхидея. — Она приколола бутоньерку к плечу. — А вот и письмо! В стихах, как мило!

Она пробежала письмо глазами и протянула мне.

Это был сложенный вдвое кусочек картона с золотым обрезом и цветным рисунком. Внутри действительно оказались стихи, напечатанные золотыми буквами. Стихи были отпечатаны в типографии, и, вероятно, довольно большим тиражом. Кончались они так:

Много, много повторений
Всем нам радостного дня!
И сердечных поздравлений
От друзей и от меня!

От самой Мэджи была только написанная шариковым карандашом подпись: «Мэдж» и длинный хвостик.

Как я представляю, в цветочном магазине, где Мэджи покупала матери бутоньерку, был целый набор подобных поздравлений. На все события жизни: признание в любви, день рождения, свадьба, праздник рождества и прочие торжественные случаи. Можно простые карточки, можно с рисунком. Можно в прозе, можно и в стихах. В стихах, наверное, немного дороже. За стихи, напечатанные золотыми буквами, берут несколько лишних центов. Но Мэджи не скупится для матери: она выбрала трогательные стихи, рисунок в красках и золотые буквы. Теперь внизу надо только поставить свою подпись, и все будет в порядке. И красиво, и никаких хлопот.

Кэтрин, с приколотой к платью бутоньеркой, хлопотала, готовя завтрак. У двери снова кто-то позвонил. На этот раз, чтобы помочь хозяйке, пошла открывать я.

За дверью стоял близорукий застенчивый молодой человек такого высокого роста, словно был капитаном баскетбольной команды.

— А, Брайан! — сказала Кэтрин, высушившись из кухни. — Входите, позавтракаем вместе. Это Брайан, наш сосед...

— Я только на минуту... — сказал застенчивый Брайан и смутился еще больше. — Дика нет дома?

— Он на соревнованиях по баскетболу. Да вы садитесь, выпейте кофе...

— Спасибо, миссис Роббинс. Я спешу. Я как-нибудь в другой раз, миссис Роббинс.

— Ну как ваши дела? — сказала приветливо Кэтрин, вытирая руки полотенцем.

— Все в порядке, миссис Роббинс! — сказал Брайан, просяяв всем лицом. — Я уже выплатил весь долг. Теперь остались только проценты. Но это уже не так трудно. Главное было выплатить долг.

— Конечно, конечно... — сказала добрая Кэтрин. — Когда у человека нет долгов — у него совсем другое настроение. Ну что ж, поздравляю вас, Брайан! Очень жаль, что вы не хотите позавтракать с нами. Передайте привет Рут, вашей милой жене. Наверное, и у нее сейчас хорошее настроение. Это очень важно для всей семьи, когда нет долгов.

— Спасибо, миссис Роббинс! Передайте привет Дику, миссис Роббинс. — И Брайан, споткнувшись о кресло, выскочил на лестницу.

— Славный малый, — сказала Кэтрин, усаживаясь за стол. — Они недавно поженились, и им предстояло много расходов. Пришлось влезать в долги. А долги — это очень неприятная штука. Хорошо, что у матери Брайана есть небольшой капитал и она смогла ему одолжить деньги.

— Значит, Брайан занял деньги у матери?

— Ну да.

— Только у матери и больше ни у кого?

— Конечно! Я же говорю, что у нее, к счастью, есть небольшой капитал.

— Не понимаю! При чем же здесь проценты?!

— Как при чем? Она же держала деньги в банке.

— Ну и что с того?

— Значит, получала на них проценты. Ведь если бы Брайан занял деньги у кого-нибудь другого, это обошлось бы ему гораздо дороже. А здесь он заплатил ровно столько процентов, сколько полагается, если деньги лежат в банке. Вот и все.

— Господи! — только и могла я сказать. — Господи боже мой!

— Почему вы удивляетесь?

— Ведь это же мать!..

— Ну и что с того? Брайан хороший сын, у него чудные отношения с матерью. Она выручила его в трудную минуту. Но почему мать должна терять проценты и терпеть убыток? Деньги есть деньги! И видите, Брайан уже выплатил долг. И все хорошо, у всех прекрасное настроение.

— Правильно, — сказала я. — У всех прекрасное настроение.

Кэтрин угостила меня вкусным яблочным пирогом. Мы поговорили о движении «Женщины, боритесь за мир!» Потом Кэтрин рассказала о своей семье, о том, что Дик скоро заканчивает образование, ему нравится одна девушка, и, наверное, в июле будет помолвка. Девушку зовут Джулия, она очень славная.

Перед тем как уходить, я попросила разрешения позвонить по телефону. Теле-

фон был в соседней комнате. Говорила я довольно долго: надо было условиться с друзьями о встрече. Когда я вернулась, Кэтрин по-прежнему сидела за столом.

Она держала в руке кусочек картона с золотым обрезом и печатанными золотыми буквами чужими стихами. В углу было одно-единственное слово: крошечная надпись: «Мэдж» и длинный хвостик.

Но Кэтрин смотрела не на стихи.

Она смотрела на стену, пустую, голую стену столовой,— смотрела в одну точку.

О чем она думала? Представляла Мэдж маленькой и вспоминала дни, когда все они были вместе? Сожалела, что дочери нет с ней сейчас, в день ее рождения?

Или просто ей стало горько от того, что дочь не написала ей сама ни строчки?

Не знаю, о чем думала Кэтрин, сидя за столом, на котором возвышался именнинный яблочный пирог.

Но лицо ее было очень, очень грустным.

ДИКАЯ ЯБЛОНЯ

В Вашингтоне я встретила Лавинию. Я познакомилась в Вашингтоне со многими людьми, но мне хочется рассказать откровенно о дикой яблоне и о Лавинии.

Кто же такая Лавиния?

Это маленькая женщина с ясными серыми глазами и очень славной улыбкой. Что-то твердое проглядывалось в очертаниях ее лица — твердое и немного печальное. Мы познакомились почти случайно, но Лавиния сразу меня привлекла — она о многом задумывалась и делилась своими раздумьями доверчиво и прямо. И вот в первый же свободный час мы нашли друг друга и отправились вместе по улицам Вашингтона. Сначала мы решили посидеть в кафе, но потом передумали: неплохо было и просто идти по тенистым улицам и разговаривать на ходу.

Голос у Лавинии мягкий и тихий, говорила она протяжно, глотая несколько большее количество согласных, чем это может спокойно перенести иностранец.

Правда, постепенно я привыкла к ее произношению. Но трудность заключается в том, что едва ты успеешь привыкнуть к тому, как человек произносит гласные и согласные, как уже приходится с ним расставаться. А следующий твой собеседник и знакомый уже, как на грех, не из Чикаго и не из Нью-Йорка, а совсем наоборот — из Огайо...

Лавиния родом из Вашингтона, мать ее по рождению шотландка, отец жил раньше в Техасе. Разговор наш начался с того, что Лавиния рассказала мне о своей пятилетней дочке Эсси.

Однажды она читала девочке книгу, где говорилось о восходе солнца и о красоте утренней зари. Эсси спросила мать:

— Когда я могу увидеть восход солнца, мама?

— Любое утро, если только ты рано встанешь.

— Неужели солнце восходит каждое утро? — удивилась девочка.

— Конечно.

— Это так красиво и все же случается каждое утро? Почему мне никто до сих пор об этом не рассказывал?

— Эсси,— сказала мать.— Для этого существуют на свете поэты. Именно они рассказывают людям обо всех удивительных и прекрасных вещах, которые случаются каждый день, но никто не замечает их, пока поэты об этом не расскажут.

Разговор между матерью и дочерью очень понравился мне, и я сказала об этом Лавинии. Она улыбнулась и покачала головой.

— Нет,— сказала она, смотря прямо на меня своими глубокими серыми глазами.— Эти слова придумала не я. Они из пьесы «Я вспоминаю маму». Эсси задала мне такой же вопрос, какой задает в этой пьесе своей матери маленькая девочка. Очевидно, все дети открывают мир в одном и том же возрасте и, в общем, задают матерям одни и те же вопросы.

— Но матери отвечают по-разному.

— Это верно,— согласилась Лавиния.— Поэтому я и ответила Эсси словами матери из этой пьесы. Мать была очень хорошая женщина.

— О чем же эта пьеса?

— О жизни одной семьи в Сан-Франциско. Очень обыкновенной семьи, которая с трудом сводит концы с концами. Но, конечно, это прежде всего пьеса о матери. Матери, которая изо дня в день отдает силы на то, чтобы сохранить и защитить свою семью, когда она сталкивается с болезнью, с необходимостью забастовки, с угрозой потерь, с тягестями жизни вообще. Пьеса шла у нас на сцене долго. Видимо потому, что людям доставляет удовольствие видеть женщину, которая встречает самые сложные жизненные проблемы храбро и стойко.

— Вы говорите о ней так, словно это живой человек.

— Они все в пьесе для меня живые люди. И, конечно, в первую очередь живой и милый мне человек — мать. Очень славно было у них в семье... В наше время, которое с каждым годом становится все более разрушительным для человеческих душ,— приятно, знаете, перенестись далеко назад, в те дни, когда жизнь была проще, естественней! Это как-то успокаивает.

— Ваша мать жива?

Лавиния отрицательно качнула головой, лицо ее стало грустным.

— Нет,— сказала она.— А ваша?

— Я похоронила ее много лет назад. Но нет, кажется, дня, когда бы я ее не вспоминала.

— В детстве всем нам кажется, что такая, как наша мать,— одна на свете, и нет никого, кто был бы похож на нее,— сказала Лавиния.— Но вот мы становимся взрослыми и вдруг с удивлением замечаем, как много людей напоминают нам мать... С вами это бывает?

Я ответила не сразу.

Мне вспомнились лица старых женщин, в котрых я вдруг с обжигающей печалью угадывала сходство с моей мамой. Как будто ни в чем они не схожи: не было у этих женщин светло-голубых, тихих маминных глаз, не было прямой седой прядки над ухом, а руки их совсем непохожи на мамнины — быстрые мамнины руки с потрескавшейся от стирки кожей... Но смотришь на чужую тебе женщину и вдруг едва не скажешь вслух: «Что же это такое, до чего она похожа на мою маму...»

— Бывает ли это со мною? — повторила я тихо.— Бывает иногда. Наверное, это чувство приходит ко всем людям. Мне кажется, это происходит потому, что когда мы становимся старше, мы начинаем видеть в человеке не только черты его лица, но и черты души.

— Хотите, я расскажу вам одну историю? — спросила Лавиния.— Много лет назад, когда я была в возрасте Эсси, я услышала ее от мамы. Хотите, расскажу ее вам?

— Конечно!

— Только она довольно длинная,— предупредила Лавиния. Мы шли с ней по жаркой улице и обе немного устали от духоты и влажного зноя.— Давайте садим. Вот тут, на скамейке под деревом...

Мы сели, и Лавиния начала рассказывать.

Вот рассказ Лавинии. Я его записала.

«Это было много лет назад, но я помню этот день во всех подробностях. Отец отправил нас с мамой на лето в деревню, к его старым друзьям. У них была небольшая ферма — они работали на ней всей семьей, работали тяжело и много. Это были грубоватые, но хорошие, добрые люди. Мама им старалась помогать, чтобы не быть в тягость. У меня тоже была обязанность: собирать после еды со стола посуду и нести в кухню. Накрывать стол я не могла, потому что полка с посудой была очень высоко, а лезть на стул мама мне не позволяла. Не потому, что она боялась за меня, — она боялась за посуду. Ну так вот, в тот день мама решила пойти вместе со мной к миссис Крамер, тетке нашей хозяйки. Миссис Крамер жила на другой ферме, довольно далеко. Мы свернули с дороги и пошли через поле. Тропинка была горячей и пыльной. Я помню высокие зеленые стебли кукурузы с твердыми, продолговатыми коробочками, откуда свешивались густые зеленые волосы. В пыли глубоко, как в снегу, отпечатывались наши следы: мои были почти в два раза меньше, чем отпечатки башмаков моей матери.

Поле кончилось, за ним был каменный холм. Между двух высоких камней я увидела вход в пещеру, в ней дымился сумрак. Я только заглянула туда — и уже не могла отойти. Снаружи все было мирным и знакомым: жгло солнце, очень хотелось пить, башмаки покрылись пылью, по желтым камням бегали ящерицы... А передо мной был уходящий вглубь подземный коридор с его тайнами, мраком и немотой. Он был так же притягателен, как

шум реки, как живое сильное пламя, как бездонный, гулкий ствол колодца...

Почему мы запоминаем на всю жизнь то, что видели и чувствовали в детские годы? Когда нам мало лет, каждый день кажется огромным, длинным, удивительным. А потом наступает другой, такой же длинный и удивительный, и заслоняет все, что было накануне, словно захлопывает дверь во вчерашний день.

Но мы становимся старше, и двери в наше «вчера» постепенно приоткрываются, одна за другой. И мы снова видим все: наши первые радости и первые беды, тропинки детства, по которым когда-то шли, людей, которых когда-то любили... И все так четко, так ясно, словно память наша тайно берегла воспоминания детства и сейчас проявила, как проявляют негатив...

Но я бы не стала рассказывать это вам просто так, потому что мне приятно вернуться в свое очень далекое «вчера», — продолжила рассказ Лавиния.— Тот день был особый.

Мы с мамой постояли у входа в пещеру, потом она тихонько потянула меня за руку, и мы пошли дальше.

А идти становилось все трудней.

Ноги мои заплетались, я то и дело спотыкалась, чихая от горячей пыли. Хотелось пить, я ужасно устала — мне еще никогда не случалось идти пешком так далеко. Да и мама, видно, устала тоже, потому что все чаще вытирала щеки большим носовым платком, вытаскивая его из кармана юбки. Юбка у нее была длинная, как тогда носили, и весь подол был в пыли.

Мы дошли до пригорка, там стояла старая дикая яблоня с широкой кроной. Земля вокруг дерева была усыпана желтыми маленькими яблочками.

Тень яблони сразу прикрыла нас от солнца, как огромный зонтик. Мама села под дерево, расправила свою широкую юбку и посадила меня на ее край.

Я села, оперлась спиной на ствол яблони, и меня охватило блаженство. Все мое тело отдыхало после долгого пути. Я съела лежащее на земле кислое яблочко, и меня перестала мучать жажда. Мне было хорошо, так хорошо, как еще не бывало раньше. Почему? Ведь я всего лишь сидела на горячей пыльной земле под старым кривым деревом...

И тут мама повернулась ко мне и очень внимательно на меня посмотрела. А я была такая же, как всегда: в майке и красных трусах, босиком, с выгоревшими от солнца волосами, торчащими как перья. Мама повязала мне вокруг головы красную ленту, но волосы все равно торчали.

— Слушай, Винни, — сказала мама.— Когда ты будешь большая, ты обязательно вспомнишь этот день. Потому что сегодня ты в первый раз испытала счастье отдыха после трудного пути. Когда ты вырастешь, тебе придется, может быть, пройти немало трудных дорог.— Тут мама вздохнула.— Но ты не забудешь этот день и дикую яблоню, которая приютила нас в пути.— Мама взяла меня за руку.— Понимаешь... — сказала

она.— Люди по-разному представляют себе счастье. Я хотела бы, чтобы ты научилась видеть его там, где другие порою его не замечают. В жизни у людей немало горя.— Мама опять вздохнула.— Но иногда они просто не умеют быть счастливыми. А мне хочется, чтобы ты умела быть счастливой, Винни. И вот сегодня мы с тобой счастливы, потому что мы — вместе, потому что мы отдыхаем под яблоней после долгого пути.

Мама осторожно раскрыла мою руку. И опять я удивилась: она так долго смотрела на мою измазанную, покрытую царапинами ладонь, словно хотела прочесть мою судьбу.

Потом она прикоснулась к моему мизинцу и согнула его.

— Теперь я хочу еще что-то тебе сказать,— шепнула она.— Видишь, Винни? Видишь, какой это слабый маленький палец? Ты его держишь крепко, и все-таки его очень легко разогнуть. Я только чуть потянула — и вот он уже раскрыт. Ну, согни теперь два пальца!

Мама пригнула к моей ладони мизинец и безымянный палец. Я держала их изо всех сил.

— Ну вот, теперь их немного трудней разогнуть. Мне придется с ними повозиться. Но все-таки...

Мама ухватила за концы двух моих прижатых пальцев и разогнула их тоже.

— Теперь, смотри,— сказала она.— Теперь ты согнула три пальца! Оттого, что они вместе, они стали в три раза сильней. Давай прибавим к ним еще один...

Мама пригнула к моей ладони и указательный палец.

— Вот их уже четверо, и у твоего слабого мизинца есть защитники,— сказала мама.— С ними ему куда легче и надежней жить на свете. А теперь...

И тут мама опять очень серьезно и испытующе на меня поглядела и сжала мою руку в кулак.

— Теперь,— сказала она,— когда все

пять твоих пальцев вместе, ты сразу стала сильной. И, пожалуй, запомни то, что я тебе сейчас скажу! Каждый палец в отдельности — это как человек, когда он совсем один. Трудно человеку быть одному.— Мама облокотилась подбородком на руку и задумалась.— Сейчас ты этого еще не поймешь. Но постарайся все-таки запомнить мои слова. Нельзя человеку быть одному. Пока он один — он так же слаб и незащищен, как твой мизинец. Но вот рядом с ним друзья. Такие друзья, на которых можно положиться, как на самого себя. И для человека уже многое не страшно и не трудно.— И добавила, смотря мне прямо в лицо: — Все это я рассказываю тебе для того, чтобы ты, когда станешь взрослой, вспоминала маму.

Так Лавиния закончила свой рассказ.

Мимо нас прошел старый негр, у него было темное лицо и совершенно белые волосы. Он нес из чистки на металлических плечиках чье-то пыльное розовое платье, прикрытое сверху прозрачным целлофановым чехлом. Негр нес его осторожно и торжественно, словно кремовый торт.

— Теперь вы догадались, наверное, почему мне так нравится пьеса «Я вспоминаю маму»,— сказала Лавиния.— И еще, может быть, вам стало ясно и другое: почему я примкнула к движению «Женщины борются за мир!»

Она улыбнулась мне, мы поднялись и пошли по аллее дальше.

Я обернулась и посмотрела на дерево, под которым мы сидели. Это был каштан с густой темной кроной.

Но, глядя на этот высокий пышный каштан, я видела не его, а дикую яблоню своего детства.

Потому что и у меня, как, наверное, у каждого человека, была в жизни своя дикая яблоня — доброе дерево, которое когда-то приютило меня после трудного пути.



Снег опадает на притихший, насупленный город. Белая суета снега — точно мигание сотен и тысяч свечей. Точно в тяжелых облаках кто-то чеканит крохотные иероглифы и осыпает вниз, на землю, к людям. Попробуй, прочитай их!

Вот оно: большое зимнее дерево. На что оно похоже, ответь! Отсюда — на оледневший раскидистый гейзер. Против света — на сквозную дюралевую конструкцию. А издали — на старинную хрустальную люстру, всю в подвесках, огнях, дрожащих гранях.

Это можно увидеть, почувствовать, пережить; только не надо торопиться — надо замедлить свой поспешный, «московский», шаг, передохнуть, послушать тишину.

Совсем особая, тугая, плотно сбитая тишина встречает тебя на широчайшем подворье бывшего Андроникова монастыря. Она воспринимается, словно некое событие, а не простое отсутствие звуков. Словно не ты вступаешь в нахлынувшее вдруг молчание, а оно надвигается на тебя, громадное, как линкор, спущенный в море со стапеля. Только деревья-люстры позванивают слегка неверными хрустальями: день-синь... синь-день...

Человек охотно привывает к чуду. Должно быть, древние жители Вавилона, поспешая по своим древним делам, весьма равнодушно поглядывали на знаменитые висячие сады Семирамиды. И только не-

обычайное сразу же привлекает взор. Помню, как я остановился в изумлении возле промокшего от клейстера афишного стенда: прямо на меня пытливо и внимательно смотрел... святой Кузьма, бескорыстный народный целитель с лицом мастерового. Это была афиша музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева.

И тогда же я впервые услышал недоуменный вопрос: а кому он нужен, этот музей икон?

Плотный, розовощекий дядя в костюме полувоенного образца разводил удивленно руками, приглашая нас, собравшихся возле стенда, изумиться вместе с ним. Его глухой защитный френч топорчился от негодования, блестящие сапоги самоуверенно отражали мироздание...

Красота старинной русской иконы раскрывается не сразу. Для того чтобы постичь ее хотя бы в начатке, нужно думать, нужно стараться, а главное — нужно хотеть. Большой камень тяжел лишь в неподвижном состоянии; сдвинутый с места, он становится легким. Постарайся же проникнуть в подчас затемненный смысл древней живописи, и ты будешь щедро вознагражден: с каждой минутой тебе станут открываться все новые и новые секреты прекрасного.

Вот доска XVI века с изображением Иоанна Предтечи — одна из многих и многих, выставленных в залах музея. Она была написана в Александрове по заказу Ивана



Грозного, считавшего Иоанна Предтечу своим покровителем. Как же передал безымянный художник свое понимание тех сложных и кровавых событий, очевидцем которых был он сам, простой русский человек из пригорода?

Страданием сведены и надломлены крутые брови Иоанна. Темные, широкие крылья плещутся за его спиной. По краям они обведены кинovarью: словно отблеск большого пожара, пожирающего огня окрасил их прекрасно и мрачно. В руке Иоанна — чаша с собственной его отсеченной головой. Мучительное предчувствие будущей страшной судьбы во всей напряженной фигуре святого. А фон иконы однотонен и пуст. Только символ бедствия — срубленное дерево — изобразил художник. Острая секира всажена в изогнувшийся ствол.

Конечно, это только из области предположений; но делается, что тревогу и смятение должен был ощутить своенравный царь, взглянув на этот правдивый и мятежный портрет времени.

Не знаю как для кого, но для меня несколько минут созерцания этой, истинно потрясающей работы значили больше, чем десятки и десятки прочитанных страниц в многотомных книгах и учебниках по истории.

Скрипнули добротной тяжелой сапоги. Вот он, наш старый знакомец, — плотный дядя в полувоенном костюме!

— Ну и что? — бормочет он себе под нос, но достаточно громко, чтобы слышали окружающие. — Лик у него какой-то кривой... И где это слыхано, чтобы у человека было две головы: одна на плечах, а другая, видите ли, про запас в чаше!

Вспоминается по этому поводу одна восточная притча. Однажды спросили у летучей мыши:

— Почему ты не летаешь днем, а летаешь ночью?

Она ответила:

— Я не люблю темноты дня, предпочитаю свет ночи...

Одним словом: не желающий видеть да останется слеп!

Таких — немного; считанные единицы. Однако вопрос этот представляется достаточно серьезным, чтобы поговорить о нем подробнее.

Лежит на маленьком столике книга отзывов в бархатном переплете. И никто специально не просит людей записать свои

впечатления; сами подходят они и оставляют на страницах бесхитростные свидетельства своего восхищения перед мастерством далеких предков, свидетельства родства и национальной гордости.

Но стоп... Что это?

«Я — участник гражданской войны и двух революций. Не понимаю, зачем потребовалось собирать в этих стенах никому не нужные предметы культа! Не для того я боролся и проливал свою кровь, чтобы людям отравляли головы религиозным дурманом. Предлагаю: освободить прекрасное помещение музея для проведения действительно полезных культурно-массовых мероприятий: показа кинокартин, чтения лекций».

И — подпись.

Это уже не брюзжание розовощекого дяди. Запись требует специального ответа. Требуется ответ глубокое уважение к революционному прошлому писавшего эти строки. И писавшего — сомнения нет — вполне искренне и убежденно.

Прежде всего просмотрим книгу отзывов дальше; внимательно и по порядку. Вот слова некоторых зарубежных посетителей...

«Я хочу выразить свое горячее восхищение и уважение к превосходной работе, выполненной музеем по сохранению древнего искусства этой страны, к которой я испытываю самую большую любовь». Неровные латинские буквы. «Диего Ривера».

«Искусство делает людей лучше. Люди должны понимать свое искусство. Я уже была здесь несколько раз. Я думаю, что пришло время, чтобы все произведения искусства, которые здесь имеются, заняли достойное их место. Анна Зегерс».

Немецкая писательница выразила эти свои пожелания в пятьдесят шестом году, когда музей Рублева только-только вставал на ноги. Она поняла всю глубину древнерусской живописи и беспокоилась, болела сердцем о сохранности шедевров, казалось бы, чужого ей искусства.

Здесь же можно прочитать и отзывы крупнейших наших художников и ученых: Фаворского, Сергея Герасимова, Лихачева, Воронина и многих других. Известные скульпторы, писатели, артисты — все благодарят сотрудников музея за огромный, самоотверженный труд; труд, который дал нам возможность сегодня насладиться созерцанием замечательных работ, стоящих на уровне высших достижений мировой

культуры. «Уходим преображенными и потрясенными...» — вот главная тема всех этих взволнованных признаний. И не верить им нельзя.

Впрочем, быть может, понимание иконописи — удел избранных, удел причастных сокровенным тайнам искусства?

Нет, нет, и еще раз — нет!

Более девяти десятых всех отзывов принадлежат людям, далеким от живописи и слова. Пишут рабочие московских заводов, студенты технических вузов, школьники, врачи, люди военные, просто — домашние хозяйки. Многие зашли в музей чисто случайно, а покинули его, открыв для себя неожиданный, новый, огромный и праздничный мир. И они радуются прекрасному своему открытию-подарку.

Один особенно эмоциональный посетитель сочинил даже стихи. Некоторая наивность стиля с лихвой окупается в них обилием восклицательных знаков.

А другой новоиспеченный любитель иконописи начал свой отзыв с императива: «Объявляю благодарность!..»

Довольно статистики. Она понятна и без комментариев. Своеобразный подсчет голосов красноречиво говорит: людям нравится музей; они не хотят, чтобы в его залах показывали кино или проводили собрания. Они объявляют благодарность...

Но может статься, тут-то и кроется основная опасность? Может статься, все эти инженеры, врачи, педагоги, рабочие, студенты, школьники — подпали под влияние религиозного дурмана? Однако доказывать вопиющую нелепость данного предположения — труд лишний и неблагодарный.

И вообще, стоит ли рассматривать древнерусскую икону как предмет культа? Ведь даже в школе, на уроках истории, учащиеся постигают все сложные и запутанные взаимоотношения богов греческого Пантеона. А работы художников западного Возрождения, в таком случае, представляя собой даже определенную социальную опасность! Однако никому не приходит в голову подумать о «Сикстинской мадонне» Рафаэля именно с этой точки зрения.

А ведь какой непоправимый ущерб нанесли некоторые особо рьяные администраторы делу сохранения шедевров старинной русской культуры! Бесценные иконы уничтожались, хранились в полузатопленных подвалах, из них соорудали стеллажи для хранения амбарных книг и прочих «высокохудожественных» документов.

Сотрудники-«рублевцы» рассказывали мне, что, приезжая в районные хранилища и краеведческие музеи, они первым делом просят показать им не парадные залы, а кладовки, чуланы и чердаки: именно там скорее всего и обнаружишь почерневшие и «больные» доски тончайшего письма древних мастеров.

Страшно смотреть, в каком виде пребывают в музей Рублева новые экспонаты. Они сплошь изъедены голубиным пометом, исцарапаны, попорчены многолетней сыростью, порою расщеплены. И лишь долгий

труд художников-реставраторов возвращает людям ту красоту, которую чуть было не похитили у них пресловутые розовощекие дяди в начищенных сапогах.

Больше того: они чуть было не сорвали само открытие музея! Достаточно сказать, что решение правительства о мероприятиях по сохранению памятников архитектуры Андроникова монастыря было принято еще в 1947 году. Музей был задуман как подарок москвичам к восьмисотлетию Москвы. А открылся он только в шестидесятом году.

Разбирая архивы музея, я находил гневные письма каких-то полусановных деятелей с требованием отменить решение правительства. Аргументация была крайне показательна: музея еще нет, а он привлекает огромное внимание советских и зарубежных любителей искусства!

Однако эти бумажки-окрики почти потерялись среди десятков и сотен писем от людей, болеющих сердцем за только-только рождающийся музей. Имена тут стояли все больше известные, уважаемые. Назову немногие из них: А. Яблочкина, Кукрыниксы, К. Юон, В. Бакшеев, С. Герасимов, Д. Шмаринов, И. Грабарь.

Разбираешь лямкие от времени бумажки с машинописным текстом, а за ними — борьба, надежда, отчаяние.

Сейчас Андроников монастырь — один из красивейших уголков Москвы. На высоком холме стоит он над неказистой речкой Яузой, круто вознесенный над городом, — точно солист на сцене перед притихшим и благоговейным партером. Белые его стены говорят о чистоте и покое. Грозные его стены говорят о мощи и твердости духа. Легкие его стены говорят о чувстве красоты и полета. Стрельчатая угловая башня рвется в небо неожиданными уступами, точно серебряный женский голос, забирающий в верха октавы. В центре широкого монастырского подворья стоит старейшее здание Москвы — Спасский собор, распавший некогда самим Рублевым. К сожалению, драгоценные эти фрески были вырублены из стен — должно быть, в XVIII веке.

В сорок седьмом году монастырский двор представлял собою странное, чудовищно разросшееся подобие знаменитой «Вороньей слободки». Более трехсот человек ютилось по нездоровым и темным монашеским кельям. Угрюмые сараи-дровяники и крошечные заборчики из токарных отходов перегораживали широкое, как вздох, пространство. Снег был запятнан перегоревшим черным машинным маслом; здесь же стояли станом гаражи Главнефтегаза и Осоавиахима. Строгие люди с железными от мороза портфелями шагали в архив Главного управления трибуналов...

Не так давно, прогуливаясь вдоль свежепобеленных монастырских стен, я познакомился случайно с весьма разговорчивым гражданином.

— Красиво? — спросил он и сам себе убежденно ответил: — Ух, как красиво! А прежде я здесь жил, горе мыкал. Будто поп какой... Теперь хорошо: новую квар-

тиру дали! Два крана: в одном горячая вода, в другом холодная... А все ему спасибо, здешнему директору. Из грузин был, золото — человек!

Его уже нет в живых — Давида Ильича Арсенишвили. Но невольно поражаешься, когда слышишь, с какой любовью произносятся это имя все работавшие вместе с ним. О нем много и охотно рассказывают. «О, это был настоящий музейщик!» — говорят рублевцы, и в их устах это звучит высоким символом признания.

Существует общепринятая формула: человек, отдавший всю свою жизнь... В данном случае она как нельзя лучше соответствует действительности. Давид Ильич Арсенишвили посвятил любимому делу именно всю свою жизнь; он жил исключительно судьбой своего беспокойного детища, безропотно отрекаясь от всех материальных благ, на которые имел безусловное и заслуженное право.

Экономист по профессии, он глубже многих деятелей культуры понимал огромное значение доверенного ему дела.

У Арсенишвили были и недруги. Они обвиняли его и в отсутствии московской прописки, и в недостатке специального образования, и в других смертных грехах. А он ютился в нетопленных монастырских службах и верил, до конца верил в успех.

Счастье есть борьба. В конечном счете — это несомненно. Однако, должно быть, случались в жизни у счастливого человека Давида Ильича Арсенишвили такие минуты и дни, когда опускались руки, когда становилось до боли обидно, когда делались вокруг особо заметными теснота и сумрак помещения, где приходилось ему обитать.

Победа была одержана: двадцать первого сентября 1960 года ветренным и неярким осенним днем был открыт музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева.

Самые древние иконы и фрески собраны в суперсовременном здании: стекло и бетон. Пахнет старым деревом и калориферами. Одним словом: пахнет контрастами — радостью журналиста.

Вот фотокопия миниатюры из рукописной книги: единственный дошедший до нас «портрет» гениального художника. Рублев изображен здесь за работой; он притулился на дощатых лесах и пишет фреску. Тучный и немолодой, он чем-то напоминает Иоганна Себастьяна Баха.

Вот «Шествие праведных в рай». Особенно интересна здесь фигура возглавляющего толпу апостола Петра. Где традиционные медлительность, спокойствие и благость святого? Это — оратор, это — деятель, это вождь! Он ведет людей к счастью, к освобождению от тягот юдоли. В этой связи интересно отвлечься и вспомнить, что сам Рублев был современником Куликовской битвы, освободившей Русь от векового гнета татар.

Страшный суд. Земля и Вода отдают мертвых. Не знаю, была ли создана подобная по силе воздействия аллегория во всем западном искусстве... Разверзлись

гробы. Странные животные бредут через всю фреску: лев, отдаленно напоминающий льва: слон с длинными когтями на лапах. Вода — пухлая женщина с распущенными волосами, протягивает на ладони затонувший корабль. Химерических обитателей моря являет нам фантазия художника.

Но, на мой взгляд, наиболее прекрасна в этом зале голова Иоанна Предтечи, приписываемая Андрею Рублеву. В двадцатом веке Роден создал свою знаменитую фигуру Мыслителя. Мы восхищаемся силой интеллекта, заложенной в этом нагом, могучем человеке, склонившем голову на руку, а локоть упершем в колено. Эта скульптура знакома всем. Но отнюдь не все знают, что за шесть веков без малого до рождения Родена в Николо-Песношском монастыре был создан портрет — да, да! — я не боюсь этого слова, — портрет человека, не уступающий по глубине проникновения знаменитому бронзовому гиганту. А может быть, и превосходящий его по красоте и трагичности.

Продолжая эту, несколько парадоксальную параллель, можно сказать, что, если роденовский Мыслитель выспрашивает судьбу, то рублевский Иоанн знает ее.

Тревожное знание легко читается в его сосредоточенном взоре.

Краски древнерусской иконописи поразительны. Через многие сотни лет, освобожденные от слоев позднейшей записи, фигурного гипса и потемневшей олифы, они взрываются многоцветной новизной, точно только что отложил на минуту мастер свои кисти, вышел ненадолго и сейчас вернется, и снова примется за работу.

А ведь художники-реставраторы не кладут на доску ни единого нового мазка, ни единой линии. Они только обнажают первоначальную живопись. И таковы заложенные в ней энергия и сила, что, пробившись через лабиринт эпох, подобно свету угасшей звезды, они властно приковывают наше внимание, поворачивают за плечи и требуют: смотри!

А богатство вымысла и сюжета! Вот чудотворная икона летит в небесах, спасаясь от поругания супостатов. Богородица произносит молитвы перед смертью; в глубокой печали кланяются ей в пояс деревья. Бесенок, изгнанный из тела расслабленно, прыгает в испуге в колодец.

Вообще, пересказывать содержание икон — бессмыслица. Литературность губит живопись, как губит она и любое другое искусство, в том числе и литературу. Помню, как однажды слушал я симфоническую поэму «Александр Матросов». Вот музыка достигла трагического звучания... выше, выше... теперь — вершины своей... траурно зазвенели скрипки, ударили литавры... За спиной кто-то сказал: «Убили!»...

Стало смешно и страшно.

Поэтому я не стану описывать здесь многоцветные доски Дионисия, не стану рассказывать об изысканности его мировосприятия. Не буду также пытаться передать словами всю безмерную красоту старорус-

ских мадонн-богоматерей, всех этих Смоленских, Толгских, Владимирских, Одигитрий. Скажу одно: каждая из них могла бы стать украшением любого крупнейшего музея мирового масштаба.

И если вы не были на площади Пряикова, в бывшем Андрониковом монастыре, то не говорите об этом никому,— стыдно. Садитесь лучше в метро, доезжайте до площади Дзержинского, а там автобусом почти до самых ворот музея.

Это надо видеть, надо знать. Думается: каждый русский человек должен быть горд тем, что прошлое его страны, его Родины озарено гением таких мастеров, какими были и Дионисий, и Данила Черный, и сам Андрей Рублев. Человек, проникнутый этим чувством, никогда не пройдет мимо варварского отношения к древним памятникам. И уже никогда не простит фашистских каннибалов, взорвавших церковь Спаса-Нередицы, славившуюся на весь мир. Ни через двадцать лет, ни через соток — никогда!

И глубоко не правы те «воители-атеисты», которые считают собирание икон делом второстепенным, несвоевременным и несовременным. Мы — не Иваны, не помнящие родства. Мы свято и бережно будем хранить драгоценное наследство, оставшееся нам от безымянных предков: художников, мыслителей, воинов, бунтарей...

Своеобразен внутренний быт музея. Вхожу и вижу: за широким столом сидит крохотная девочка лет семи и ест остывший суп из алюминиевой мисочки. Ее окружают аскетические лики каких-то столпников, пустынников, преподобных и прочих святых, столь мало годящихся ей в компанию. А рядом двое молодых работников музея разговаривают вполголоса:

— Яйц десяток купили!

— Да. И масла подсолнечного двести граммов...

Впрочем, первое это гастрономическое впечатление объясняется весьма просто: девочка — дочь одной из сотрудниц; мама целые дни проводит в музее; девочку оставить не с кем. А яйца и масло необходимы для реставрации «больной» иконы: ведь краски разводили на яичном желтке.

На подоконнике — телеграмма: «Получайте товара сто шестьдесят пять килограмм». Товар — это иконы. Их послали музею участники экспедиции, специально командированной в какой-нибудь дальний город, где, может быть, древние шедевры погибают в забвении.

Денег на перевозку икон не отпущено. Их приходится собирать между собой. Это — одна из горьких традиций музея.

День привоза — большой день, тревожный. Все собрались в одной комнате, беседуют о пустяках: все ждут. Чем черт не шутит! — среди ста шестидесяти пяти килограммов «товара» может оказаться нечто такое... Впрочем, лучше не загадывать. Поплоем через плечо: тыфу, тыфу!

Грузовик пришел! И по закону жанра: шофер попался какой-то странный, не от



*Старший научный сотрудник
Ирина Александровна Иванова*

мира сего — весь в бороде, едва видны глаза. Сгрузил иконы и говорит:

— Завтра приду поглядеть, что вез. Расскажите все подробненько?

— Расскажем, расскажем, — обещают ему поспешно.

Он удаляется величаво.

Долой веревки, бечеву, бумагу! Почти черная от времени поверхность иконы тускло взблескивает в электрическом свете.

— Неопалимая Купина... — вздыхают все разом. — Семнадцатый век...

Теперь икона пойдет на второй этаж, к реставраторам. Винным спиртом, нашатырем, скипидаром снимут они слой потемневшей олифы, скальпелем бережно расчистят изначальную живопись. И, быть может, икона, служившая стеллажом в сельской бухгалтерии, войдет в каталоги выставок, в учебники живописи.

Здесь тишина. Здесь время отходит вспять. Сняли первый слой записи — и мы в семнадцатом веке. Сняли второй слой — в шестнадцатом. А сквозь краску уже сквозят, словно течение реки подо льдом, тончайшие черты пятнадцатого века...

Ступайте осторожнее — реставратор

работает. Его движения микроскопически точны. Ведь он снимает мазки толщиной в десятые доли миллиметра. Десятые доли миллиметра отделяют одну эпоху от другой. От Куликовской битвы до Грозного — десятые доли миллиметра.

Александр Васильевич Кириков реставрирует сейчас икону из города Калазина «Николай Чудотворец с клеймами жития», написанную в конце XV — начале XVI века. Большая часть доски уже расчищена; можно с уверенностью сказать, что «Никола» — произведение редкое, замечательное; возле него будут подолгу стоять взволнованные люди, наши современники.

Древняя иконопись целиком построена на символах и условностях. Поза, движения рук, композиция — все это является своеобразными пиктограммами, наделенными особым, традиционным, сугубо определенным смыслом. Однако работы подлинно народных мастеров зачастую привлекают нас не своей символическостью, а, напротив, точностью бытовых деталей, так сказать буквальностью в понимании чуда.

Весьма ярко это удивительное качество проявилось в иконе, расчищаемой сейчас А. В. Кириковым. Одно из клейм, окружающих центральную фигуру, представляет собой чудесное спасение Николаем Угодником маленького рыбацкого судна. Святой не останавливает бурю, нет, он просто сам садится за руль баркаса и уверенно лавирует среди наивно округлых волн. Другая миниатюра: богородица является коленопреклоненному святому. Недостойный же его ученик наелся чего-то «благоухающего» — чесноку, что ли? — и прячется от богородицы за кустом!

Профессия Александра Васильевича — потомственная. Его отец, Василий Осипович Кириков, — крупнейший советский реставратор старшего поколения. Вот на соседнем столе лежит доска почти законченная: «Явление богородицы Сергию Радонежскому». Над ней трудится Василий Осипович. Он начал эту свою работу еще в 1923 году.

Дело художника-реставратора кажется мне образцом и символом любви и скромности. Ведь долгие годы жизни и сурового труда уходят на то, чтобы чужой гений преодолел препоны времени и засиял, буд-то вновь рожденный, нетленным огнем.

Подходя к концу своего очерка, я встретился с определенной сложностью. Как рассказать о всех тех гостеприимнейших людях, которые и представляют живую душу музея? Решить эту задачу помогла мне директор музея Галина Анатольевна Беляева.

— Здесь особенные люди. Я и прежде много работала в музеях. Надо сказать: музейщики всегда — народ увлеченный. Но эти — одержимые... Не хранители, а творцы! В других музеях уже сложились, сформировались свои традиции. У нас — только создаются.

Один из наших принципов: внимание к каждому посетителю. Совсем не обяза-

тельно дожидаться, когда соберется экскурсия; любой может подойти к консультанту, и он проведет по залам, расскажет все, что его интересует.

В музее очень маленький штат: всего пять или шесть научных сотрудников. Поэтому не существует здесь и строгого распределения обязанностей: каждый сотрудник занимается всем: и научной работой, и лекциями, и сопровождает экскурсии.

— Водить экскурсии никогда не скучно, — призналась мне Аля Куклес, — настолько необычен сам предмет, что всегда вынесешь и для себя что-то новое...

Рабочий день музейщика фактически не нормирован — с самого утра и до синего вечера. Но и в выходной вы застанете в Андрониковом большое оживление: меняют экспозиции, читают, трудятся...

Меня предупреждали загадочно: «Вы не разберетесь в сути вопроса, если не поговорите с Натальей Алексеевной Деминой!» Это она, вместе с Д. И. Арсенишвили, была истинным организатором музея. Это она поставила все дело на научную основу. Она — тончайший знаток древнерусского искусства, бескорыстнейший его исследователь и популяризатор.

Я прочитал ее книгу: мне хотелось звонить по телефону всем друзьям и знакомым и требовать, настаивать: «Вы не читали «Троицу» Деминой? Прочитайте скорей. Это — нужно!»

Завесу над сущностью иконы приподняла для меня Ирина Александровна Иванова. Старший научный сотрудник, она работает в музее дольше всех: вот уже скоро пятнадцать лет. Без нее я многого не рассмотрел бы, многого не понял...

— Глядите, — говорит она, показывая на иссеченную временем фреску, — как сильна в этом ученике Иисуса духовная жажда! Он напряжен, он весь в ожидании!

И вот — интересная подробность: все сотрудники музея отчаянно молоды. Два-три года после окончания института.

Люди получают древнейшее искусство из рук юных!

Это — знаменательно.

В заключение позволю себе прибегнуть к аллегории. В древних пластах слежавшегося песчаника геологи находят иногда странные ветви, словно взвоянные из стекла. Долгое время происхождение этих ветвей являлось для ученых необъяснимой загадкой. И лишь недавно удалось расшифровать секрет «подземных кораллов». Оказывается, давным-давно, тысячи лет назад, шумели в облаках грозы и молнии ударили в землю. Они расплавляли песок и превращались в собственные свои изваяния, строго сохраняя изначальную форму, очертания напряженности, мощи и полета. И сейчас, когда берешь в руки остановившуюся молнию, ты слышишь заново разбойный бубен грома, вдыхаешь озон давно отшумевшей грозы, жмуришься от блеска, пребывающего во веки веков. И пробужденные молнии озаряют неведомые тебе самому уголки твоего сердца...

ХУДОЖНИК-ВОИН

В ноябре 1965 года умер художник Андрей Павлович Ливанов, один из талантливейших советских графиков, творчество которого было органически связано с советской литературой.

Слова «талантливый художник» отнюдь не определяют еще всей духовной сущности А. П. Ливанова. Это была очень цельная индивидуальность, личность в высочайшем и широком смысле этого слова. Непримиимый, требовательный и к себе и к людям, внешне — только внешне! — суровый, — таким он проходил по жизни.

Творчество А. П. Ливанова отличалось удивительной пластической строгостью, той графической лаконичностью, которая глубоко враждебна какому бы то ни было украшательству, щегольству. Ясность и выразительная строгость рисунка определяли стиль его графики.

Основной темой его произведений была народная война, война за человеческие права, за счастье людей. Она не была произвольно избрана художником, а возникла из жизненных обстоятельств, которые формировали Ливанова, начиная с мальчишеского возраста.

Ему было восемь лет, когда в 1918 году, в разгар гражданской войны и голода, отец (юрист по профессии) отвез семью в Мензелинск-на-Каме, расположенный в нынешней Татарской республике.

Тринадцать раз переходил Мензелинск из рук в руки. Война, жестокая гражданская война, с ее возвышенной романтикой и повседневной беспощадностью, наложила неизгладимую печать на склад личности будущего художника.

В 1924 году семья вернулась в Москву. Андрей поступил в школу с «телефонным уклоном», по окончании которой, в 1930 году, он два года работал телефонистом. В школе началось увлечение спортом, сыгравшим большую роль в его жизни.

По окончании школы Андрей Ливанов держал вступительные экзамены в 1930 году на операторский факультет ГИКа, в 1931 году — во ВХУТЕИН. Однако лишь в 1932 году, приобретя двухлетний рабочий стаж, он поступил в Московский Институт изобразительных искусств.

Время пребывания Ливанова в Институте имело огромное значение для формирования его личности, благодаря повсе-

дневному творческому соприкосновению с Владимиром Андреевичем Фаворским, в мастерскую которого он попал. Здесь Ливанов не только получил профессиональные знания. Фаворский стал для него высоким примером цельного, монолитного человека-творца, у которого эстетические взгляды органически сплетены с моральными принципами, эмоциональное восприятие тесно содружествует с размышлением, с интеллектом. Ливанов был захвачен его эстетической философией, столь близкой по смыслу прекрасному тезису Белинского: «Красота — не истина, не нравственность, но красота — родная сестра истине и нравственности».

Увлечение Ливанова спортом продолжается и в вузовские годы, приобретает жизненно направленный характер: он становится инструктором альпинизма, участвует в 1934 и 1935 годах в походах к вершине Эльбруса.

А. П. Ливанов окончил Институт в 1938 году. Его дипломная работа: серия линогравюр на тему «Колхозный Узбекистан».

Годы 1938—1940 художник на действительной военной службе, а в первые же дни войны, в июле 1941 года, он идет добровольцем в армию вместе с лучшими спортсменами общества «Динамо».

Боевая обстановка Великой Отечественной войны будит в душе молодого художника отроческие воспоминания о гражданской войне, обостряя и обобщая их. Здесь окончательно формируется художник, для которого многогранное раскрытие темы народной войны стало смыслом всей творческой жизни.

Спортсмены-добровольцы участвовали в боях под Москвой, на Волоколамском направлении. Ливанов участвовал и в историческом параде на Красной площади 7 ноября 1941 года, с которого воинские части прямым маршем отправлялись обратно на фронт.

В феврале 1942 года Андрей Ливанов, вместе с группой спортсменов-добровольцев, переходит линию фронта в составе лыжного отряда особого назначения, получившего задание по организации партизанского движения в фашистском тылу.

С этого времени жизнь художника-партизана проходила в лесах Белоруссии, где на островах, среди болот, разбросаны бы-



Иллюстрация из книги Дм. Фурманова «Чапаев»

ли отряды народных мстителей. Он всегда выбирал трудную стезю и недаром стал командиром группы партизан-разведчиков.

В июне 1942 года Ливанов был тяжело ранен. Товарищи по отряду, выполняя срочное боевое задание, не могли немедленно транспортировать его и оставили одного в лесном укрытии. Вернулись они за ним через несколько дней.

Осенью 1942 года отряд вышел из тыла. На телеге привезен был на Большую землю и выздоравливающий после ранения А. П. Ливанов.

В дальнейшем он участвовал в боевых операциях в Крыму и в Литве, где одновременно был активным сотрудником дивизионной газеты.

В этой боевой обстановке он в 1943 году вступил в партию.

* * *

Великая правда народных революционных войн — гражданской и Великой Отечественной — тесно сплелась в сознании Андрея Ливанова с поисками правды эстетической. Это породило в нем ту суровую требовательность, которая отвергала в искусстве малейшую фальшь.

В послевоенные годы еще ближе, еще ценнее для него стали основы эстетики В. А. Фаворского, ибо Ливанов-правдолюбец находил в ней целостную концепцию,

объединяющую правду жизни, правду искусства и моральную правду.

Естественно и закономерно, что первые послевоенные работы Ливанова были посвящены образам-воспоминаниям о партизанской войне. Его автолитография «Партизанский край», выразительно передающая народную печаль и гневную решимость, является в советской графике одной из наиболее глубоких и образных работ на эту тему.

Любимым образом А. П. Ливанова был Чапаев. На протяжении многих лет он возвращается к нему и в иллюстрациях к книге Дм. Фурманова, и в станковых эстампах (автолитографии и линогравюры). Иллюстрации к «Чапаеву» Фурманова в издании Гослитиздата 1962 года — прекрасный итог многолетнего увлечения художника этой темой. Отличным образцом ливановского графического стиля являются черные рисунки к книге Н. Евдокимова «Чапаевский трубач» (1962 г.).

В 1947 году творчество Ливанова неразрывно связано с советской литературой, посвященной войне. Из всего сказанного выше с достаточной ясностью следует, что тематическая направленность А. П. Ливанова не результат рассудочного выбора, а органическая, страстная необходимость высказаться. Это — глубокое самовыражение.

К книге стихов М. Луконина «Сердцебиение» художник режет небольшие гравюры на дереве, отличающиеся тонким мастерством. Он иллюстрирует стихи Ильи Френкеля, книгу Татьяны Лагуновой «В лесах Смоленщины» и др.

Размер статьи не дает возможности остановиться на ряде других книг, иллюстрированных Ливановым в пятидесятых годах (в том числе «Война в тылу врага» Линькова, «Северная Аврора» Никитина и др.), но мне хочется сказать несколько слов о «Звезде» Казакевича. Один лишь рисунок помещен в этой небольшого формата книге в качестве фронтисписа — уронившая голову на руки, заснувшая радистка. Но рисунок этот так эмоционально выразителен, что художнику удается изобразительными средствами сразу же ввести читателя в атмосферу этой книги.

В 1965 году, в год смерти А. П. Ливанова, были выпущены две книги с его иллюстрациями — «Жестокость» и «Испытательный срок» П. Нилина («Советский писатель») и «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова (ИХЛ). Эти работы свидетельствовали о том, что талант А. П. Ливанова обогатился в огромной степени. Сохраняя все столь ярко выраженные особенности своего индиви-

дуального графического стиля, художник значительно углубил психологическую выразительность отдельных персонажей, обострил характеристику противостоящих социальных групп.

В «Жестокости» Ливанова творчески привлекала возможность в условиях последних раскатов гражданской войны в Сибири в годы нэпа раскрыть романтическую, гуманистическую сущность советской молодежи того времени, беззаветно преданной революции.

Что касается иллюстраций к «Бронепоезду», то, не опасаясь впасть в преувеличение, их можно характеризовать как очень крупный вклад в советскую графику, посвященную раскрытию революционных сюжетов. Иллюстрации к «Бронепоезду» включают ряд блестящих психологических характеристик (Вершинин, прапорщик Обаб, капитан Незеласов, группы партизан и белогвардейцев). Эта работа художника проникнута высоким революционным пафосом.

Революционный пафос в его эмоционально органическом выражении свойствен всему творчеству Андрея Ливанова. Это тот пафос, который порождается страстной приверженностью к идее, любовью к идее, которую художник образно воплощает.

Наряду с этим характерной чертой искусства А. П. Ливанова является и глубокая



*Гравюра из книги стихов М. Луконина
«Сердцебиение»*

лиричность, поэтичность, особенно ярко проявляемые в образах природы, выражающих душевное состояние человека.

Таким остается в нашей памяти художник-воин, художник-коммунист.

В НЕБЕ ИСПАНИИ

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Евгений Саввич Птухин — один из замечательных полководцев, выросших в годы Советской власти.

Его детство прошло в Москве, на почтовом конном дворе купца Ечкина, у которого служил отец Птухина. Подростком, вслед за старшим братом, Евгений Птухин вступает добровольцем в Красную Армию, в первый авиационный отряд, воевал против Деникина, Врангеля, Колчака, белополяков.

Окончив в 1924 году авиационную школу, Е. С. Птухин быстро продвигается на командные должности и в 1937 году отправляется в Испанию, где руководит авиационными частями советских добровольцев.

В Испании с особым блеском проявляется военный талант Евгения Птухина. Вернувшись на родину, он командует ВВС Ленинградского военного округа, а во время советско-финляндской войны — авиацией фронта. В 1940—1941 гг. генерал-лейтенант Е. С. Птухин занимает посты командующего ВВС Киевского особого военного округа и начальника ПВО страны. Е. С. Птухин погиб в 1941 году, став жертвой необоснованных обвинений.

Мы публикуем воспоминания полковника в отставке Л. П. Василевского об участии Е. С. Птухина в национально-революционной войне в Испании.

Когда русские вошли в кабинет, командующий Мадридским фронтом генерал Хосе Миаха, высокий, тучный старик, поднялся из-за большого письменного стола. На первый взгляд казалось, что его глаза уже потухли и на мир он смотрит безучастно. Но это была лишь укоренившаяся с годами манера скрывать свои чувства. Хосе Миаха не был родовит, медленно двигался по лестнице армейских чинов и никогда не занимал выгодных постов. Он не принадлежал к узкой касте рвавшихся к власти крайне реакционных генералов, прославившихся в колониальных войнах и прозванных в народе «африканцами». 18 июля 1936 года генерал королевской армии Миаха не примкнул к мятежной клике и не изменил Республике. С тех пор его имя связывалось с обороной Мадрида, хотя в действительности он не был душой этой героической эпопеи, вошедшей в историю под именем «Чудо под Мадридом». Старика окружали энергичные молодые люди, среди них испанские коммунисты, создавшие самые боевые части и прежде всего — знаменитый 5-й полк Листерга.

В авиационных и танковых частях было много советских добровольцев, во главе некоторых интернациональных бригад стояли командиры, окончившие военные школы в Советском Союзе, и, наконец, в штабах, частях и на кораблях военно-морского флота работали русские военные советни-

ки, помогавшие республиканскому командованию создавать регулярную армию.

...Миаха сделал несколько шагов навстречу вошедшим. Его немигающие глаза за стеклами круглых очков в черной оправе, делавшие его похожим на сову, сузились, от плотно сжатых губ разбежались мелкие морщинки, напоминавшие сдержанную улыбку. Свою вялую руку генерал подавал поочередно главному военному советнику при командовании испанской республиканской армии коммору Штерну, своему советнику комдиву Максимову, двум незнакомым русским и под конец кивнул переводчице, тоненькой молодой женщине Софье Александровской.

Максимов представил прибывших:

— Генералы Хосе и Мартин.

— Очень приятно,— проговорил Миаха, предлагая всем садиться. Он уже привык к тому, что русские, приезжавшие в Испанию, называли себя испанскими именами. Как принято в подобных случаях, он спросил о проделанном путешествии и первых впечатлениях, а затем произнес свой излюбленный каламбур о несоответствии имен. Соня знала этот каламбур и быстро перевела, что вот, мол, генерал Миаха, такой большой и толстый, носит смешное имя «Миаха», что по-испански означает «крошка», а фамилия маленького и худого Максимова — Мáксимум, как произносили ее испанцы,— означает нечто огромное.

Русские искренне посмеялись, доставив этим ему удовольствие. Затем наступила пауза. Миаха пожевал губами, глаза его снова округлились, и лицо приняло обычное бесстрастное выражение. Он взял со стола указку и, подойдя к карте, занимавшей почти всю стену, стал объяснять обстановку на Мадридском фронте.

Генерал Хосе — комбриг Евгений Птухин — не очень внимательно слушал испанского командующего. Он еще не привык вести беседу через переводчика и к тому же знал, что вечером, когда они соберутся у Максимова, комдив расскажет им все с куда большими подробностями, необходимыми комментариями и откровенными оценками. Внимание Птухина привлекла карта с тщательно вычерченными улицами, площадями, парками и отдельными зданиями. Фронт проходил по западным окраинам столицы, отделенным от центра неширокой речкой Мансанарес, мосты через которую были захвачены мятежниками либо находились меж боевых линий. Посмотрев на заречные районы Мадрида, Птухин невольно подумал: «Как наше Замоскворечье...»

«Позисион Хака» — так по фронтовому коду назывался штаб Миаха — помещался в глубоком подвале бывшего министерства финансов на улице Алкала, и когда-то под толстыми сводами его подвалов хранился золотой запас страны. Наземная часть здания была повреждена воздушными бомбардировками и артобстрелами.

Рассматривая карту, комбриг достал карандаш и, держа его горизонтально перед глазами, по масштабу прикинул расстояние: от ближайшей передовой на окраине дворцового парка до штаба фронта было не более полутора километров, а до чопорного английского отеля «Гайлорд», в котором жили русские военные советники, еще метров пятьсот. Итого — не более двух километров. Не очень много.

«А что, если в одну из ночей марокканцы внезапно прорвутся в город? Пожалуй, не успеешь и штанов натянуть!» — невольно улыбаясь, подумал Птухин.

...Солнце над Мадридом стояло высоко. Разрушенные бомбардировками дома лежали груднами обломков, рядом зияли прямоугольниками окон пустые каменные коробки с закопченными стенами. В уцелевших зданиях чернели дыры, пробитые снарядами. Порой сквозь приглушенный шум города с передовой доносилась ружейная и пулеметная стрельба. На улицах было мало народа, но жизнь в Мадриде не утихала. Как улы, гудели редкие кафе и бары, заполненные вооруженными людьми, — кое-где торговали магазины, работали кинотеатры, и зрителей не смущали близкие разрывы.

Вечером собрался у Максимова в «Гайлорде». Генерал Дуглас — командующий авиационными частями советских добровольцев — и старший авиационный советник при штабе испанской республиканской армии Яков Смушкевич вводили в командование генерала Хосе.

Смушкевич, один из героев осенней

обороны Мадрида 1936 года и весеннего разгрома итальянского экспедиционного корпуса над Гвадалахарой в 1937 году, говорил об особенностях испанской войны, о воздушных боях, о лётчиках германского легиона «Кондор», присланных Гитлером в помощь Франко. Комбриг Птухин внимательно ловил каждое его слово. Выслушав все, сказал:

— Я буду командовать авиацией на земле, а в воздухе прошу разрешить мне сражаться вместе с нашими лётчиками!

После совещания, в полночь, он поднялся к себе в комнату. Хотелось в темноте постоять у открытого окна, послушать звуки мадридской ночи. Дул ветер. Рядом, в парке Ретиро, шумели деревья. Пахло пылью, гарью, сгоревшим тротилом. В соседнем квартале упал снаряд. Раскатыстый грохот эхом отозвался в лабиринте улиц, розовый отблеск полыхнул над крышами, и опять наступила тишина, нарушаемая то выстрелом, то короткой дробью пулемета, то глухим ударом пушки. Обычная ночь Мадрида. Казалось странным, что недавно, чуть ли не вчера, он вдыхал запахи пыли и чабреца, витавшие над русским аэродромом. По улице Алкала с воем промчалась машина, выросло чувство тревоги, вызванное новизной обстановки и предстоящим наутро первым боевым вылетом.

Потом эти тревожные ночи перестали уже волновать Птухина, он привык к ним. Но в ту, первую, он лег в постель не раздеваясь, сунув под подушку пистолет.

Двенадцать лет Евгений летал на истребителях. В воздухе чувствовал себя так же уверенно, как и на земле, но боевого опыта не имел. Впрочем, его не имел почти никто из советских лётчиков, приехавших в Испанию.

Утром на аэродроме Алькала-де-Энарес комбриг сел в кабину истребителя «И-16». Привычным жестом подтянул молнию на кожаной куртке, поправил шлем и подал знак к запуску двигателя. Под строгим, оценивающим взглядом лётчиков новый командующий безупречно взлетел. После первого разворота дал короткую очередь из пулеметов, и звук почти слившихся выстрелов, похожий на треск свущегося шелка, подтвердил исправность оружия. В первый боевой полет Евгений Птухин шел ведомым у Ивана Копца, уже испытанного в воздушных боях лётчика. Спустя два месяца на счету комбрига было уже несколько сбитых самолетов противника.

Евгений безгранично любил авиацию и товарищей-лётчиков, которых он звал немного неуклюже, но ласково «орелики».

В редкие дни затишья на фронтах лётчики томились от жары и безделья. Возникали печальные мысли о погибших товарищах. В такие дни особенно часто на аэродромах появлялся Птухин. Люди собирались вокруг него. Уходили куда-нибудь за пределы аэродрома, в холодок, в тень оливковой рощи. Комбриг знал, с чего начать беседу. У него в запасе всегда оказывалась какая-нибудь необыкновенная авиа-

ционная история, приправленная немалой долей выдумки и юмора.

Когда утихал смех, начинался разговор о войне, о недавних сражениях, о приемах и тактике воздушного боя.

— В воздухе надо уметь вертеть головой, все видеть вокруг себя и мгновенно принимать правильные решения. Смерть поджидает в воздушном бою истребителей каждую секунду... Теперь каждый из нас понимает, что быть боевым летчиком значительно трудней, чем участником воздушных парадов,— говорил Птухин.

Он стоял среди своих летчиков, слегка расставив ноги, помахивая веточкой оливы. Птухин был худощав и широк в плечах. Лобастая голова с коротко остриженными светлыми негустыми волосами была непокрыта. Голубые глаза внимательно смотрели из-под выгоревших бровей. В нем угадывался человек, привыкший заниматься спортом. В тридцать пять лет он был похож на своих молодых летчиков; ловок и силен, как юноша. За все брался крепко и уверенно. Были и у него свои слабости, он сам называл их страстишками. Но многолетняя служба в Красной Армии приучила его все подчинять главному и самому важному.

Однажды молодой летчик отбился в воздухе от ведомого и продолжал полет в одиночестве. Ярко светило солнце, под самолетом плыли зеленые хребты Сьерры, прикрытые разорванными облаками. Миновав линию фронта и оказавшись над своей территорией, летчик залюбовался ландшафтом и от избытка чувств запел, считая себя уже в безопасности. Внезапно впереди самолета замелькали огненные мухи. Взгляд назад: с высоты на него пикировал итальянский «фиат». Восторженный пилот безотчетно резко отдал ручку управления от себя и мгновенно провалился в белое облако. Ему едва удалось выхватить машину из пике в нескольких десятках метров от поросшего соснами горного склона.

Когда летчик приземлился, Птухин с несколькими командирами был на КП. Они сидели в полотняных шезлонгах вокруг огромной глиняной миски, наполненной кусками льда, среди которых торчали горлышки бутылок с пивом и минеральной водой.

Молодой летчик докладывал о своем полете. Птухин не прерывая слушал его, потягивая пиво из запотевшего стакана.

— Этот итальянец оказался настоящим рыцарем. Увидев, что я зазевался, он с дальней дистанции дал короткую очередь вперед, предупреждая меня о своем присутствии, вызывая на бой.

— И вы в этом убеждены? — спокойно спросил комбриг.

— Да. Он мог незаметно подойти ко мне и сбить. Однако этого не сделал...

Птухин поставил стакан на цементный пол и, посмотрев на молчавших командиров, поднялся из шезлонга.

— Запомните навсегда, что я вам скажу! Вы случайно избежали гибели. В бою противника сбивают, используя его ошибки, неумение, неопытность...

— Но, товарищ Хосе, почему он открыл огонь с дальней дистанции?..

— Да потому, что вы летели так-то же, как и вы, молодого и неопытного летчика. Вам повезло.

* * *

Птухин верил, что людей можно научить мужеству. Для этого нужны были не только убедительные слова, но и личный боевой пример старшего командира. Когда я говорил Евгению, что командующему не обязательно участвовать в воздушных боях, он отвечал:

— Нет, именно здесь, в Испании, старший командир должен тоже летать... Ну, не каждый раз, а в дни особого напряжения. Или, скажем, в дни неудач и тяжелых потерь. Тогда рядовой летчик подумает: «Вот наш командир полетел в бой, а ведь никто не упрекнул бы его, если б он остался на земле».

Летом 1937 года в Испанию прибыла новая группа советских летчиков-добровольцев, среди них — много послуживцев Птухина по Бобруйской бригаде, его питомцев и друзей. Он помчался в Мурсию, где в старинном замке размещался сборный пункт летчиков. Сколько было волнений! Новички, молодые, жизнерадостные, красивые, полные сил и здоровья, словно привезли с собой дух Родины.

При виде своего командира комэск Александр Гусев скомандовал: «Смирно!» Но как только Птухин произнес: «Вольно!» — все радостно, со смехом бросились к нему. «Евгений Саввич!», «Товарищ комбриг!» — неслось со всех сторон. Птухин собрал всех в кружок и долго рассказывал о воздушной войне в Испании.

Через несколько дней эти юноши должны были сами узнать, что такое война.

Случилось так, что в первом же воздушном бою летчики новой эскадрильи встретились с превосходящим по силам противником. Фашисты почувствовали, что имеют дело с необстрелянными бойцами, и со всей мощью обрушились на них. Для двух советских добровольцев этот бой был первым и последним...

За час воздушного боя молодые летчики многое пережили и поняли. Перед Птухиным сидели взволнованные и потрясенные неудачей люди, мечтавшие о победе и представлявшие ее себе легкой и триумфальной. Он внимательно всматривался в помрачневшие лица. Ему по-человечески было жаль этих ребят. Но тратить время на утешения он не мог. Важнее было разобраться в обстоятельствах боя, объяснить причины неудачи. Деловой, уравновешенный тон успокаивал людей, и каждый откровенно рассказал о своих переживаниях и действиях в бою.

Обескуражен поражением был и комсорг эскадрильи.

— Их было много... они бешено атаковали нас... Я не мог овладеть собой, и вместо того чтобы направить самолет в

гуща боя, увел его в сторону,— сказал он.— Я оказался трусом.

Птухин внимательно посмотрел на юношу и, помолчав, сказал:

— Вы еще не трус, коль сами признаетесь. В будущих боях надо найти в себе силы перебороть этот естественный страх.

* * *

Я познакомился с Евгением Птухиным в «Гайлорде». Мы быстро подружились, угадав друг в друге искреннюю любовь к авиации. В редкие свободные вечера он приходил ко мне в угловую комнату третьего этажа. После ужина мы тушили свет, поднимали жалюзи. Евгений садился в глубокое кресло, стоявшее у окна, я пристраивался на широком подлокотнике, и мы вели нескончаемые разговоры о своей службе в авиации. А потом подолгу молчали, слушая звуки ночного Мадрида, перебрасываясь редкими фразами.

Для меня эти беседы имели особенную прелесть. Волею судеб в Испании мне пришлось изменить авиации и командовать интернациональным партизанским отрядом на Мадридском фронте. Впрочем, неповторимая романтика испанской герильи XX века захватила меня. Для всех нас тогда это было не совсем обычным делом, и Евгению казалось, что я подвергаюсь значительно большей опасности, нежели он.

— Не нарвись на засаду,— говорил он мне.— Нам ведь надо обязательно вернуться домой...

В действительности он рисковал значительно больше, и, возражая, я, в свою очередь, говорил ему:

— В этом небе их больше чем вас...

— Действительно, больше,— задумчиво сказал однажды он,— и их «мессершмитты-109» лучше наших «мух» и «курносых». Но разве только в этом дело?

Евгений оживился, встал с кресла, и, сведя кулаки у груди, продолжал:

— Боевой самолет состоит из четырех необходимых элементов: крыльев, мотора, отлично отлаженного оружия и — летчика. И вот этот последний элемент, летчик, его душа или дух,— назови это как хочешь,— решающая сила в воздушном бою.

Евгений постучал кулаком о кулак и опять зашагал взад-вперед:

— В легионе «Кондор» есть отчаянные летчики, настоящие асы, но ими руководит только честолюбие, жажда денег, наград и чинов. К сожалению, это не делает их менее опасными.

Чувствовалось, что Птухин много думал над этим.

— Но настоящих асов у них не так уж много,— продолжал он.— В большинстве же немецкие летчики смелы, когда нас меньше! — И Птухин ткнул меня пальцем в грудь.— Ну, а теперь хватит! — И с мальчишеским азартом, обхватив меня за шею, повалил вместе с креслом на ковер.

Опасность подстерегала на каждом шагу. Однажды вечером ко мне ввалился старший партизанский советник Григорий

Сыроежкин. Он был очень красив — с лицом, словно вырубленным из гранита; с буйной шевелюрой и дерзкими, озорными глазами. Григорий посмотрел на пустую бутылку.

— Поедемте куда-нибудь в кабачок, только подальше, где не падают снаряды...

На авениде¹ Тореадоров, напротив огромного темного здания Пласа-де-Торес², мы остановились у одного из еще открытых в Мадриде баров и отпустили своего шофера. В зале с низким потолком тускло горело в люстре несколько синих маскировочных ламп, едва освещавших головы людей, тесно сидевших за столиками. Только одна белая лампочка, упрятанная в глубокий абажур, бросала узкий, яркий луч на стойку бармена. Дым от сигарет колыхался под потолком, стущая мрак. Хриплые голоса подвыпивших мужчин и женщин сливались в общий гул, наполнявший помещение, пропахшее табком, вином и дешевыми духами. Мы протолкались к стойке и заказали себе бутылку «марфиля» — прекрасного каталонского вина.

Мы не хотели привлекать к себе внимания. В Мадриде было немало тайных агентов «пятой колонны» Франко, готовых при всяком удобном случае свести счеты с добровольцем.

Мы сидели молча, потягивая вино и поглядывая по сторонам. Двое подростков, аккомпанируя себе на гитарах, пели не совсем пристойные песни. Расположившиеся за ближайшими столиками анархисты с черно-красными платками на шеях в паузах одобрительно кричали «Оле!»

На улице у входа заскрежетал тормозами автомобиль. Вооруженные люди вошли в бар, и тонкие лучи их электрических фонарей заматались по залу, выхватывая из синего сумрака лица притихших людей.

— Внимание! Всем оставаться на своих местах! — произнес резкий голос, перекрывая шум в зале. К освещенной стойке быстро подошел офицер с крупнокалиберным пистолетом в руке. Он внимательно оглядел сидевших возле нее людей и, приблизившись вплотную к Евгению, произнес:

— Документы!

Птухин молча протянул ему свою штабную книжку.

— О, мой генерал! Прошу прощения! — громко воскликнул офицер, почтительно возвращая документ.— Это ваши товарищи? — указал он на нас и, не ожидая ответа, вдруг сказал: — Разрешите выпить с вами за русских летчиков!

Засунув свой «стайер» за пояс, офицер жестом потребовал у бармена бокал. Мы чокнулись с ним, и к нам потянулись со стаканами руки людей, собравшихся вокруг.

— Вызывай машину,— буркнул Григорий. Но телефон в баре был давно снят.

— Тогда пошли пешком, а то придется пить со всеми,— сказал Евгений и направился к выходу.

¹ Авенида — проспект. (Исп.).

² Пласа-де-Торес — цирк для боя быков. (Исп.).

Мы вышли на темную авениду и, дойдя до угла, свернули на улицу Алькала. До «Гайлорда» было далеко, кварталов десять. Позади нас, на противоположной стороне пустынной улицы, послышались поспешные шаги, но людей в темноте не было видно.

— Арриба Эспанья! — задыхаясь, выкрикнул кто-то на другой стороне улицы фашистский лозунг, и вслед за тем загремели выстрелы. Пули ударились о стену дома рядом с нами, зазвенело разбитое стекло. Евгений выхватил пистолет и, став за деревом у края тротуара, несколько раз выстрелил. Григорий действовал по-партизански: в фашистов полетела граната, а за ней крепкое русское слово. Грохот разрыва отозвался эхом в переулках, и вспышка осветила двух убегающих людей.

— Н-да... инкогнито сохранить не удалось,— проговорил Евгений, засовывая пистолет в кобуру.— Что будем делать?

— Подождем. Сейчас на шум пригласит патруль и подвезет нас до дому,— предложил я.

...Недалеко от берегов Испании на острове Майорка, захваченном мятежниками, в порту Пальма-де-Майорка стоял флот Франко, а на островных аэродромах базировалась итальянская авиация, часто налетавшая на прибрежные города республиканской территории. Наши бомбардировщики «СБ» регулярно «проведывали» эти важные объекты противника. В длительных полетах на большой высоте без кислородных приборов летчики иногда на несколько секунд теряли сознание и обмороживались, но никто не жаловался. Наоборот, возвращаясь на аэродром, подтрунивали друг над другом. А Евгений говорил мне:

— Ты только подумай, куда мы забрались! Мы в небе над древними странами, где началась история Европы.

Птухин был преисполнен восторга. Еще со времен гражданской войны он был проникнут духом революционной романтики. — Никто не знает, где нам еще придется летать, какому народу помогать отстаивать свободу,— говорил он.

Но с некоторых пор на трассах наших бомбардировщиков стали встречать истребители противника. Командующий приказал изменить маршрут и высоту полета, однако малоприятные рандеву происходили вновь. Все трудней становилось пробиться к цели, а иногда это оказывалось вовсе невозможным, и, сбросив бомбы в море, «СБ» возвращались назад. Не было сомнений: где-то скрывался предатель, предупреждавший противника о каждом вылете наших бомбардировщиков.

Птухин состоял военным советником при командующем воздушными силами республиканской Испании генерала Игнасио Идальго де Сиснеросе. Сиснерос был одним из интереснейших деятелей испанской революции. Офицер старой королевской армии, отпрыск одной из старинных аристократических семей, правнук последнего вице-короля Испании в Аргентине, он в начале национально-революционной войны

1936—1939 годов вступил в компартию, стал членом ее ЦК и беззаветно служил революции.

Между Птухиным и Сиснеросом возникла тесная дружба. Сиснерос искренне признавал авторитет своего советника и всеми средствами стремился обезопасить наших летчиков. Но среди офицеров испанского штаба ВВС имелись скрытые враги — агенты Франко, стремившиеся вредить на каждом шагу. Разоблачить их было трудно. Порой они создавали беспорядки в работе штаба, что возмущало комбрига, но он никогда не выходил из себя, оставаясь безукоризненно вежливым и корректным с испанскими офицерами.

Пока СИМ¹ искал шпионов, Птухин, договорившись с Сиснеросом, временно перестал сообщать в штаб ВВС о предстоящих бомбардировочных операциях. Разрабатывал и проводил налеты на остров он теперь только с Сиснеросом и несколькими своими ближайшими помощниками, соблюдая строжайшую секретность. Донесения же в штаб отправлялись лишь после того, как самолеты благополучно возвращались на свои аэродромы. Встречи «СБ» с итальянскими истребителями прекратились...

* * *

Приезжая в Мадрид, Евгений все чаще виделся у Максимова с переводчицей Соней Александровичей. Девушка нравилась ему, и при встречах с нею он испытывал внутреннее смущение. На войне, вдали от родины, среди постоянной опасности, любовь приобретала романтическую окраску.

Во время одного из налетов вражеских бомбардировщиков на аэродром Евгений Птухин был ранен. Небольшой осколок глубоко вошел в мякоть бедра. Он отказался отправиться в госпиталь и отлеживался в своей комнате в «Гайлорде». На душе у него было тоскливо — угнетало одиночество, по-человечески хотелось теплого участия, прикосновения мягкой женской руки, ласкового взгляда. Сося была за городом. Телефонный звонок Евгения, и она помчалась к нему. Ее испугала его бледность, загорелое лицо приняло землистый оттенок. Раненый не выпускал ее руки. Только теперь молодая женщина разглядела, что глаза у него не серые, а голубые, а волосы совсем льняные.

Спустя три дня Птухин все же поднялся и, волоча ногу, отправился на аэродром. В тот же день он попросил Максимова перевести Сою к нему. С тех пор они больше не расставались.

Шло время. Бомбежки, жестокие артиллерийские обстрелы, тревожные дни и ночи на фронтовых командных пунктах — ведь Сонин шеф, Максимов, всегда хотел все видеть и слышать сам. Окопная грязь, кровь, безжалостная смерть, косившая людей... Ко всему этому было трудно привыкнуть молодой женщине. События развивались с невероятной быстротой. Трудный

¹ СИМ — орган безопасности в республиканской Испании.

опыт испанской войны помог Софье Александровской пережить в дальнейшем жестокие испытания, выпавшие на ее долю...

* * *

Войну нужно было осмысливать по-новому. Старая тактика, созданная на академических кафедрах, не всегда оправдывала себя в боевой практике. Необходимо было создавать новые приемы боевого применения авиации. Но печатное слово уставов, не поспевавших за быстрым развитием авиационной техники, связывало творческую мысль многих командиров. Требовалась большая смелость, уверенность в себе и умение идти на риск, чтобы в условиях войны вдали от родины решаться на боевые эксперименты. Птухин был одним из немногих, кто шел на такой риск, не задумываясь над тем, что неудачи грозят ему неприятностями, предусмотреть которые в то время было совсем не трудно.

В сентябре 1937 года от пленного итальянского летчика стало известно, что в Гаррапинильяс, недалеко от Сарагосы, у фашистов есть строго засекреченный аэродром, на котором сосредоточено шестьдесят бомбардировщиков, запасы бомб и горючего. Франкисты готовили внезапный удар по войскам республиканцев, в котором авиации отводилась важная роль. По карте пленный летчик уточнил место расположения аэродрома, подходы к нему, стоянки самолетов и систему зенитной обороны.

Птухин молча рассматривал карту и перечитывал свои записки, сделанные во время допроса итальянца. Нужно уничтожить аэродром и сорвать весь вражеский план. Но как это осуществить? Какими средствами? Сам он не раз был свидетелем налетов противника на наши аэродромы, и всегда результаты их были ничтожны: один-два поврежденных самолета и десяток воронок на летном поле, через час уже засыпанных и утрамбованных. Не большего добились и мы, атакуя теми же средствами аэродромы противника. Чтобы достичь большего, нужно было резко увеличить количество бомбардировщиков, а это неизбежно повлекло бы за собой неоправданные потери, так как аэродромы всегда прикрывались зенитной артиллерией и истребителями. К тому же в распоряжении Птухина было слишком мало «СБ». Следовательно, нужно было искать новые пути для решения этой важной задачи.

Пленного увели. Птухин стал обдумывать план предстоящей операции. А что, если атаковать аэродром истребителями с бреющего полета, забросать бомбами и расстрелять материальную часть из пулеметов зажигательными пулями? Два-три захода — и дело будет сделано! Низко летящий истребитель неуязвим для зенитной артиллерии и будет бить по цели без промаха. Конечно, атакующей эскадрилье нужно дать сильное прикрытие с воздуха... Но... такое применение истребителей не предусмотрено никакими инструкциями и наставлениями и до сих пор никем на

практике не применялось. Но разве это значит, что оно невозможно? Решено!

Через два часа, собрав командиров эскадрилий, Птухин объявил, что четыре эскадрильи истребителей пойдут на Гаррапинильяс. Одна, под командованием Анатолия Серова, с бреющего полета на трех заходах атакует самолеты на аэродроме, три других на разных высотах прикроют ее с воздуха на случай появления истребителей врага.

Той ночью верный шофер испанец Сервандо вез Птухина и Соню по извилистой горной дороге на выбранный командбригом наблюдательный пункт высоко в горах. На этом участке Арагонского фронта не было сплошной линии соприкосновения с противником, и только редкие сторожевые посты с обеих сторон вели наблюдение за горными переходами. Стоило немного сбиться с пути — и можно было попасть к врагу.

В преддверный час Птухин услышал нарастающий гул приближающихся истребителей. В четком строю прошли «И-15» Серова, за ними, выше, шли «И-16» прикрытия. Пересчитав самолеты, командующий стал ждать, пристально всматриваясь туда, где они скрылись. Наконец раздался далекий глухой взрыв, и на наблюдательном пункте увидели громадный столб черного дыма, а за ним еще и еще! Когда заря занялась на небе, аэродром Гаррапинильяс пылал погребальным костром. Горели сорок бомбардировщиков, взрывались склады бомб и горючего. Остальные двадцать самолетов были выведены из строя.

Прошли еще считанные минуты, и в тех же четких строях эскадрильи пролетели обратно. Снова Птухин пересчитал самолеты. Потерь не было. Испанцы на наблюдательном пункте пришли в неописуемый восторг. Шофера Сервандо не без труда удалось уговорить сесть за руль. Только узнав, что надо ехать на аэродром к Серову, он несколько успокоился.

У Серова царило буйное веселье. Измазанные сажей и маслом лица участников налета производили странное впечатление. Они так низко пронеслись над горящими машинами, что дым и копоть опалили их.

От Серова поехали к Еременко. Там летчики были возбуждены не меньше. Колеск признался Птухину, что когда «И-15» Серова повернули домой, он не выдержал и вместе со своими «орлами» спикировал на аэродром, чтобы дать несколько залпов по оставшимся невредимыми самолетам, а затем полетел догонять своих.

В припадке бессильной злобы Франко в тот же день приказал расстрелять у обугленных остатков самолетов двадцать офицеров и солдат из охраны аэродрома.

В истории военной авиации истребители впервые были использованы для штурмового удара по аэродрому противника. В период Великой Отечественной войны советские Военно-Воздушные Силы в широких масштабах развили эту тактику и применяли ее с большим успехом для борьбы с авиацией противника на земле.

РАССКАЗЫ И РАССКАЗЧИКИ

I

Обсуждая прошлое и будущее романа, читатели, критики, да и сами романисты справедливо отмечают свойственные этому виду литературы широту и объемность изображения, целостный и многосторонний охват жизненных противоречий и закономерностей. Мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что именно благодаря этим качествам роман и почитается самым пространственным и любимым чтением. И впрямь — особенная прелесть и сила таются в длительном общении с героями, в стремительном или неспешном следовании за ними по путям и перепутьям действительности.

А что же тогда говорить о рассказах?.. О коротких, иногда сводящихся к нескольким часам, встречах с людьми, о характеристиках, сжатых до предела, о случаях и судьбах, будто выхваченных из безбрежного потока дней и событий... Что же — здесь приходится иметь дело только с отдельными наблюдениями, только с разрозненными, пускай и примечательными коллизиями и характерами, отнюдь не дающими целостного и последовательного представления о жизни, о времени?..

Нет, конечно, такое понимание возможностей рассказа далеко от истины. Искуснейший и убежденнейший мастер «короткого повествования» в самых совершенных и зрелых своих произведениях неутомимо и упорно подчеркивал связь любого житейского эпизода, любой биографии, в том числе и самой зауядной, — с общим направлением жизни, с развитием общества. Образ действительности все чаще и чаще появляется в рассказах А. П. Чехова девяностых и девяностых годов. И нет ничего несправедливее и нелепее, чем и поныне имеющие хождение теории, представляющие чеховское творчество «маломасштабным» и «приглушенным»! Запечатленные Чеховым события и судьбы складываются в просторную и многогранную, исполненную драматизма картину российской жизни, столкнуванную со все возрастающей последовательностью и убежденностью.

Образ действительности, возникающий в рассказах Чехова, по своему значению и

по сути близок открытиям, сделанным Л. Н. Толстым и другими мастерами критического реализма, в произведениях которых диалектика душевной жизни сопоставляется с диалектикой жизни общества и понимается в тесном единстве с конфликтами социального размаха. Это одно из величайших художественных завоеваний человечества, и оно, естественно, стало достоянием литературы социалистического реализма. Конечно, каждому художнику приходится сызнова находить и испытывать наилучшие, вернейшие средства постижения истины, но добытое великими предшественниками живет, действует и входит нераздельной частью в сплетение наших побед и буден. Спор о человеке, о его настоящем и грядущем, о его правах и обязанностях продолжается, и время выдвигает доказательства, оценки, критерии, новые по своему существу и вместе с тем подкрепляемые или опровергаемые предшествующим опытом. И часто бывает так, что несогласия, касающиеся, на первый взгляд, лишь того или иного отряда литературы, на поверку имеют прямое и непосредственное отношение к важнейшим узловым вопросам жизни и литературы.

Так обстоит дело и с рассказами, с их героями. Критик Л. Аннинский, участвуя в дискуссии, развернувшейся в журнале «Вопросы литературы», заявил: «И вот пошли по страницам странники, и чудачки, и малые дети — все, кто может взглянуть на этот мир удивленно». Итак, странник и чудак — главные герои современного рассказа. Никто из собеседников Аннинского, естественно, не согласился с этим утверждением. Споря между собой по разным частностям, все были согласны в одном: начальный, основной тезис, выдвинутый Л. Аннинским, не имеет реальной основы — чудачки отнюдь не занимают центрального места в нашем рассказе; критик специально отбирал рассказы, которые могли подтвердить его умозаключения.

Однако Л. Аннинский в финальной реплике не стал и доказывать свое беспристрастие. «Какое там «отбирал»? Выискивал! Ждал их! — признается он. — Жаждал их

найти! И находил, потому что верил: они должны быть». Что ж, попробуем — за чем понадобились Л. Аннинскому чудачки и «странные» люди. Розыски и догадки здесь ни к чему. Автор сам сообщает, что им владеет «пафос личности, жажда целостности, тяга к человеку гармоническому».

Казалось бы, тут и должны кончиться все споры: кто в наше время не думает о человеке и человечности, о правах личности и о путях ее расцвета, о том, как велика и естественна жажда гармонии, счастья, красоты. Но именно такое частое обращение к одним и тем же понятиям, обозначающим самые глубокие, решающие закономерности и стремления нашего времени, и требует наибольшей точности; ведь всем нам хорошо известно, что в одни и те же слова может быть вложено различнейшее, иногда взаимоисключающее содержание.

Л. Аннинский не однажды упоминает о личности и окружающих ее обстоятельствах, о человеке и его деле, о людях и жизненной среде. Но вот как он истолковывает эту связь. «Человек, выделенный из будней,— вот что лежит в основе всех этих сюжетов...» «Взвесить жизнь человеческую, личность человеческую — не на относительных весах обстоятельств, а как бы безотносительно к обстоятельствам, отстранив человека от обстоятельств, что ли...» «Что стоит за этим выделением личности из потока? Стремление осознать ценность человеческой жизни как таковой, безотносительно к функциональной роли, стремление испытать личность человеческую вне скрадывающего ее бытового ряда». Такого рода цитаты могут быть умножены, но в том нет никакой нужды. Мы и так достаточно ясно видим, что Л. Аннинский заботится об исследовании личности «как таковой», выделяя ее из жизненного потока, познавая ее вне «функциональных связей», вне зависимости от обстоятельств, ее окружающих...

Вот для чего и стал искать критик чудачков и странных людей... Они,— думалось ему, должно быть,— по самой природе своей как бы несут в себе эту «выделенность» или «выломанность» из общего жизненного уклада, их удобнее всего взвешивать вне связи со временем и обстоятельствами.

Однако чудачки, известные человечеству, и впрямь никогда не могли быть использованы в качестве эталона отрешенности от мира. Один из величайших «странных людей» — Дон Кихот — любим из своих поступков, необычайных и удивительных, утверждал связь с людьми, ему встречавшимися, преданность делу, им избранному. А обращаясь к нашей родной литературе, мы встречаемся со скитальцами Лескова и Короленко, с горьковскими искателями истины, которые и покидали-то привычный обиход для того, чтобы найти дорогу ко всеобщему счастью. Сильно удивились бы эти правдолюбцы и ревнители справедливости, если бы кто-нибудь сообщил им, что они существуют «как бы безотноситель-

но к обстоятельствам». Ведь они-то заботились отнюдь не о самоценности своей личности, а преследовали цели, неизмеримо более возвышенные, широкоохватные. И именно поэтому были личностями богато одаренными и благородными.

Следовательно, не о чудачках речь, а о том, как понимает Л. Аннинский отношения между личностью и обстоятельствами, между человеком и его делом. «Когда мы выделяем личность из ряда повторяющихся явлений,— утверждает критик,— мы самим фактом выделения предполагаем в этой личности неповторимость». Эта фраза произнесена как... аксиома. Но не нужно прилагать особых усилий, чтобы обнаружить ошибку, сводящую на нет подобного рода утверждения. Именно в «ряду повторяющихся явлений» лучше всего, отчетливее всего раскрываются неповторимые, особенные черты характера. Это могут засвидетельствовать герои самые разные: от тургеневских Хоря и Калиныча до горьковского Коновалова, от принца Гамлета до купца Булычева.

Но вернемся к нашим современникам... Как видим, Л. Аннинский, намереваясь исследовать людей, занятых своим делом, хотел бы отделить их от текущих трудов и дней... При этом он пишет о «функциональной роли» человеческой личности, о «скрадывающем» ее бытовом ряде, а дело, труд, работу людей расценивает то как некое целительное средство, то как долг, который должен быть исполнен, несмотря ни на что... Так, по его мнению, складываются отношения меж личностью и обстоятельствами — нерадостно, ограничительно... Не мудрено, что критик и стремится увидеть «человека, выделенного из будней».

И здесь приходится признать, что Л. Аннинский воздвигает перед собою искусственные препятствия, которые должно удалить для того, чтобы подлинные черты человечности могли быть постигнуты и изучены.

Многозначное это слово — будни... Можно связывать с ним обыденщину, докучную и однообразную, а можно иметь в виду повседневное — те периоды в жизни человеческой, когда не случается ничего из ряда вон выходящего и герой занят привычными для него делами. Но в любое время «отделение» личности от условий ее существования оказывается актом насильственным, противоестественным и... безрезультатным. Потому что человек не может быть понят вне жизненных связей и полнее всего выражает себя в общении с людьми, в течении событий, в действенных мыслях и поступках, а не в самосозерцании.

Так в жизни, так и в искусстве. Героя можно поставить и в «предполагаемые обстоятельства», вырвать из цепи привычных событий. Но в любом случае в чертах личности заявит о себе время, жизнь, история. Это вопиющая погрешность: говорить о человеке, пренебрегая людьми.

Сила искусства социалистического реализма и в полноте правдивого изображения жизни, и в действенности образов, в при-

частности к общенародному строительству. Это сочетание отвечает потребностям нашего общества.

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIII съезду Коммунистической партии Советского Союза товарищ Л. И. Брежнев говорил: «Величайшим результатом многолетних усилий партии в области идеологической работы является воспитание нового советского человека. Продолжая революционные традиции поколения борцов, создавших первое в мире рабоче-крестьянское государство, советский человек построил социализм, выстоял и победил в смертельной схватке с фашизмом, отстоял великие завоевания нашей революции и ныне первым в истории строит коммунизм. Рабочий класс, колхозное крестьянство, советская интеллигенция показывают пример высокой социалистической сознательности, героического труда. С победой социализма в сознании советских людей произошел глубочайший переворот».

Советская литература горда и счастлива тем, что лучшие ее создания деятельно способствовали этому перевороту, участвовали и участвуют в воспитании нового человека. Успешность этого упорного и вдохновенного труда имеет своей основой настойчивое исследование действительности, осве-

щение глубинных жизненных связей, художественное раскрытие тех могучих закономерностей нашего общества, которые и определяют становление, расцвет личности.

Художник, стремящийся охватить истину во всем объеме, равно заботится об интересах личности и общества, о правде фактов и о справедливости идей.

Вот почему, на наш взгляд, приходится признать неверным утверждения Л. Аннинского. Свою статью он завершает предсказанием: «В ближайшее время успех иметь будет как раз то остроэкспериментальное, гипотетическое, условно-сказовое направление, которое в дальней перспективе отнюдь не кажется мне способным ответить на человеческие запросы времени».

Итак, прогноз не радует самого же прорицателя... Но, право же, Л. Аннинского можно утешить. Дело в том, что его положения не только имеют очень слабую теоретическую опору, но и решительно расходятся с практикой нашей литературы. Или иначе: работа наших одаренных рассказчиков идет вовсе не в том направлении, которое намечено критиком, и решительно опровергает выдвинутые им соображения и принципы. Именно к ним — к страницам, определяющим нынешний день русского рассказа, — мы и обратимся.

II

В наши дни редко говорят об отдельных стихотворениях; гораздо чаще имеют в виду поэтов. Читатель хорошо знает, что в сборниках Леонида Мартынова, или Ярослава Смелякова, или Евгения Винокурова (здесь можно назвать ряд имен!) он найдет не разрозненные более или менее удачные строфы, а сложные единства. Может показаться, что с рассказчиками обстоит совсем по-иному. В самом деле — хороший рассказ обычно сам по себе оставляет законченное впечатление, вовсе не обязательно включать его в новеллистический ряд. И однако же настоящий мастер рассказа так же «узнаваем», как и мастер стиха, его произведения так же сочетаются и тяготеют одно к другому.

Вспомним книги наших современников — М. Шолохова и А. Толстого, В. Катаева и И. Бабеля, М. Зощенко и Вс. Иванова, Л. Леонова и Ю. Олеси, А. Платонова и Л. Соболева, К. Паустовского и Н. Тихонова — это самостоятельные, четко очерченные образные миры, и движутся они по непересекающимся орбитам, но на каждом из них лежит печать их создателя.

Прочтите, к примеру, недавно вышедшую книгу рассказов В. Кожевникова: написанные в дни первых пятилеток, во время Отечественной войны, в пятидесятых и шестидесятых годах, они повествуют о десятках человеческих судеб, о разнообразнейших делах и событиях, а между тем во всем этом многолюдье, в обилии жизненных красок внятно заявляют о себе наклонности и взгляды рассказчика, его представления о

жизни, — все то, что мы называем мировоззрением писателя.

Цельностью взгляда, сосредоточенностью интересов сильны и наиболее зрелые из тех рассказчиков, что встали за последние десять — пятнадцать лет рядом со своими старшими товарищами. В некоторых рецензиях сила, прелесть, яркость повествования сводится к подбору деталей — свежих, точных, впечатляющих. Однако, как ни велика ценность подобных «частных находок», «микротокрытий», сами по себе они еще не составляют рассказа, не образуют художественного единства. И это отлично знают те из наших прозаиков, что умеют писать и умеют думать о написанном.

Примеры под рукой, и притом разного склада. Вот, казалось бы, не более чем выдержки из «Записной книжки» Эдуарда Шима. Они объединены призывом к зоркости, советуют «быть зрячим на земле». Но что же такое «быть зрячим»?.. Наблюдения писателя не только следуют одно за другим, они складываются в картину, проникнутую общим устроением. Описание цветущей березы; грохот самолета, похожий на гром, грозу, бурю; танец доброго дождя; запах костров, на которых сжигаются палые листья; медленная северная весна — все это грани целого; именно их и выбрал глаз писателя. Выбрал и сопоставил — различил существующую между ними связь. Она может показаться очень простой, незатейливой. «С наступлением теплых дней показались поющие прохожие». Или: «Я иду, вспоминаю этих людей, и на-

строение у меня такое хорошее, хорошее...» И еще: «Степан Сергенч, всю жизнь свою работавший на земле — в поле, в саду, в лесу, — просто чувствует, какая будет погода»... Но в этих, на вид простейших, можно сказать, молекулярных, сближениях таится уважение к земле и преображающему ее рабочему человеку. Рассказчик с ним заодно и старается усвоить его хозяйское и вместе с тем поэтическое отношение к миру. Старания эти успешны: со страниц «Записной книжки» Э. Шима встает земля, «готовая к легкой пляске пилы и тяжелой походке молотка» (Э. Багрицкий). Заметим кстати, что человеческая личность здесь предстает в тесном общении с родной средой и от того весьма и весьма выигрывает (это по поводу статьи Л. Аннинского!).

А вот уже не «записки» — «настоящие», хотя и очень короткие рассказы Виктора Тельпугова. Они объединены в цикле, имеющем название, которое странно видеть над произведением прозаическим — «Лирика». И вправду, здесь преобладает настроение, переживание... Рассказчик дает волю и воображению: дерево, ракета, стоящая во дворе, кажется ему сказочным конем; «на всех тополях и кленах Москвы» он читает имя своей маленькой дочери; подсолнухи внимательно следят за идущей мимо них прелестной Марьяшей... Но в этих набросках не только мироощущение автора, а и то, что его возбудило, загло — милые сердцу «подробности жизни».

Именно им, мелочам, частностям, посвящены многие страницы книги Натальи Соколовой «Тысяча счастливых шагов». Они также могут быть расценены как своего рода доказательство того, что нужно уметь быть зрячим. Только Эдуард Шим смотрит вокруг себя глазами человека, имеющего дело с травами, деревьями, животными, а Наталья Соколова — чистой воды горожанка, москвичка. Ее творческая среда — улицы, дома, предприятия столицы.

В нашей прозе, а чаще — в поэзии еще дают себя знать порою этикие «руссоистские» настроения — осуждение городских «соблазнов», противопоставление им «сельской» чистоты и тишины. Мотивы эти лет сорок тому назад с неподдельным пафосом выразил один из героев пьесы Валентина Катаева — поэт Емельян: «И-эх! Сглодал меня, парня, город, не увижу родного мясца». Надо ли удивиться, что такое представление о городе возникает у тех, для кого город — это только кафе, кинотеатры и вечеринки. Впрочем, примерно этой же территорией ограничивается кругозор и тех молодых писателей — урбанистического толка, что ищут и знают в городской жизни одно только потребление да развлечение.

Выводы разные, а уровень знаний и потребностей — один и тот же.

По-иному открывается Москва в книге «Тысяча счастливых шагов»... Она работает, строится, учится, отдыхает, размышляет, действует. Она — величайший город мира и город, в котором живут миллионы людей с неповторимо своеобразными судьбами и характерами. Как бы «растворяясь» во встречах, беседах, зарисовках, рассказчик не упускает случая выразить и себя, свои убеждения, где профессиональное и личное тоже тесно слиты... «Я не хочу, я не могу быть только свидетелем, добру и злу внимая равнодушно.

Нет — участником жизни... Пускай с ошибками, поправками, сомнениями, пускай с бессонными ночами и укурами совести, но обязательно быть участником. Действовать, воздействовать... Жить!»

И в книге Василия Субботина «Как кончаются войны», состоящей из нескольких десятков рассказов, набросков, характеристик, питают друг друга постоянное обращение к реальным именам, биографиям, событиям и неослабевающая страсть, движение сердца. «Мне не дает покоя эта судьба» — таким признанием завершается рассказ о солдате, что остался в памяти всех бравших Берлин, — погиб на подступах к рейхстагу с красным флагом в руках, а считался на протяжении лет без вести пропавшим... Но точно так же тревожат В. Субботина и многие другие судьбы. Вот глядывается он в старый любительский снимок, на котором изображена группа людей, только что вышедших из боя. «Они стоят на ступеньках рейхстага, в котором еще все горит». Здесь вперемежку расположились солдаты и офицеры, впереди всех — молодой, чернобровый, с перебинтованной головой. «Кто эти люди и что это за солдат?» — спрашивает рассказчик и далее общается все, что ему известно о восемнадцатилетнем смельчаке, одном из тех, что охраняли Кантарию и Егорова, когда они искали путь на крышу, чтобы укрепить на ней знамя победы. Но вопрос — «Кто эти люди» — имеет и иной, расширительный смысл: надо узнать, рассказать о каждом участнике великой борьбы, завоевавшем право на внимание и уважение народа. Желание писателя — ко времени, оно отвечает на потребность нашего общества — справедливую, глубоко демократическую, проникнутую подлинным уважением к человеческой личности, к советским людям, от имени которых были произнесены прекрасные простые слова:

**Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.**

III

Итак, законченность, связность приобретают и «самые короткие рассказы», когда они складываются в книгу единого дыхания, единой думы.

Но может быть, именно расчлененность повествования на малые звенья и позволяет писателю столь отчетливо и внятно заявлять о себе, своих чувствах и убеждениях?

В достаточно объемистом рассказе, с развернутыми характеристиками и положениями, конечно, не всегда уместны прямые, от имени рассказчика произнесенные уверения и оценки.

Повествовательная, сюжетная проза больше тяготеет к объективной образности, она, как это всем нам давно известно, прежде всего показывает. Но и в этой картинности внимательный читатель распознает не только общественную позицию — она присутствует обязательно! — но и пристрастия, вкусы, наклонности рассказчика, предпочтение, которое он оказывает и тем или иным словесным краскам, и определенному кругу сюжетов, действующих лиц, и соответствующим подходам, способам изложения.

Именно в сочетании всех этих образных особенностей рассказа и раскрывается личность автора. Мы пытаемся иногда охарактеризовать ее, пуская в ход «эмоциональные» эпитеты вроде: мужественный, сдержанный, участливый и т. п. и т. д., но, право же, подобного рода приблизительные определения не могут дать сколько-нибудь исчерпывающее представление о своеобразии серьезно мыслящего художника слова. Его индивидуальность проявляет себя в особенностях им созданного образного мира, вне зависимости от того — откровенное ли это, прямое лирическое переживание или ряд характеров и коллизий, казалось бы, нимало не связанных с личностью рассказчика.

Слова, сказанные одним из самых вдумчивых наших поэтов — Владимиром Луговским, применимы не только к стихам, но и к прозе.

Хочу — приму в себя огонь прибой,
С глазастой девочкой заговорю.
Соленых грузчиков возьму в обнимку,
В стихи, как в зеркале, переверну
На сотни лет все небо, море, землю
Такими, как стоят они сейчас
В моем отображении точном.

Да, вот так принимает в себя жизнь художник с тем, чтобы «перевернуть», истолковать ее и надолго воплотить в точном, живом образе. Здесь тесно слиты правда объективной действительности и правда идеи, чувства, владеющего создателем.

Можно утверждать, что жанровые особенности играют в творчестве писателя подчиненную роль: мы узнаем автора, его неповторимые черты, вне зависимости от того, выступает ли он с рассказами или с романом, или даже с пьесой. Чтобы убедиться в этом, вспомните драматургию и прозу Валентина Катаева, или Леонида Леонова, или Всеволода Вишневского. Не правда ли, каждый из них остается самим собою в драматургии и в прозаическом повествовании любого вида.

О том же свидетельствуют все новые примеры. Наш читатель знает и ценит Сергея Воронина — романиста, автора повести «Ненужная слава» — одного из первых произведений, проникнутых ненавистью к «показухе». И его рассказы из сборника «Солнечная долина» (особенно тот, что дал на-

звание всей книге) сильны тем же острым ощущением жизненного драматизма, той же отважной готовностью обращаться к сложным судьбам и конфликтам.

Никита Буклеев из рассказа «Второй цвет» разгадал, что за человек председатель колхоза Караваев, лишь в минуту расставания с ним. «Только теперь Буклеев до конца понял этого пришлого человека, который много думал и делал для других и которому они, колхозники, ничего не сделали, чтобы и ему хорошо было». Никита Романович сожалеет об упущенном — «Вернись сейчас Караваев, он, Буклеев, отдал бы все лучшее, что есть у него». Но потрянутого не вернуть. И однако же урок, полученный человеком честным, но самоуверенным, предубежденно относившимся к «чужим», наверное не пройдет даром: Буклеев будет иначе подходить к людям — с большим доверием и внимательностью.

Все это совершается в финальных строках рассказа. И читатели могут почувствовать себя так же, как... Буклеев, потому что рассказчик не торопился давать аттестации своим героям, а предоставил им выказать себя с наибольшей отчетливостью и полнотой.

Труднее определить читателю в рассказе «Братья» — кто из Глухаревых прав. Петр Степанович, бригадир-полевод, — человек трудолюбивый, деятельный, но скорый на решения и поступки непродуманный. А Василий Степанович — колхозный парт-орг — строг и прям, нетерпим к самомаleastшим проявлениям старой «мещанской крови», еще дающей о себе знать в бытовом и трудовом обиходе.

Естественно, такие люди рано или поздно должны были столкнуться, и они столкнулись, когда Василий поймал Петра, перетаскивавшего снопы с соседнего на «геройский участок» ради «улучшения» показателей.

Что ж, правота Василия в этой схватке несомненна. С гневом, с горечью он говорит о том, что мы «обязаны быть беспощадными к тем, кто обманывает народ, кто думает только о своем мещанском честолюбии!»

Прекрасные слова, золотые слова... Но вот что происходит далее: Петра Степановича распекают, осуждают, на собрании он слышит суровые, резкие упреки. И после этого резко меняется... к худшему, «будто из него вынули какую-то пружинку, которая заставляла его двигаться энергичнее, жить радостно, трудиться весело». Дальше — больше... Уже и пить он начал, и из бригадиров ушел, покатылся, как говорят, под горку.

Вот тут-то и выясняется неполная, неокончательная правота Василия Степановича. Он был обижен, что «брат не понял его хороших намерений». Но ведь и парт-оргу стоило подумать о том, почему его не понимают. Понял же Петр председателя колхоза Березина, нашего «душевное слово»! Именно душевности не хватало честному и убежденному Василию Степановичу! И мы уясняем это после со-

средоточенного наблюдения за братьями, каждый из которых считал себя правым в то время, как на поверку оба, хотя и в разной степени, ошибались. Истина открылась не в «отвлечении от обстоятельств» — как это предполагал Л. Аннинский, — а напротив, в их противоречивой густоте.

И, наконец, — «Солнечная долина»... Светлый и прекрасный этот край существует в воображении скромного и неутомимого старшего техника Киселева, на долю которого выпали испытания, тяжкие своей нужностью и даже унизи́тельностью. В мерзлых просторах Урала он вместе с подростком «немчком» Гансом (а дело происходит в годы войны) старается доставить в поселок двух старых лошадей, за которыми его послал начальник экспедиции. Все, что приходится вытерпеть Киселеву и Гансу, — холод, отчаяние, равноду-

шие встречных, солью падающее на их нравственные раны, — собирается, накапливается, рассказчик словно безжалостен к своим героям! — И однако же оба они выдерживают ношу, кажущуюся непомерной: комсомольцем остается Ганс, пылающий ненавистью к Гитлеру, человеческое достоинство сберегает Киселев. Сквозь пленку бед, несчастий, утрат видит Киселев «солнечную долину», и это не прихоть писателя, не натяжка, а подлинное движение души; оно в характере героя, отвечает его общему облику, а потому и убедительно и человечно. Суровая, жестковатая, пренебрегающая всякого рода «смягчениями» и «сглаживаниями» человечность пропитывает и роман «Две жизни» Сергея Воронина и его рассказы. Жанры разные, а писатель — един и последователен!

IV

Но пора уже обратиться к рассказчикам, так сказать, чистокровным, сосредоточивающим свои силы на точно очерченной территории, сжимающим, ограничивающим ход повествования строго обозначенными пределами.

Первые рассказы одного из них, Георгия Семенова, мне уже выпала удача дважды характеризовать на страницах «Москвы» несколько лет назад. Удача потому, что добрые надежды и предвидения подтвердились: Георгий Семенов работает успешно. По преимуществу рассказчик имеет дело с характерами, на первый взгляд не слишком-то трудными для исследования. Но получив возможность проследивать шаг за шагом душевную жизнь героев, мы убеждаемся в том, что в их самых обычных, расхожих речах и побуждениях таится крепкий заряд энергии — либо отрицательный, либо положительный. И в том и в другом случае точность и обоснованность оценки необходимы; именно таким образом участвует писатель в утверждении новой морали, в вытеснении, искоренении старых, собственных, мешанских предрассудков и пристрастий.

Конфликтность, драматизм — необходимая черта рассказа, но заявлять она может о себе по-разному. У Георгия Семенова редки острые столкновения в открытую, потрясения, круто поворачивающие пути действующих лиц. Но в его изображении самые обычные, обиходные поступки и встречи оказываются порой исполненными внутреннего напряжения и остроты.

Встречи — частый, на многие лады варьирующийся мотив в рассказах Семенова. И уж вовсе близки по фабуле, на первый взгляд, например, рассказы «Приезд сына» и «Весна». Однако же прочитайте их, и вы увидите: несмотря на то, что и здесь и там речь идет о приезде к отцу в село сына-горожанина, писатель обращается к мотивам, нимало не совпадающим, не повторяющим друг друга.

Глазунов («Приезд к сыну») — человек хотя и в летах, но очень наивный и непосредственный, нестойкий в своих чувствах и желаниях. Только что он был обижен и встревожен тем, что сын и приехавший с ним человек могут не заплатить за увозимый ими мешок картошки. А когда горожане не только предложили, но и навязали, подкинули Глазунову деньги, он опять-таки огорчился и растерялся — «почувствовал себя старым, смертельно обиженным и смешным». Значит, не корысть жила в этом простом сердце, а совсем иное чувство. Возвращаясь со станции в автобусе домой, он завязывает беседу с красивой молодой соседкой и, как это часто бывает в путевых разговорах, высказывает свои самые заветные побуждения и мысли. Речь его нескладна, сбивчива, но снова и снова повторяется в ней прекрасное слово — справедливость, и мы видим, как велика потребность истины, живущая в этом человеке. Брезжит, бьется в нем добрый огонек, который можно и должно разжечь, поддержать...

Не слишком-то порадовал и старого Пронина («Весна») посетивший его сынок-дельца, что решил было использовать родителей для охраны дачи, приобретенной неправедным путем. Велик и разителен контраст между одряхлевшим отцом, уже чувствующим, что «жизнь его прошла», и суетливым хлопотуном, находящимся во власти собственных махинаций. Но писатель отнюдь не склонен выдвигать — в который раз! — традиционное до шаблонности противопоставление спокойной старости и суматошливой деловитости. Нет, не возрастное различие здесь дает себя знать, а различие взглядов, представлений, жизненного поведения и понимания.

Одна и та же кровь течет в жилах отца-работника и сына-дельца, а как бесконечно далеки они! Только сын ничего не понял — «казалось ему, что все это безразлично старику, что равнодушен он к его

рассказу и словно не слышит», а отец отлично разгадал все хитросплетения своего статного, веселого, любезного Ивана и ощутил «недозволенное какое-то чувство», вспоминая и сравнивая с ним других сыновей, погибших на войне. Нет, не спокоен, не равнодушен прадед Пронин: в его уме и сердце идет напряженная работа; он понимает, переживает все происходящее вокруг, его душевная жизнь кипуча и богата.

Постижение людей, определение их общественной, человеческой ценности — достоинство многих рассказов Семенова.

Когда же писатель пытается решать нравственные проблемы вне зависимости от реальных человеческих свойств и отношений, его постигает неудача. Так обстоит дело в рассказе «Осенней ночью», главное действующее лицо которого, носящее фамилию Димов, оказывается лишенным характера. Он только олицетворение бесприютности, домашнего неустойства, семейного разлада. Все движения его души, все повороты его настроения — а они довольно порывисты — не имеют внутреннего обоснования и объяснения, воспринимаются как прихоть рассказчика: решил он и заставил Димова вспоминать с сожалением о милой официантке Регине, захотел и внушил ему ощущение пустоты, одиночества, внезапную тягу «домой, к жене»...

Здесь вспоминается рассказ другого, также даровитого прозаика, Ильи Лаврова — «Не уходите», потому что в нем заявляет о себе то же механическое оперирование приблизительными фигурами, разыгрывающими столь же условную комбинацию.

Прозаической, тривиальной жене Чибисова (такое имя носит главный персонаж, выразитель авторских намерений и планов) противостоит случайная и недолгая попутчица. очаровательная и таинственная незнакомка. Увы — и очарование, и тайна, ее окружающая, мнимы и трафаретны. Вот каковы краски этого рассказа: «Она смотрит на него тревожно и удивленно, будто он кого-то напоминает ей. А может быть, это ему сочинилось в синем таинственном полумраке?»

На меховой шапочке, на плечах дошки лежит пластами пушистый голубой снег. Казалось, женщина возникла из недр плотной тишины, из ночной глухомани... Действительно, здесь решительно все «сочинилось», и в сочинительстве этом были применены обычные, псевдоромантические штампы. Они не имеют ничего общего с подлинно романтическим воодушевлением, свойственным прозе И. Лаврова. В рассказе «Не уходите» он попросту отказывается от них, словно передразнивает, пародирует и... теряет себя.

Утрачивает свою силу и Г. Семенов в рассказе «Осенней ночью». Два совершенно самостоятельных, интересных прозаика странно и досадно становятся схожими, когда предпочитают жизненной полноте изображения, новизне поисков и открытий шаткость наскоро изготовленных ремесленных конструкций.

Сила Г. Семенова и И. Лаврова в развернутом и тщательном «качественном» анализе человеческих действий и помыслов, в характерах, раскрывающихся в любимом деле.

V

Сергей Антонов в одном из своих «Писем о рассказе» убежденно и доказательно говорит о том, как ощущение глубины и свежести слова позволяет рассказчикам создавать просторные, насыщенные картины.

К этому можно добавить, что одно из самых удивительнейших свойств образного слова — это способность складываться в совершенно разнородные единства.

Мы говорили до сих пор о рассказах, где преобладает анализ, где писатель выступает в роли неутомимого исследователя, пытливого взвешивающего, просвечивающего поступки, речи, помыслы своих героев.

Но существует и иное движение образного слова, которое можно назвать синтетическим, поэтическим. Идя по этому пути, рассказчик прежде всего заботится о воссоздании особой прелести, остроты, силы пережитого. Он будто говорит жизни: остановись, мгновенье, ты — прекрасно, или: ты — горестно, или: ты — ожиданье, раздумье, перелом, порыв... Да мало ли какие «мгновенья», короткие и длинные, доводятся пережить человеку! Вот их-то и «схватывает» рассказчик, стремясь как бы ментально, одним мазком запечатлеть, выразить самое важное, характерное в облике людей, в их поведении.

Именно так, по преимуществу, ведет повествование Сергей Никитин. В его рассказе «Красивая» действие и в самом деле длится совсем недолгий срок. А обаято здесь, на берегу речки Нары, многое — и нелепая судьба красавицы женщины, исковерканная ею же самой, ее корыстолюбием, жадностью, и железная стойкость Матвея, который отверг любимую потому, что не может «этой самой жадности выносить», и его столкновение с людьми мелкотравчатыми, нечистоплотными. Писателю удалось так естественно и точно расставить всех действующих лиц, так осветить их, что сразу стали отчетливо видны их важнейшие, решающие черты. Сделано это с настоящим мастерством: жизни не тесно в сжатых до предела границах.

«Красивая» — рассказ драматический, конфликтный. А в «Грачах» никаких потрясений и столкновений не происходит. Здесь все подытожено в завершающей, как будто бы безмятежно созерцательной сцене: стоят несколько человек «в расстегнутых шубах» под мартовским солнцем на площади маленького русского городка и глядят на прилетевших грачей — вот и все. А сквозь эту лучистую синеву видится не только неотразимая красота древних зданий, но и

люди, ею любующиеся, много пережившие, но не утратившие способности ценить прекрасное и благородное. Василий Федоров однажды хорошо, проникновенно сказал: «Красота, о которой тоскует мое поколение»...

Верные слова! Только, право же, о красоте мечтают наши соотечественники любых поколений. Это чудесное стремление и передает С. Никитин прозрачно и без всякого наигрыша, в очень точно выбранной тональности.

А в рассказе «Тряпки» — нравственное уродство снова противостоит честности, паразитическое пенкоснимательство — труду. Происходит это в городском «интеллигентном», как говорится, кругу, но ничего не меняется от того, что перед нами не плотник, а писатель, профессорская дочка, а не сельская красавица. Те же проблемы, та же расстановка сил.

Конечно, профессия все же накладывает свой отпечаток на человека. Действующий в «Тряпках» писатель так живо, красочно ведет свою речь, что мы узнаем настоящего властителя словесной стихии. И примечательно, что нарисованные или, точнее, высказанные им образы позволяют нам лучше понять поэтику самого С. Никитина. Вот лишь несколько строк, многое открывающих: «А отца у меня нет. Но я его помню. И даже не его самого, а какое-то очень яркое впечатление, оставленное им во мне на всю жизнь. Может быть, я потом дорисовал всю обстановку этого дня, но мне кажется, что когда-то так было на самом деле: дорога в сухой спелой ржи, телега, зной и груды пухлых облаков на горизонте... И почему-то все это — отец». Так и любит писать С. Никитин: в основе его рассказов «очень яркие впечатления», в которых люди слиты с окружающей их обстановкой, с просторным, прекрасным миром. Это очень острое, пронизательное переживание, и потому С. Никитина можно отчасти признать писателем лирическим. Но только отчасти — ведь чувство, настроение, пропитывающее рассказ, нимало не скрадывает напряженности сюжета, четкости характеристики, а скорее — даже их усиливает.

Как видим, и этот путь ведет не к изолированной, не к обособленной «человеко-единице», а к личности, соединенной с миром тысячью нитей. Вот и «Падучая звезда», рассказывающая о том, что такой Митя — молодой человек, о котором в заключительных строках сказано: «Через

несколько шагов он упадет, раскинув руки, на истерзанную грудь земли, чтобы не подняться с нее никогда». И эта биография, обрывающаяся так горько и так рано, составлена из вереницы пейзажных и житейских эпизодов, касающихся и особенностей самого героя, и всего поколения людей, проходивших суровую школу Великой Отечественной войны. Все здесь напряженно, остро.

И наоборот, история детства и отрочества Мити как бы состоит из городской предутренней тишины, из повисшего над рекою тумана, из часов, проведенных среди плотников, конопатчиков, кровельщиков и других рабочих людей, из школьных коридоров и классов и еще из сотен встреч, соприкосновений, сближений, которые вошли в ум, сердце Мити, сформировали его, отложились в его памяти и характере.

Не следует думать, что С. Никитин превращает своего героя в некое пассивное «чувствилище», лишь воспринимающее влияния, идущие извне. Нет, этап за этапом складывается перед нами человек, происходит становление личности. Мы наблюдаем за тем, как «начинается... любовь к большой Родине, за которую кладут голову», как под влиянием своего друга «Митя, точно прозрев, вдруг осознал, сколькими радостями он повсеместно и повсечасно окружен», и как это укрепившееся в нем сознание вело его в новые и новые просторы. Способность к пониманию не только не снизила его чувствительности, но и укрепила ее, сообщила широту, дала умные сопрягать, сопоставлять, итожить — «...Каждая мелкая подробность мгновенно отзывалась в Мите вспышкой острого ощущения жизни, обтекающей его со всех сторон». Мгновенно и длительно!.. Наслаивалось, накапливалось все пережитое, продуманное с тем, чтобы вернуться в мир трудом, созданием, делом. И — погибло, было бессмысленно, нелепо уничтожено вражеской пулей или снарядом. Чужовищность этого уничтожения столь разительна именно от того, что мы успели убедиться в том, какое богатство дум и свершений унес с собою один из сыновей социалистической России. Пластична, вещественна изображенная здесь связь меж Отчизной и ее воспитанником, строителем, защитником. Мгновения образуют неразрывную, прочную цепь, и велика протяженность этой цепи, плотно она сближает по видимости далеко отстоящие факты, позволяет понять их взаимодействие.

VI

В рассказах, о которых покуда шла речь, встает добрая и дружелюбная средне-русская природа, издавна сжившаяся с человеком.

Иной нрав у природы, изображаемой Анатолием Ткаченко, — дальневосточной. Это грозная, необузданная, мятежная стихия, только и ждущая удобной минуты,

чтоб вырваться на волю, показать свое могущество осваивающим ее людям.

Но мы ошиблись бы, предположив, что своеобразие рассказов Ткаченко исчерпывается выбором местности, края, где приходится действовать людям, привлекаем их его внимание. Нет — пейзажи, и облюбованные, под стать большей части его героев.

Среди них занимают заметное место натуры богатые, обещающие, но часто еще далеко не нашедшие, не осознавшие себя.

Таков, к примеру, Алеша из рассказа «Повариха Антонида» — паренек славный, работящий, скромный, но имеющий самое приблизительное, неопределенное представление о человеческих правах и обязанностях, о требованиях и возможностях нашего времени. Пробуждающим его благотворным толчком оказывается первая любовь или, точнее, влюбленность в девушку, присланную поварихой в рыбацкую бригаду. Недолго она здесь пробыла, но оставила неизгладимый след в памяти Алешы, уже выросшего и возмужавшего. В его нынешний нравственный мир рассказчик нас не вводит; А. Ткаченко, очевидно, хотелось уловить переломные часы, показать, как юноша, до поры лишь беззаботно радовавшийся «воде, камням, рыбе», вдруг узнал, постиг откровение: вода не просто вода, камни не просто камни; и небо, и ветер и «рыба... это — среда, стихия, данная человеку для жизни». Так совершилось превращение — из куколки появилась бабочка, из славного, добродушного несмышляныша — человек, работник, преобразователь.

Далеко не во всех рассказах А. Ткаченко нравственное созревание героя обозначено с такой законченностью и определенностью. Молодецкий шофер из «Перевала под небом» явно охвачен смятением и нерешительностью: с рассказчика, попросившего к нему в машину, он берет «калым» не столько из корысти, сколько чтоб не отстать от шустрых своих коллег. Но этот «трояк» мучит паренька («детдомовский, только из солдат, ни кола ни двора»), он угощает своего пассажира завтраком, он готов отказаться от им же самим назначенной платы. И в дороге они с рассказчиком так живо, увлеченно говорят о хороших и важных вещах, такое взаимопонимание устанавливается между ними, что видно — идет в молодом человеке, может ему самому и непонятная, схватка между дурным хищничеством, прививаемым сомнительными дружками, и истинно человеческим, подлинно советским. Борьба эта происходит и на участках действительности, гораздо более ответственных, объемных, но дорог нам и один, судя по многим приметам, совсем не плохой парень, смущенно пытающийся вернуть полученную им трешку. Смущенно чувствует себя и рассказчик. Он ищет новой встречи с шофером, чтобы «сказать ему всего несколько слов... Каких? Не знаю. Эти слова пришли бы ко мне». Рассказ будто оборван на полуфразе. Но это оттеняет незавершенность судьбы молодого водителя, ему предстоит еще многое понять и принять, от которого отказаться.

Как видим, рост личности протекает не в теплице, не посредством самоусовершенствования, а в жизненной гуще, в столкновении скверных, мещанских догм и благородных принципов социалистической, человеческой, трудовой морали. В рассказе «Звонкая бочка» старый мастер дядя Антон

одобрительно говорит подростку Тимке: «Хорошо, браток, что чувствуешь человека, говарившем будешь», и в этих, от сердца сказанных простых словах, заявляет о себе правда работников, ставшая важнейшей движущей силой нашего времени. Ее выразил Мартынов, когда сказал:

...В расширяющейся Вселенной
людям хочется быть заодно.

Герои Ткаченко — люди добрых надежд, больших ожиданий, непроявленных возможностей. И, наверное, самому А. Ткаченко предстоит пройти со своими героями через испытания более сложные, где им придется иметь дело не со стужей и тайгой, а с людьми, подчас такими же трудными, не с дорожными километрами, а с жизненными противоречиями.

Изображая своих хороших знакомцев в новых обстоятельствах, писатель, наверное, и сам выкажет свойства и возможности, им до сих пор не обнаруженные. Он и сейчас чуток, внимателен к прекрасному, полны воодушевления его закаты и восходы, кони и маяки. Но как же «заиграет», развернется эта ценная способность в сюжетах, проникнутых социальным драматизмом, в развернутых столкновениях характеров...

Мы уже имели случай удостовериться в том, что художник, последовательный и цельный, выносит на суд читателя дорогие ему представления о жизни, к каким бы видам повествования он ни обращался.

Вот и в первой книге Ирины Велембовской «Лесная история» две повести и два рассказа, но так же, как и в последующих ее произведениях, опубликованных на страницах журналов, жанровые различия, право же, мало что определяют в характеристике ее творчества.

А между тем черты писательского облика сразу же обрисовались явственно и рельефно.

И. Велембовская принадлежит к числу рассказчиков, предпочитающих самые естественные, можно сказать, — житейские коллизии. Она говорит о бытовых делах, не попадая в плен к бытовщине, как бы пробиваясь через мелочное, незначительное к сути и смыслу человеческих побуждений и поступков. Представление писательницы о добре, о чести имеют самую что ни на есть прочную основу — трудовую. Они и не нуждаются ни в каких подчеркиваниях и комментариях, потому что подтверждены всем строем мысли, образом жизни героев, их характерами, особенно женскими.

Пожалуй, с наибольшей органичностью великодушные и сердечные воплощены в облике почтальонши Пани из рассказа «В трудную минуту». Мы знакомимся с нею, и правда, в трудное для нее время. Не потому, что она попала в больницу с разбитой головой, после того, как спасала женщину, избиваемую мужем-буяном, а потому, что влюбилась в одного из больных, и пока, увы, безответно.

Владеет Паней влечение сердечное, сугубо «интимное». Но в нем она видна целиком, и можно залобоваться этой преле-

стной женщиной, человеческой в любом своем поступке. Сама же она «объясняет» себя в беседе со своим «избранником»: «— А ты много про женщин знаешь? Всякие они есть, милый мой. Одну нянчить надо, а другая тем и жива, что кого-нибудь нянчит. Ну вот я себе подыскала... заботушку». И точно, Паяя постоянно принимает на свои плечи всевозможные тяготы и заботы, и притом в ее облике нет ничего аскетического, жертвенного, потому что иначе она не может, ей это нужно, а без этого плохо. Деятельное добро — сердцевина ее характера.

Добрых, участливых, трудолюбивых людей, занимающих самое скромное положение на низших ступенях социальной пирамиды, изображали великие писатели-гуманисты прошлого столетия, — изображали незловивыми, прилежными и... безропотными, покорными. Вспомним безответную и неутомимую служанку из рассказа Флора «Простая душа».

Попробуйте подойти к «почтальонше» Пяне с этой меркой, и вы убедитесь, что героиня И. Велембовской в нее не укладывается. Не будем здесь говорить о том, что всем нам хорошо видно и понятно, повторим только лестную аттестацию, высказанную милиционером — свидетелем Паниного подвига: «Очень решительная гражданка: все бы так сознательно относились...» На этих словах — профессиональный отпечаток, но ведь и в самом деле перед нами настоящая гражданка — сознательная и решительная. Нет, ее не назовешь «чудахой», которых повсюду встречает Л. Аннинский, она не примечательна никакими «странностями» и отклонениями от обычного. Но как же обаятельна она в своей естественности и как богат, хорош ее душевный мир!.. Побольше бы таких «рядовых» характеров...

Не следует думать, что И. Велембовская ограничила себя судьбами и коллизиями, разворачивающимися в мирной повседневности. Ее рассказ «По следам любви» написан иными красками — острыми и резкими. Писательница верна себе в изображении Мишукова, вспоминающего о своих комсомольских годах, о своей юношеской влюбленности в милую, мечтательную Сашу. Но именно эта верность своим взглядам, убеждениям и побудила И. Велембовскую настороженно и внимательно всмотреться в ханжескую физиономию Гребенюка, безжалостно обличить его лицемерие и демагогию. А для того, чтобы осветить силы, до поры дремавшие в Саше, — оказалось необходимым провести ее перед горнилом испытаний военного времени. Следуя за своими героинями, писательница и сама выказала способности, прежде оставшиеся как бы в резерве, в запасе.

Да, память о войне, живущая во всей нашей литературе, находит воплощение не только в романах, сильных широтой и взвешенностью итогов. Новое о людях, защитивших социалистическое Отечество, говорят нам и рассказы. И новизна эта — в освещении тончайших, нежнейших оттенков человеческих чувств и стремлений, полу-

чивших особенную силу и ценность в дни боев, утрат, подвигов. Во всяком случае, именно этой пронзительной сердечностью сильна книга Владимира Богомолова «Сердца моего боль».

Один из рассказов, ее составляющих, «Иван» получил широчайшую и заслуженную известность. И все же, перечитывая его, сызнава поражаешься тому, как нераздельно идут здесь рядом ненависть и дружба, гнев и великая любовь, какие крепчайшие нити заботы, чуткости, взаимопонимания объединяют людей пожилых и юношей, мальчиков, посвятивших себя борьбе с врагами. Не знаешь, чему больше и удивиться — той ярости, которая ровным и жарким огнем горит в маленьком теле Ивана, или той потребности добра, которая живет и в нем, и в его взрослых товарищах, так бережно охраняющих каждый шаг, каждое желание мальчика.

Никаких жалостных, трогательных слов нет в рассказе. Они и не в характере его героев. «Но забыть об Иване, — как посоветовал мне подполковник, — я, понятно, не мог», — вот, кажется, самое откровенное признание, на которое идет Гальцев, от чьего лица и ведется повествование. «Иван» — самый большой из рассказов, включенных в книгу. Но не он дал ей название, а крохотный «Сердца моего боль». Может быть, ему отдано предпочтение оттого, что в заключительных строках видно «всю Россию». А во втором большом рассказе «Зося» снова имеет голос молодой солдат, «совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленый», радующийся весне, недолгому отдыху.

Здесь, как и в «Иване», война изображена «в настоящем времени». Но только герои «Ивана» находятся на передовых, они воюют, а героев «Зоси» мы видим на отдыхе, в «промежутке». Казалось бы, и условия совершенно несхожие, и коллизии не имеют меж собой ничего общего.

А между тем и в той, и в другой обстановке так хорошо видно, что за чудесные ребята перед нами, какая это великолепная, многообещающая молодость. И удивительный Витька — неутомимый, щедрый, отважный, изобретательный, — потенциальный полководец, космонавт, сталевар, государственный деятель, впоследствии погибший в Берлине, Герой Советского Союза Виктор Степанович Байков, и его друг, от чьего имени идет рассказ, мечтательный, застенчивый и смелый юноша, он же — начальник штаба батальона, и серьезный, начитанный Карев — все они кажутся братьями, выросшими под одним и тем же высоким, светлым небом и воспитанными в огромной, дружной и доброй семье.

При этом, их отношения начисто свободны от умильности и слащавости. Лихой Витька, при малейшем намеке на чувствительность, бешено выкрикивает оскорбительнейшее, по его мнению, слово: «Сюсюк!!!» — и презрительно добавляет: «Пи-и-ижонство!..» Завидное умение у В. Богомолова находить верные слова, приближающие к сердцу читателей и тяжелое, и

радостное, в тех бесчисленных сочетаниях, которыми так насыщена действительность, особенно фронтовая. В чистой, прозрачной мелодии любви — несостоявшейся и все же на всю жизнь запомнившейся — начинают звучать горестные ноты реквиема. Они возникают в ту пору, когда герой-рассказчик заполняет «похоронные»: «Я как бы вторично проделывал восьмисоткилометровый путь, пройденный батальоном за месяц наступления,— пишет он.— Еще раз участвовал во всех боях, опять видел и переживал десятки смертей»,— и далее следуют имена, воспоминания, характеристики. Они очень коротки, немногословны, но отбрасывают печальную и грозную тень на эти солнечные, безмятежные страницы... И мы окончательно убеждаемся в том, что перед нами не сборник больших и малых рассказов, а настоящая книга, составленная из звеньев, казалось бы и «автономных», но словно намагниченных, тянущихся одно к другому. Да, рассказы могут складываться в развернутые многоступенчатые единства, охватывать просторные участки, глубинные слои действительности!

Можно было бы поговорить еще не об одном рассказчике, войти еще не в один круг образов, пристрастий, стремлений. Но число их велико, и нам казалось, что о писках и открытиях наших рассказчиков

можно получить более ясное и точное представление, не прибегая к составлению списков и перечней, а стараясь вплотную подойти хоть к немногим из этого сплоченного и многоликого строя.

И еще: строй этот постоянно и повседневно получает новое пополнение. Оно приходит отовсюду, даже из соседних отрядов литературы. Вот в журнале «Подъем» (1965 г. № 4) опубликована небольшая повесть, скорее, рассказ — «Травинки во льду», принадлежит он перу молодого литературоведа Владимира Гусева. Наблюдательно и умно здесь «записан» один день школьника, завершающийся внезапным озарением, постижением смысла всех этих встреч, происшествий, бесед. А на страницах «Литературной России» мы прочитали суровый и теплый рассказ «Тетя Даша», и над ним стоит имя Бориса Куликова, которого мы до сих пор знали как автора книжки стихов, как очеркиста. В нашей памяти остается трудовая судьба, сильный и добрый характер. Даже в этих одиночных рассказах угадывается личность рассказчика. А ведь они — не исключение...

Высока выразительная, впечатляющая сила сжатого повествования. Владение этой силой ради постижения и утверждения справедливых идей нашего времени — вот настоящее мастерство и радость художника.



ПОКА ПОЭТ ВЛАДЕЕТ СЛОВОМ...

Одному из родоначальников советской поэзии — Николаю Ушакову в нынешнем году исполняется семьдесят семь лет. Такую «некруглую» дату критики обычно не замечают и не отмечают. Но в данном случае этой «неприметной» дате сопутствовал выход избранных произведений Н. Ушакова, что оказалось не просто приметным, а, я бы сказал, примечательным явлением.

В одном из недавних стихотворений у Николая Ушакова вырвались вот такие, по тональности вроде и наступательные, а по существу, пожалуй, самозащитные строчки:

Докажем молодежи,
старинные друзья,
что стих у нас надежен,
что без него
нельзя,
что нужен он
как воздух...

У многочисленных читателей и почитателей поэзии Николая Ушакова подобный его призыв может вызвать лишь недоумение: зачем доказывать то, что за сорок с лишним творческих лет автором так талантливо, самобытно и проникновенно «доказано»? Ведь трудно было бы представить историю советской лирики без яркого, задушевного и поэтому очень емкого поэтического слова Николая Ушакова.

Я написал это — «трудно было бы представить...» и со смущением вспомнил, что такая риторическая формула, сама требующая доказательств, нередко употребляется нашей критикой как будто бы неоспоримое доказательство. Даже известный поэт Леонид Мартынов, ведя разговор о поэтическом творчестве Ильи Эренбурга, прославившегося отнюдь не своей поэзией, прибегнул к подобному критическому «натиску», только уже в более масштабном плане: «трудно представить мировую поэзию...» и т. д.

Этакие высокие формулировки порою остаются лишь формулировками еще и потому, что «опредметить» их бывает не такто и легко. Мою же задачу в этом отношении несколько облегчает действительно интересная и оригинальная поэзия Николая Ушакова. Она не по желанию того или иного критика, а по логике своего развития и

значения стала, как говорится, фактом литературной истории.

Конечно, это наше нынешнее убеждение не сразу определилось и утвердилось: понадобились годы и десятилетия. У этой «медлительности» и «постепенности» признания поэта были свои, опять-таки исторические причины.

Зоркий и вдумчивый лирик Николай Ушаков пришел в поэзию в начале двадцатых годов, когда в ней очень ценилось прямое, порою даже художественно обнаженное призывное слово. Но было бы, мягко говоря, неразумно упрекать читателей того времени и само время за то, что поэзия 20-х годов не могла не считаться с практически потребностями жизни. Ведь прямой поэтический призыв в ту пору нередко оказывался более настоятельным, чем образное осмысление происходящего. И, может быть, поэтому многим казалось, что поэзия Николая Ушакова находится как бы в стороне от «генерального» поэтического направления...

Только потом, много позже, когда мы более спокойно и вдумчиво начали подходить к поэзии, более объемно взглянули на ее задачи, стало понятно, что уже первые стихи, с которыми Николай Ушаков выступил почти сорок пять лет назад, стихи, видимо, навеянные планом ленинского ГОЭЛРО, вошли в боевые ряды нашей поэзии. И вошли, возможно, более прочно, чем иные, звучащие вроде бы и громче. Ничего не поделаешь — поэзия должна быть поэзией, лишь тогда она остается вечно живой, вечно тревожащей наше воображение, лишь тогда нам нет дела до того — сколько лет или десятков лет назад она появилась:

...Обегая каменные груды,
пенно кипящего шумлив,
он несет в бетонные запруды
голубой и радостный прилив.
Чтобы,
проскочивши все преграды,
под гремящий вздох
и тяжкий «ах»
пасть
освобожденным водопадом
и кружиться в жадных желобах.
Ты полюбишь
этот гул пчелиный,
монотонный, многоверстный рой,—

пусть пронзительней
 жужжат турбины
 и кипит и рвется водород,
 чтобы,
 выскочив из самострела,
 по тугому
 медному шнуру
 молния зеленая легела
 и зарницы бились на ветру.

Такие стихи были остро актуальными в те времена. Ведь это была поэтизация мечты об электрическом свете, электрической силе, которым Ленин придавал такое громадное значение!

Многое из того, что создавал поэт и в начальную пору своего творчества, было весьма злободневным. Но, не в пример целому ряду других стихотворцев, он даже вот такую «черную» работу делал по законам художественного творчества. И все это оказывалось поэзией, которая своими картинками приносила людям, может быть, большую пользу, чем иной рифмованный плакатный призыв, вроде следующего, запомнимшегося мне с тех давних дней: «Чтоб жил он, чтоб грузы по рельсам вез,— отремонтируем в срок паровоз!»

Николай Ушаков понимал, что путь поэзии, даже агитационного характера,— иной. Поэтому никто и никогда не сумел бы отлучить от поэзии, скажем, вот такие живые и образные его строчки тех лет о ремонте паровозов:

Пыхтел и попыхивал лазарет,
 сестры по лестницам лазали.
 Приполз паровоз,
 и духу нет,
 и пел, задыхаясь, Лазаря.
 Его подергивало и трясло —
 на костылях с Поволжья.
 Не инвалид,
 нельзя на слом,—
 ое жить и работать должен...
 Долбило, обдывало долото,
 металлы с клешей стекали,
 его обмотали большим бинтом
 из гаек,

винтов
и стали...

И ждала сухая трескучая степь,
 и ждали друзья на вокзале.
 Его с больничных ведомостей
 на третьи сутки списали.

С первых творческих шагов и до нынешних дней поэтическое слово Николая Ушакова шло по горячим следам памятных свершений на нашей советской земле. Поэт был и остается своеобразным художественным летописцем нашего времени. Но летописцем, который находит свои неповторимые слова, приемы, метафоры для изображения того или иного явления.

Иногда, вначале, даже недоумеваешь: ну почему это автору вдруг захотелось показать «Ливень во время демонстрации»? И только потом, после прочтения стихов, начинаешь понимать, насколько они написаны изобретательно, красочно и, если хотите, политически заостренно. Эти стихи и в тридцать третьем году были новы, и в шестьдесят шестом остались такими же:

Гроза наступает.
 Раскат за раскатом.
 Летит с топочей золотистая вата.
 И легкий, и нежный, и свежий их запах

стремится на запад,
 на запад,
 на запад!

На запад!
 На запад!
 И плещет над нами
 расшито медными нитками знамя.
 И, волосы взвевя и спугавши зелень,
 ливнем и музыкой воздух прострелен.
 И, словно пустой,
 отзывается камень
 под сбитыми в груды
 грузовиками.
 И влажных знамен
 освежающий запах
 несется
 на запад,
 на запад,
 на запад.

Автор умеет так сочетать и направлять, казалось бы, обычные конкретные детали, что они на наших глазах приобретают новое качество, перерастают в многозначительный символ.

И вообще одна из примечательных черт поэзии Н. Ушакова — это ее живая, зримая предметность. Он не отступает от своей предметной основы даже в наиболее философских стихотворениях.

Вот уже три десятка лет я время от времени повторяю, скажем, такое мудрое и в то же время предметно осязаемое философское стихотворение, как «Мастерство». В нем очень умело и органично сочетается конкретная основа с глубокой аллегоричностью:

Пока владеют формой руки,
 пока твой опыт
 не иссяк,
 на яростном гончарном круге
 верти вселенной
 так
 и сяк.
 Мир незакончен
 и неточен,—
 поставь его на пьедестал
 и надавай ему пощечин,
 чтоб он из глины
 мыслью стал.

Написано стихотворение вроде бы и легко и даже несколько игриво. Но это «легкость» и «игра» истинного таланта, человека, пристально вглядывающегося в окружающий мир, человека, горячо чувствующего жизнь. Его поэзия может показаться несколько пестрой, избыточной образной красотой. Но это лишь на первый взгляд...

Нарочитой пестротой и красотой обычно пользуются как щитом мало знающие, мало думающие, мало видевшие. Об Ушакове этого не скажешь. Может быть, никто другой из ныне живущих и работающих поэтов столько не поездил, не пересек десятки раз вдоль и поперек страну, как Николай Ушаков. Его вела по этим бесконечным дорогам неутолимая жажда видеть и чувствовать наш большой многоцветный мир, чтобы все это сразу же или потом осмыслить поэтически. А как это нужно делать — автор отлично понимал:

Мир измерить немислимо мерой
 безразлично красивых стихов.

Такие строчки у Н. Ушакова — не стереотипная декларация, а искренняя испо-

ведь, раскрывающая «секрет» нашего непреодолимого внимания к творчеству поэта:

А я писал все время о любви —
к глухим разъездам,
к старым счетоводам,
к полударосшим,
но проточным водам,
и все тропинки вдаль меня вели...

Моя любовь

была веков разведка...
Пусть же всегда звенели соловьи,
пусть розы расцветали слишком редко,
но о любви писал я,
о любви!

Пусть не введут читателя в заблуждение эти перечислительные строчки. Речь в них идет не о «мелочах», а о внимании автора к жизни, как говорится, с подробностями. Ведь живых подробностей-то порою и не хватает нашей поэзии.

Правда, порою Н. Ушаков увлекается детализацией, иногда принося ей в жертву то главное, во имя чего, собственно, и писалось стихотворение. Есть у автора и недостатки иного характера: стихи с не вполне определенным замыслом. В них смысловой ручеек так и не разрастается в широкий поток, так и остается узенькой, почти пересохшей струйкой. Но, как говорится, лишь у того, кто не работает, не бывает просчетов. И, кстати, у таких талантливых и деятельных поэтов, как Николай Ушаков, они чем-то походят на солдатские шрамы...

Я употребил этот воинский термин и невольно задумался о трудном, благородном и последовательном творческом пути Николая Ушакова. Читая его избранные стихи за несколько десятков лет труда, мы, пожалуй, могли бы уже не в порядке пожелания, как это сделано автором, а в плане констатации привести его следующие строки:

...Об одном лишь думать нам,
быть может,
чтоб была у нас строка верна,
чтобы мир стихотворенья ожил,
как на храбром сердце
ордена.

Это, собственно, основная забота всякого серьезного поэта: писать так, чтобы многоцветный и многодумный мир его поэзии предстал перед взглядом и сердцем читателя как живой. Что касается Николая Ушакова, то ему в этом отношении нечего тревожиться: за его стихами встает большая, беспокойная, с характерными подробностями жизнь!

Чего там греха таить, часто наша поэзия, перефразируя известное выражение, за лесом не видит деревьев. В таком случае она чем-то сходна с той дистиллированной водой из мартьяновского стихотворения, которой «ни напиться, ни умыться...»

Можно, скажем, вдруг наступившую станционную тишину передать или, еще точнее, обозначить общими словами, не подкрепленными живыми деталями. А можно ее изобразить и более достоверно — через какой-либо характерный штрих, который не только заставит нас поверить в эту

неимоверную ночную тишину, но и надолго ее образ сохранит в нашей памяти:

...Так тихо!
Слышно, как порхает
ночной вдоль рельса мотылек.

Кажется, мелочь — мотылек, а какую завершенность придал он авторскому замыслу... И вообще Николай Ушаков — незаурядный мастер художественной детали.

Нет, нет, мне не хотелось бы художественные средства и приемы превращать во что-то большее. Они всегда были и будут, хотя и весьма верными, но все-таки слугами поэта в его постоянном и неутомимом стремлении осваивать все новые географические просторы, все новые человеческие судьбы.

Вся ли нами страна замечена?
Вся ли
в строки вошла стихов?
Беспощадный открыл Донетчину,
Приамурье — Петр Комаров.
Агрономы,
шахтеры,

воины —
мы тебя изучаем, страна!
К сожаленью,
мало освоена
поэтическая целина.

А она псд крылом у летчика,
всей тайгой за разбегом Кадуу
ждет
поэта-первопроходчика...

Нельзя не позавидовать этому по годам вроде бы и не молодому человеку, который постоянно находится в буквальном и метафоричном значении этого слова — в пути!

Мои заметки о поэзии Н. Ушакова, видимо, несколько переросли рамки «заметок». В подобных случаях к основному заголовку принято добавлять — «Литературный очерк» или что-либо в этом роде. А «очерк», в свою очередь, предполагает еще и прямое сообщение читателю биографических данных об авторе, скажем, о его юности, друзьях, привычках, а то и чертах внешнего облика...

Я с Николаем Ушаковым знаком, как говорится, с давних давен. Не однажды еще в Харькове и Киеве слушал его стихи и беседы с «начинающими». Помню и не категорические, а скорее похожие на раздумья суждения о стихах, которые Ушакову чем-то «не пришлись», и чрезмерное увлечение тем, что ему хотя бы немного понравилось. Хорошо знаю его трогательную привязанность к людям и природе Украины, где он живет с детских лет. Но ведь все это внимательный читатель может узнать из самой поэзии Ушакова. Такова уж природа талантливого поэтического творчества, что в нем обычно органически сливается разговор «О времени и о себе». Даже великий русский поэт Сергей Есенин в «Автобиографии» сообщил лишь несколько эпизодов из детства, а затем сказал: все остальное — в моих стихах. Не так бывает по обыкновению лишь у творцов, отдающих предпочтение, скажем, формальным поискам. Но поэзия Н. Ушакова имеет, как известно, более жизненную направленность.

Я, правда, помню и статью, где одному критическому фразеру померщилась в

ушаковской поэзии «явная созерцательность и констатационность». Но причины подобных умозаключений крылись, видимо, не столько в характере критикуемой поэзии, сколько в критических данных рецензента. Ведь созерцательность — это безучастность. А поэзия Н. Ушакова тем-то нам и близка, что жизнь в ней предстает не отстраненной, а как бы пропущенной через чуткую душу автора.

Вот и в стихах, публикуемых в этом же номере журнала «Москва», не трудно заметить эту творческую особенность Н. Ушакова.

Кроме выразительного поэтического таланта, автор наделен еще и обостренным чувством ответственности перед читателем. Поэт хорошо понимает его жизненные запросы. И, возможно, это он, знающий и требовательный его читатель, вот уже сорок пять лет держит поэта, как говорится, в боевой творческой форме, ждет от него все новых жизненных впечатлений, все новых поэтических образов. И поэт никогда не обманывал веры читателя в его проникновенное слово, между ними давно установилось душевное взаимопонимание. Это, вероятно, и дало право автору вот так поэтично и искренне говорить со своим другом и в какой-то мере творческим соучастником в стихотворении «Читателю этих строк»:

Ирпень-река,
и над рекою
сентябрьской ночи
торжество.
Землечерпалка на покое,
как дремлющее существо...
И лишь каштанов силуэты,
и лишь вдали освещено,
как на другом конце планеты,
одно раскрытое окно.
Быть может,

на Курилах дальних
огонь горит в твоём окне
и до лучей первоначальных
ты вспоминаешь обо мне...
И жар взаимности глубокой
миллион кедровиков прожёт,
и все стучит мне издали
электростанции
движок.

Думается, что Николай Ушаков, вложивший в свою поэзию столько творческого умения и душевной чуткости, не без оснований рассчитывает на «жар взаимности глубокой» со стороны тех, для кого он так беспокойно живет и так талантливо работает. Поэт любит образ весны. Первая его книга озаглавлена: «Весна республики». Последнее стихотворение «Избранного» называется: «Новая весна». Автор словно хочет сказать, несколько видоизменяя начало своего «Мастерства»: пока поэт владеет словом, он должен быть активным участником весенних преобразований на земле.

Д. Ортенберг,

генерал-майор

ЛЕГЕНДА О ФАКТАХ

Среди духовных реликвий Великой Отечественной войны подвиг двадцати восьми героев-панфиловцев занимает незабываемое место. Пройдут десятилетия, века, возможно, забудутся какие-то детали, растворятся во времени подробности или, обрастая легендой, приобретут новые черты, наверно исчезнет даже и след тех, кто первыми подняли на щит имена героев, но самый их подвиг будет существовать вечно, доколе живет Россия. Да и может ли быть иначе?!

Буквально на наших глазах возник волнующий рассказ о героизме двадцати восьми, равный по силе воздействия на современников величественным сказаниям древности. Кто воевал, тот помнит: не было в армии человека, который бы не читал или не слышал о подвиге панфиловцев, не восхищался бы их мужеством.

История этого подвига стала эпосом. Но мы, свидетели того, как складывался этот эпос, еще живы и можем засвидетельствовать: ничто в этой истории не приукрашено, каждое слово в ней — правда. Почему я пишу об этом? А потому, что прочитал в журнале «Новый мир» (№ 2, 1966) поразившую меня своей злостной несправедливостью статью В. Кардина «Легенды и факты». Прочитал в «Литературной газете» (№ 34, 1966) и справедливую отповедь А. Кривицкого В. Кардину. Правильно поступила «Литературная газета», она достойно защитила славу героев, не дала замарать одну из волнующих страниц в летописи Отечественной войны.

Может быть, некоторым читателям ответ А. Кривицкого на статью В. Кардина покажется резковатым, сердитым, написанным с горячностью. Но как же иначе, когда речь идет о защите наших боевых, кровью завоеванных традиций?! Разве можно оставаться тут бесстрастным?

Да нельзя без горячности, без волнения и возмущения отвечать на такого рода выступления, как статья Кардина!

О чем идет речь? Спустя четверть века после боя у Дубосекова пришел В. Кардин, назвал рассказанную историю этого боя «старой погудкой», усомнился в ее достоверности. Какие же факты приводит он в ее опровержение? Да никаких, вместо фактов — одни только сомнения. И он щедро засеивает ими почву журнала «Новый мир».

Я был в годы войны ответственным редактором газеты «Красная звезда», помню и берегу в своем сердце и в своей памяти все, что связано с немеркнущим подвигом двадцати восьми героев-панфиловцев. В те дни партия звала защитников столицы к стойкости, самоотверженности, упорству и

самопожертвованию. Всей силой своей литературной «артиллерии» газета вела «огонь» на этом главном направлении. Ее страницы были заполнены лозунгами и заголовками: «Ни шагу назад!», «Сражаться до последнего!», «До последней капли крови сражаться за нашу столицу!». Этим дышала каждая строчка и передовых статей и очерков. В эту «точку» били заметки, статьи и очерки корреспондентов нашей газеты — Михаил Шолохова, Алексея Толстого, Ильи Эренбурга, Николая Тихонова, Алексея Суркова, Константина Симонова, Петра Павленко, Василия Гроссмана, Бориса Галина и многих других писателей, журналистов и просто читателей газеты. В них приводилось немало ярких и выразительных примеров героизма, стойкости и самопожертвования советских воинов.

Но вот, помню, бросилась мне в глаза информация, краткое, в четыре-пять строк, донесение с Западного фронта: 16 ноября у разъезда Дубосеково двадцать девять бойцов во главе с политруком Диевым отражали атаку танков противника, наступавших в два эшелона — двадцать и тридцать машин. Один боец струсил, поднял руки и был без команды расстрелян своими товарищами. Двадцать восемь бойцов погибли как герои, задержав на четыре часа танки врага, из которых восемнадцать подбили.

Так родилась передовая статья «Завещание двадцати восьми павших героев», написанная по моему заданию А. Кривицким, написанная вдохновенно, можно сказать, кровью сердца.

Теперь В. Кардин развязно спрашивает: «Как появился этот трус, как он попал в статью? Для правдоподобия?» Позвольте вам сказать, суровый опровергатель, что вы плохо знаете обстановку того времени. Тогда, в те дни, сказать правду о существовании трусов и предателей было гораздо труднее, чем умолчать о ней. Но и тут не следует спешить с попреками: шли первые месяцы войны, и расписывать случаи трусости было занятием не совсем благодарным. Тем не менее нам хотелось быть точными, и мы оставили в передовой упоминание об этом факте.

Передовая нашей газеты вызвала целую бурю, волну откликов, желание поподробнее узнать об этом подвиге, об этих героях. В Панфиловскую дивизию выехал Кривицкий. В огне боев, по свежим следам, кропотливо, вместе с работниками политотдела, он по крупницам собирал материалы. Он буквально облазил всю округу Дубосекова. Разыскал людей, видевших бой,

говорил со всеми, с кем можно было, в том числе и с бойцами соседних подразделений, беседовал с тяжелораненым Натаровым, просившим записать его рассказ, ездил на рубеж боя с командиром роты капитаном Гундиловичем, непосредственным боевым начальником двадцати восьми панфиловцев. Там, «на местности», говоря военным языком, была восстановлена картина схватки. Кривицкий привез поименный список двадцати восьми героев, заверенный командиром, комиссаром и начальником политотдела дивизии, командиром и комиссаром полка и командиром роты Гундиловичем. Теперь газета напечатала уже подробный очерк нашего специального корреспондента А. Кривицкого «О 28 павших героях». Я помню новую волну откликов наших читателей.

И вот через двадцать пять лет В. Кардин почему-то усомнился в достоверности некоторых помнятых фактов, будто он сам в то время был на поле боя и как очевидец имеет основание и право это сделать. Он безапелляционно заявляет: «Как ни мало дали эти встречи» (разрядка наша.—Д. О.), после них А. Кривицкий написал известный очерк о двадцати восьми павших героях. Но так ли уж мало дали эти встречи, беседы с людьми?!

История подвига двадцати восьми героев по праву вошла в школьные хрестоматии, в учебники. Все мы в те дни жили этим и вымеряли каждый шаг подвигом двадцати восьми.

Помню, пришел в редакцию Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении большой группе защитников Москвы Героев Советского Союза. Уже в сверстанной полосе я увидел знакомые фамилии панфиловцев, сражавшихся у разъезда Дубосеково. Но почему они не выделены отдельным Указом? Меня это удивило, и я позвонил маршалу Жукову, командовавшему тогда Западным фронтом. Он был удивлен не менее меня. Жуков сразу же позвонил в Ставку. Через несколько часов мы получили новые варианты Указов, среди них был уже и отдельный Указ о присвоении звания Героев Советского Союза двадцати восьми павшим панфиловцам.

Потом стало известно, что погибли не все двадцать восемь героев. Для военно грамотных людей здесь не было ничего ошеломляющего: военное время щедро на разнообразных сюрпризы. Трое героев-панфиловцев остались в живых. Неожданность радостная. И что она меняет в самой оценке, в самой сути такого коллективного героизма людей, как подвиг двадцати восьми панфиловцев? Почему В. Кардин так налегает на то, что Кривицкий «никаких изменений в описание боя не вносит»? Ведь оставшиеся в живых герои, о «воскрешении» которых Кривицкий писал еще в 1957 году, подтверждают ход событий, описанных им еще тогда, в самом первом очерке. Что же не устраивает В. Кардина в описании боя?..

Вряд ли В. Кардин не понимает разли-

чия тех условий, в которых, например, ведет свой документальный поиск С. С. Смирнов через пятнадцать-двадцать лет после начала войны, ведет, если можно так выразиться, археологическую работу или работу историка, полезную, очень важную, и условий, в которых собирал сведения А. Кривицкий, следовавший по неостывшим следам боя.

Большое, благородное дело сделал А. Кривицкий, когда, спустя много лет после войны, он вернулся к подвигу двадцати восьми героев-панфиловцев и написал уже большой очерк об этом волнующем событии Отечественной войны. Я внимательно перечитал сейчас его очерк о двадцати восьми героях, в которых первый очерк и передовая занимают малую часть. А. Кривицкий доказывает в о н о б о ж д и м о с т ь героизма панфиловцев, устанавливает связь — и не риторически, а на основе глубокого анализа фактов — между тем днем у разъезда Дубосеково, замыслом нашего командования и характером гитлеровского наступления под Москвой. Но все это, видимо, нисколько не волнует В. Кардина. Он с поразительным невежеством аттестует эту работу как «старую погудку» (слова-то какие!!! — Д. О.), автор которой не замечает, «что и здесь проявляется тягущаяся издавна тенденция к замалчиванию, если не всей, то части правды».

Похуже на то, что В. Кардин принадлежит к той категории людей, которые, как об этом говорилось на XXIII съезде партии, под видом «поборников» исторической правды кокетничают перед зеркалом истории, пытаются охаивать героическую историю и борьбу нашей партии, народа и его Армии, славные боевые традиции старших поколений.

Невероятно, но нашелся «критик», который задумал «одним махом» перечеркнуть эпопею о двадцати восьми героях, развенчать подвиг, столь дорогой и близкий каждому из нас, миллионам ветеранов войны, всему советскому народу.

В своей статье В. Кардин пишет: залпа Авроры не было — это легенда; 23 февраля 1918 года боев с немцами под Нарвой не было — это легенда. В один ряд с этим он ставит и подвиг двадцати восьми панфиловцев. Для чего? Да, видимо, чтобы пусть глухо, но сказать — это, мол, тоже легенда...

Обращаясь к историческим фактам времен Октябрьской революции и гражданской войны, В. Кардин ссылается на «свидетельства» «Военно-исторического журнала», это, дескать, на новости журнала. Что же касается двадцати восьми гвардейцев, то здесь он уже не ссылается ни на кого, да и не на кого ссылаться. Он целиком берет это утверждение на свою совесть. Но, как известно, есть люди, которые обращаются с совестью так же, как и с фактами: если факты свидетельствуют против них, они говорят — тем хуже для фактов. Но факты, как известно, упрямая вещь — они не поддаются попытке В. Кардина превратить их в легенду.

ЧЕМ ЖИЗНЬ КРАСНА

Александр Яшин. Босиком по земле. Стихи М. «Советский писатель». 1965. 170 стр. Цена 23 коп.

«Бродить по сырой земле босиком — это большое счастье!» — подытоживает свои новые ощущения Александр Яшин, а в другом стихотворении задумчиво и неторопливо убеждает себя: «Мне просто необходимо босым по земле ходить...» Ему вторит Евгений Винокуров: «Есть смысл в поэте только лишь босом...»

А ведь они очень по-разному ощущают материальность мира, Яшин и Винокуров, но тем не менее оба пришли к убеждению, что «на ощупь мир правдивей». И точка опоры у каждого своя. Винокуров погружается в быт, скрупулезно исследует обстоятельства жизни человека, чтобы понять его психологию. Яшин бежит от житейской суеты в лес, на Бобришный угор, которому он и посвятил свою книгу «Босиком по земле».

Неизбывно и целительно чувство родины в русском поэте! Как только трудно и горько ему, так бежит в родные места, к своему деревенскому порогу, припадет к коленям старушки матери, подышит воздухом степей и лесов — и отойдет сердцем, и уже снова снедаем нетерпением вмешаться в самую лихорадку жизни. Вы помните стихи Василия Федорова о том, как он исполняет «обряд обновления» в тихой купели родного озера Койдор? А как Евгений Евтушенко бежит на станцию Зима после шумных столичных дискуссий?..

Вырвавшись на Бобришный угор, что в лучшем случае ходьбы от родной деревни Блудново, Яшин в уверенности заключает: «Жизнь моя, как сказанье, начинается снова». Что же его влечет сюда?

Есть мечта:
В удаленье
От сумятицы буден
Обрести птичье зреньё,
Недоступное людям.

Поселившись в лесном домике, поэт умиротворенно заявляет: «Большого в жизни не надо — только сиди и пиши».

Но этим ли только жизнь красна?

Ведь предыдущая книга стихов Александра Яшина вышла пять лет назад под символическим названием «Совесть». Поэт призывал читателей: «Спешите делать добрые дела!» Да и о своей гражданской поэзии заявлял недвусмысленно:

Жизнь при всех ее изменениях,
Мир во всех его измерениях
Для меня теперь по плечу,
Сам за все отвечать хочу.

Так слияния ли с природой жаждет поэт? Действительно ли хочет «жить, как ветер в вершинах живет»?

Вопрос этот можно было бы и не задавать, так как ответ ясен с самого начала: роль лесного отшельника не по Яшину. Сам он, избегая высоких слов, говорит об этом по-солдатски коротко и сухо: «не положено». Но все же не случайно у Яшина это настойчивое стремление уединиться в лесу, он верит в целительную силу природы.

В сосновом бору,
В березовой роще,
Где так многогранно желанье жить,
Мне, сильному, только добрей и проще
И человечней хочется быть.

Вот это уже прямое продолжение и развитие главной темы предыдущей книги, темы нравственного обновления, характерной для поэзии последнего десятилетия. И конечно же здесь, в лесном уединенье, все равно невозможно отрешиться от людских забот, ибо даже в доме под старой крышей сегодня нельзя не почувствовать, что «век не тот, не тот народ!» Внешне-то, может, и не быстро изменилась деревенская жизнь, но и в бору «случилось невозможное» — появилось радио.

И снова верится и чудится,
Что жизнь идет не стороной:
Когда-нибудь, наверно, сбудется
Все остальное.

Яшин осторожен на обещания и скуп на слова относительно «всего остального» в деревне. Причины на то есть. Ему они хорошо известны. Читателю — тоже. Самое существенное в лирическом герое Яшина — общность его судьбы и судьбы деревни. Тут вот и коренится внутренне выношенная вера поэта в добро, в будущее.

В книге «Босиком по земле» три самостоятельных раздела, и если судить по первому, то все-таки создается впечатление некоторого гражданского охлаждения поэта, автора книги «Совесть». Но в разделы стихи объединены по идейно-тематическому принципу. Глядя на даты их написания, сопоставляя мотивы стихов из всех разделов, мы убеждаемся, что поэт все эти годы жил беспокойно, нервно и только временами бежал в охотничью избушку, ища уединения и покоя.

Второй раздел, например, открывается стихотворением «Лирическое беспокойство», где довольно остро выражено ощущение непокоя, желание перемен, желание чего-то такого, что всколыхнуло бы чувства, обожгло сердце, высекло искру творчества. Эта же тема нашла своеобразное развитие в стихотворении «В М Т», что

расшифровывается, как Верхняя Мертвая Точка. Стремление каждого человека к своей В М Т, к вершине жизни, достижение ее, может быть, и есть настоящее счастье?..

Нет, идея стихотворения сложнее.

Я — человек,
И чтобы жить,
Я хочу одолеть свою слабость,
Свою В М Т,
Уйти из равновесия,
Даже если в нем мое счастье.

Читатель, наверное, обратит внимание на то, что Яшин заговорил верлибром, Александр Яшин, который, кажется, так прочно укоренился в традиционном стихе за три десятилетия его творческого обживания. Это не эксперимент ради эксперимента. Значит, что-то из ряда вон выходящее побудило поэта обратиться к необычной для него форме свободного стиха...

В сборнике несколько стихотворений, написанных верлибром. Вот еще одно из них — «К тебе обращаюсь, душа моя!» Как и «В М Т», оно написано об очень личном и значительном. Яшин размышляет о поэзии, пытается постигнуть, что же она такое в нашей жизни и что такое по отношению к человеку-творцу, к поэту? И приходит к выводу, что поэзия — «повсюду», она «в природе, в людях», она существует «как биотоки Вселенной». «А поэт — вроде приемника». Но если он истинный поэт и человек, «думающий и страдающий, он пропустит волны поэзии через свою судьбу, через свою душу».

Последние строки звучат как заклинание:

Весь мир — поэзия.
И я обращаюсь к тебе, душа моя:
будь хорошим приемником,
чутким,
многодиапазонным,
всеволновым, как двадцатый век, —
приглушена одна волна,
переходи на другую,
чтобы ощутить поэзию
как биотоки людских сердец.

Можно критически отнестись к яшинскому верлибру. Мне, например, он кажется недостаточно органичным. Но поэт правильно почувствовал необходимость свободного стиха именно в том случае, в котором ему нужна большая свобода и раскованность формы. Подлинность чувства очевидна, даже несмотря на некоторый рационализм образной структуры. Но это уже не за счет верлибра.

Рационалистическое начало кое-где обнаруживает себя и в рифмованном стихе. Причем обнаруживает под покровом внешней экспрессии. Здесь я мог бы сослаться на стихотворение «Все можем» с его газетно-риторической структурой и совершенно рассудочной концовкой, возможно, и еще на два-три стихотворения...

Понять это легко. В поэзии проснулась жажда поразмышлять о жизни. Значительного опыта проникновения в интеллектуальную сферу в тридцатые и сороковые годы наша поэзия не накопила. Ну и вот, логические рассуждения порою про-

никали — и проникают! — в стихи, не будучи органично воплощенными в новую, образно-эмоциональную систему понятий. Не избежал этих слабостей и Александр Яшин.

Но если говорить в целом о книге «Босиком по земле», то нельзя не заметить, что в ней живет страсть и мысль человека совестливого, беспечного, даже, как говорят на родном Яшину севере, — рискованного. Недаром же в его стихах по контрасту с тихой задумчивостью вдруг прорывается жажда опасности, риска, небывалых ощущений. Что переживает этот как будто бы спокойный и рассудительный человек, стоя на горной вершине?

До крика охота, до муки
Шагнуть с отвесной стены,
Чтобы, раскинув руки,
Проверить:
Сбываются ль сны.

Наверное, Яшину близки переведенные им строки болгарского поэта Павла Матеева: «Огонь — в тревогах каждого дня, в сердечных моих откровеньях». Свет добра и человечности излучает поэзия Александра Яшина, этим она и привлекательна, этим и дорога сердцу читателя.

Интересно посмотреть, как прочерчивается рельеф современной поэзии. С одной стороны, она обосновывается на земле (именно в этом символическое значение заголовка — «Босиком по земле»), вбирая ощущение естества и плотности мира; с другой — уже чувствуя материальную основу бытия — устремляется в горную высь человеческого духа. Пусть этот рельеф пока обозначен пунктирно, но — обозначен!

А дальше — поглядим. Подождем. Еще не удавалось понуканиями двинуть вперед поэзию. Полезнее для дела вовремя замечать и поддерживать новые тенденции в ее развитии.

Сейчас дыхание поэзии становится свободнее, взгляд — острее. Даже о любви, наконец, поэты заговорили настоящими стихами, приближаясь порою к той свободе и естественности чувства и непосредственности его выражения, которые были свойственны русской поэзии в ее лучшие времена.

Не приведет ли это, даст бог, в скором времени к посрамлению стихотворных регламентаций о любви и не пошатнет ли некоторых кумиров мещанской лирики?!

Ах, как хорошо было бы...

Я не зря заговорил об этом: вот уже который раз за последнее время, испытывая волнение, радость, горечь, читаю настоящие стихи о любви, стихи не вымученные, не стерилизованные, не регламентированные, а — мужественные, если хотите, взрослые. Так и хочется поскорее нового пришествия любви в поэзию, любви, сметающей «каноны, прогнозы, параграфы», такой, чтобы ждать от нее:

Может, прорежется новое зренье?
Может, как высшее просветленье,
И на меня снизойдет слепота?

Любовь яшинского героя — любовь зрелого и сильного человека, смело иду-

щего навстречу ей. Но это и любовь необыкновенно трудная, осложненная такими эмоциональными контрастами, что, кажется, и представить себе трудно. То он мечтает даже о безответной любви, ибо любовь всегда является своеобразным ферментом жизнедеятельности: «только бы простое не знать душе» —

Скрытно жить,
В немилости,
Но в любой миг
Из-под ног вырасти
На ее крик,—

то верит в пришествие любви и живет этой верой, то несет в себе горькое чувство разочарования — «Трудно живу, молча живу, молчу до ожесточения...», — а то и вовсе впадает в отчаяние перед неожиданностями любви. Даже у любящих сердца бьются не всегда в унисон, возникает чувство отчуждения, рождаются парадоксальные предположения:

Нет в любви ее ревностной
Ни добра, ни просвета,
Извела меня ревностью,—
Может, ненависть это?

В немногих стихах о любви Александр Яшин предстал человеком сильно и тонко чувствующим, нервно отрывающимся на все перипетии этого неподвластного рас судку чувства, открытым навстречу ему и до конца честным в самых критических его ситуациях.

А не этим ли и красна жизнь — большой и честной любовью, совестливым отношением к людям, активной позицией гражданина своей страны?

Ал. Михайлов

ИСКАТЕЛИ, ТВОРЦЫ

С. Шуртаков. Путешествие на край света. М. «Молодая гвардия». 1965. 256 стр. Цена 56 коп.

И. Винниченко. Их не снесет. М. «Советский писатель». 1965. 364 стр. Цена 66 коп.

Поздней осенью минувшего года мне с группой литераторов довелось проводить на Дальнем Востоке так называемую «Неделю молодежной книги». Писатели встречались со своими читателями, выслушивали их пожелания, рассказывали о своих творческих планах. И знакомилась, конечно, с этим прекрасным краем. Во время одной из поездок в пригороды Владивостока кто-то вытащил из портфеля книгу и, быстро перелистывая ее, стал сообщать нам сведения об Уссурийской тайге, об оленьем совхозе, о долине Майхэ, в которой мы находились... Мы позавидовали владельцу столь толкового путеводителя. Но оказалось, что у нашего товарища в руках была книжка С. Шуртакова «Путешествие на край света».

Я сказал «но», потому что считать этот сборник очерков «путеводителем» было бы

неверно. В то же время описание края, сделанное с любовью к нему, с хорошим знанием местности и ее обитателей, с пониманием души природы и людей, может, разумеется, сослужить добрую службу тем, кто впервые ступает ногой на эту землю. Такими качествами, на мой взгляд, отличаются очерки С. Шуртакова. Однако они призваны не только и не столько к тому, чтоб помочь путешественнику по Дальнему Востоку, Сахалину, Лене и Печоре, — они воссоздают зримую картину и для тех, кто не может совершить такую поездку, а хочет получить живое представление о Родине, ее богатстве и красоте, о романтике труда и вечном поиске, выносливости, мужестве и энергии советского человека.

Автор приглашает нас посидеть с ним у таежного костра, опуститься в морскую пучину, посмотреть, как среди ночи сияет солнце, и трижды встретит весну в одном и том же году!.. Для этого надо с расположением и доверием последовать за писателем, и мы будем вознаграждены. Правда, С. Шуртаков не сторонник цветистых, бьющих красками описаний. Его перо отличается простотой и точностью. Но это придает изображению естественность и зримость. Временами стиль писателя может показаться даже чересчур деловым, прозаическим, но присмотритесь внимательней, и за этой непринужденностью вы увидите выразительность и рельефность рассказа, уменьше неброским цветом запечатлеть особенности того, что интересует автора.

Относится это и к изображению людей, с которыми знакомит нас писатель, хотя, надо признаться, их психологические портреты удаются ему меньше. Метко определив одним-двумя штрихами основное, существенное в человеке, автор не углубляется в его внутренний мир, а спешит дальше-дальше, ибо после Владивостока его ждуг Курильские острова, а затем путешествие на Крайний Север, в края Вилюйские и Печорские!.. Хорошо, что так много сумел увидеть и показать читателю С. Шуртаков, запомнится описание нелегкого рыбацкого труда, работы поисковых партий в царстве якутских алмазов, повествование о жизни северян в бухте Тикси. Да, поистине может показаться, что мы и сами побывали там, автор выполнил свое обещание. Людей же мы увидели лишь в контурах.

Но может быть, несправедливо ждать от каждого очерка всеобъемлющих творческих решений. Ведь недаром сейчас говорят и спорят о дифференциации очеркового жанра. В самом деле, и в этом роде литературы есть свои направления, несхожие друг с другом. Одно дело — путевой очерк, иное — проблемный, третье дело — портретный. Если в первом преобладает живописно-познавательное начало, то во втором — публицистический, исследовательский пафос, а в последнем — анализ характера. Возможны и другие модификации жанра. Чем разнообразнее будет наша очерковая литература, тем интереснее читателю зна-

комиться с ней, тем больше будет ее воздействие на жизнь.

Примером публицистического, проблемного очерка я счел бы выступления И. Винниченко, собранные в его последней книге «Их не снесет». Как и С. Шуртаков, автор этого сборника много путешествует по нашей необъятной советской земле. Москва. Зауралье. Украина. Сибирь. Азово-Черноморье. И всюду он ищет людей, стремящихся новаторски перестроить жизнь, способных бороться за решение таких проблем, которые должны дать стране великую хозяйственно-экономическую выгоду.

Хотя очерки И. Винниченко нельзя назвать портретно-психологическими в строгом смысле слова, тем не менее весь их публицистический материал группируется вокруг определенных лиц, так как именно они воплощают ту жажду нового в области организации, хозяйствования, техники и экономики, без чего наше общество не может успешно двигаться вперед. Это колхозник-опытник и ученый Терентий Мальцев («Искать, искать!..»), председатель колхоза на Одессине Макар Посмитный («Диалектика жизни»), механизатор, тракторист с Кировоградщины Александр Гиталов («О нем рассказать невозможно»), сельскохозяйственный инженер, работающий на Кубани и в Сибири, Иван Тесленко («Карусели, карусели...»), агроном из Новоаннинского района в Поволжье Иван Гусев («Пока шумит листва»). Люди эти широко известны в стране, отмечены высокими наградами, удостоены почетных званий. Но автор не занимается иконографией. Он пытается проследить и описать исполненный трудностей и противоречий жизненный путь каждого из них. Причем преимущественное внимание писатель уделяет производственно-общественной стороне их деятельности. Своеобразие личности героев И. Винниченко хочет показать в их отношении к делу, к труду, к созданию.

Такой подход к решению литературной задачи сулит, понятно, немало опасностей, если иметь в виду необходимость сделать книгу увлекательной. Тем более что автор, судя по всему, намеренно отказывается от создания всестороннего образа своего героя, от освещения его так называемой «частной» жизни, которая, по мнению некоторых литераторов, специально призвана «утеплить» изображение.

Выясняется между тем, что внимание читателя к очерку может держаться далеко не только на подробностях «личного» плана. Заинтересовать способна и проблема, поставленная автором, если она, разумеется, насыщена порохом, имеет взрывчатую силу, затрагивает действительно острые, животрепещущие, жизненные явления самого бытия. Ныне, когда, после мартовского и сентябрьского Пленумов Центрального Комитета КПСС (1965 год), после XXIII партийного съезда, вопросы хозяйственно-экономической перестройки в городе и деревне привлекают всеобщее внимание, дело публициста показать эти процессы и на опыте жизни ее творцов.

Как различными путями, но именно в этом направлении шли ищущие, творческие люди-первооткрыватели, такие, как Мальцев, Посмитный или Гиталов, как, не дожидаясь циркуляров и инструкций, а иногда и вопреки им, они ломали шаблоны, сокрушали бюрократические преграды, опрокидывали рутинные представления для того, чтобы с максимальным эффектом добиться производственных успехов в своей сфере деятельности. Видимо, с вышки XXIII съезда все стало гораздо ясней, и многие препятствия сами собой отпадают, но тем ценнее то, что сделали новаторы, на практике прокладывая путь к реализации партийных решений и, если хотите, подготавливая их собственным хозяйственным, техническим и экономическим опытом. Этот пример убедительно свидетельствует о том, как партия в своих выводах опирается на достижения наиболее передовых строителей коммунизма.

Название своей книги И. Винниченко заимствовал из воспоминаний художника Николая Рериха о его беседе со Львом Толстым по поводу картины «Гонец», на которой изображена ладья, пересекающая реку.

«— А случалось ли вам самому в лодке переезжать быструю реку? — спросил великий писатель у живописца. — То-то, вижу, не случалось... Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет.

Помолчав, он тихо сказал, как бы самому себе:

— Так и в области нравственных требований, надо рулить всегда выше — жизнь снесет... — И снова с улыбкой художнику: — Пусть ваш гонец высоко руль держит, тогда доплывет!»

Таких героев выбрал наш автор. «Их не снесет», — сказал он заглавием своего сборника, ибо они всегда высоко держат руль. Но река жизни течет быстро и бурно, на ее пути отмели и пороги, тут может не только снести, а и перевернуть... Нелегко бывает держать руль! В правдивом освещении драматизма этой непрестанной борьбы за новое, на мой взгляд, главная ценность книги И. Винниченко.

И. Винниченко рассказывает нам о переживаниях, волнениях, муках творчества своих героев, как и о собственных терзаниях по поводу того, верно или неверно подходит он сам к освещению выбранной темы. И эти писательские самопризнания также интересны.

Мне кажется ценным, что и С. Шуртаков и особенно И. Винниченко не обходят существенные в наши дни вопросы экономики. Рассказывая об алмазном городе Мирном или о строительстве будущей ГЭС на Вилюе, С. Шуртаков не стесняется, отдалившись несколько от картин природы, задуматься над хозяйственной стороной дела. А И. Винниченко весь поглощен такими расчетами и заставляет читателя также заинтересоваться ими применительно к сельскому производству. Это хорошо!

Наши очеркисты-публицисты должны

помнить слова В. И. Ленина: «Побольше экономки. Но экономки не в смысле «общих» рассуждений, ученых обзоров, интеллигентских планов и т. п., дребедени, которая, к сожалению, слишком часто является именно дребеденью. Нет, экономика нужна нам в смысле собирания, *тщательной проверки* и изучения фактов действительного строительства новой жизни». Около пятидесяти лет тому назад сказаны эти слова, но и сегодня звучат они как боевая программа нашей литературы и публицистики.

Григорий Бровман

О СВОЕМ ПОЭТЕ...

В. Ланина. Поэзия строгой любви. О лирике Ярослава Смелякова. М. «Советский писатель». 1965. 192 стр. Цена 40 коп.

Книгу о ровеснике, лирика которого стала неперенным спутником на жизненном пути, выразила в значительной мере верования и мироощущение твоего поколения,— такую книгу читаешь с пристрастием, заранее ревнуя автора к своему поэту. С таким чувством я и раскрыл работу В. Ланиной о Ярославе Смелякове. Первые строки о лице поэта — «как у изваянных Шадром скульптур» — образны и оригинальны. К сожалению, большая часть короткого зачина суха, рационалистична, пестрит бесцветными «характеристиками»: «поэт, сделавший тему труда и рабочего класса главной темой своей поэзии», «создал удивительные образы заводских ребят, свой круг идей и образов», «один из замечательных представителей нашей гражданской лирики». «серьезность, простота, благородство, революционный энтузиазм» и т. п. Все это, конечно, верно, здраво... и уныло формулировочно.

Но вот начинается разговор о пути поэта, о «жестокости и величии» времени его юности, ныне легендарном, и в голосе критика зазвучала страстность, боевитость. Еще не вступили в действие спасительные цитаты, которые одухотворяют литературоведческий текст и так часто выручают нас, критиков, а уже ворвалось в книгу дыханье далеких лет. Краткие, стремительные эскизы 30-х годов, где сливается не только «жизненная и поэтическая биография Смелякова», но и действительность прошлого с памятью сердца критика. В этот начатый на волне душевного подъема разговор необходимо и свободно входит рассказ о творческом пути поэта, о направлении и пафосе его лирики, изобразительно-выразительных средствах, образной системе, рифмах и даже синтаксическом строе — словом, обо всем том, что составляет содержание литературно-критических работ и что оживает и приобретает интерес только тогда, когда, как в книге В. Ланиной, продиктовано любовью к поэту, нравственной потребностью зажечь читателя такой же любовью к нему.

Очерк В. Ланиной — апология Ярослава Смелякова. Непреклонная, убежденная, как его лирика. Казалось бы, от кого понадобилось защищать Смелякова, перед кем восхвалять его прекрасную «поэзию строгой любви», достоинства которой говорят сами за себя? Но вот читаешь ланинский очерк и сам чувствуешь желание броситься в бой за эту высокую и чистую поэзию против тех «утонченных любителей», что всегда терпеть не могли настоящей поэзии, и помочь тем, кто пока не понял, что стихи — еще не поэзия, понять, что поэзия есть отражение нравственного величия, высоты гражданских идеалов и верности им. Книга В. Ланиной — это горячая защита смеляковского поколения, поколения с трудной и сложной исторической судьбой, того прекрасного в его верованиях, с чем оно вступало в жизнь и чем оправдало свое назначение.

Сухие формулы вступления, слова о «своей суровой эстетике», о «своих неспешно и сознательно выработанных законах творчества» обрастают в книге живую тканью смеляковских образов, наполняются силой его энергической поэтики. Облик лирики этого поэта, его цельная и богатая натура обрисованы В. Ланиной с пониманием начала начал, движущей силы его поэзии — чувства справедливости и жажды ее, того чувства, которое, по словам Достоевского, есть «высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа». И хотя В. Ланина, рассматривая творчество Смелякова как певца своего поколения, нигде, кажется, не говорит, что он поэт удивительно русский, из самого сделанного ею анализа выступает перед нами именно русский характер в его советском воплощении.

Далеко уходят корни смеляковской поэзии. В. Ланина как-то не коенулась одной из существенных, влиятельных ее сторон — поступи стиха, кованых ритмов, напряженных и требовательных, магических и удивляющих, удивляющих тем, что именно в них ощущаешь благородное родство этой поэзии с русской классикой. «...Поэтическая прелесть и благородная простота образов, энергия, могучесть языка, алмазная крепость и металлическая звучность стиха». Эти сказанные верно сто двадцать пять лет назад слова кошунственно вспоминаются, когда читаешь стихи Смелякова. А может быть, и не случайно? Смелякову, более чем кому-либо другому из поэтов-современников, свойственны как стремление мерить явления жизни мерой справедливости, так и непреклонность, гордый дух, отражающийся в волевых ритмах стиха. И кто знает, может быть, и самое пристрастие к эпитету «железный» идет не только от рабочей биографии нашего поэта, не так уж много имевшего дело непосредственно с железом, а от того поэтического осмысления этого металла, его насыщенности, которое когда-то и Лермонтова побудило впервые в русской, да, вероятно, и в мировой поэзии сплавить субстанции, казалось бы, несоединимые, и сказать: «железный стих», «друг железный».

Впрочем, я уже вступаю в область собственных догадок.

Но для меня, как, думается, и для любого любознательного читателя, книга критика ценна не тем, что им сказано все, а тем, что она пробуждает желание думать о поэте, войти в мир его образов, вернуться к новому прочтению его. И книга В. Ланиной такое желание пробуждает потому, что автору удалось показать, как значителен, как неоценим душевный и художественный вклад, вносимый Ярославом Смеляковым в поэзию и сердца современников.

А. Макаров

ПРОГУЛКИ ПОД ДОЖДЕМ

Владимир Приходько. Прогулки под дождем. Стихи. М. «Советский писатель». 1965. 118 стр. Цена 17 коп.

Первое же стихотворение этого сборника Владимира Приходько — заявка на раздумья о нашем времени.

Век двадцатый шагает,
То калечит, ломает тебя.
То какою-то силой
подымает
в пространство тебя.
Расщепляется атом.
Грозью наполнена тишь.
Ты сквозь белые вьюги
и летние ливни —
летишь!

Это — ясное, сформировавшееся, ставшее достоянием современной поэзии осознание взрывчатой мощи века, понимание объективного существования тех сил, которые были вызваны к жизни самим человеком и вскоре стали закономерностью его существования.

Простая, казалось, бытовая картина (поэт видит рабочего, заботливо и нежно сопровождающего среди толпы беременную жену), вызывает ряд ассоциаций, которые рождают тревожный вопрос о будущем Земли. И в этом вопросе — напряженная тревога за будущее всего мира того века, который несет с собой новые идеи, новые открытия, того мира, который «меняется, словно кадр в кино: каждый миг — другой». Но несмотря на эту мгновенную изменчивость, а может быть, именно благодаря ей — «в серой блузе, в рабочей прозе, он прекрасен и неповторим».

Прекрасен этот мир для Вл. Приходько прежде всего своим природным естеством. Его лирический герой пристально всматривается в жизнь окружающей природы, постепенно открывая для себя что-то новое в ней и в себе самом. Ведь он сам — частица земли. Он знает: «Все мы — люди, все мы — крестьяне, в чистом поле — наши хлеба». Доверчивое чувство близости к природе заглушает тревожные мысли о времени. «Мир голубой и добрый» глядит с улыбкой на лирического героя Приходько, который в каждое мгновение может почувствовать совершенную и полную внутреннюю свободу, оставшись наедине с природой.

От суеты, от суматохи,
от суглоди отолдну.
Омою волосы в потоке,
густого облака глотну.
И к двум дубам приду с повинной
и непокрытой головой...
И будет зелено повсюду,
куда я только ни ступлю.

Человек живет в мире, а этот мир живет в нем самом, постоянно заявляя о себе.

И есть еще одно таинственное чудо: где-то растет мальчик по имени Антон. Не случайно в стихах Приходько появляется тема детства. Ведь это — счастливая пора гармонического, естественного состояния души, когда человек впервые начинает ощущать себя частью огромной жизни. Человек в поэзии Приходько на время возвращается к непосредственным ощущениям.

Тишина.
Простая. Начальная.
Только снег и свет.
Только след.
Только понятое в молчании
пожелание долгих лет.

Обаяние подобных стихов — в чистом и простом поэтическом чувстве.

Казалось бы — две главные темы поэта должны находиться во внутреннем противоречии: ведь лирический герой Приходько — человек двадцатого века, ступающий по земле, в которой спит укромный уран. Но драматическое мироощущение не свойственно нашему автору: драматизм мысли в его поэзии не становится драматизмом чувства. Диапазон его поэзии не особенно широк, он заключен в малом пространстве, его стихи чаще всего звучат локально.

Открытый солнцу и ветру, в морях спелой пшеницы стоит элеватор, за стеной то плачет, то поет соседка, строится новый город, дворник вместе с сором сметает следы шагов со спящих плит. В осторожной руке человека испуганно и доверчиво бьется сердце подснежника, дощатый мостик взволнован предчувствием весны, зима просто дарит человеку свое могучее здоровье — серебряное молоко. И это — жизнь.

Из простого и естественного чувства близости к природе вытекает моральное кредо поэта, его доброта и глубокая душевная отзывчивость.

Под этим суровым небом,
на этом суглинке черством
надс делиться хлебом,
хлебом насущным, черным,
и древней речи звучанием,
на доброте замешенной...
Делиться, словно лучами
солнышко с пашней вешнею.

В сборнике «Прогулки под дождем» есть стихи и другой темы, но они, как нам кажется, не составляют удачу поэта. А стихотворение «Я иду под дождем!», очевидно написанное поэтом как программное, звучит просто пародийно.

Хочется надеяться, что в дальнейшем поэт будет стремиться к разносторонности своей поэзии, своих интересов.

Е. Ветрова

Александр Рейжевский

Дружеские шаржи И. ИГИНА

СПАСЕННЫЕ ГЕРОИ

Очень это непросто написать о Светлове ПРОСТО, написать так, чтобы это можно было показать ему. Он отложит рукопись, медленно отодвинется в самый угол кресла, словно ему необходимо посмотреть на тебя издали, потом сложит губы — ну совсем как заправский дегустатор, — вытянет их вперед до невозможности и нарасспев произнесет длинное-предлинное: «Ни-и-и-че-го-о-о-о!» А глаза его сразу станут большими, по-детски удивленными, и заиграет в них теплая светловская смешинка.

Но это уже высшая похвала.

Я дождался ее, этой светловской похвалы, только один раз. Вот как это произошло.

На семейный праздник собрались друзья. Пришел и Михаил Аркадьевич. Он был в новом черном костюме и, хотя узел галстука забился куда-то вбок под воротничок рубашки, — вид у Светлова был необычно торжественный.

— Завтра у нас с Игиным и с ним, — показал он на меня, — телепередача. Надо, чтобы этот костюм успел ко мне привыкнуть, — сказал Светлов и тут же добавил: — А вообще из меня получится неплохая манекенщица. Портной сказал, что на мне очень хорошо висят вещи.

В течение всего вечера Светлов добродушно «добивал» меня за то, что я не оставляю работу в театре.

— Нельзя заниматься литературой во вторую смену, тем более — в ночную. Она этого не прощает. И потом — надо пробовать писать что-нибудь и кроме эпиграмм.

— А я пробую, Михаил Аркадьевич. Вот, жена не даст соврать, — написал недавно лирические стихи.

— Если это не семейная тайна — прочти. Пользуйся случаем, что ты у себя дома, — гости не разбегутся, воспитание не позволит. Помучаемся? — обратился он к остальным.

Честно говоря, я был не очень убежден, что из меня когда-нибудь получится сатирик. Но в том, что лирик из меня не выйдет, — в этом я уверен и по сей день.

Все притихли, и я начал читать.

И странное дело — с каждой новой строкой стихотворение становилось каким-то чужим, незнакомым. Я шел по нему, как по разбитой дороге, спотыкаясь о камни и попадая в лужи. Я чувствовал, как горят мои уши, и заранее отчетливо представлял себе реакцию Светлова: «Считай, что ты нам ничего не читал, а мы постараемся скрыть это от потомства». И это при моих друзьях! Они-то думали...

Короче — я мечтал только об одном: поскорее добраться до конца. Когда я кончил читать, Михаил Аркадьевич обвел взглядом присутствующих. Мне показалось, что прошел год. И вдруг неожиданно:

— Ни-и-и-че-го-о-о... Карапуз поднимается с четверенек.

Этого я никак не мог ожидать. Гости дружно присоединились к светловской оценке, переводя ее в более категорические формы. Я окончательно убедился, что ничего не понимаю в собственных стихах, и остаток вечера резвился как школьник, получивший после частогокола троек первую в жизни пятерку. Причем — на всесоюзном параде.

Когда гости разошлись — я, на радостях, даже помог жене вымыть посуду.

Около трех часов ночи нас разбудил телефонный звонок.

— Слушаю, Михаил Аркадьевич.

— Так вот, — я наврал. Стихи — дерьмо. Подробности — утром. Будь здоров.

И повесил трубку.

Он пощадил меня при друзьях, но не мог заснуть, не сказав правды.



* * *

У Светлова были трудные квартирные условия. Друзья посоветовали ему пойти в Моссовет. Он долго не соглашался: «Что я там скажу? Здравсьте, я Светлов. А он мне скажет: а я Сидоров, ну и что?»

Я поспешил заверить его, что поэта Светлова в Моссовете знают.

— Ты думаешь? — спросил он серьезно. И тут же добавил: — Ну хорошо. Но на всякий случай ты будешь идти впереди, как оркестр, и петь «Каховку», а я поплечусь сзади, как демонстрация.

Приема в Моссовете он ждал недели две, а то и три. Сначала было трудно дозвониться начальству, чтобы условиться, затем уславливался, а начальства не оказывалось на месте. Наконец переносы надоели обеим сторонам — часы приема были назначены точно. И, как заверили Светлова, в последний раз. Мы договорились, что я заеду за ним в Союз писателей. Он встретил меня в вестибюле.

— Ты понимаешь, я совсем забыл — сейчас сюда должен прийти один полковник.

— Полковник подождет, — сказал я.

— Полковник не подождет. Я с трудом его разыскал — он приехал из Владимира на какое-то совещание. Всего на один день. А он мне очень нужен.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что под началом этого полковника служит начинающий поэт. А полковник неодобрительно относится к увлечению молодого солдата — подшучивает и вообще считает, что нечего бумагу марать.

— А парень — прелесть, — продолжал Светлов. — Прислал мне отличные стихи. Ему надо помочь. Вот я и пригласил полковника сюда. По телефону я ему ничего не объяснил — просто сказал, что важное государственное дело. Одним словом, иди — пой «Каховку» в одиночку.

Через несколько дней Светлов с гордостью показывал письмо солдата. Тот писал, что полковник вызвал его и приказал «работать над поэзией по два часа в день за счет учебного времени». Я не знаю, сохранилось ли это письмо в архиве Светлова, но солдат из Владимира узнает себя в этом рассказе. И полковник, наверное, тоже.

* * *

Лет десять назад, когда вечера поэзии проводились не так уж часто и, во всяком случае, не в театральных залах, — в старом помещении Театра эстрады на площади Маяковского, где теперь «Современник», — был устроен вечер Светлова. Собственно говоря, это был не вечер — начало в четыре часа дня. В первом отделении стихи Светлова читали артисты, во втором — автор.

Мы пришли с ним задолго до начала. Он был очень мрачен, а если и шутил, то как-то невесело. Дело в том, что в кассе оставалось больше половины билетов.

Действительно, первое отделение началось при полупустом зале. Светлов сидел в фойе за кулисами, слушал трансляцию со сцены и рассеянно отвечал на приветствия.

— Да, — сказал он тоскливо, — слушают плохо, хлопают стульями. Наверное, уходят. Пойди хоть ты в зал. Для количества.

В антракте Светлова попросили в вестибюль. Там продавались его книги. Светлов нехотя пошел, начал давать автографы и заметно повеселел. Стопки книг на прилавке таяли, а толпа вокруг Светлова росла.

Прозвенел третий звонок — Михаил Аркадьевич пошел на сцену, а я в зал.



Все второе отделение я простоял у стены. Зал был полон! Оказалось, что во время первого отделения стулья хлопали совсем не потому, что их покидали зрители. Наоборот — зрители рассаживались. Студенты, у которых кончились лекции, артисты соседних театров — после репетиций, служащие близлежащих учреждений, закончив свой рабочий день, — все они пришли на свидание со Светловым.

Яркий свет в зале медленно погас. На занавес желтыми овалами упали лучи прожекторов, обе половины его стремительно побежали в разные стороны, и на сцену из дальней кулисы не спеша, будто бы продолжая давно начатый путь, вышел Светлов. Грохнули аплодисменты. Впереди кто-то встал. За ним другой, пятый, сотый — и вот уже все стоя рукоплещут Светлову. А он стоит, немного сутулясь, щурится от яркого света и как-то виновато улыбается. Потом он поднял руку и, обращаясь к публике, сказал:

— А нельзя ли убрать эту иллюминацию и дать свет в зал, чтобы мы с вами сразу оказались в одной комнате.

Я сейчас уже не помню, каким по счету читал Михаил Аркадьевич стихотворение «Живые герои». То ли третьим, то ли четвертым, но во всяком случае — в начале.

...Я сам собираюсь
Роман написать —
Большущий!
И с первой страницы
Героев начну
Ремеслу обучать
И сам помаленьку учиться.
И если в гробу...

Вдруг чистый девичий голос откуда-то из дальних рядов протестующе перебил Светлова:

И если не в силах
Отбросить невроз,
Герой заскучает порою...

И тут, словно кто-то огромным рубильником, включил зал. Сначала робко нащупывая ритм, а потом все уверенней, мощнее, отчетливей взлетели слова:

Я сам лучше кинусь
Под паровоз,
Чем брошу на рельсы героя.

Светлов переждал эту внезапную массовую декламацию, тихо, но очень внятно произнес: «Спасибо!» (Он в самом деле пропустил строфу) — и продолжал, взволнованный не на шутку:

И если в гробу
Мне придется лежать —
Я знаю:
Печальной толпою
На кладбище гроб мой
Пойдут провожать
Спасенные мною герои.

* * *

Обаяние Светлова было всепокоряющим. Я не знаю человека, который так легко и непринужденно умел вступать в разговоры даже с незнакомыми людьми. Нет, он не начинал разговор. Он как бы продолжал беседу, прерванную только недавно.

И не важно — была ли это беседа с ученым или чистильщиком сапог, зубным врачом или грузчиком магазина. И даже если это был дремучий невежда — Светлов никогда не поддельвался под неграмотного, никогда не опускался до уровня собеседника, а наоборот — всегда как бы подтягивал его к себе. И делал это удивительно тактично, незаметно.

Я уверен — тот, кто хоть раз повстречался со Светловым, не может его забыть. Он может не знать, что встретил большого поэта. Он просто помнит человека, который сказал ему то, что, может быть, говорили и другие, но сказал так, как не говорил никто.

Г. Рыклин

МИЛЫЙ АНГЕЛОЧЕК

Первым делом хочу вам сообщить: я недавно вернулся из Болгарии. Я отдыхал на чудесном курорте недалеко от Варны

«Златы пясцы», что по-русски значит «Золотые пески».

В первый же день своего приезда я на пляже

встретил Валентину Карповну, свою старую... Поймите меня правильно... Она молодая женщина. А заодно и старая знакомая. Такое

совместительство вполне законно.

Сразу, не поговорив даже о погоде и о температуре воды в море, она мне сказала:

— Выньте из кармана ваш блокнот и записывайте. Очень веселая тема. Быть может, вам пригодится.

Приехала я сюда дней пять тому назад. В первый же день... Перед вами, как старым другом, хочу излить свою душу. Вот в первый же день познакомилась и даже подружилась с одним молодым болгаринном. Его зовут Ангел. У болгар это очень распространенное имя. Как у нас, русских, Эдуард или Роберт. Чудесный парень! Когда мы наедине, называю его нежно и ласково: Ангелочек. Хотите я

вас познакомлю с ним? Он вам очень и очень понравится. Какая у него восхитительная улыбка! Какие глаза!.. Не перебивайте... И, пожалуйста, не хмурьтесь... Вы же не ханжа... Я его полюбила с первого взгляда. Да, да, полюбила! Бывает же такая любовь, не правда ли?.. Не делайте, пожалуйста, такого строгого лица... Тем более что я об этом уже написала в Москву — и мужу и своей матери... Я не скрываю свою любовь. Я ее не стыжусь... Мы часто встречаемся с Ангелом. Можете мне верить, можете не верить, но мы уже целуемся. Гуляем вечерами по парку, где так нежно благоухают розы дружелюбной нам страны, болтаем о том о сем. Ходим,

разговариваем, улыбаемся друг другу.

Но его мама... Кстати, его мама уже знакома со мной и очень благосклонна ко мне, какая добрая и чуткая женщина!.. Так вот его мама приходит за ним в парк, уводит домой и укладывает спать. Очень рано укладывает спать — и это вполне понятно: Ангелочку надо расти и расти. Сейчас ему всего четыре года и два месяца.

Валентина Карповна замолчала и лукаво взглянула на божий мир, а заодно и на меня. По всей логике вещей я должен был рассмеяться. Но я этого не сделал из уважения к вам, дорогой читатель. Потому что вместе со мной милая дама, как мне кажется, разыграла и вас.

Жилет и стул

(Басня)

Хвалился Стул:

— На мне сидел Поэт.

Мне равного теперь на свете нет!

— Подумаешь, — Жилет ему ответил:

— Сто раз сидел я на Поэте!

г. Ленинград ЮРИЙ ТЕЙХ

Телеграфный столб

Прогнил насквозь — любому видно.

А держится по-прежнему солидно.

Свалился б он, рассыпавшись в труху,

Когда б... не связи крепкие сверху.

г. Львов И. ЧЕРНЯЕВ

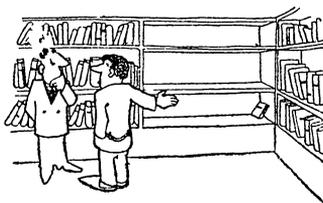
Чиновник и почин

Хоть и должен был по чину
Чин способствовать почину,
Но без видимых причин
В стол упрятал Чин почин.
Жить спокойно, чин по чину,
Без почина легче Чину!

Признание пустобреха

Дня не могу прожить без
лая,
Хоть гавкаю на всех
без зла я!

г. Уфа М. ВОЛОВИК



—...А на этих трех полках мои произведения...

Рис. А. Кашкуревича



Юноша ударился в поэзию и больно ушибся.

Из пошивочного ателье непрерывно доносился последний крик моды.

Даже когда сплетники сидят на месте, слухи все равно ходят.

В конторе царилась хорошая налаженная бездельность.

г. Асбест А. КРАВЦОВ
Свердловской обл.

Технический редактор Г. Ю. ДУБМАН. Корректоры Н. А. АКимова, М. В. Арсенова.

Подписано к печати 30/VI 1966 г. А16107. Тираж 155 000 экз. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. Печ. л. 14 = 19,18 усл. печ. л. = 22,379 + 4 вкл. = 23,232 уч.-изд. л. Заказ № 4066. Цена 50 коп.

Типография «Красный пролетарий» Политиздата. Москва, Краснопролетарская, 16.

50 коп.

И н д е к с

73 253.